ISSN 0130-6545

9.1995

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ИНГМАР БЕРГМАН
Воскресный ребенок

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ
Великая Стена

ЭММАНЮЭЛЬ БЕРНХАЙМ
Его жена

"ИЛ" в1996 году

План следующего года составлен нами еще далеко не полностью - редакция ждет подведения итогов литературного года, ставя себе задачу максимально сократить временной разрыв между выходом произведения на языке оригинала и появлением русского перевода на страницах «ИЛ». К сожалению, приходится помнить и о литературных пиратах, использующих наши анонсы в качестве бесплатного источника информации. Поэтому сейчас мы можем назвать лишь некоторые из произведений, по поводу которых журнал ведет переговоры с правообладателями:

Последний роман американца **ЧАРЛЬЗА БУКОВСКИ «Макулатура»**

Роман француза **ДИДЬЕ ВАН КОВЕЛЭРА «Билет в один конец»** (*Гонкуровская премия 1994 года*)

Пьеса англичанина **ТОМА СТОППАРДА «Аркадия»** (*признана в США лучшей пьесой 1995 года*)

Новый роман чеха **МИЛАНА КУНДЕРЫ «Неспешность»**

Знаменитый роман аргентинца **АДОЛЬФО БЬОЙ КАСАРЕСА «Война со свиньями»**

Автобиографическая книга испанца **ХОРХЕ СЕМПРУНА «Писательство и жизнь»**

Новый роман американца **ТИМА О'БРАЙЕНА «На Лесном озере»**

Документальная повесть китаянки **АНЧИ МИН «Красная азалия»**

В рубрике №В мы познакомим читателей с творчеством **СЕЙСА НОТЕБУМА, ПОЛА ОСТЕРА и ТОМАСА ПИНЧОНА**

Будет продолжена авторская рубрика **ПЕТРА ВАЙЛЯ** «ГЕНИЙ МЕСТА»

В рубрике «ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ» мы представим портреты **БРУНО ШУЛЬЦА, ПАУЛЯ ЦЕЛАНА, ХУЛИО КОРТАСАРА, СТАНИСЛАВА ИГНАЦЫ ВИТКЕВИЧА**

АЛЕКСАНДР ГЕНИС пришлет нам рукопись своей новой книги «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ. Искусство настоящего времени».

В фокусе нашего внимания живой литературный процесс - самые яркие имена, самые заметные произведения, удостоенные престижных премий, попавшие в списки бестселлеров, вызвавшие повышенный интерес критики.

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. А тем, кто имеет возможность получать номера в редакции, советуем подписаться прямо у нас - это надежнее и намного дешевле.

Подписка в редакции будет производиться *с 1 сентября до 1 декабря ежедневно с 12 до 18 часов, кроме пятницы и выходных.*

Адрес редакции: Пятницкая улица, дом 41 (метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»), телефон 233 -51-47.

Где бы Вы ни жили, подписавшись на "ИЛ", Вы окажетесь в самом центре литературной жизни современного мира.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 30 000 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Редакция благодарит Посольство Швеции за помощь в отборе шведских материалов этого номера и Шведский институт (Стокгольм) за финансовую поддержку

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
Н.Я. КАЗАРЦЕВА — заведующая отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, И.А. БРОДСКИЙ, П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК, Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ, М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
ЭРВЕ БАЗЕН, КРИСТА ВОЛЬФ,
ТОНИНО ГУЭРРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

9 сентябрь 1995

СОДЕРЖАНИЕ

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ — Великая Стена (*Рассказ. Перевод с албанского Л.Милько*) 5
УМБЕРТО ЭКО — Маятник Фуко (*Роман. Окончание. Перевод с итальянского Е. Костюкович*) 14
СТЕФАН ХЕРМЛИН — «Я знал, что каждый звук мой — звук любви...» (*К восьмидесятилетию поэта. Стихи. Перевод с немецкого и вступление Г. Ратгауза*) 67
ЭММАНЮЭЛЬ БЕРНХАЙМ — Его жена (*Роман. Перевод с французского и вступление Татьяны Ворсановой*) 75
РИЧАРД ОЛДИНГТОН, ХИЛЬДА ДУЛИТЛ — Стихи (*Перевод с английского А. Кудрявицкого, А. Шараповой, С. Фетисовой. Вступление Алексея Зверева*) 100

Литературный гид

НОВАЯ ШВЕДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНГМАР БЕРГМАН — Воскресный ребенок (*Роман.Перевод Александры Афиногеновой*) 111
ЛАРС ГУСТАФССОН — Искусство пережить ноябрь (*Рассказ. Перевод Екатерины Чевкиной*) 159
ТУМАС ТРАНСТРЁМЕР — Стихи (*Перевод Ильи Кутика. Вступление Геннадия Айги*) 168
МАРГАРЕТА ЭКСТРЁМ — Рассказы (*Перевод Е. Серебро и М. Макаровой*) 175
ТОРГНИ ЛИНДГРЕН — Легенды (*Перевод Ольги Дробот*) 185
НИКЛАС РОДСТРЁМ — Эйфелева башня (*Рассказ. Перевод Е.Глухарева*) 190
БЬЁРН ГУННАРССОН — Внуки «шведской модели благоденствия» уходят в себя (*Перевод Е.Серебро*) 194

К нашим иллюстрациям

ЕВГЕНИЙ ГЛУХАРЕВ — Ханс Викстен. Стиг Классон. 199
ГЕННАДИЙ АЙГИ — Среди образов Викстена 200

Шведская литература на страницах «ИЛ» 201

Публицистика

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ, или ГИЛЬОТИНА БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ — Не спи, не спи, художник... 202
ДЖЕЙМС ФИНН ГАРНЕР — Политически корректные сказки на сон грядущий (*Перевод с английского Г. Чхартишвили*) 211

Критика

Возвращаясь к напечатанному

Г. ИШИМБАЕВА — Переосмысление традиций 214

У книжной витрины 219

Авторы этого номера 222

© «Иностранная литература», 1995

Следующая книжка журнала целиком посвящена британской литературе 90-х годов.

Читайте в номере:

Новый роман ПИТЕРА АКРОЙДА **«Дом доктора Ди»,** сочетающий черты триллера и детектива, а также готического, исторического и биографического романа. В центре этой книги — фигура знаменитого британского алхимика и астролога XVI века Джона Ди.

Изящную, полную восточного колорита и в то же время совершенно «английскую» повесть АНТОНИИ БАЙЕТТ **«Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»** — историю любви фольклористки из Лондона и мудрого джинна.Это притча о взаимоотношениях Востока с его древнейшими культурами и более молодого, рационального Запада.

А также рассказы, стихи и блок литературно-критических статей о современной британской прозе и драме.

На обложке — работы шведского художника Ханса Викстена.
Для оформления «Литературного гида» использованы рисунки Стига Классона.

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 15.08.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Бумага типографская. Усл. печ. л.19,6 Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 23,44 Заказ №1008

Тираж 30 000 экз. Цена по подписке 10 000р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ

Великая Стена

РАССКАЗ

Перевод с албанского Л. МИЛЬКО

Смотритель Шунг

«Вот и варвары прошли...» При этих словах мой помощник вздохнул, неотрывно глядя туда, куда ускакали их кони. А мне подумалось, что во всем великом Китае, не только в маленьких городишках, где уж наверняка, но и в больших городах, да и в самой столице, где всегда знают обо всем лучше, чем в провинции, — словом, в целом Китае не найдется, пожалуй, человека, которому могло бы прийти в голову, что кочевники, хотя бы и их посланцы, перейдут Стену, сопровождаемые словами «вот и варвары прошли» и даже вздохом, как вздыхают, когда кончается нечто, о чем будут вспоминать с тоской.

Хотя вот уже десятки лет здесь царит безлюдье, подданные нашей империи продолжают пребывать в убеждении, что Стена и северные кочевники остаются по-прежнему в неразрывной связи, а точнее — в нескончаемой схватке друг с другом, когда летят стрелы, и льется смола, и противники лишаются один глаз и волос, а другой — камней.

Впрочем, меня это больше не удивляет, поскольку я знаю, что не только, так сказать, героическое, связанное со Стеной, но и все остальное, от ее внешнего вида и до высоты, люди представляют себе совершенно превратно. Да и откуда им знать, что Стена, кое-где и вправду высокая и величественная, как, к примеру, на нашем участке, где даже голова кружится, когда посмотришь вниз, на большей части своей протяженности пришла в запустение, более того — из-за небрежения и кражи камней окрестными жителями стала такой низкой, что едва ли превосходит высотою всадника на коне, я уж не говорю о той ее части, что лишь называется Стеной, а на самом деле представляет собою разбросанные тут и там камни, очевидно наметки первоначального проекта, по какой-то причине оставшегося незавершенным. Словно ползучий гад, едва различимый в болоте, она достигает границ пустыни Гоби, где и исчезает бесследно.

Глаза моего помощника пусты, как у всякого, кто вынужден почему-либо смотреть почти все время вдаль.

— Теперь подождем, какой поступит приказ, — сказал я, не дожидаясь его вопроса «А что нам теперь делать?».

Было понятно, что приказ, если таковой вообще последует, зависит от результатов переговоров с официальными представителями кочевников.

Мы ждали распоряжений все лето, ждали и в начале осени, когда император с министрами должен был возвратиться с отдыха. Но они не пришли ни с дождями, ни с зимним мокрым снегом.

Как обычно бывает в таких случаях, приказ, а вернее, его содержание стало нам известно, когда мы уже и не ждали. Я говорю «содержание» потому, что еще до прибытия повозки с императорской почтой мы догадались, каково правительственное постановление, наблюдая за жителями селений и становищ, расположенных вдоль Стены. Они покидали свои жилища и укрывались в горных пе-

© Librairie Arthéme Fayard, 1993

щерах неподалеку, как поступали всякий раз накануне ремонта Стены, о котором ведомыми лишь им одним путями всегда узнавали раньше нас.

Это были, безусловно, разумные действия, так как, лишаясь жилища, они избегали, во всяком случае, чиновничьих плетей и неизбежных казней. Как я ни старался их понять, для меня так и осталось загадкой, как они отваживаются выламывать камни из Стены для своих хижин, зная, что в один прекрасный день за этими камнями обязательно придут.

Мне известно лишь, что это продолжается из века в век и камни Стены, подобно шерстяным ниткам, из которых сначала связали шарф, потом, распустив, кофту, а потом снова распустили и опять превратили в шарф, уже по многу раз перемещались из жилищ в Стену и обратно. Кое-где на них можно заметить следы копоти, будоражащие воображение иностранных туристов и дипломатов, которым и невдомек, что это не свидетельства героической борьбы, а всего лишь копоть от очага, на котором годами готовился скудный и однообразный ужин какого-то земледельца.

Итак, в тот день, когда мы заметили, что села опустели, стало ясно, что по всему великому Китаю пронеслась весть о ремонте Стены.

Ремонт, хотя он и свидетельствовал об ухудшении обстановки, все же не означал еще войны. Он случался гораздо чаще, чем войны, так часто, что само слово «ремонт» могло бы служить вторым названием для Стены. Да и вообще это была не столько стена, сколько бесконечный ремонт. Поговаривали даже, что она и возникла-то в результате восстановления другой, более древней, а та, в свою очередь, — еще какой-то стены, и так далее. Более того, говорили, что самая первая стена стояла когда-то в центре государства и с каждым ремонтом отодвигалась все дальше, пока не оказалась на границе, и там, словно дерево, посаженное наконец в подходящую почву, вознеслась, дабы внушать страх миру.

Даже тех, кто, подумав о Стене, не мог не вспомнить о кочевниках, порой охватывало сомнение, действительно ли именно они стали причиной возведения Стены. А что, если это сама Стена, придвинувшись к границе, приманила их к себе?

Если б мы не видели собственными глазами, как прошествовала, и даже дважды — туда и обратно, — делегация варваров, то, возможно, тоже были бы склонны, как и другие, которых, впрочем, совсем немного, объяснять очередное обострение обстановки, как в большинстве случаев, какими-то событиями в нашем государстве, более того — в самом его центре. С приятнейшим чувством человека, обнаружившего истину в океане лжи, мы проводили бы долгие зимние ночи в догадках и предположениях о том, что и как происходило, наверное, об интригах, которые, конечно же, плелись во дворце и имели порой столь глубоко скрытые корни, что их не смогли бы отыскать и сами участники, о лютой зависти, от которой, как рассказывают, трескаются в сумерки зеркала у дам, и обо всем прочем, что повелось от века.

Однако все произошло у нас на глазах: кочевники проехали прямо здесь, внизу, под нашими ногами, мы еще не забыли ни разноцветных лент на их одеждах, ни топота их коней, не говоря уж о словах «вот и варвары прошли», о последовавшем за ними вздохе моего помощника и его отрешенном взгляде.

Не случись того, что случилось, мы еще могли бы сомневаться или делать вид, что сомневаемся, но теперь места для сомнений не оставалось, и как ни скучны были зимние вечера, приходилось заполнять их чем угодно, только не поисками какой-то иной причины обеспокоенности в государстве, кроме кочевников.

С севера веет тревогой. Вопрос уже не в том, связано ли беспокойство с угрозой извне. Это очевидно. Речь может идти лишь о том, будет ли война.

Прибыли первые каменщики, но большинство еще в пути. Одни утверждают, что их сорок тысяч, другие — много больше. Предстоит, несомненно, самый большой за несколько веков ремонт.

Дикая утка, взлетев, криком своим разбудила бесконечность безмолвия... Эта строка поэта, имени которого не могу вспомнить, пришла мне на память вчера, когда я созерцал пространство к северу от нас.

С некоторых пор именно тишина беспокоит меня больше всего. Я слышал, у кочевников нынче единоличный предводитель, потомок Чингисхана, и из их пыльного и безумного хаоса он пытается создать государство. Пока о нем не известно ничего определенного, кроме того, что он хромой. Таким образом, о его увечье мы узнали раньше, чем о том, как его зовут.

Вот уже несколько дней подряд кочевники появляются и исчезают в тумане, словно стаи галок. Наверняка следят за ремонтом. Я уверен, что Стена, без которой мы не мыслим своей жизни, недоступна их пониманию и, должно быть, приводит их в такое же смятение, как нас — пустынное пространство к северу от нее.

Кочевник Кутлук

Мне говорят: скачи и гляди в оба, но она тянется без конца, все одно и то же, камень на камне и камень под камнем, камни ряд за рядом, скрепленные известью; я скачу, а они не двинутся с места, все тянутся без конца и края, как тот проклятый снег, что стлался под копытами коней, когда мы преследовали Тохтамыша в Сибири в конце года Собаки, когда наш славный хан Тимур сказал нам: потерпите, ребята, еще немного, а что до снега, так он как капризная шлюха, сначала напускает на себя холодность, но скоро размягчится и растает; да только ведь эта груда камней похуже будет, не оседает, не тает, стоит на пути и, кричи не кричи, не пускает меня; не возьму в толк, почему наш хан не прикажет ударить по этой каменной дуре, сровнять ее с землей, как в Чубукабаде, когда мы захватили в плен султана Баязида Молниеносного и хан прислал нам ярлык[1]: молодцы, мол, что взяли в плен Молнию, а что не сумели пока надеть оковы на само небо, так это ничего, придет и его очередь; а потом в Акшехире в год Тигра, когда мы закопали пленников живьем, сложив их, как младенцев в материнском чреве, и славный хан сказал нам: если они невинны, как считает колдун Тятши, то чрево земли, которое попросторней человечьего, родит их снова; ах, как было здорово, но больше наш хан не присылал ярлыка о штурме, и предводители наши говорят на курултае: то, что называют городом, — это точно гроб, остерегайтесь входить в него, войдете — вам уже не выйти, да ведь и ярлыка о разрушении Стены нет как нет, приходят все те же приказы, одинаковые, как эти распроклятые камни: скачи и гляди в оба, кочевник.

Смотритель Шунг

Ремонт идет, по-моему, на всем северо-западном участке Стены. Каждую неделю прибывают тысячи каменщиков, весело размахивающих разноцветными флагами и вымпелами провинций, которые вступили в соревнование, какая из них пошлет больше добровольцев. Однако передвижения войск нигде не заметно. Как и прежде, появляются на горизонте кочевники-лазутчики, но из-за густого зимнего тумана не различить ни всадника, ни его коня; порою видно лишь полтуловища того или другого, так что они походят не на всадников, а скорее на куски порубанных тел, взметенные на воздух и принесенные сюда ураганом с неведомого поля боя.

Все происходящее — настоящая загадка. Похоже, обе стороны стараются показать свою силу, при этом делая вид, будто не замечают друг друга. Но это лишь на первый взгляд. Приглядевшись повнимательней, можно увидеть некоторую несообразность.

Впервые мне показалось, что есть какой-то разлад между Стеной и столицей нашего государства. Я всегда был уверен в их неразрывной связи — не только когда служил в столице, но и до этого, когда был мелким чиновником в далеких горах Тибета, и уж тем более когда меня перевели сюда, на Стену. Что они влияют одна на другую так же, как, по утверждениям, Луна влияет на воды, вызывая приливы и отливы, — это мне было известно давно. Но есть еще одна вещь, которую я понял, лишь прибыв сюда: Стена может передвигать столицу, притягивать ее к себе или отодвигать, та же не в состоянии ей противиться. Все, на что она способна, так это попытаться самой отодвинуться подальше от Стены, как муха старается выпутаться из паутины, или, наоборот, придвинуться ближе, прильнуть к ней, словно живое существо, охваченное страхом.

Все перемещения столицы Китая за последние два века то на юг страны, подальше от Стены, в Нанкин, то на север, поближе к ней, в Пекин, я всегда считал следствием поведения Стены, которая то отталкивала столицу, то притягивала ее к себе.

---

[1] Приказ (*турец.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Как ни пытаюсь я в последние дни разобраться в происходящем, разгадки не нахожу. Порою мне кажется, что нынешний разлад, если он есть, вызван именно близостью столицы. Вряд ли мы получали бы так много распоряжений, находись она, допустим, в четырех-пяти месяцах пути отсюда, так что повозка со вторым распоряжением, отменяющим первое, или не сумела бы нагнать отправившуюся ранее, или в дикой спешке перевернулась бы где-нибудь, а может, и с обеими случилось бы что-нибудь подобное.

Вчера вечером, когда мы беседовали с моим помощником (лениво перебрасываясь словами, погруженные в блаженную истому после одного из тех мгновений, которые тем дороже для нас, чем старательнее мы их скрываем ото всех), итак, вчера вечером мой помощник сказал, что, даже если бы переместилась не только столица, но и весь Китай, Стена все равно осталась бы стоять там, где стоит. «Такое, кстати, уже случалось», — добавил он небрежно. И мы оба принялись вспоминать, как за те тысячу с лишком лет, что стоит Стена, Китай несколько раз выходил за ее пределы и столько же раз сжимался, оставляя ее одиноко и бессмысленно торчать посреди серых степей.

Мне припомнилось, как у моей тетки забыли снять с руки надетый еще во младенчестве медный браслет, рука становилась все толще, и браслет почти врезался в нее. Так, наверное, было и с Китаем: Стена то сдавливала его, то становилась слишком широкой, были и такие годы, когда она снова приходилась ему впору. А что будет дальше, неизвестно... Всякий раз при встрече с теткой я вспоминал о браслете, и, не знаю почему, это было мучительно для меня, я невольно представлял себе, что было бы, если б этот браслет так и не сняли, мало того, я воображал, что сталось бы после смерти тетки и как он, позвякивая, болтался бы, теперь уже совершенно свободно, на руке скелета... Я схватился за голову, неожиданно поймав себя на том, что ведь это сам Китай представился мне истлевшим трупом... с болтающейся на нем побрякушкой... Как я только мог об этом подумать?!

Ночь стояла беззвездная, и лунный свет наводил такую истому, что казалось, к утру все замрет, и кочевники, и птицы, и даже государства в полном изнеможении так и останутся лежать, словно мертвые, друг подле друга, как мы двое...

Стало известно наконец имя правителя кочевников: Тимурлонг, то есть Тимур Хромой[1]. По сведениям, он вел долгую войну против турок-османов и их царя Баязида, что на их языке означает «молния», а после его пленения пересек всю степь вдоль и поперек. Судя по всему, скоро повернет против нас. Теперь все становится ясно: и приказ о ремонте Стены, и временное затишье, которое мы поспешили назвать загадочным, как всякое непонятное государственное дело. Грозный хромой, пока он сражался с османами, был неопасен. Ныне же...

От нарочного, вчера вечером остановившегося у нас по пути назад в столицу, мы узнали страшную новость. К западу от нас напротив Стены, всего в нескольких сотнях шагов от нее, варвары воздвигли пирамиду, только не из камней, а из отрубленных голов.

Пирамида эта, по словам нарочного, не так уж высока — примерно в два человеческих роста, с военной точки зрения не идет ни в какое сравнение с нашей Стеной, но все же пострашней будет, чем сотня крепостей, вместе взятых. И хотя на собраниях воинов и каменщиков разъяснялось, что пирамида в сравнении с нашей Стеной просто огородное пугало (а такая мысль пришла бы в голову всякому при виде кружащего над нею воронья), паника охватила всех, даже военных. «Никогда еще я не возил столько писем в столицу», — сказал нарочный, похлопав ладонью по кожаной суме. Бóльшая часть писем была от офицерских жен, которые жаловались своим высокородным подругам в столице на невыносимые головные боли и всякое такое прочее, проще говоря, просили их походатайствовать о переводе своих мужей.

От пирамиды, говорил нарочный, несет таким зловонием, что ему впервые в жизни показалось вдруг, что Стена стала тоньше, и он взмолился Богу, чтобы ремонт, такой своевременный, был скорее завершен.

Он отправился дальше, оставив нас в крайне угнетенном состоянии духа. Мы молчали, но и без слов было понятно, что каждый из нас смотрит теперь другими глазами на поврежденные участки Стены, на ее трещины и пятна, словно оставленные проказой.

[1] Тамерлан.

— Поговорка «стену лбом не прошибешь», из-за которой нам когда-то досталось столько палок на уроках каллиграфии, похоже, ничего не стоит, — сказал мой помощник, когда нарочный уехал. — Выходит, что как раз лбами-то легче всего прошибить стену.

Никакого движения войск по направлению к границе. Было сильное землетрясение, разрушившее все, кроме Стены, для которой, впрочем, это уже не первое землетрясение. После него вокруг стало еще тише, чем прежде... Такое впечатление, что ремонт делается лишь для виду. За день до землетрясения рухнула во второй раз после ремонта сторожевая башня справа от нас. Иногда у меня мелькает мысль, уж нет ли какой измены в императорском дворце. Хотя мой помощник полагает иначе. Он уже давно уверен, что в столице все только и думают что о наслаждениях и любовных утехах, никто и знать не хочет о каких-то там кочевниках и государственных границах. Вчера он рассказал мне, что слыхал, будто придумали такие зеркала, в которых мужской член кажется чуть ли не вдвое больше. И что женщины ставят их в своих спальнях, чтобы возбудиться перед любовными играми.

Единственное утешение, что и за Стеной все недвижимо, лишь изредка проносятся как ветер конные лазутчики. Да время от времени появляются кучки оборванных турецких солдат. Когда они появились впервые в конце лета, наша разведка очень встревожилась, уж не воины ли это кочевников, замаскированные под турок. Но позже из донесений наших лазутчиков, проникших в их ряды, стало ясно, что это всего лишь остатки османской армии, разгромленной под Чубукабадом.

Дни идут за днями, а они все бродят у Стены. Большинство из них — старики, по ночам они вспоминают далекие края со странно звучащими названиями, где когда-то сражались, и, конечно, султана Баязида, свою потухшую молнию, память о котором таскают с собой по степи.

Несколько раз они просились к нам на работу ремонтировать Стену, а когда снова рухнула правая башня, один из них настоял-таки на том, чтобы я его принял, и на ломаном китайском языке принялся рассказывать мне, что видел в какой-то дальней-предальней стране мост, в опору которого замуровали человека. Показывая на свои глаза, он клялся, что видел вот этими самыми глазами замурованного, и попросил клочок бумаги, чтобы нарисовать мост. «Мостик совсем небольшой, а все равно понадобилось принести жертву, чтоб не рухнул, — продолжал турок. — А такая бесконечная стена, разве она будет стоять без жертвоприношения?»

Несколько дней спустя он явился снова, опять заговорил о том же и на сей раз нарисовал мост. Когда я спросил, почему мост изображен вверх ногами, турок побледнел. «Сам не знаю, — ответил он. — Может, потому, что так он отражался в воде. Вот так, вверх ногами, он приснился мне позапрошлой ночью».

Когда он ушел, мы долго рассматривали странный рисунок. Крестиком, как он нам пояснил, было помечено место, где замуровали жертву. Я так долго и напряженно смотрел на рисунок, что мне почудилось, будто мост в самом деле колеблется. Или, быть может, на меня так подействовали слова турка, что ему запомнился не столько сам мост, сколько его отражение в воде. Таким он видится воде, а она, как объяснял турок, видит все иначе, чем, допустим, человек или земля. Это вода потребовала жертвы (так, по крайней мере, гласит предание), а точнее, чтобы замуровали, погубили человека.

Настала ночь, и лунные лучи, косо падая на камни Стены, вычерчивали тут и там какие-то человекоподобные лики. «У, проклятый», — бранил я про себя турка, по вине которого, как мне казалось, я стал замечать это недоброе сходство. А потом мне подумалось, что вот так же, как это перевернутое изображение моста, ходят, наверное, по земле добрые и дурные вести. Может быть, и народы вот так же дают знать о себе друг другу задолго, за сотни, а то и тысячи лет до того, как явится наконец официальная делегация с документами и черными печатями.

Кочевник Кутлук

Начальники снова собрались на курултай, пришел ярлык от хана Тимура: ни за что не переходить за Стену, иначе — конец, таков приказ; но чем больше мне говорят нельзя, тем сильнее мне хочется перейти, увидеть города, женщин,

одетых во что-то воздушное под названием шелк, как они отражаются в зеркалах, говорят, щелки наслаждения в их телах слаще меда; да только эта каменная громадина не пускает меня, она будто давит на меня, так и подмывает вонзить в нее нож, но что ей нож, когда землетрясение с ней не справилось; ах, когда они сошлись в поединке — эта каменная громада и землетрясение, как я орал: «Давай! только ты можешь ее развалить!», да что толку, эта уродина одолела само землетрясение, задушила его; я плакал, глядя на его предсмертные судороги, так бьется о землю раненый конь, пока не издохнет; какая жалость, мне стало тоскливо, как когда-то в степи Бек-Пек-Дала, я еще сказал тогда начальнику Абага: «Такая тоска, прямо хоть вой», а он мне: «Это же Бек-Пек-Дала, Голодная степь, это голод на тебя действует, если и не твой, так кого-то еще, так что давай скачи быстрее, сынок». Все так говорят: «Скачи быстрее и не останавливайся, сын степей», а эта каменная дура не пускает меня, опять она на моем пути, так и льнет к шкуре моего коня, притягивает его к себе, да и меня самого затягивает в свою мертвящую известь, ой, что это, она засасывает, губит меня, я пропал, пропал, ох...

Смотритель Шунг

Дни, словно состарившись в одночасье, еле тянутся. Мы никак не оправимся от потрясения, которое испытали в конце недели.

Как только его повозка остановилась возле нашей башни и он объявил: «Я из Двадцать второго музыкального управления», сердце мое сразу почуяло недоброе. Когда я поинтересовался, что это за Двадцать второе управление и действительно ли они намереваются устраивать концерты для воинов и строителей или показывать им отрывки из опер, он расхохотался и долго не мог успокоиться. «Наше управление этим не занимается», — сказал он.

То, о чем он нам поведал после, было столь удивительно, что мой помощник не выдержал и прервал его. «Неужели это все правда, а может, ты просто потешаешься над нами?» — воскликнул он умоляющим тоном.

Мы слыхали и прежде, что некоторые управления и высокие учреждения, сохраняя свои названия, постепенно поменяли содержание своей деятельности, но чтобы дело дошло до того, что управление флотом начнет заниматься главным образом заготовкой средств для повышения мужской силы императора, а военным флотом станет командовать главный дворцовый евнух, — такое нам и в голову прийти не могло. «И это еще не все, — продолжал он. — Знаете, чем занимается управление медных рудников и всего плавильного производства? А кто ведает внешней политикой? А большими стройками?»

Мы слушали его раскрыв рот, а он, наслаждаясь нашим ошарашенным видом, сам же и отвечал на тот или иной свой вопрос, словно бросая нам подачку. «Тайной слежкой, а также оскоплением будущих евнухов занимается Центральная библиотека», — рассказывал он, понизив голос. И, не давая нам опомниться, поведал о том, что евнухи в императорском дворце сговорились и в последнее время творят что хотят. Они-де скоро вообще захватят власть, и тогда Китай, нашу Поднебесную, Срединную империю, можно будет с полным правом назвать империей Поднебесных скопцов...

Он долго смеялся, потом погрустнел. «Вы смеетесь, потому что не знаете, какой это кошмар», — сказал он, хотя мы не только не смеялись, но сидели с каменными лицами. И все же он и дальше каждую свою фразу начинал со слов «вот вы смеетесь, а...». Выходило, будто бы мы смеемся из-за того, что не осознаем всей глубины бедствия. Откуда нам знать, что оскопление удесятеряет у мужчины жажду власти и так далее и тому подобное.

За ужином, во время которого он много выпил, и особенно после ужина, подгалкиваемый желанием покрасоваться перед нами и покичиться тем, что явился к нам аж из самой столицы, он принялся рассказывать нам о самых страшных тайнах. Было видно, что он большой болтун, однако это ни в коей мере не умаляло смысла того, что он говорил: по всему чувствовалось, что его рассказ абсолютно правдив. Когда заговорили об угрозе с севера, он прямо-таки зашелся от смеха. Война с кочевниками? Неужели же вы, чиновники, так наивны, что поверили этим глупостям? Ремонт Стены? Да он никакого отношения не имеет к войне. Напротив, это первейшее условие тайного соглашения с варварами. Чего вы выпучили глаза? Как раз варвары-то и потребовали ремонта.

— Ой, не надо! — вскрикнул мой помощник, схватившись за голову.

Наш гость заговорил опять, более спокойно. Да, действительно, Китай когда-то возводил Стену для защиты от кочевников, но ведь с тех пор прошло столько времени и столько произошло перемен...

— Изменилось многое, и очень сильно, — продолжал он. — Это правда, Китай долгое время опасался варваров, не исключено, что такое может повториться и в будущем, но ведь бывали и такие времена, когда варвары боялись Китая. Мы живем как раз в такое время. Варвары боятся Китая. Потому-то и требовали, даже настаивали на ремонте Стены.

— Но какой же в этом смысл? — вмешался мой помощник. — Бояться какого-то государства и требовать укрепления его стены... тут что-то не вяжется.

— О небо! — воскликнул гость. — Что вы за люди такие — никакого терпения. Дайте мне объяснить все по порядку... А то вылупили глаза и трещите все время как сороки. Все потому, что не знаете сути дела. А суть эта — опасение, страх, если хотите. Слушайте меня внимательно и попытайтесь понять, что страх, который испытывает Китай, — это совсем не тот страх, какой испытывают варвары, хотя слово одно. Китай страшится разрушительной силы варваров, а варвары — разлагающего влияния Китая. Иначе говоря — его дворцов, прекрасных женщин, его шелка. Для них это означало бы погибель, так же как для Китая — стрелы кочевников и степная пыль. Так что Стена-матушка, построенная, чтобы разделить стороны, служила то одной из них, то другой. Сейчас очередь кочевников...

Желание бросить ему в лицо: «Ах ты, лжец, бахвал, негодяй», пропало у меня окончательно. Чувствовалось, что это правда, как и все, что он говорил. Я смутно помнил из истории завоевание Китая Чингисханом. Он сверг тогда нашу императорскую династию и поставил на ее место своих людей, однако через какое-то время сам же и ополчился на них, убедившись, наверное, что они... разложились. Вспомним министра Ян Жея, осужденного несколько лет назад за то, что сказал однажды, будто династия Мин — если и не вся, то уж по крайней мере в четырех поколениях — по сути, династия монгольская!

Итак, ремонта Стены потребовали варвары. Тимур счел не только бессмысленным, но и просто невозможным завоевание Китая. Там, где терпел поражение китайский меч, побеждал китайский шелк. Вот почему нападению Тимур предпочел закрытие границы. Этим же объясняется и безлюдье, воцарившееся по обе стороны Стены после визита его посланцев. То, что по своему неведению мы считали загадкой или следствием увлечения зеркалами, увеличивающими мужской член, на самом деле было всего лишь выполнением двустороннего соглашения.

Чего я только не передумал за ночь. Государство оказывается всякий раз умнее или глупее, чем мы полагаем. Теперь для меня наполнились новым смыслом обрывки разговоров между чиновниками, что проезжали мимо нас. «Ослабел дух Чингисхана», — говорили побывавшие с каким-то секретным заданием на севере. Мы не придавали значения их словам: у них, у варваров, всегда так — то присмиреют, то снова принимаются буйствовать, обращать на это внимание — все равно что искать какой-то смысл в полетах галок. Однако на сей раз дело обстояло иначе. В серых степях что-то происходило. Чем больше я об этом думал, тем удивительнее мне это казалось. В мире совершалась глубокая перемена. Кочевничество, видно, шло к концу. Именно Тимур, хромой по прихоти судьбы, явился, дабы установить новое равновесие. Великое смешение варварских народов он связал единой верой — исламом, а теперь стремится закрепить их на территории единого государства. Судя по всему, бессмысленное кочевание народов по земле прекратится, хотя неизвестно, хорошо это или плохо, и кто скажет, какое варварство менее опасно — тайное или явное... Тимур представлялся мне столбом, вбитым в самый центр Азии, а вокруг него — кочевые народы, которые не очень-то склонны прислушиваться к его призывам остановить свой безумный бег.

Сквозь бойницу была видна часть Стены, словно перерезанная надвое лунными лучами. Я пытался представить себе, что подумал Тимур, когда ему впервые показали изображение Стены. Наверняка первым его побуждением было смести ее, сровнять с землей и посеять траву на этом месте, чтобы от нее не осталось и следа. Но, размышляя о том, как оградить свое по-монастырски суровое государство от пагубного влияния, он, наверное, пришел к выводу, что лучшего дара свыше, чем эта Стена, нельзя было и пожелать.

Когда на рассвете наш гость садился в повозку, мне захотелось было спросить его, что же это все-таки за Двадцать второе музыкальное управление, но что-то меня остановило. И не столько правила приличия, сколько боязнь услышать от него еще какую-нибудь гадость. «Чтоб тебе пусто было!» — выругался мой помощник вслед повозке, со скрипом продвигавшейся меж двух каменистых насыпей. Мы стояли, уставившись на простиравшуюся перед нами картину, которая за долгие годы так нам опостылела, что и глаза б на нее не глядели. Хотя нет, теперь она представлялась нам иной. «Чтоб тебя перевернуло!» — бранились мы вслед нашему гостю, который опередил нас, перевернув все в наших головах.

Итак, Стена совсем не то, что мы думали. Та, что, казалось, стоит нерушимо и неколебимо, в то время как у ее подножия все меняется и проходит — границы, время, союзы, сам вечный Китай, — в действительности лишь видимость, и все совсем не так. Стена сама подвержена переменам. Коварней, чем женщина, переменчивей, чем облака на небе, она простерла свое гигантское тело на тысячи ли, но это лишь маска, скрывающая ее вероломную сущность.

Дни шли за днями, а на душе у нас было все так же тяжело. Вот когда мы поняли, как прочно мы связаны со Стеной. Мы проклинали ее за неверность, чувствуя, что от этого нам становится еще хуже. Уверения нашего гостя, что придет день, когда она снова будет служить Китаю, были слабым утешением, так же как и его утверждение, что именно в этой переменчивости и заключается, быть может, истинная мощь Стены, да и чем бы она была, оставайся неизменной, — мертвые камни, и только.

Глядя по утрам на нее, покрытую инеем, я не мог отделаться от мрачных мыслей. Что мы все перед нею? Такой же серой и загадочной она останется стоять и тогда, когда не будет уже и самого человечества. И будет себе разрушаться на трупе Китая, подобно браслету на руке моей тетки, которая уже давно покоится в могиле.

Из душевного оцепенения нас вывела гибель кочевника-лазутчика прямо под Стеною. В последние дни он повадился пускать вскачь коня вдоль Стены, так близко от нее, словно желал слиться с нею воедино, и вот ночью разбился об нее, как слепая птица.

Не дожидаясь указаний, мы составили объяснение на случай, если явится комиссия с нашей стороны или от варваров. Когда мы осматривали Стену, забрызганную кровью на протяжении нескольких десятков шагов (уже раненный, всадник, как видно, продолжал свою безумную скачку), я вспомнил про мост где-то там далеко, которому потребовалась жертва. «Боже мой! — подумал я. — Неужели между ними какая-то связь?»

Мне представились пространства, где кочуют предчувствия и откуда приходят к нам предзнаменования. Я снова задумался о тайне опрокинутого изображения моста — одной из многих обманчивых картин этого мира, истинная суть которых всегда остается скрытой от нас.

Кочевник Кутлук

Теперь, когда я оказался здесь и, чтобы передвигаться, мне не нужно ни коня, ни даже птицы, достаточно легчайшего дуновения или проблеска лунного света, словом, теперь, когда я оказался в этом мире, даже больше, чем телесная неуклюжесть земных людей, меня поражает воистину удручающая ограниченность их ума.

Именно ею объясняется, без сомнения, поверхностность их суждений, свидетельством которой может служить (упомяну лишь об одном воплощении людской суетности, тем более что я сам, к сожалению, имел к этому отношение) китайская стена, считающаяся там, на Земле, чем-то великим, хотя на самом деле это всего лишь жалкий заборчик, в особенности если сравнить ее с истинной преградой, каковой является Стена-Праматерь, или, как ее принято называть, Стена Смерти, та, что разделяет жизнь и смерть. Перед нею всякому становится ясно, что все стены и перегородки там, на Земле, — лишь бледные ее подобия.

Не нуждаясь в коне, я прекрасно обхожусь здесь и без знания иностранных языков, без образования и вообще без всего того, что называют цивилизацией. Душам, чтобы общаться между собой, все это совершенно не нужно.

За те несколько мгновений, что длилось мое страшное падение в бездну, когда я разметал свое бедное тело по китайской стене, я успел впитать в себя такие познания, каких на Земле не усвоить и за тысячи лет. К мудрости через ужас — что значат в сравнении с этим все цивилизации и академии, вместе взятые. Думаю, именно в этом основная, если не единственная причина того, почему нам не позволяют вернуться обратно, хотя бы на время. Как видно, боги полагают, что за короткое время мы стали бы властителями Земли, а они этого не желают.

Удивительно, что в большинстве своем души, вспоминая с усмешкой свои злоключения там, на Земле, свои обиды, столкновения и войны, все же жаждут вернуться туда, хоть ненадолго. Некоторым не терпится разоблачить своих убийц, раскрыть какую-то государственную или иную тайну, разгадку которой они унесли с собой, но большинство просто тоскует. К мечте о том, чтобы повидаться с близкими, примешивается, конечно, и желание рассказать им о том великолепии, что окружает нас здесь.

Каждые десять — пятнадцать тысяч лет разносится слух, что откроют выход. Несметными толпами души устремляются к Великой Стене. Ее мрачные башни стерегут безмолвную небесную ширь. Говорят, стражи слепы. А пропускают только в одну сторону: сюда и никогда обратно.

Но мы, взбудораженные слухами, все равно не теряем надежды, что выход откроют. Многие плачут навзрыд. Одного, как он уверяет, уже заждались его близкие, другому просто необходимо посетить храм, чтобы облегчить свою совесть, а кого-то ожидают с нетерпением целые народы. «У нас есть приглашения!» — кричат они, размахивая издалека письмами и справками о том, что их действительно ожидают и ручаются за их возвращение. Мелькают печати академий с королевскими гербами, иные важные печати и даже какие-то непонятные штампы. Но ворота не открываются ни для кого.

Души горячатся и шумят, их ропот поднимается к вершинам башен. «Что же это такое, все как на Земле, — возмущаются они. — Те же косность и... бездушие».

Поскольку и тут речь идет о переходе некоей границы, мы, то есть те, кто и прежде имел дело со стенами и пограничными заграждениями, надеемся, что уж нам-то будет какое-то послабление. Столпившись в сторонке, мы переговариваемся между собой, вспоминая свист пуль, рваные раны от колючей проволоки, тела, распоротые пиками на железной ограде вокруг иностранных посольств. Нам кажется, этого достаточно, чтобы стражи смягчились. Однако очень скоро мы понимаем, что надежды наши тщетны и никаких льгот никому не будет.

Увидев, что даже на нас не обращают ни малейшего внимания, остальные впадают в уныние. Они устало удаляются небольшими группами, но лишь до следующего раза, продолжая надеяться, что когда-нибудь закон смягчится.

В последний раз мне показали в толпе ожидавших некоего Иисуса Христа. Говорят, вот уже в течение долгого времени приходят бесчисленные ходатайства за него, ему даже поют гимны, а символ его, сияющий над церквами, свидетельствует о том, что ни единого из нас не ждут на Земле так, как его.

И все же вряд ли у него есть хоть какая-то надежда. Он кружит под Стеною, как и все остальные, показывая издалека раны от гвоздей, которыми его прибивали к кресту, но стражи как будто ничего не видят. Может быть, они действительно слепы, как говорят.

■

УМБЕРТО ЭКО
Маятник Фуко

РОМАН

Перевод с итальянского Е. КОСТЮКОВИЧ

91

О как прекрасно, что вы развенчали адские секты, готовящие путь Антихристу... Но есть, есть еще одна секта, которую почти не затронули - лишь в самой малой степени.

Письмо капитана Симонини аббату Баррюэлю
«Чивильта каттолика», 21.10.1882

Поведение Наполеона по отношению к евреям оказало огромное влияние на иезуитов, заставило их в корне переменить пропаганду. В «Воспоминаниях» Баррюэля о евреях не было ни слова, ни намека. Но в 1806 году распространяется письмо Баррюэлю некоего капитана Симонини, который сообщает ему, что Мани[1] был евреем, точно так же как и Горный старец, и что масонов основали евреи, и что евреи пронизали собой все секретные организации, существующие на земле.

Письмо Симонини чрезвычайно ловко поставило в трудное положение Наполеона, который как раз тогда обращается к Великому Синедриону. Скорее всего, его обращение взволновало также и павликиан, потому что именно в это время Священный Синод Московской православной церкви возвестил: «Наполеон замыслил ныне объединить всех евреев, которых гнев Господен разметал по лицу земли, чтобы с помощью ненавистников имени христианского и способников его нечестия, ниспровергнуть церковь Христову и похитить священное имя Мессии».

Наш добрый Баррюэль тут же воспринял идею и пришел к выводу, что заговор является не просто масонским, а жидомасонским. Кроме всего прочего, идея подобного сатанинского комплота была полезна для атаки на нового врага - Высокую Венту карбонариев, а через них - на антиклерикалов, боровшихся за объединение Италии, от Мадзини до Гарибальди.

- Но все это происходило в начале прошлого века, - сказал Диоталлеви. - Основная же антисемитская кампания развернулась в его конце, когда были опубликованы так называемые «Протоколы Сионских мудрецов». Эти протоколы возникли в русском ареале. Работа павликиан.

- Разумеется, - подхватил Бельбо. - Как мы чувствуем, на этой стадии иерусалимская группировка расчленена на три ветви. Первая, в лице испанских и провансальских каббалистов, вдохновляет собой неотамплиерские течения, вторая сливается с бэконианской струей и порождает мощный слой

Окончание. Начало в №7, №8, 1995.

[1] Мани (216 - 277) - иранский религиозный философ, вероучитель и пророк, родом из Вавилонии, считавший своими предтечами Зороастра, Будду и Христа. Основоположник манихейства.

ученых и финансистов. Именно против них так злобствуют иезуиты. Но есть еще третий подвид иерусалимитян, именно они волею судеб оказываются в России. Русские евреи большею частью - мелкие торговцы промышляют и дачей денег под залог, поэтому местные крестьяне их недолюбливают. Большая их часть (поскольку еврейская культура - это культура Книги и почти все евреи умеют читать и писать) пополняет собой ряды либеральной и революционной интеллигенции. Павликиане же мистичны, мечтательны, реакционны, накрепко связаны с феодалами-землевладельцами и многие из них пробрались ко двору. Естественно, между ними и иерусалимитянами связей быть не может. Поэтому они заинтересованы в дискредитировании евреев, а через евреев - как они научились у иезуитов - они могут поразить и своих заграничных противников, неотамплиеров и бэкониан.

92

Эти мудрецы решили мирно завоевать мир для Сиона хитростью... Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий пожирает все государственные нееврейские силы по мере их роста. Это же должен он делать и в будущем, при точном следовании предначертаниям плана, до тех пор пока цикл пройденного им пути не сомкнется возвратом главы его на Сион... не сосредоточит в сфере своего круга всей Европы, а через нее и остальной мир....

С. Нилус, *Великое в малом*, перепечатка в сб. «Луч света» 1920

Идея Бельбо показалась нам годной. Оставалось выяснить, кто занес «Протоколы» в Россию.

Один из наиболее влиятельных мартинистов конца прошлого века, Папюс, обратил Николая II во время его визита в Париж, потом отправился в Москву и привез с собою некоего Филиппа - Филиппа Низье Ансельма Вашо. Тот, одержимый дьяволом в возрасте шести лет, в возрасте тринадцати - целитель, лионский магнетизер, очаровал как Николая, так и его истеричку жену. Филипп был принят при дворе, назначен врачом при Петербургской военной академии, генералом и статским советником.

Тогда его противники решают противопоставить ему личность не менее харизматичную, с тем чтобы подорвать его престиж. И тут всплывает Нилус.

Нилус был бродячим монахом, который в иноческом одеянии бродил (естественно: что еще делать бродячему?) по лесам, тряся пророческою бородою, имел двух жен, одну дочку и одну ассистентку - или же любовницу, - и вся компания заслушивалась его пророчествами. Отчасти вождь народа, из тех, которые потом сбегают вместе с кассой, отчасти бесноватый, типа тех, кто кричит, что «конец уже близок». И действительно, его идефикс являлись происки Антихриста.

План тех, кто решил воспользоваться Нилусом, состоял в том, чтобы рукоположить его в попы, с тем чтобы далее поженить (женой меньше, женой больше) на Елене Александровне Озеровой, придворной даме царицы, и сделать исповедником монаршей четы.

- Я человек незлой, - сказал на это Бельбо, - но у меня складывается впечатление, что ликвидация царской фамилии была чем-то вроде дезинфекции от тараканов.

В общем, в какой-то момент споспешники Филиппа обвиняют Нилуса в распутстве, и Бог судья, так ли уж они неправы. Нилусу пришлось оставить придворную жизнь, и тут кто-то пришел ему на помощь, подсунув текст «Протоколов». Поскольку никто не в состоянии был отличать мартинистов (последователей Сен-Мартена) от мартенистов (последователей Мартена де Паскуалли, того самого, которого не любил Алье) и поскольку Паскуалли, согласно расхожему слуху, был евреем, - дискредитируя евреев, можно было дискредитировать мартинистов, а дискредитируя мартинистов, ликвидировать Филиппа.

Ради этого и был опубликован первый, неполный вариант «Протоколов» в 1903 году, в газете «Знамя», которую редактировал воинствующий антисемит Крушеван. В 1905 году, с благословения государственной цензуры, этот первый вариант, дополненный, был перепечатан в книге «Причина наших зол», изданной, как принято считать, неким Бутми, - Бутми вместе с Крушеваном участвовал в основании «Союза русского народа», более известного как черные сотни, в «Союз» вербовали уголовных преступников, а занимались они погромами и правотеррористскими покушениями. Бутми еще не раз публиковал этот текст, теперь уже под собственным именем, под заглавием «Враги рода человеческого - Протоколы происходящие из тайных архивов Центральной канцелярии Сиона».

Но это все только подступы, пробы пера. Полное же издание «Протоколов», которое будет переиздано потом во всем мире, выходит в 1905 году в книге Нилуса «Великое в малом: Антихрист. Близ есть, при дверях», Царское село, издано под эгидой тамошнего отделения Красного Креста. Нарративное обрамление представляет собой широкую мистическую перспективу. Книга оказывается в руках царя. Митрополит Москвы предписывает ее чтение во всех московских церквах.

- Но как связаны, - спросил я, - эти протоколы с нашим Планом? Если действительно предположить, что они имеют значение, читать их, что ли?

- Нет ничего проще, - отвечал Диоталлеви. - Они всегда в продаже, не в одном, так в другом магазине. Их постоянно перепечатывают. Как бы с возмущенным пафосом, из чувства исторического долга, но в конечном счете, даже с удовольствием.

93

> У нас нет соперников... Одни иезуиты могли бы с нами сравняться, но мы их сумели дискредитировать в глазах бессмысленной толпы, как организацию явную, сами со своей тайной организацией оставшись в тени.
>
> *Протоколы*, V

Протоколы - цикл из двадцати четырех программных заявлений, приписываемых Сионским Мудрецам. Намерения этих Мудрецов выглядят довольно противоречиво, то они желают упразднить свободу печати, то разжигают либертинские настроения. Они критикуют либерализм, но при этом замышленные ими действия соответствуют шаблону, который обычно в представлении левой прессы эквивалентен программе международного капитала, включая такие элементы, как использование спорта и школ для оболванивания широких масс. Они раскрывают технику достижения мирового господства, восхваляют могущество золота. Намереваются способствовать революциям в различных странах, играя на имеющемся недовольстве и мороча народ либеральными идеями, но они же желают и поддерживать неравноправие. Они рассчитывают установить повсюду президентские правительства, по сути - марионеточные в руках Мудрецов. Они собираются разжигать войны, увеличивать производство оружия и (как справедливо указывал Салон) строить метрополитены (подземки!) для того, чтобы иметь возможность заминировать большие города.

Они заявляют, что цель оправдывает средства, и стремятся усугубить антисемитизм как ради того, чтобы самим держать в кулаке бедных евреев, так и для того, чтобы разжалобить иноверцев немыслимыми еврейскими мучениями (способ расточительный, говорил Диоталлеви, но эффективный). Они безыскусно признают, что «нам свойственны неудержимыя честолюбия, жгучия жадности, безпощадныя мести, злобныя ненависти» (пример изысканного мазохизма, ибо тем самым досконально воспроизводится расхожее клише о злобном еврее, давно вошедшее в арсенал антисемитской прессы и украшающее собою обложки всех до одного изданий данного текста), а еще они требуют отменить изучение классической литературы и древней истории.

- В общем, - подытожил Бельбо, - Сионские мудрецы, это команда мудозвонов.

- Не все так думают, - сказал Диоталлеви. - Эту книгу воспринимали более чем серьезно. Меня другое удивляет. Выдавая себя за еврейский глобальный заговор, насчитывающий много столетий, они тем не менее пикируются исключительно с мелкими французами конца прошлого века. Я уверен, что намек на «наглядное обучение», призванное оглуплять народную массу, относится к программе народного просвещения Леона Буржуа, у которого в правительстве было девять масонов. В другом отрывке предлагается избирать на государственные должности людей, скомпрометированных в панамской афере; скорее всего, это - в огород Эмиля Лубе, который в 99-м становится президентом Франции. Разглагольствования о метро восходят к тому факту, что в конце века правые газеты возмущались тем, что в Компани дю Метрополитен было слишком много акционеров-евреев. Поэтому можно предположить, что этот текст составлен во Франции в последнее десятилетие девятнадцатого века, одновременно с делом Дрейфуса, с целью скомпрометировать либеральный фронт.

- Меня удивляет вовсе не это, - перебил его Бельбо, - а déjà vu[1]. Смак всей истории в том, что рассказывается тайная программа завоевания мира, а мы эту программу уже знаем. Попробуйте убрать указанные Диоталлеви отсылки на реалии прошлого века, заменить подземелья метро подземельями Провэна, и всякий раз вместо слова еврей пишите тамплиер, и всякий раз вместо Сионских Старичков пишите Тридцать шесть невидимок... Ребята, это вылитое Провэнское завещание!

94

Вольтер сам умер иезуитом: а было ли у него хоть малейшее подозрение?

Ф. Н. де Боннвиль,
Иезуиты гонимые масонами и кинжал их, сломленный масонами
F. N. de Bonneville, *Les Jésuites chassés de la Maçonnerie et leur poignard brisé par les Maçons*, Orient de Londres, 1788, 2, p. 74

У нас все было перед самым носом. Сколько же времени нам понадобилось, чтоб понять очевидное! Все очень просто: в течение шести столетий шесть групп бились за осуществление Провэнского плана, и каждая группа знала идеальную схему этого плана, и каждая группа считала, что схему выполняют ее неприятели!

После того как розенкрейцеры показались во Франции, иезуиты вывернули их план наизнанку: дискредитируя розенкрейцеров, они опосредованно били по бэконианам, то есть по нарождающемуся английскому масонству.

Когда иезуиты изобрели неотамплиерство, маркиз де Люше заявил, что-де неотамплиеры и есть исполнители Плана. Тогда иезуиты решили избавиться и от неотамплиеров, а для этого использовать Баррюэля; скопировали в его книге план того же самого Люше, но только приписали План всем франкмасонам вместе взятым.

Контрнаступление бэкониан. Проанализировав тексты либеральной, антиклерикальной полемики, мы можем убедиться, что все, начиная от Мишле и Кине и кончая Гарибальди и Джоберти, - все приписывали знание Плана иезуитам (может быть, эта идея исходила от тамплиера Паскаля и его товарищей). Эта тема сделалась особенно популярной по выходе «Вечного жида» Эжена Сю, где имеется удачный персонаж - коварный месье Роден, квинтэссенция иезуитского мирового заговора. Обратившись к творчеству Сю, мы, кстати, обнаружили там еще более драгоценный материал: текст, казавшийся переписанным (но на самом деле с опережением на пятьдесят лет) с «Протоколов», слово в слово. Речь идет о последней главе «Народных тайн». Здесь дьявольский замысел иезуитов объясняется во всех его преступных деталях в некоем документе, который отправляет генерал ордена

[1] Уже виденное, повторение (*франц.*).

Руутаан (лицо историческое) месье Родену (герой, перешедший из «Вечного жида»). Рудольф фон Герольштейн (персонаж, перешедший из «Парижских тайн») завладевши документом, передает его демократам: «Вы видите, дорогой Лебрен, как искусно сплетена эта адская интрига, какие чудовищные несчастья, какое невыносимое засилье, какой ужасный деспотизм сулит она Европе и миру, если к несчастью окажется проведенной в жизнь».

Неотличимо от предисловия Нилуса к «Протоколам». Тот же Сю приписывал иезуитам девиз, который в «Протоколах» приписывается евреям - «Цель оправдывает средства».

95

Нас не должны просить умножать доказательства, ибо вполне очевидно, что эта степень розенкрейцерская была хитроумно введена начальниками масонства... Самая сущность ее доктрины, ее ненавистничества и ее святотатственного обращения к учению каббалы, гностиков и манихеев свидетельствует о принадлежности ее авторов - то есть о том, что это евреи-каббалисты.

Монс. Леон Мерэн (Братство Иисуса),
Франкмасонство - синагога Сатаны
Mons. Léon Meurin, S.J., *La Franc-Maçonnerie, Synagogue de Satan*, Paris, Retaux, 1893, p. 182

/.../Все сходилось, как ни крути, на плане иезуитов и на его истоке - провэнском завещании. Какие-то мелочи, несущественные отклонения. Как же, как же мы привяжем План к «Протоколам»? Или, может, заявить, что «Протоколы» сложились как миф, сами собой? Что одна и та же абстрактная легенда о заговоре мигрировала из страны в страну, почти не изменяясь?

Мы уже было отчаялись найти недостающее звено, которое связало бы нашу замечательную концепцию с Нилусом, как наконец на нашем горизонте замаячил Рачковский, начальник кошмарного Охранного отделения, тайной полиции царя.

96

Прикрытие всегда необходимо. В скрытности - большая часть нашей силы. Поэтому мы должны всегда укрываться под именем какого-либо иного общества.

Новейшие работы Спартака и Филона в ордене Иллюминатов
Die neuesten Arbeiten des Spartacus und Philo in dem Illuminaten-Orden, 1794, p. 165

Именно в эти дни, перечитывая наших любимых одержимцев, мы выяснили, что граф Сен-Жермен среди прочих своих псевдонимов именовался также Ракоши, по крайней мере именно так называет его посол Фридриха II в Дрездене. А ландграф Гессенский, при дворе которого Сен-Жермен якобы скончался, утверждал, что граф был трансильванского происхождения и прозывался Рагоцкий. К этому в рукописи добавлялось, что Коменский посвятил свою «Пансофию» (произведение явно розенкрейцерского толка) некоему ландграфу (ландграфов в этом исследовании хватало) по фамилии Раговский. Последний кусочек смальты: я лично, копаясь у букиниста на Замковой площади в Милане, нашел немецкое сочинение о масонстве, анонимное, в котором рука неизвестного приписала изнутри на крышке переплета, что настоящим автором этого труда является Карл Авг. Раготский. Учитывая, что Раковски была фамилия того невыясненного индивида, который, похоже, укокошил полковника Арденти, становилось ясно, каким образом мы сумеем нанизать на шампур Глобального Заговора и нашего дорогого графа Сен-Жермена.

- А не слишком много чести проходимцу? - озабоченно переспросил Диоталлеви.

- Нет, нет, - отвечал Бельбо, - он сюда полагается. Как соевый соус в китайской кухне. Нет соевого соуса - кухня не китайская. Посмотрите на Алье, он в этих делах съел собаку. Не подделывается же он под Калиостро или Виллермоза. Сен-Жермен - квинтэссенция Гомо Герметикуса! Г... в квадрате!

Петр Иванович Рачковский. Жизнерадостен, напорист, вкрадчив, разумен и хитер, гениальный очковтиратель. Мелкий функционер - связывается с революционными группами - в 1879-м арестовывается тайной полицией с обвинением укрывательства друзей-террористов, покушавшихся на генерала Дрентельна. Переходит на сторону полиции и записывается (ах вот как!) в черную сотню. В 1890 году изобличает в Париже организацию, которая фабриковала бомбы для русских покушений, и ухитряется арестовать на русской территории не менее шестидесяти трех террористов. Через десять лет вскроется, что все бомбы были сделаны его людьми.

В 1887 году распространяется письмо некоего Иванова, покаявшегося революционера, который заверяет, что большинство террористов - евреи. В 1890 году появляется еще одна «исповедь старого революционера», обвиняющая революционеров, эмигрировавших в Лондон, в том, что они британские агенты. В 1892 году выходит фальшивка якобы от имени Плеханова, утверждающая, что предыдущий документ был инспирирован руководством «Народной воли».

В 1902 году предпринимаются попытки учредить франко-русскую антисемитскую лигу. Для успеха предприятия Рачковским применяется техника наподобие розенкрейцерской. Он пускает слух, будто подобная лига существует, и начинает ждать, чтобы кто-нибудь ее создал. Но он использует и другую тактику: умело перемешивает вымысел с правдой, и поскольку правда, на первый взгляд, работает ему во вред, никто не сомневается в истинности вымысла. Он пускает гулять по Парижу загадочное обращение к французам с призывом поддержать Патриотическую Русскую Лигу, основанную в Харькове. В этом обращении он указывает на себя самого как на предположительного противника этой лиги и увещевает себя самого, Рачковского, переменить позицию. В частности он обвиняет себя самого в использовании компрометантных фигур, таких как Нилус, что чистая правда.

На каком основании «Протоколы» могут быть атрибутированы Рачковскому?

Покровителем Рачковского был министр Сергей Витте, прогрессист, пытавшийся превратить Россию в современную страну. За каким чертом прогрессисту Витте понадобилось опираться на реакционера Рачковского, знает только Господь, но мы уже ничему не удивлялись. У Витте имелся политический противник, некий Илья Цион, издавна атаковавший его публичными заявлениями, больше всего напоминавшими пассажи из «Протоколов». Но в писаниях Циона не было намеков на еврейскую угрозу, да и откуда им быть - он сам был крещеным евреем. В 1897 году по приказу Витте Рачковский проводит обыск на даче у Циона в Териоках и находит памфлет Циона, своей идеей восходящий к книге Мориса Жоли «Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли», которую принято считать прототипом «Сионских мудрецов». Частично в памфлете присутствует и материал Эжена Сю. Витте приписываются воззрения «Макиавелли» - Наполеона III. Рачковский - не зря он гений фальсификации - заменяет Витте на евреев и широко распространяет текст. Имя Циона великолепно подходит для данной цели, пробуждая аллюзии со словом Сион. В этом случае слово дано крупному деятелю еврейской науки и политики, предостерегающему от еврейского же заговора. Так и рождаются «Протоколы». Вскорости этот текст попадает в руки некоей Ульяны или Устиньи Глинки, которая связана в Париже с кругом мадам Блаватской. В свободное от работы время она доносит на русских революционеров, эмигрировавших во Францию. Безусловно, Глинка - агент павликиан, павликиане связаны с аграриями и в их интересах убеждать царя, что программы Витте соответствуют программам международного заговора евреев. Глинка доставила доку-

мент генералу Оргеевскому, а тот через командующего императорской гвардией передал его прямо в руки самому царю. У Витте начались неприятности.

Таким манером Рачковский в своем антисемитском раже добился - чего же? Немилости для своего же покровителя. А вслед за этим и для себя. И действительно, вскоре после этого его следы теряются. Сен-Жермен, по всей очевидности, двинулся дальше, к новым переодеваниям, перевоплощениям. А наша история приобрела приятный, симметричный абрис, потому что она дополнительно оперлась на целый комплекс фактов, истинных - говаривал Бельбо - не менее, чем истинен Бог.

Все это мне приводит на память Де Анджелиса с его синархией. Красота всей этой истории - нашей истории, я хочу сказать, но вполне вероятно, и Истории, о которой рассуждает Бельбо с лихорадочным взором, с расчетами в руках, - красота в том, что группировки, борющиеся между собой не на жизнь, а на смерть, изничтожают друг друга, используя каждая оружие своего противника. - Первый долг настоящего шпиона, - подытоживал я, - это ославить шпионами тех, к кому его заслали.

Бельбо сказал мне на это: - Я помню один случай в ***. На закате в долине я почти всегда видел, на черной машине «Балилла», некоего Ремо, может, какое-то похожее имя. Черные усы, черные кудри, черная рубашка, черные зубы - гнилые до невероятия. Он целовал девушку. Мне было брезгливо думать о черных зубах, которые целовали такую белую, такую милую вещь, не помню даже ее лица, но она была дева и блудница, иначе говоря вечная женственность. И я содрогался в душе своей. - Он мгновенно перешел на дурашливо-высокий штиль, чтоб затушевать трогательность воспоминания. - И в душе вопрошал без устали, отчего этот Ремо, чернобригадник, шляется без всякого страха по округе даже тогда, когда *** не занято фашистами. Мне на это отвечали, что о нем поговаривают, будто он заслан партизанами. Верьте не верьте, но однажды я выхожу и вижу ту же черную Балиллу и те же черные зубы, и ту же целуемую блондинку, но одет он был уже в красный галстук и в зеленую униформу. Он перешел в гарибальдийскую бригаду, и все его обнимали и у него было новое имя, боевая кличка Иксдевять, как у героя Алекса Раймонда, о котором он читал в «Вестнике приключений». Молодчина Иксдевять, кричали все, а я ненавидел его еще пуще, потому что он теперь обладал девицей по всенародному мандату. Однако кое-кто поговаривал, что он был фашистским шпионом, засланным к партизанам, думаю, что поговаривали те, кто завидовал ему из-за этой девицы, в общем, разговоры были и Иксадевять подозревали...

- Чем же кончилось?

- Простите, Казобон, почему вас так интересуют мои дела?

- Потому что они приняли форму рассказа, а рассказ есть коллективное воображаемое.

- Хорошо излагаете. Ладно. Однажды с утра Иксдевять вышел за пределы околотка, может быть, он назначил девице свидание в лесочке, может быть, он наконец собрался с духом выйти за пределы вечного жалкого петтинга и показать ей, что его мужской прибор не настолько дупловат, как зубы, - извините, но я до сих пор не в состоянии его любить, - в общем, фашисты его зацапали, отвезли в город, и на следующий день, в пять утра на рассвете, расстреляли.

Пауза. Бельбо смотрел на свои руки, пальцы были соединены как на молитве. Потом он развел их и продолжил: - Он доказал, что не был заслан фашистами.

- Мораль басни?

- Все басни обязаны иметь мораль? Тогда, наверное, так: что для того, чтоб доказать что-набудь, лучше всего умереть.

106

Список № 5: шесть маек, шесть пар подштанников и шесть носовых платков - до сих пор продолжает интриговать ученых: почему не занесены носки?

Вуди Аллен, *Список Метгерлинга*, в сб.«Сводя счеты»
Woody Allen, *Getting Even*, N.Y., Random House, 1966, «The Metterling List», p.8

Примерно в это же время, около месяца назад, Лия решила, что мне необходимо отдохнуть. Не меньше месяца. У меня загнанный вид, как выразилась она. Наверное, План меня измотал. И нашему ребенку, по терминологии бабушек, требовался воздух. Мы взяли у друзей ключи от их домика в горах.

Мы отправились не сразу. Надо было закончить дела в Милане, и к тому же Лия сказала, что нет лучше отдыха, чем дома, когда уверен, что скоро уедешь отдыхать.

В эти дни я впервые заговорил с Лией о Плане. До того она слишком была занята ребенком. Ей было известно только в общих чертах, что мы с Бельбо и Диоталлеви разгадываем какой-то кроссворд, корпим днями и ночами, но подробности я ей не рассказывал, особенно после того как она прочла мне лекцию о психозе совпадений. Наверное, мне было немножко стыдно.

Теперь же наконец я изложил ей План во всех мельчайших подробностях. Она знала о трагедии с Диоталлеви, и я не мог отделаться от ощущения вины, как будто бы я совершил что-то недозволенное, поэтому, рассказывая, я постоянно подчеркивал, чем это все является в конечном счете: бравада, игра.

Лия сказала: - Пиф, мне эта история не нравится.

- А разве не красиво?

- Сирены тоже были красивые. Послушай. Что ты думаешь о своем подсознательном?

- Ничего. Даже неизвестно, есть ли оно вообще.

- Вот именно. Началось с того, что один венский бездельник для развлечения приятелей выдумал кучу Эгов, Суперэгов и Оно, серию снов, которых никто никогда не видел, и ораву маленьких Гансов, которых не было на свете. К чему это все привело? Миллионы людей с готовностью превратились в невротиков. Тысячи других людей пользовались и пользуются этим для личного обогащения.

- У тебя, Лия, мания преследования.

- Не у меня, а у тебя самого.

- Хорошо, у нас у обоих мания преследования, но хотя бы с одним фактом ты не можешь не согласиться. Мы исходили из записки Ингольфа. Извини, когда у тебя оказывается в руках завещание тамплиеров, хочется расшифровать его, нет? Может быть, мы немножко утрировали. Хотелось позлить всех прочих расшифровщиков... Но послание-то налицо.

- Начнем с того, что налицо только то, что ты знаешь от своего Арденти, который классический врун и мошенник. И вообще это ваше послание, посмотреть бы еще на него.

- Нет ничего проще, вон в верхней папке.

Лия взяла листок, просмотрела его спереди и сзади, наморщила нос и отодвинула челку, чтобы получше разглядеть первую шифрованную половину. Потом она спросила:

- Это все?

- А тебе мало?

- Мне вполне хватит. Мне надо два дня на это дело. - Когда Лия заявляет, что ей требуется два дня, обычно это для того, чтобы продемонстрировать, что я балбес. Я говорю, что это плохая привычка, но она отпирается: - Если я убеждаюсь, что ты действительно балбес, и все равно тебя люблю, значит, это настоящее чувство.

В течение двух дней мы к этой теме не возвращались, да по правде сказать, Лии почти что не было дома. Вечерами она сидела скорчившись в углу и

что-то писала, а потом рвала.

Потом мы отправились в горы. Наш сын целый день барахтался на лужайке, вечером Лия уложила его спать, приготовила ужин и велела мне есть как следует, потому что я худ как скелет. После ужина она попросила смешать ей двойной виски, много льда и мало соды, закурила сигарету, что она делает очень редко, и произнесла речь.

- Дорогой Пиф, сейчас я попробую доказать тебе, что самые простые объяснения - всегда правильные. Этот ваш полковник сказал, что Ингольф нашел послание в Провэне. Не будем подвергать сомнению посылку. Пусть действительно он спустился в подземелье и действительно откопал вот это, - и она постучала пальцем по французским строкам. - Но никто не доказал, что он добыл там шкатулку, осыпанную бриллиантами. Согласно записям Ингольфа, он продал какой-то ларец. Почему бы и нет, старая вещица, ему могли заплатить совсем немного, ниоткуда не следует, что он жил потом на эти деньги. Наверное, имел какую-то ренту.

- А почему шкатулка, по-твоему, была дешевая?

- Потому что внутри в ней находилась обыкновенная товарная квитанция! Смотри же сам, давай посмотрим вместе ваш священный тамплиерский текст!

a la .... Saint Jean
36 p charrete de fein
6... entiers avec saiel
p.... les blancs mantiax
r... s... chevaliers de Pruins pour la ... j. nc.
6 fois 6 en 6 places
chascune fois 20 a ... 120 a...
iceste est l'ordonation
al donjon li premiers
it li secunz joste iceus qui ... pans
it al refuge
it a Nostre Dame de l'autre part de l'iau
it a l'ostel des popelicans
it a la pierre
3 fois 6 avant la feste ... la Grant Pute

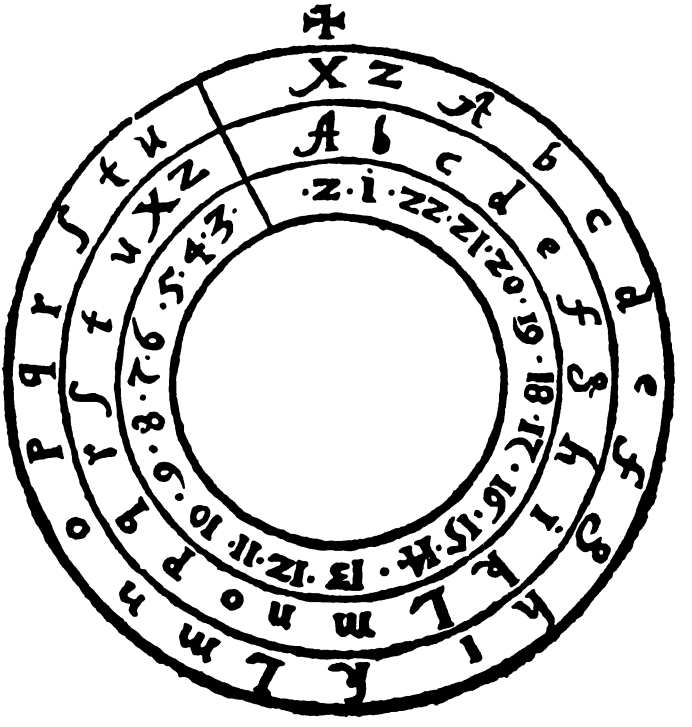
- Ну?

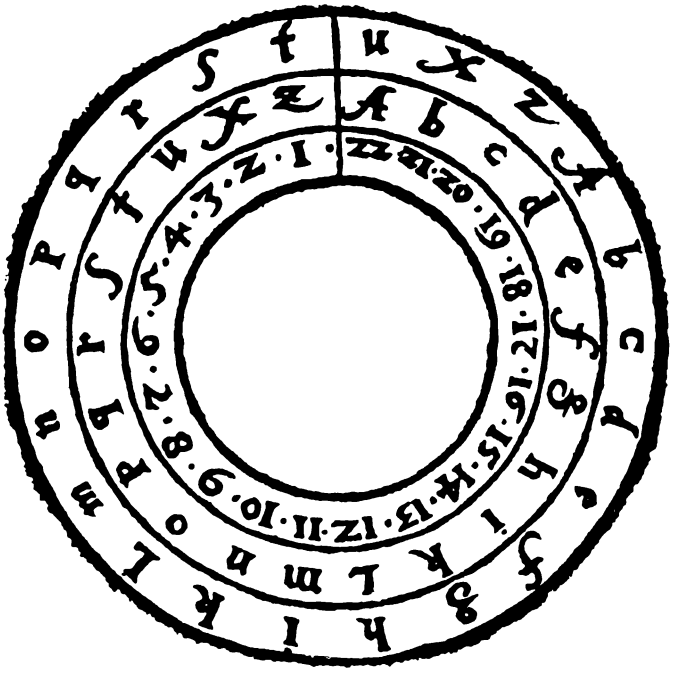
- Господи, ну почему вам не пришло в голову хотя бы раз взять в руки путеводитель по этому самому Провэну? Первое, что там сообщается - что здание Гранж-о-Дим, в котором была найдена записка, это было место традиционного сбора купцов, а Провэн являлся главным центром знаменитых шампанских ярмарок. Здание Гранж-о-Дим стоит на улице Святого Иоанна. В Провэне торговали чем угодно, но особенно бойко - сукнами, которые назывались draps или dras, и каждая штука запечатывалась печатью - гарантией качества. Второй специализацией Провэна были розы, алые розы, завезенные крестоносцами из Сирии. Такие знаменитые, что когда Эдмон Ланкастер женился на Бланке д'Артуа и принял титул графа Шампанского, он выбрал своим гербом алую розу Провэна, откуда и происходит война Алой и Белой розы, поскольку у Йорков на щите была белая.

- Откуда ты все это знаешь?

- Из буклета, изданного туристским бюро Провэна и который дают даром в туристском агентстве. Но это не все. В Провэне имеется замок под названием Донжон, а также есть Хлебные ворота - Porte-aux-Pains, - есть Церковь Прибежища - Eglise du Refuge, - есть, как легко догадаться, целый ряд церквей, называющихся Нотр-Дам, по ту и эту стороны реки, а также была, а может быть, есть до сих пор улица Круглого Камня - там была установлена «налоговая плита», и туда подданные короля сносили десятинные деньги. Есть улица Белых Плащей и, наконец, улица Grande Putte Muce, нетрудно понять происхождение названия, проще говоря - квартал борделей.

- А попликане?





- А в Провэне была община катаров, которых потом, как положено, всех сожгли. Даже и главный инквизитор происходил из них же, из покаявшихся катаров, Роберт Похотливец. Поэтому не удивительно, что имелось в городе какое-то место, связанное с памятью катаров - павликиан - попликан, а особенно после того как катаров ликвидировали.

- Но в 1344 году их еще не ликвидировали...

- Да с чего же ты взял, что бумага восходит к 1344 году? Твой полковник предлагал читать «через тридцать шесть лет после сенного воза». Действительно в то время сокращение «р» с апострофом означает «post» - «после», но если «р» без апострофа, это значит «pro» - то есть «за». Написал эту бумажку обыкновенный купец, и содержится в ней попросту перечень сделок на ярмарке, на улице Святого Иоанна (а вовсе не в Иванову ночь), и тридцать шесть - это тридцать шесть сольдов, денье или какие у них там ходили деньги, что являлось сговоренной ценой одной или каждой телеги сена.

- А как же сто двадцать лет...

- Почему «лет»? Из-за сокращения «а»? Я взяла словарь сокращений и увидела, что в ту эпоху употреблялся особый значок для аббревиатуры «денье» или «динариев» - в одном написании похоже на дельту, а в другом на тэту, в общем неподготовленный человек легко принимает это за «а», в особенности если он уже где-то читал насчет ста двадцати лет, в любом попавшемся очерке по розенкрейцерству, «post 120 annos patebo!» Ну а после этого... полковника уже понесло. «It» он читает как «iterum», хотя «iterum» сокращали «itm», а «it» могло означать только «item», иначе говоря «то же самое», и широко используется в повторяющихся списках. Купец, по всей видимости, должен был развезти клиентам букеты провэнских роз, вот что значит строка «r... s... chevaliers de Pruins». А там, где полковник видел vainjance (потому что искал рыцаря мщения - Кадоша), разумнее читать joinchée - «турнир». Розы употреблялись для украшения головных уборов, из них делали цветочные ковры для представлений и праздников. Вот как я предлагаю читать завещание тамплиеров:

На улице Св. Иоанна
по 36 грошей за повозку сена.
Шесть новых штук сукна, с печатями
на улицу Белых Покрывал.
Розы крестоносцев для турнира:
шесть букетов по шесть в шесть мест,
за каждый 20 денье, итого 120 денье.
Заказы таковы:
сначала в Замок.
То же к Хлебным Воротам,
то же к Церкви Оплота,
то же к Церкви Богоматери за рекой,
то же к старому дому павликиан,
то же на улицу Круглого Камня.
И три букета по шесть перед этим праздником в квартал куртизанок,
потому что и им, бедняжкам, тоже хочется нарядиться на праздник, украсив цветами шляпки.

- Ох, - сказал я. - По-моему, ты права.

- Права, права. Товарный чек и никаких сомнений.

- Погоди. Пускай товарный чек. Но шифрованное сообщение ведь говорит о тридцати шести неуловимых.

- Совершенно верно. Вашу квитанцию я разобрала за полчаса, а над чертовой шифровкой провозилась два дня. Пришлось заказывать Тритемия в библиотеке. Сначала я пошла в Амброзиану, потом в Тривульциану, и там и там меня, как полагается, протомили бог знает сколько времени - ты знаешь, чего стоит получить книгу в отделе редкостей. В конце концов все оказалось довольно просто. Прежде всего, очевидно, что «les 36 invisibles separez en

six bandes» - это не тот французский язык, на котором писал купец. Вы ведь сами обратили внимание на то, что это выражение использовано в памфлете семнадцатого века, когда розенкрейцеры появляются в Париже. Но дальше вы рассуждаете в точности как любимые вами «одержимцы»: сообщение зашифровано по Тритемию, значит, Тритемий заимствовал метод у тамплиеров, а если у тамплиеров есть фраза, бытовавшая в розенкрейцерских кругах, значит, план, приписываемый розенкрейцерам, на самом деле изобретен тамплиерами. Что сделал бы любой здравомыслящий человек? Перевернул ваше рассуждение. Если послание зашифровано по Тритемию, значит, оно создано после Тритемия. Если в нем использованы выражения семнадцатого века - оно написано после семнадцатого века. Какова самая простая гипотеза? Что Ингольф, разгадывая провэнскую запись и будучи, как впоследствии и полковник, помешан на герметизме, из сочетания тридцати шести и ста двадцати немедленно вообразил себе розенкрейцеров. А будучи помешан еще и на тайнописи, он начал баловаться переводом найденного им текста на язык Тритемия. Это простое упражнение. Он взял криптосистему Тритемия и записал свою любимую розенкрейцерскую фразу.

- Остроумно, но не более доказательно, чем конъектуры полковника.

- Хорошо. Смотри, смотри дальше. Сама-то абракадабра, использованная Ингольфом, не взята непосредственно из Тритемия! Да, слова выдержаны в том же любимом ассиро-вавилонском-каббалистическом вкусе, но сами слова не те. Так, может быть, Ингольфу нужны были определенные буковки и на втором, и на третьем, и на четвертом местах? Может, он захотел перепижонить самого Тритемия? Я довольно долго крутила разные ободочки этих его колесиков, потом, слава богу, догадалась./.../Посмотри на текст, я подчеркнула в нем буквы, которые он использовал - первую, третью, шестую:

Kuabris Defrabax Rexulon Ukkazaal Ukzaab Urpaefel Taculbain Habrak Hacoruin Maquafel Tebrain Hmcatuin Rokasor Himesor Argaabil Kaquaan Docrabax Reisaz Reisabrax Decaiquan Oiquaquil Zaitabor Qaxaop Dugraq Xaelobran Disaeda Magisuan Raitak Huidal Uscolda Arabaom Zipreus Mecrim Cosmae Duquifas Rocarbis

- Первое колесико и вся последовательность первых букв - это мы уже знаем от полковника. А теперь посмотри, что получается, если выписать подряд все третьи буквы и прочитать их через второе колесико: «chambre des demoiselles, l'aiguille creuse...»

- Погоди, я это знаю, это же...

- En aval d'Etretat - La Chambre des Demoiselles - Sous le Fort du Frélossé - Aiguille Creuse[1]. Фраза, которую расшифровывает Арсен Люпен, раскрывая тайну Полого Шпиля! Помнишь, в Этрета на берегу моря возвышается Полый Шпиль - природой созданная крепость, в которой можно жить внутри, и там что-то связано с тайным оружием Юлия Цезаря, которым он завоевал Галлию, а потом оно перешло к французским королям. Источник сверхъестественного могущества Арсена Люпена. Как известно, люпенологи никак не могут забыть об этом тайном оружии, обшарили все в этом Этрета, ищут подземелья, анаграммируют каждое слово в книгах Леблана...

- Ну, мои одержимцы сказали бы на это, что значит, еще тамплиеры знали тайну полого шпиля, а Леблан ее прознал от кого-то... Послание могло быть написано в четырнадцатом веке...

- Да-да, я была к этому готова. Но, слава богу, есть еще шестые буквы. Попробуем первое-второе-третье колесико. С помощью третьего появляется связный текст! Пожалуйста: merde j'en ai marre de cette steganographie. «Я уж охренел от этой стеганографии». Это тоже написано в четырнадцатом веке? Нет, мой бедный Пифчик, Ингольф заигрался, как и вы, а идиот полковник принял эту игру за чистую монету.

- Но почему же тогда Ингольфа убрали?

- А откуда известно, что его убрали? Ингольфу надоело сидеть в Оксере, смотреть на провизора и на плаксивую дочку. Он мог податься в Париж, перепродать парочку старых книжек, найти себе вдовушку... Сколько людей выходит в ларек за папиросами и не возвращается к жене.

[1] Пониже Этрета - Комната Дев - Под фортом Фрелоссе - Полый шпиль (*франц.*).

- А полковник куда провалился?

- Да ведь и в полиции не знали точно, убили его или нет. Может быть, после очередного мошенничества ему пришлось срочно делать ноги. Сейчас его фамилия Дюпон и он стоит продает Эйфелеву башню американскому туристу.

Я не мог сразу сдать все позиции. - Лия. Пускай послания тамплиеров вообще не было. Так ведь тем более изумительный План мы сочинили! Мы ведь сами говорили, что это фантазия! Но разве она не чудесна?

- Он не чудесен, ваш План. Он чудовищен. У людей не возникает желания снова сжигать Трою после чтения Гомера. После Гомера возникает чувство, будто пожара Трои как бы никогда не бывало, никогда не будет - или, можно сказать, он «будет быть» всегда. У Гомера множество смыслов, именно благодаря тому, что Гомер ясен, прозрачен. А твои розенкрейцерские манифесты не ясны и не прозрачны. Это утробное урчанье, а прикидывается речью. Сколько народу разбирало эту речь, столько раз находили в ней что хотели. В Гомере нету тайн. В вашем Плане тайны есть, да еще в нем полно противоречий. Поэтому тысячи дураков поверят в ваш план, их вера будет крепче меди. Выбросьте все, и поскорее. Гомер не мухлевал. Вы мухлюете. Вас послушаются все. Никто не слушал Земмельвайса[1], когда тот говорил врачам дезинфицировать руки перед тем как браться за рожениц. Он говорил неинтересно. Люди охотнее верят в лосьоны против лысины. Люди инстинктивно чувствуют, что в таком лосьоне сочетаются взаимоисключающие реальности, что в нем отсутствует логика и отсутствует честность. Но так как им говорили, что Бог загадочен и неизъясним, нелогичность - это именно то качество, которое, по их мнению, присуще Богу. Нелогичное для них означает - близкое к чуду. Вы придумали лосьон против лысин. Мне не нравится, это плохая игрушка.

Не то чтобы этот разговор испортил наш отпуск в горах. Мы очень много гуляли, я читал серьезные книги, я в первый раз так подолгу занимался ребенком. Но между мною и Лией осталось что-то недосказанное. С одной стороны, Лия разгромила меня по всем статьям и теперь ей было жалко, что я унижен. С другой, она не была убеждена, что ей удалось меня убедить.

И действительно, мне не хотелось расставаться с Планом, я не мог его выбросить, я слишком с ним сжился.

Прошло еще несколько дней, и одним прекрасным утром, проснувшись, я решил сесть на единственный поезд, довозивший до Милана. (В Милан я попал как раз вовремя, чтоб ответить на телефон, когда звонил из Парижа Бельбо. Так завязалась детективная часть, которая еще до сих пор не получила развязки.)

Лия была права. Следовало нам поговорить раньше. Но я бы ее все равно не послушал. Я ведь прожил рождение этого Плана как момент Теферэта - а это сердце сефиротического тела, соитие правила и свободы. Говорил Диоталлеви, что Моисей Кордовский предупреждает нас: «Кто тщеславится своею Торой перед простецами, то есть перед всем народом Иеговы, побуждает Теферэт тщеславиться перед Мальхутом». Но каков есть Мальхут - то есть Земное царствие в его ослепительной простоте, - я понимаю только теперь. Успею понять еще, но, наверно, уже не успею пережить истину.

Лия, не знаю, увидимся ли. Если нет, последняя память о тебе - ты сонная, тогда утром, свернулась клубочком под одеялом. Я поцеловал тебя и не сразу, но вышел.

---

[1] Игнац Филипп Земмельвайс (1818 - 1865) - венгерский врач-акушер. Установил причину послеродового сепсиса.

7
НЕЦАХ

107

Заметил, черный пес бежит по пашне?..
Кругами, сокращая их охваты,
Все ближе подбирается он к нам...
Все меньше круг. Он подбегает.

Фауст, 1, *За воротами*[1]

Все, что происходило, когда я был за городом, в особенности в последние дни перед моим возвращением, я представлял себе только по файлам Бельбо. Из них, в свою очередь, только один казался ясным, был выстроен в хронологическом порядке и выглядел дневниковой записью - последний, написанный им, скорее всего, перед самым Парижем, специально для меня или для кого-то другого, кто - случись непоправимое - захочет разобраться, что же произошло. Другие же отрывки, написанные им для внутреннего пользования, как всегда, не поддавались легкой интерпретации. Только я, уже не новичок в его конфиденциальном диалоге с Абулафией, мог их расшифровать, или хотя бы предложить правдоподобные конъектуры.

Было начало июня. Бельбо ходил как сумасшедший. Врачи наконец уяснили, что единственными родственниками Диоталлеви являются он и Гудрун, и наконец что-то сказали. На вопросы типографов и корректоров Гудрун теперь отвечала односложным - на «а» - раскрыванием рта, не выговаривая табуированное название болезни.

Гудрун ходила к Диоталлеви ежедневно, и думаю, действовала ему на нервы своими мокрыми от сочувствия глазами. Он все знал, но стыдился, чтобы знали другие. Говорить ему было трудно. Бельбо пишет в дневнике: «Лицо - одни скулы». Волосы выпадали, но это из-за химиотерапии. Бельбо пишет в дневнике: «Руки - одни фаланги».

Думаю, что в ходе их раздумчивых бесед Диоталлеви понемногу давал понять Бельбо то, что потом сформулировал открыто, когда они увиделись в последний раз. Бельбо начинал понимать, что увлечение Планом - злостное, что может быть - План и есть Зло. Тем не менее, вероятно, для того чтобы объективировать План и возвратить ему подлинное измерение - измерение чистой мнимости, - он занес его в компьютер последовательно, элемент за элементом, в форме воспоминаний полковника. Получилась исповедь посвященного, открывающего самый последний секрет. Для Бельбо это была терапия: он возвратил в литературу, пускай в литературу плохую, то, что не принадлежало жизни.

Но 10 июня случилась некая ситуация, переворотившая всю его душу. События рассказаны весьма несвязно, я попытался их воссоздать.

Итак, Лоренца попросила его отвезти ее в машине на Ривьеру, где ей требовалось забрать у подруги неизвестно что - документ, справку, какую-то ерунду, которую с тем же успехом можно было переслать экспресс-почтой. Бельбо согласился, обалдевший от счастья при мысли провести воскресенье с ней на море.

Они поехали в это место, я точно не понял куда, в районе Портофино. Бельбо передавал не детали, а чувства, сквозь строки невозможно было рассмотреть пейзаж, видны были только напряжение, резкость, нервозность. Лоренца забрала что ей было надо (Бельбо ждал в баре), а потом предложила пообедать в рыбном ресторане с террасой, выходящей на море.

С этого момента рассказ становится еще более путаным, точечным, бесформенные куски диалогов кучей, без абзацев и кавычек, как будто писалось

[1] Перевод Б.Пастернака.

по самому свежему следу, в надежде поймать за хвост какие-то божии искры. В общем, понятно, что они доехали докуда возможно на машине, а потом долго спускались пешком к морю по типичным лигурийским кустейшим тропкам, цветучим и репейным, и продрались к ресторану. Чуть они уселись, как на столике рядом увидели «Зарезервировано для доктора Алье».

Вот так совпадение, сказал, вероятно, Бельбо. Очень неприятное совпадение, отвечала, очевидно, Лоренца. Не хочется, чтобы Алье видел ее здесь и с Бельбо. Почему не хочется, что в этом такого, разве Алье имеет основания ревновать? Ну причем основания, просто из деликатности, он звал меня пообедать, я сказала, что занята, теперь получается, что я вру. То есть как это врешь, ты занята со мною, этого надо стыдиться? Не стыдиться, а просто, с твоего позволения, я привыкла тактично обращаться с людьми.

Короче, они ушли из ресторана и начали карабкаться назад, но Лоренца вдруг застыла на месте, навстречу спускались знакомые, Бельбо их не знал, приятели Алье, они не должны ее видеть. Унизительная сцена, она над стремниной, поросшей оливами, опираясь на прутья плетеного парапета, с газетой, окутывающей лицо - лопается от нетерпения немедленно узнать, что же происходит в мире, и он в классических десяти шагах от нее, с сигаретой, случайный путешественник-прохожий.

Сотрапезники Алье миновали, но теперь, заявила Лоренца, идя дальше по этой тропинке, они налетят на него самого, и налетят непременно. Бельбо бубнил: наплевать, ну и налетим, что такого. А то, отвечала Лоренца, что минимальный такт. Единственный выход - подниматься к машине прямо через заросли, цепляясь за колючки. Задыхательное возлезание по раскаленным оливковым уступам, Бельбо оторвал подметку. Лоренца подзуживала: ну разве не прелестно, так гораздо романтичнее, конечно, если курить без продыху, обязательно будет одышка.

Дойдя до машины, Бельбо сказал, что раз так, возвращаемся в Милан. Нет, сказала Лоренца, если Алье опаздывает, мы с ним пересечемся на автостраде, он узнает твою машину, смотри какая хорошая погода, давай двинемся вглубь от побережья, это будет очаровательно, выберемся на римскую автостраду и поужинаем в окрестностях Павии.

Да что мы не видели в этой Павии, да ты представляешь себе, что значит съехать тут с дороги, это значит, посмотри на карту, что придется карабкаться по серпантину до Ушио, потом блуждать по Апеннинам, останавливаться в Боббио, потом неизвестно как добираться до Пьяченцы, ты сошла с ума, нам придется еще похлеще, чем Ганнибалу и слонам. Ты существо без всякого полета, отвечала Лоренца, и подумай только, сколько очаровательных ресторанчиков прячется там в долинах. На подъезде к Ушио знаменитая «Мануэлина», фрутти дель маре, двенадцать звездочек по котировке «Мишлена».

«Мануэлина» была битком набита, желающие поесть караулили возле столиков, где дожевывался десерт. Лоренца сказала, не имеет значения, тут на каждом километре будет по сто пятьдесят волшебных местечек. В ресторан они попали, когда там закрывали кухню, было это в чудовищной дыре, название которой, по меткому определению Бельбо, постыдились бы нанести даже на военную карту, и пришлось им есть переваренные макароны с баночной тушенкой. Бельбо ломал себе голову, что же скрывается под всем этим, не случайно же Лоренца привела его в ресторан, где ожидался Алье, она явно хотела кого-то подразнить, он не мог понять, его или другого, она же отвечала ему, что у него идефикс.

После Ушио они стали искать путь на большую дорогу, и когда пересекали выжженную солнцем деревушку, напоминавшую пустынностью Сицилию в воскресенье во время сиесты в эпоху Бурбонов, большая черная собака выбросилась сбоку им наперерез, пытаясь попасть четко под колеса. Бельбо ударил ее бампером, на первый взгляд, ей ничего не сделалось, но когда они выскочили из машины, стало очевидно, что у бедной твари кровь в паху, и что-то непонятное розовое - требуха, гениталии? - высовывается из пуха, и она воет и, кажется, блюет. Подтянулись воскресающие поселяне, начали митинговать. Бельбо хотел знать, где хозяин, чтобы возместить убытки, но у пса хозяина не было. Пес представлял собою, наверное, десять процентов

кворума в этом богом забытом месте, но не было известно, есть ли у него родственники, хотя в лицо его знали все. Поступило предложение позвать сержанта полиции, прикончить пса и покончить с делом.

Отправились за сержантом, тут появилась какая-то любительница животных. У нее шесть кошек. Знать не знаю кошек, тут собака, выпалил Бельбо, она сдыхает, я тороплюсь. Кошки или собаки, нужно иметь немножечко совести, отвечала синьора. Никакого сержанта. Общество защиты животных или больница, в соседней деревне есть медпункт, животное удастся возвратить к жизни.

Солнце зависало вертикально прямо над Бельбо, Лоренцей, машиной, собакой и остальными, заката не предвиделось никогда, у Бельбо было чувство, что он вышел без штанов, но не получалось проснуться. Синьора не ослабляла хватку, о сержанте можно было только мечтать, собака кровоточила и испускала слабые стоны. Стенанья, выговорил филолог внутри Бельбо. Синьора на это: понятно, стенанья, а вы чего добивались, бедный песик, нельзя было ехать внимательно? В деревне между тем разворачивался демографический бум, Бельбо, Лоренца и пес оказались самым любопытным спектаклем за много, много воскресений. Девица с мороженым спросила, не они ли организуют для телевидения телеконкурс Мисс Лигурийские Апеннины. Бельбо попросил ее отойти, не то он сделает с нею то же, что сделал с собакой. Девчонка заголосила, из-за ее спины выступил участковый врач со словами, что в дело замешана его дочь и что Бельбо не знает, с кем имеет дело. Блиц-обмен извинениями, знакомство, выясняется, что медик опубликовал «Дневник провинциального врача» у знаменитого «Мануция» в Милане. Тут Бельбо раскололся и дал понять, что занимает изрядный пост в «Мануции», теперь доктор требовал, чтобы Бельбо и Лоренца у него отужинали, Лоренца вне себя от ярости вонзала острый локоть ему под ребра, не хватало нам попасть в газеты, любовники-собакоубийцы, нельзя было трепать языком поменьше?

Солнце палило в голову отвесно, в то время как колокол брякал к вечерне (очевидно, мы в Последней Туле, комментировал Бельбо сквозь зубы, солнце шесть месяцев подряд от полуночи до полуночи, а сигареты закончились), пес добросовестно дох, никто им не интересовался, Лоренца откуда-то извлекла предчувствие приступа астмы, Бельбо окончательно уверился, что космос был ошибкой Создателя. Неизвестно как попала в мозг и затрепетала спасительная идея. Они поедут просить о помощи в ближайший районный центр. Зоофилка была «за» руками и ногами, езжайте быстрее, возвращайтесь поскорее, господину, который работает у поэтического издателя, она не может не доверять, ей тоже больше нравится реклама, если она в рифму.

Бельбо сунул ключ в машину, ближайший райцентр они пролетели без остановки, Лоренца продолжала проклинать любых тварей, которыми Господь испакостил землю, начав в первый день и закончив в пятый, Бельбо был согласен, но шел еще дальше, активно критикуя также и результаты шестого дня, а заодно - в увлечении - ругнул и седьмой, день отдыха, сказав, что более кошмарного дня, чем воскресенье - сегодняшнее, к примеру, - не было, не будет и не может быть.

Они полезли на Апеннины, но притом что на карте все выглядело близко, на практике путь занял множество часов, в Боббио они не стали останавливаться, вечером добрались до Пьяченцы. Бельбо совсем выдохся, он очень надеялся на ужин с Лоренцей и поскорее снял большой номер в единственной свободной гостинице напротив вокзала. Они поднялись в комнату и Лоренца заявила, что в подобной обстановке она ни за что не уснет. Бельбо ответил, что пойдет искать другой отель, пусть дадут ему только пять минут, чтобы сойти в бар и принять дозу мартини. В баре не было мартини, был только итальянский коньяк. Бельбо поднялся в комнату, Лоренцы не было. На стойке портье его дожидалась записка: «Милый, я обнаружила чудесный поезд в Милан. Бегу. Увидимся на неделе».

Бельбо домчался до вокзала, перрон был абсолютно пуст. Как в вестерне. Ночь он провел в Пьяченце. Думал купить детектив, но даже станцион-

ный газетный киоск и тот был заперт. В гостинице нашелся только журнал Туринг Клуба.

На его несчастье гвоздем номера было описание дивного путешествия по той самой апеннинской трассе, которую они только что промахали. В воспоминаниях Бельбо - уже успевших пожухнуть, как мемуар многолетней давности - вставала сухая, солнцем съеденная почва, пыльная, закиданная мусором. На глянце туристского журнала развесистые райские сады манили под свою сень, стоило бы пройти сто верст в железных ботинках, только бы попасть в подобную сказку, напоминающую Самоа Лимонадного Джо.

Могут ли люди собственными руками погубить свою жизнь только из-за того, что они наехали на собаку? А вышло именно так. Бельбо решил тою ночью в Пьяченце, что уйдя обратно с головою в План, как в убежище, он будет гарантирован от провалов. Внутри Плана никто другой - только он будет иметь право распоряжаться, кто, с кем, когда и как.

Должно быть, этим же вечером он решил отыграться на Алье, хотя непонятно, за какие преступления. Он решил заманить Алье в План, не ставя его о том в известность. С другой стороны, для Бельбо было очень типично искать отыгрышей, единственным свидетелем которых мог быть только он сам - не из застенчивости, а из недоверия к тем свидетелям, которые не являлись им самим. Заманенный в План Алье мог бы считаться уничтоженным, он стал бы дымом, изошел бы, как огонь свечи, сделался нереальным, как тамплиеры, розенкрейцеры и сам Бельбо.

Это не очень будет трудно, размышлял Бельбо. Мы сумели свести к нужному масштабу Бэкона и Наполеона, мы ли не усмирим Алье? Отправим и его на поиски Карты. От Арденти и постыдного воспоминания, с Арденти связанного, я уже сумел отделаться, поселивши его в вымысел лучший, чем был его. Так же рассчитаемся и с Алье.

Думаю, он серьезно в это уверовал. Так много может разочарованное желание. Этот его файл кончался единственно возможным образом - единственной цитатой, объединяющей всех тех, кого жизнь победила: Bin ich ein Gott? - Какой я бог?[1]

108

Какова же природа того тайного влияния, которое проводится через посредство прессы, и что стоит за подрывными группировками, окружающими нас? Различные ли орудуют силы или же существует единый Центр, некая группа, руководящая остальными, узкий круг истинных посвященных?

Неста Уэбстер, *Тайные общества и подрывные движения*
Nesta Webster, *Secret Societies and Subversive Movements*,
London, Boswell, 1924, p. 348

Может, он забыл бы о своем намерении. Может, ему хватило бы выполнить его на бумаге. Может, достаточно было бы немедленно увидеться с Лоренцей, им снова овладело бы желание, а желание заставило бы пойти на перемирие с жизнью. Вместо этого как назло в понедельник утром к нему в офис ввалился Алье в облаке колониальных одеколонов, с улыбками и зарезанными рукописями и со словами, что прочитал он эти бумаги во время прелестного уик-энда на Ривьере. Бельбо был отброшен в объятия давешнего бешенства. Тогда-то он окончательно решился выставить Алье дураком, заставить его пойти поискать молочные реки, кисельные берега да камень бел-горюч.

И поэтому с видом ведуна он дал понять тому, что вот уже лет десять охраняет мучительную тайну, тайну секретного ордена. Рукопись была доверена ему одним полковником, Арденти, которому удалось разгадать секрет

[1] Перевод Б.Пастернака. - Фауст, 1, *Ночь*.

плана тамплиеров... Полковник был похищен или убит кем-то, кому удалось завладеть и его бумагами, но - вообразите себе! - в тот день из «Гарамона» полковник выходил, унося под мышкой фиктивный текст, намеренно запутанный, полный ошибок, фантастический и инфантильный, который был годен только чтобы показать, что полковник в течение своей жизни имел отношение к провэнскому документу и к расшифровкам Ингольфа; именно это, по-видимому, усиленно искали похитители. А другая-то папочка, гораздо более тонкая, где лежал всего десяток страниц, обнаруженных в бумагах покойного Ингольфа, - оставалась во владении Бельбо.

- Какая забавная ситуация, - отреагировал Алье, - расскажите же поподробнее. - И Бельбо, о, он ему рассказал! Рассказал весь наш План точно в том виде, в каком мы его изобрели, и выдал за вычитанный в той мифической рукописи. Он даже добавил, еще более таинственным и конфиденциальным шепотом, что некий полицейский, по имени Де Анджелис, действуя самостоятельно, почти нашарил ключ к разгадке, но дело было спасено герметическим запирательством его, Бельбо... можно сказать... пожалуй, действительно можно так сказать... Бельбо, Хранителя Самого Великого Секрета человечества. Секрета, который в конечном развитии равняется секрету Карты мирового господства.

И тут он выдержал недурную паузу, полную подтекста, как все хорошие паузы. Нерешительность на пороге самого главного признания - верный способ проиллюстрировать неподдельность предыдущих признаний. Бельбо исходил из посылки, что для любого, кто действительно исповедует тайную традицию, оглушительнее всего - молчание.

- О, как любопытно, как любопытно, - промурлыкал Алье, вытащив из жилета табакерку и показывая, что занят совсем не тем. - А... эта карта?

А Бельбо бормотал про себя: старый вуаер, возбуждаешься, да? Так тебе и надо с твоим сенжерменским шармом, мало тебе хваленых трех крапленых карт! да ты ведь готов закупить Колизей у первого щелкопера, который перепрощелыжил тебя! Сейчас-то я тебя отправлю на три карты, на поиски Карты, к черту в зубы, ты у меня улетишь далеко и надолго, и очень надеюсь, не выберешься обратно из утробы земли, сгинешь там в стремнинах, хряснешься башкою о Южный Полюс какого-нибудь кельтского колуна.

И с еще более тет-а-тетным видом: - Разумеется, к рукописи прилагалась и карта, то есть ее подробное изложение, и отсылка к оригиналу. Это совершенно поразительно, вы представить себе не можете, до какой степени проста разгадка этой проблемы. Эта карта существовала всегда и была доступна всем, и на нее смотрели кто угодно, тысячи людей проходили перед нею ежедневно, в течение столетий. С другой же стороны, принцип ориентирования до того элементарен, что достаточно запомнить простую схему и карту можно воспроизвести в любой момент и в любом месте. Настолько элементарно и настолько непредсказуемо... Представьте себе - это я привожу только в качестве примера, - как если бы карта была нанесена на пирамиду Хеопса, расписана во всех подробностях у людей на виду, а между тем в течение столетий люди разгадывают и отгадывают архитектуру пирамиды, расшифровывают ее тайные смыслы, но не замечают невероятной, сияющей простоты. Какой шедевр невинности. И коварства. На что оказались способны тамплиеры.

- Вы меня заинтересовали. Позволите на нее взглянуть?

- Должен признаться, я уничтожил и те десять страниц и карту. Я был испуган, это ведь объяснимо, не так ли?

- Не может быть, чтобы вы уничтожили документы подобного значения...

- Уничтожил, но я ведь говорил вам - на самом деле секрет элементарен. Вся карта у меня здесь, - и он тыкал пальцем себе в голову, и давился смехом, вспоминая школьный анекдот про немца, учившего итальянский язык по десять слов в день - «Фсе слова стесь, у меня в джопе». - Вот уже больше десяти лет как эта тайна вся содержится здесь - он опять тыкал в голову, - в форме наваждения, и я страшусь даже и самой мысли о той безграничной власти, которая стала бы моею, если бы я решился принять наследство Тридцати шести невидимых. Теперь вы понимаете, почему я добился от «Гарамона» новых

серий - «Изида без покрывал» и «История чародейства»? Я жду ответа от того, кто способен понять. - После чего, увлекаемый разыгрываемой ролью, издеваясь над разыгрываемым Алье, процитировал ему почти дословно фразы, которыми Арсен Люпен завораживает Ботреле в эпилоге «Полого шпиля»: «В некоторые минуты моя власть кружит мне голову. Я опьяняюсь силой и авторитетом».

- Ну-ну, мой любезный друг, - отвечал Алье. - А что, если вы опрометчиво уверовали в бредни безумца? Вы убеждены, что рукопись подлинная? Почему вы не доверяете моему опыту? Если бы вы знали, сколько подобных откровений мне приходилось изучать в моей жизни, и если в чем я преуспел, то именно в доказательстве их несостоятельности. Мне хватило бы одного взгляда, чтоб уяснить, стоит ли вообще говорить об этой карте. Я смею тщеславиться некоторой квалификацией - небольшой, но все же, - именно в области традиционной картографии...

- Доктор Алье, - оборвал его Бельбо, - вы первый должны были бы напомнить мне, что секрет тайного общества, рассекреченный, не имеет смысла. Я промолчал столько лет, помолчу еще немного.

И он молчал. Алье в свою очередь, купился он на эту дешевку или нет, подходил к своему амплуа серьезно. Он привык иметь дело с непроницаемыми тайнами и, надо думать, проникся сознанием, что уста Бельбо не отверзнутся более - отныне и до скончания времен.

В эту минуту вошла Гудрун и сообщила, что совещание в Болонье намечается на среду на двенадцать. - Вы можете выехать на Трансъевропейском экспрессе утром в среду, - добавила она.

- Обожаю этот экспресс, - сказал Алье. - Но предпочтительно заранее заказывать места. Особенно в нынешнюю пору года. - Бельбо ответил, что и в последнюю минуту можно всегда найти сидячее место, в крайнем случае в вагоне-ресторане, где подается еще и завтрак. - Что ж, надеюсь, вам это удастся, - подвел итог Алье. - Болонья очень хороша. Хотя в июне там жарко...

- Я пробуду не больше трех часов. Еду по поводу книги об эпиграфике, у нас возникли проблемы с иллюстрациями... - После чего Бельбо выпустил последний снаряд. - Я ведь еду по работе, а не в отпуск. Но в отпуск я ухожу скоро, чтобы быть свободным в день летнего солнцестояния... Кто знает, вдруг я все-таки решусь... Но все, что сказано, должно остаться между нами. Я поделился с вами как с другом.

- О, молчать я умею, умею даже лучше, чем вы. В любом случае позвольте вас поблагодарить за откровенность. - И с этими словами Алье откланялся.

Бельбо после этой встречи пришел в благостное настроение. Налицо была полная победа его астральной нарративности над жалкостью и постыдностью подлунного мира.

На следующий день Алье позвонил по телефону. - Простите меня, дорогой друг. Я хотел просить вас о небольшой любезности. Как вы знаете, я иногда занимаюсь старинными книгами - что-то приобретаю, что-то продаю. Нынче вечером прибывает из Парижа дюжина переплетенных томов, восемнадцатый век, книги довольно дорогие, и я их должен непременно доставить моему клиенту во Флоренции не позднее чем завтра. Я сам собирался отвезти их, но некоторые неотложные занятия задерживают меня в Милане и не позволяют уехать. Я подумал о следующем решении. Вы ведь завтра собирались в Болонью? Я приду к вашему поезду, примерно за десять минут, и передам вам небольшой чемоданчик, вы положите его в сетку над головой и спокойно выйдете в Болонье, ни о чем не думая. Может быть, подождете, пока все выйдут из купе, чтобы мы были уверены... Во Флоренции мой клиент во время остановки войдет в вагон, заберет чемодан - и все в порядке. Конечно, не хотелось беспокоить вас... Но если вы можете оказать мне эту услугу, я вам буду благодарен всю жизнь.

- Ради бога, - отвечал Бельбо. - Только как ваш клиент во Флоренции узнает, куда я положил чемодан?

- Как видите, я оказался предусмотрительнее вас и уже зарезервировал

вам билет, место 45, вагон 8. Я заказал до самого Рима, поэтому ни в Болонье, ни во Флоренции на это место никто не сядет. Как видите, в компенсацию за неудобства, которые я вам причиняю, вы получаете и некоторое удобство: ехать на своем месте, без сюрпризов. Я не позволил себе выкупить билет, чтобы вы не думали, что я собираюсь рассчитываться за любезность таким неделикатным способом.

Что значит настоящий джентльмен, сказал себе Бельбо. Пришлет мне ящик марочных вин. Пить за его сволочное здоровье. Вчера я его испепелял, сегодня оказываю ему любезность. Что делать, отказать невозможно.

Во вторник утром Бельбо поехал на вокзал загодя, заплатил за билет и встретился с Алье у вагона номер 8, тот был с чемоданом, довольно тяжелым, но не громоздким.

Бельбо уложил его в сетку над креслом 45 и уселся у окна со своей стопкой газет. Главной новостью дня были похороны Берлингуэра. Через некоторое время в кресле рядом устроился какой-то бородач. Бельбо даже подумал, что уже его где-то видел (задним умом, пытаясь угадать где, ему пришло в голову - на друидическом празднике в Пьемонте, но уверен он не был). К отходу поезда купе наполнилось до отказа: все шесть мест.

Бельбо хотелось читать, но мешал господин с бородкой, лезший ко всем с разговорами. Начал он с жары и несовершенства системы кондиционирования, а также с наблюдения, что в июне непонятно, одеваться ли по-летнему или по-весеннему. Он пришел к выводу, что самое лучшее - это легкий пиджак, как у Бельбо, и спросил, английская ли это фирма. Бельбо отвечал, что действительно английская, «Берберри», и продолжил чтение. - Это лучшие вещи, - не унимался его сосед, - но ваш еще особенно хорош тем, что на нем нет золотых пуговиц, которые обычно пришивают на блейзеры. И позвольте мне заметить, что у вас удивительно удачно подобран цвет галстука, темно-красный, к этому пиджаку. - Бельбо поблагодарил и попытался читать. Господин с бородой продолжал выступать об основных принципах сочетаемости галстуков с костюмами, Бельбо читал. Я знаю, думал он про себя, что всем в купе мое поведение кажется хамским. Но я езжу в поездах не ради человеческих отношений. Их у меня чересчур много и на суше.

Тогда господин переменил тему. - Сколько вы газет читаете, и всех направлений. Наверное, вы связаны с юриспруденцией или с политикой. - Бельбо отвечал, что нет, он работает в издательстве, специализирующемся на книгах по арабской метафизике. Целью было - затерроризировать нападающего. Тот был очевидно затерроризирован.

После этого появился контролер. Он спросил, почему у Бельбо билет до Болоньи, а место зарезервировано до Рима. Бельбо сказал, что передумал ехать в Рим и едет в Болонью. - Как хорошо, - сказал господин с бородкой, - когда можно себе позволить менять намерения в последнюю секунду, не задумываясь, что позволяет и чего не позволяет ваш кошелек. Как я вам завидую. - Бельбо осклабился и отвернулся к окну. Теперь, сказал себе он, все купе на меня смотрит как на растратчика, возможно, предполагают, что я ограбил банк.

В Болонье Бельбо поднялся и собрался выходить. - Смотрите не забудьте чемоданчик, - сказал его попутчик. - Нет, за ним зайдет один человек во Флоренции, - отвечал Бельбо. - Вот что, присмотрите за ним, пожалуйста, если можете.

- Не беспокойтесь, - отвечал бородатый. - Можете на меня положиться.

Бельбо возвратился в Милан в тот же день вечером, поднялся к себе в квартиру с банкой консервированного мяса и пачкой крекеров, включил телевизор. Говорили, естественно, про Берлингуэра. То, другое известие проходило поэтому почти что под сурдинку, перед самым концом известий.

Утром этого дня на трансъевропейском экспрессе на отрезке Болонья-Флоренция, в вагоне 8, один пассажир выразил беспокойство насчет другого, сошедшего в Болонье, чей чемоданчик оставался в их купе в сетке. Действительно ли за чемоданом собирались зайти во Флоренции, не по этой ли схеме действуют обычно террористы?

Волнение скоро охватило остальных едущих в купе. В какой-то момент первый пассажир, с бородой, заявил, что у него не выдерживают нервы. Лучше совершить ошибку, чем погибнуть; пусть позовут начальника поезда. Начальник поезда остановил состав и известил железнодорожную полицию. Не знаю точно как разворачивались дальнейшие события, неподвижный поезд на горном перегоне, пассажиры, слоняющиеся вдоль путей, появление саперного взвода... Чемоданчик со всеми предосторожностями открыли и обнаружили там взрывное устройство, запрограммированное на время прибытия во Флоренцию. Мощности хватало на несколько десятков человек.

Полиции не удалось отыскать пассажира с бородкой. Может быть, он пересел в другой вагон и вышел во Флоренции, потому что не хотел, чтоб его славили во всех газетах. Публиковалось обращение к нему с просьбой помочь следствию.

Другие пассажиры великолепно помнили того человека, который подкинул чемодан. Он принадлежал к тому типу, который вызывает подозрения с первого взгляда. Одет он в синий английский пиджак без золотых пуговиц, с темно-красным галстуком. Старался вести себя скромно, отказывался поддержать разговор, видно было, что надеется проскочить незамеченным. Однако проговорился, что работает в газете, в журнале или в каком-то месте, которое имеет отношение (и тут мнения свидетелей расходились) к метану, физике или метемпсихозу. Но все твердо помнили, что в деле замешаны арабы.

Все квестуры и районные отделения полиции подняты по тревоге. Уже поступают первые сигналы с мест. Задержаны двое граждан Ливии в Болонье. Художник угрозыска создал фоторобот - он занимал теперь всю плоскость голубого экрана. Фоторобот не был похож на Бельбо, но Бельбо был похож на этот фоторобот.

Бельбо больше не задавал себе вопросов. Тип с чемоданчиком был именно он. Он позвонил по телефону Алье, но там не брали трубку.

Был уже поздний вечер, он не знал как ему выйти из квартиры, принял снотворное и лег спать. Следующий день начался с поисков Алье. Напрасно. Он спустился купить газеты. Слава богу, похороны занимали весь первый лист, и его физиономия находилась на внутренних страницах. Он отправился домой, подняв воротник, и только тут заметил, что на нем все тот же синий блейзер. Без бордового галстука, и на том спасибо.

Пытаясь разобраться во взаимосвязи происшедших фактов, он услышал телефон. Незнакомый голос, иностранец, с каким-то балканским выговором. Медоточивая речь, как будто звонящий не имеет ни к чему отношения и телефонирует из самых добрых чувств. Бедный господин Бельбо, говорил этот голос, как же вам не повезло. Никогда нельзя соглашаться служить курьером для других, не зная, что содержится в передаче. Как же будет неприятно, если кто-нибудь сообщит в полицию, что гражданин с сорок пятого места - это и есть наш Бельбо.

Конечно, от подобного крайнего шага кое-кого можно и удержать, в том случае если наш Бельбо согласится сотрудничать. Например, если он сообщит по-хорошему, где находится тамплиерская карта. А так как в Милане становится для Бельбо жарко, потому что во всех газетах указано, что таинственный покуситель выехал именно из Милана, почему бы не перенести дальнейший обмен мнениями на нейтральную территорию, скажем, в Париж? Почему бы не назначить друг другу свидание в книжной лавке Слоан в Париже, на улице Мантихор, 3, через неделю? Хотя, с другой стороны, имело бы смысл, чтобы Бельбо отправился в путь немедленно, пока его не опознали. Книжный магазин Слоан, улица Мантихор, 3. В полдень в среду 20 июня его будет ждать там знакомое лицо - тот самый господин с бородою, с которым они вели такие дружеские разговоры в поезде. Этот господин научит Бельбо, где ему встретиться с остальными друзьями, после чего постепенно, в тесной дружеской компании, в его распоряжении несколько дней для подготовки к летнему солнцестоянию, он спокойно расскажет все, что знает, отведет душу, и все закончится безболезненно. Улица Мантихор, дом 3, запомнить нетрудно.

109

Сен-Жермен... Тонок, остроумен... Говорил, что владеет любыми секретами... Он часто пользовался для своих появлений волшебным зеркалом, которое составляло часть его славы... Поскольку он вызывал с помощью катоптрических эффектов ожидаемые тени, почти всегда узнаваемые, его связь с загробным миром была доказанной вещью.

Ле Культё де Кантелё, *Секты и тайные общества*

Le Coulteux de Canteleu, *Les sectes et les sociétés secrètes*, Paris, Didier, 1863, pp. 170-171

Бельбо совершенно запутался: все было абсолютно ясно. Алье поверил в его историю, захотел его карту, подстроил ловушку и теперь держит его в кулаке. Или Бельбо отправляется в Париж рассказывать все, что знает (о том, что он ничего не знает, знал только он; я уехал, не оставив адреса, Диоталлеви умирал), или же на него спускают со сворки всю полицию Италии.

Как Алье мог унизиться до такой грязной проделки? Зачем ему это? Схватить за шиворот старого дурака, отвести в квестуру, только таким образом Бельбо сможет выбраться из этой сумасшедшей истории.

Он вызвал такси и отправился в переулок у площади Пиола, в знакомый особнячок. Окна закрыты, на ограде картонный прямоугольник квартирного бюро: СДАЕМ. Да что ж это делается. Ведь еще на прошлой неделе Алье обитал тут, отвечал на телефон... Бельбо обратился в соседний особняк. - Этот господин? Переехал только вчера. Не знаю, куда именно он переселился, мы с ним едва раскланивались, он вел уединенную жизнь и вообще, кажется, его никогда не бывало в Милане.

Оставалось квартирное бюро. Но там даже имени Алье никогда не слыхали. Особняк был нанят в свое время одной французской фирмой. Платежи поступали регулярно, через банк. Контракт был расторгнут нанимателем в одностороннем порядке за двадцать четыре часа, причем клиент потерял право на возвращение залоговой суммы. Все отношения с клиентом совершались в письменной форме, представителем французской стороны выступал господин Рагоцкий. Больше в бюро ничего не знали.

Так. Не укладывается в голове. Раковский или Рагоцкий, в любом случае - таинственный знакомый пропавшего полковника, разыскиваемый проницательным следователем Де Анджелисом, разыскиваемый Интерполом, спокойно нанимает себе дома в Милане. В нашем воображении Раковский полковника Арденти выступал реинкарнацией Рачковского из Охранки, а тот в свою очередь - воплощением вездесущего Сен-Жермена. Но Алье-то был при чем?

Бельбо возвратился в издательство, проскользнул к себе в кабинет и сел думать.

Было от чего сойти с ума, и Бельбо был уверен, что он с него уже сошел. И рассказать некому, и спросить совета невозможно. Вытирая пот, он машинально перекладывал рукописи на столе, последнюю поступившую стопку - и на случайной странице ему бросилось в глаза имя Алье.

Он уставился на первый лист. Сочинение очередного одержимца. «Вся правда о графе Сен-Жермен». Вернулся к странице в середине. Там сообщалось, что согласно биографии Шакорньяка, Клод-Луи де Сен-Жермен[1] выдавал себя за господина де Сюрмона, графа Солтыкова, мистера Уэллдона, маркиза де Бельмар, князя Ракоши или Рагоцки и так далее, однако подлинные его фамильные имена были граф де Сен-Мартен и маркиз д'Алье - по названию пьемонтского имения его предков.

Прекрасно, теперь Бельбо мог быть совсем спокоен. Мало того что полиция его ловит по неопровержимому обвинению в терроризме, мало того что

[1] См. прим. 1 к гл. 75.

План оказался правдой, да еще и Алье улетучился за сорок восемь часов, но ко всему вдобавок этот Алье - никакой не псих ненормальный, а бессмертный граф Сен-Жермен собственной персоной, и никогда ни в малейшей степени не пытался это скрывать. Единственное, что оставалось чистой правдой в водовороте лжи, который бурлил вокруг него - это его имя. Хотя нет, имя тоже было неправдой, Алье был не Алье, но не имело значения, кем он был на самом деле, так как в течение многих лет он вел себя как действующее лицо истории, которую мы выдумали гораздо позже.

В любом случае альтернатив не имелось. После исчезновения Алье Бельбо не мог указать полиции лицо, вручившее ему чемодан. Если даже полиция поверила бы ему, выходило, что чемодан он получил от человека, находящегося в розыске по обвинению в убийстве, и что он этому находящемуся давал работу в течение как минимум двух лет. Хорошее алиби.

Но хуже того. Чтобы элементарно интерпретировать случившиеся события, которые и без того напоминали детектив - а между тем необходимо было их разъяснить, как для себя, так и для полиции - следовало отправляться от таких предпосылок, которых никак не могло быть. То есть надо было принять за данность, что План, изобретенный нами, совпадает тютелька в тютельку, вместе с финальным аккордом - выдуманной погоней за нереальной Картой - с действительно существующим Планом, в котором на самом деле участвуют и Алье, и Раковский, и Рачковский, и Рагоцкий, и господин бородач, и Трис, и так далее вплоть до провэнских тамплиеров, и что полковник, таким образом, был прав. Но это означает, что прав он был ошибаясь, потому что в конечном счете План, выработанный нами, был не тот, что предложенный им, а если был прав его План, был неправ наш, и наоборот, а если был прав наш, то зачем понадобилось Раковскому десять лет тому назад похищать у полковника неправильный План?

От одного только чтения записей Бельбо, занесенных в Абулафию, мне хотелось колотиться головой о стенку. Чтобы увериться, что хотя бы стенка существует реально. Я представлял себе, как должен был чувствовать себя он-то, Бельбо, в тот день и в последующие дни. А между тем на этом его повесть не кончалась.

Пытаясь хоть что-нибудь узнать, он телефонировал Лоренце. Ее тоже не было. Он не сомневался, что больше Лоренцу не увидит. В определенном смысле Лоренца была креатурой, выдуманной Алье. Алье же был креатурой, выдуманной Бельбо, а кем был выдуман он, Бельбо, Бельбо не знал. Он опять развернул газету. Единственное, что абсолютно несомненно: фоторобот - это он. Чтобы снять последние колебания, именно в эту минуту поступил еще один звонок. Тот же балканский акцент и те же рекомендации. Встреча назначена в Париже.

- Кто вы такие? - прокричал Бельбо.

- Мы из Трис, - ответил голос. - Что такое Трис, вы знаете лучше нас.

Тогда Бельбо решился. Он снял телефон и позвонил Де Анджелису. На коммутаторе не хотели соединять, Бельбо даже подумал, что комиссар больше там не работает. Но в конце концов его переключили на кабинет Де Анджелиса.

- Кого мы слышим, доктор Бельбо, - произнес комиссар каким-то саркастическим тоном. - Вы застали меня совершенно случайно. Сижу на чемоданах.

- Чемоданах? - в ужасе подскочил Бельбо при этом слове.

- Да, перехожу на работу в Сардинию. Надеюсь, там спокойнее.

- Доктор Де Анджелис, я должен поговорить с вами о важном деле. О той истории...

- Какой истории?

- С пропажей полковника. И насчет еще... Помните, когда-то вы спрашивали Казобона, знает ли он, что такое Трис. Так вот, я слышал о Трис. Я должен сообщить вам очень важные...

- Не надо сообщать мне ничего. Меня это уже не касается. И вообще, вам не кажется, что вы немного затянули?

- Да, я готов признать, я кое о чем умолчал тогда, давно. Но сейчас я вам все расскажу.

- Нет, доктор Бельбо, ничего мне не рассказывайте. Прежде всего мне хотелось бы, чтоб вы знали, что наш разговор сейчас прослушивается, а те, кто прослушивает, пусть знают, что я ничего не слышал и слышать не хочу. У меня двое детей. Маленьких. И мне дали понять, что с ними может что-нибудь случиться. И продемонстрировали, что это не шутки. Вчера утром, когда моя жена завела машину, у нее взорвался багажник. Заряд был очень маленький, хлопушечный, но этого хватило, чтобы показать: если захотят, смогут. Я пошел к начальнику и сказал, что до сих пор всегда исполнял свой долг, и делал больше, чем обязан делать, но что я не герой. Я даже могу отдать свою жизнь, но не жизнь жены и не жизнь детей. Я попросил о переводе. А потом пошел и сказал перед всеми нашими, что я трус, что я обделался со страху. И сейчас повторяю то же самое вам и тому, кто нас подслушивает. Я погубил свою карьеру, я потерял уважение к себе. Выражаясь красиво, я пожертвовал честью, но спас жизнь своим близким. Все говорят, что в Сардинии очень красиво, и мне не надо будет собирать деньги на отдых, чтобы посылать детей летом к морю. До свидания.

- Погодите, дело очень серьезное, я попал в ужасное положение...

- Да? Очень рад это слышать. Когда я просил вас о помощи, вы мне ее не оказали. Ни вы, ни ваш приятель Казобон. А сейчас, когда вы попали в положение, вспоминаете обо мне. А я тоже в положении. Так что вы опоздали. Вы, наверное, считаете, что ваша полиция должна вас беречь? Ну и обращайтесь в полицию. К моему сменщику.

Бельбо повесил трубку. Все просчитано. Они отняли у него возможность обратиться к единственному полицейскому, который бы ему поверил.

Потом он подумал, что в конце концов Гарамон, со своими знакомствами в высших сферах - префекты, квесторы, начальники во всевозможных министерствах, - мог бы помочь ему.

Гарамон выслушал его весьма любезно, в нескольких местах перебивая вежливыми восклицаниями вроде «да что вы говорите», «подумать только» и «мне кажется, что я слушаю роман, более того, новеллу». Потом он соединил ладони, вперил в Бельбо взор, полный безграничной симпатии, и проговорил:

- Юноша, позвольте мне называть вас именно так, я ведь мог бы быть и отцом вашим, ну, отцом вряд ли, потому что я еще молод, скажу более, моложав, но мог бы быть вашим старшим братом, надеюсь, вы согласитесь с этим. Говорю я от чистого сердца, и знакомы мы с вами издавна. У меня сложилось впечатление, что вы перевозбуждены, находитесь на пределе сил, с измотанными нервами, скажу сильнее, утомлены. Не думайте, что я не ценю ваших усилий, мне известно, что вы душою и телом преданы работе в нашем издательстве, и настанет день, когда это будет учтено, в терминах, скажем так, материальных, потому что и об этой стороне дела думать не зазорно. Но сейчас бы я на вашем месте взял на какое-то время отпуск. Вы говорите, что находитесь в некоторой щекотливой ситуации. Откровенно говоря, я бы не драматизировал, хотя, позвольте мне заметить, для нашего реноме было бы огорчительно, если бы один из наших сотрудников, позвольте мне сказать даже, из самых лучших, оказался бы замешан в некую нелепую историю. Вы говорите, что кто-то приглашал вас для объяснений в Париж. Я не требую от вас подробностей, я вам просто верю, таков уж я по натуре. Так что же? Почему бы не поехать, чтобы все выяснилось раз и навсегда? Вы сообщаете, что вступили в отношения - как бы это выразиться - конфликтуальные... с господином Алье, истинным джентльменом. Я не требую отчета о том, что же именно произошло между вами, и в любом случае не придавал бы особой важности случайному совпадению имен, которое произвело на вас столь разительное впечатление. Сколько людей на этом свете носит фамилию Жермен или Джермани; что же из этого? Если Алье приглашает вас в Париж, чтобы во всем разобраться, откровенно говоря, почему бы вам не съездить? Это ведь не конец света. В отношениях между людьми ценнее всего простота и откровенность. Поезжайте в Париж, и если у вас есть что-то на сердце, не запирайтесь. Что на уме, то пусть будет и на языке. К чему все эти секреты! Доктор Алье, если

я правильно понимаю, огорчается, что вы не хотите рассказать ему, где лежит какая-то хартия, картинка, картонка или карта - я не понял, о чем конкретно речь, но, в общем, у вас она есть, и вам все равно она ни к чему, а, может быть, нашему другу Алье она понадобилась для научной работы. Мы ведь должны помогать друг другу, тем самым и развитию культуры. Разве вы не согласны с этим? Так уступите ему эту картонку, эту карту, этот атлас мира, меня не интересует знать, чего конкретно вы не поделили. Если он так о ней беспокоится, значит, должна быть тому некая причина, безусловно уважительная причина, как-никак мы имеем дело с джентльменом до мозга костей. Поезжайте в Париж, и увидите: доброе рукопожатие - и тяжесть с души вон. И не расстраивайтесь по мелочам. В любом случае вы прекрасно знаете: если вам хоть в чем-либо понадобится помощь, достаточно только обратиться ко мне. - После этого Гарамон нажал на переговорное устройство: - Госпожа Грация... Ну вот, ее нет. Когда нужно, ее не бывает на месте. Что прикажете делать. У вас свои огорчения, но если бы вы только знали, что приходится выносить мне. Я с вами прощаюсь, если вы увидите в коридоре госпожу Грацию, попросите ее зайти сюда. И прошу вас, хорошенько отдыхайте.

Бельбо вышел в коридор. Госпожи Грации не было на месте, он увидел, как загорелась красненькая лампочка на персональной линии Гарамона. Тот кому-то звонил. Бельбо не смог удержаться (я уверен, что он в первый раз в жизни пошел на подобный поступок). Он поднял трубку и услышал обрывок разговора. Гарамон извещал кого-то: - Не беспокойтесь. Мне кажется, я его убедил. Он поедет в Париж... Ну что вы, это мой долг. Не случайно ведь мы с вами являемся членами одной и той же духовной кавалерии!

Значит, и господин Гарамон составлял собой часть тайны. Какой же тайны? Той самой, которую он один, Бельбо, был способен поведать миру. И которая не существовала.

Наступал уже вечер. Бельбо отправился к Пиладу, поболтал там с кем-то у стойки, злоупотребил алкоголем. На следующее утро он пошел к своему единственному другу, единственному, который еще был на свете. К Диоталлеви. За помощью к человеку, который в это время умирал.

И от этой последней их беседы внутри Абулафии остался лихорадочный пересказ, в котором я не мог разобрать, какие слова принадлежали Диоталлеви, какие - Бельбо, потому что и тот и другой заговаривались, выборматывая единственную правду, понимая, что миновало то время, когда было можно драпироваться вымыслом.

110

И случилось рабби Измаилу бен Элиша, и его ученикам, уча книгу Йецира, ошибиться в движениях и зашагать обратно, и ушли все они по пояс в землю, из-за силы букв.

Лже-Саадиа, *Комментарий к Сефер Йецира*

Никогда он не видел его таким альбиносом, хотя уже не было ни волос ни ресниц ни бровей. Напоминало бильярдный шар.

- Извини, - сказал он. - Поговорим о моих делах?

- Валяй. У меня нет дел. Есть Удел. С большой У.

- Я слышал, что нашли новый метод лечения. Эта хворь быстро развивается у двадцатилетних, а у тех, кому под пятьдесят, она идет медленно, тем временем разработают правильную терапию.

- Говори за себя. Мне еще не под пятьдесят. У меня молодой организм и мне полагается более быстрая смерть. Ты видишь, мне трудно говорить. Рассказывай свое дело, я пока отдохну.

Из уважения, из повиновения, Бельбо рассказал ему свое дело.

И тогда заговорил Диоталлеви, булькая, как Оно в научно-фантастичес-

ком фильме. Он был и видом похож на Оно - прозрачностью, отсутствием границ между внутренностью и внешностью, между кожей и мясом, между клейким белым пухом, вылезавшим из пижамы, вспученной на животе, и клейковинным клубом нутра, который только рентген-лучи или последняя стадия болезни умеют прорисовать с такою четкостью.

- Якопо, я лежу здесь и не знаю, что делается в мире. Поэтому я не могу судить о том, что ты мне рассказываешь сейчас, происходит ли это только внутри тебя или вне тебя. В любом из случаев, кто-то стасовал, смешал и переиначил слова Книги сильнее, чем позволено.

- Что это значит?

- Мы согрешили против Слова, сотворившего и удерживающего мир. Ты терпишь наказание за это, так же как и я. Между нами нет различий.

Появилась сиделка, подала ему что-то для смачивания губ, сказала Бельбо, что утомлять больного не надо, но Диоталлеви взбунтовался: - Оставьте в покое. Я должен сказать ему Истину. Вы владеете Истиной?

- Ох, ну и вопрос, что вам сказать, прямо не знаю...

- Тогда идите. Это мой друг, я говорю ему важную вещь. Послушай, Якопо. Как внутри человеческого тела имеются члены суставы и органы, так же и в Торе, понятно? И как внутри Торы есть члены и суставы, так же и в теле.

- Ладно.

- Рабби Меир, когда он учился у рабби Акибы, подмешивал витриоль[1] к чернилам, и учитель не говорил ничего. Но когда рабби Меир спросил у рабби Измаила, добро ли он делает, тот ему ответил: сын мой, будь осмотрителен в своем труде, потому что это труд Господен, и если ты потеряешь хотя бы букву или лишнюю букву напишешь, ты испортишь весь мир... Мы хотели переписать Тору, но не боялись недописать или приписать, буквой больше или меньше...

- Мы же в шутку...

- Шутки недопустимы с Торой.

- Но мы шутили над историей, над тем, что писано другими.

/.../

- Якопо, пока я мог еще читать, лежа тут, я читал словари. Изучал историю слов, чтобы понять, что произошло с моим телом. Для нас, раввинов, это обыкновенный путь. Ты когда-нибудь думал, что риторический термин «метатеза» - двойник онкологического «метастаза»? Что такое метатеза? Это когда вместо «Логос» говорят «голос». Это Темура. Словарь же говорит, что метатеза означает сдвиг, подмену. А метастаз означает изменение, сдвиг. До чего глупы словари. Тот же самый корень - либо от глагола «метатифеми» либо от глагола «мефистеми». Но «метатифеми» означает «ставлю в середину, переношу, перемещаю, подменяю»... А «мефистеми» значит «перемещаю, передвигаю, изменяю, схожу с ума». Вот так мы все и сошли с ума. И в первую очередь обезумели клетки моего тела. Поэтому я умираю, Якопо, и ты это знаешь.

- Ты говоришь так потому, что болен.

- Я говорю так потому, что наконец я понял, что случилось в моем организме. Я изучаю его день за днем, знаю, что в нем происходит, но не могу на него воздействовать, клетки больше не подчиняются мне. Я умираю потому, что убедил свои клетки в том, что правил никаких нет, что с любым текстом можно делать все что угодно. Я потратил жизнь на то, чтоб убедить в этом себя, в первую очередь свой мозг. И мой мозг передал полученное убеждение непосредственно им, моим частицам. Почему я теперь могу надеяться, что они окажутся осторожнее моего мозга? Я умираю от того, что мы оказались свободнее любых допустимых пределов.

- Послушай, то, что происходит с тобою, не имеет никакого отношения к Плану...

- Разве? А с тобой почему происходит то, что происходит? Мир повел себя в точности как мои частицы.

---

[1] Vitriolum (*средиев. лат.*) - купорос (белый - цинковый, синий - медный, зеленый - железный, красный - никелевый). В алхимии - символ магической власти (Visitabis Interiora Terrae, Rectificando Inveniens Occultam Lapidem, Veram Medicinam - «Сойдя в недра земли, очищая отыщешь таинственный камень, истинное лечение»).

Он затих, обессиленный. Тут вошел доктор и прошипел тихим голосом, что невозможно подвергать подобному стрессу умирающего человека.

Бельбо вышел, и это был последний раз, когда он видел Диоталлеви.

Хорошо, пишет дальше он, пусть меня разыскивает полиция по тем же причинам, по которым у Диоталлеви рак. Бедный мой друг. Но я-то, у которого рака нет, что я должен делать? Ехать в Париж выяснять закономерности образования новообразований?

Но он сдался не сразу. Просидев взаперти четыре дня, он пересмотрел свои файлы, фразу за фразой, ища в них объяснения. Потом он записал все, что с ним было, как будто составил завещание, заповедав сказанное самому себе, Абулафии, мне или любому, кто сумел бы это прочесть. И наконец, во вторник он улетел в Париж.

Я думаю, что Бельбо отправился в Париж, чтобы сказать им там, что секретов нет и не бывало, что единственный секрет, который существует - это дать возможность клеткам следовать за инстинктивной мудростью мира, что те, кто ищет секретов под поверхностью, доводят мир до отвратительного канцера. И что отвратительнее и глупее всех был он сам, который ничего не знал и выдумал целый мир. Он имел бы на это право, если бы за это он готов был заплатить дорогую цену. Но чересчур издавна он приучился к мысли, что является трусом. И Де Анджелис подтвердил ему, что героев в этом мире почти нет.

В Париже он, видимо, вышел на связь с Теми и осознал, что Те не собираются верить его словам. Слова были слишком просты. А Те добивались от него откровений, угрожая смертью. Бельбо не имел для них откровений и - последняя из его трусостей - страшился умереть. И тогда он попытался бежать, заметая следы, и позвонил мне в Милан по телефону. Но тут его схватили.

111

Это урок на будущее. Когда ваш враг опять появится, поскольку он не под последней своей личиной, сорвите ее резко, и в особенности не ходите искать в подземельях.

Жак Казот, *Влюбленный дьявол*,
1772, страница отсутствует в последующих изданиях
Jacques Casotte, Le diable amoureux

А сейчас, спрашивал я себя в квартире Бельбо, кончая читать его признания, что следует делать мне? К Гарамону идти нет смысла, Де Анджелис уехал, Диоталлеви сказал все, что он имел сказать. Лия далеко отсюда в доме без телефона. Сейчас шесть утра субботы 23 июня, и если чему-то предстоит случиться, это случится сегодня ночью в Консерватории науки и искусства в Париже.

Я должен принять быстрое решение: Почему, спрашивал я себя в тот вечер в перископе, я не принял решение сделать вид, будто ничего не случилось? Передо мной были записки сумасшедшего, пересказывавшего свои словопрения с другими сумасшедшими, или же с умирающим, находившимся в супервозбуждении и в супердепрессии. Не было точно известно, звонил ли мне Бельбо действительно из Парижа, или из пригорода Милана, или из автомата напротив дома. Почему надо было влезать в историю, которая вполне могла оказаться фантазией и никак меня не касалась?

Но эти вопросы приходили мне в голову значительно позднее, в перископе, когда ноги мои затекали, дневной свет убывал, и меня охватывал неестественный страх, более чем объяснимый, когда человеческое существо оказывается ночью, в одиночестве, в абсолютно пустом музее. Утром того же дня, однако, я не испытывал страха. Только заинтересованность. И, может быть, чувство долга, можно даже сказать, чувство дружбы.

Я пришел к выводу, что должен отправляться в Париж, не вполне понятно для чего, но чтобы не бросать Бельбо в одиночестве. Может быть, он только меня и ждал. Может, он только на то и надеялся, что я появлюсь таинственно ночью в пещере тугов[1], и когда Суйодхана[2] занесет свой жертвенный нож над его грудью, я ворвусь под своды храма с моими верными сипаями, у которых ружья заряжены железной мелочью, и спасу его, и он окажется в безопасности.

К счастью, у меня были деньги. В Париже я взял такси и поехал на улицу Мантихор. Таксист долго чертыхался, потому что улицы с таким названием не было даже в таксистских справочниках, и действительно, шириной она была с коридор поезда, в районе, где прежде протекала река Бьевр, засыпанная ныне, за церковью Сен-Жюльен-Ле-Повр. Такси туда не смогло въехать, я вышел на углу и нырнул в щель.

В щели меня поразило прежде всего, что в ней не было ни единой двери, ни единого входа, но потом я обнаружил за выступом лаз, это и был вход в магазин. Номер дома по улице Мантихор действительно был 3, невзирая на то, что ни первого, ни второго домов не существовало. Витриной и в то же время источником света в магазине служила верхняя половина входной двери. На полках внутри двери несколько десятков книг, только-только чтобы создать атмосферу. На нижней полке несколько кладоискательных вилок, пыльные упаковки воскурений, маленькие не то восточные не то латиноамериканские амулеты. Множество колод тарокко, разнообразных по рисункам и типам.

Внутри было не лучше. Куча книг на стеллажах и на полу, в глубине столик и продавец, посаженный туда, похоже, только чтобы подсказывать описывающим стандартную фразу о том, что он выглядел еще древнее, чем его книги. Он копался в растрепанном рукописном реестре, не обращая ни на что внимания. С другой стороны, не на что было обращать: только два посетителя оживляли собой магазин, сбрасывая лавины пыли с шатких полок при попытке вытащить какой-нибудь том, как правило без обложки, в который они надолго углублялись, всем видом показывая, что пришли не покупать, а читать.

В единственном простенке, не заставленном шкафами, красовался большой плакат. Кричащие краски, какие-то лица в жирно обведенных кружочках, похоже было на плакаты мага Гудини. «Маленький Цирк Невероятного. Мадам Олкотт и ее связи с Невидимым». Оливкового цвета почти мужское лицо, двумя крыльями черные волосы сходятся в узел на макушке, где-то я ее уже видел. «Дервиши Вопленники и их священная пляска», «Мини-Монстры, или Потомки Фортунио Личети» - сборище уморительно безобразных уродцев. «Алекс и Денис, Гиганты Авалона. Тео, Лео и Гео Фоксы, Камуфляж Гектоплазмы».

Книжная лавка Слоан действительно во всем шла навстречу покупателям, предлагая даже билеты в цирк, есть куда сводить дитятю, прежде чем истолочь его в ступке./.../Мне было не по себе. Я попытался кашлем привлечь к себе внимание книготорговца и проинформировал его, что ищу приятеля, завсегдатая этой лавки, господина Алье. Старец посмотрел на меня с изумлением. Может быть, добавил я, он известен не под именем Алье, а скажем как Раковский, Солтыков или... Тот посмотрел на меня еще пристальнее, щуря глаза, без всякого выражения, и заметил, что у меня странные знакомые со многими именами. Я сказал тогда, что не имеет значения, что я спрашивал просто так. Погодите, сказал он, сейчас должен прийти сюда мой компаньон, вероятно, он знает того господина, которого вы ищете. Да, да, посидите, там в глубине магазина есть стул. Я позвоню, наведу справки. Он поднял трубку, накрутил номер и о чем-то заговорил приглушенным голосом.

Казобон, сказал я сам себе, ты еще глупее Бельбо. Чего ты теперь ждешь? Чтобы нагрянули Те Самые, какая интересная встреча, вот здесь и друг Якопо Бельбо, идите, идите же сюда поближе, не бойтесь...

---

1 От thugs (*англ.*) - разбойники, головорезы.
2 В индуистской мифологии Суйодхана - воплощение демона зла Кали.

Я вскочил, распрощался и выбежал. За одну минуту промчавшись по улице Мантихор, я оказался в лабиринте кривых улочек, обрывавшихся на набережной Сены. Идиот, продолжал шептать я, чего ты хотел достичь? Приехать в Париж, разыскать Алье, взять его за шиворот, тот бы извинился, произошло недоразумение, вот вам ваш приятель, мы его не попортили. На это ты рассчитываешь? Теперь им известно, что ты тоже в Париже.

Было около часу. Вечером что-то должно было произойти в Консерватории. Что мне было делать? Я шел по улице Сен-Жак и то и дело оборачивался. Вдруг мне показалось, что какой-то араб меня преследует. С чего я взял, что он араб? Отличительная черта арабов в том, что они арабами не кажутся, я имею в виду в Париже, в Стокгольме другое дело.

Поравнявшись с какой-то гостиницей, я вошел и попросил комнату. Идя с ключом по деревянной лестнице, на втором этаже которой была балюстрада, я свесился посмотреть вниз и увидел, что «араб» вошел за мной и направился к стойке. Потом в коридоре я заметил каких-то людей, которые вполне могли были бы быть арабами. Ничего странного, в этом районе, должно быть, на каждом шагу гостиницы для арабов. Ну и что из этого?

Я вошел в комнату. Она оказалась приличной и даже с телефоном, жалко только, что я не знал кому позвонить.

Я лег и забылся беспокойным сном часа на три. После этого встал, умылся холодной водой и отправился по направлению к Консерваторию. Теперь мне ничего другого не оставалось, я должен был войти в музей, дождаться часа закрытия, спрятаться и сидеть до полуночи.

Это я и сделал. Полночь уже приближалась, я находился в перископе, чего-то ждал.

Нецах для некоторых толкователей - сефира Сопротивляемости, Выносливости и беспредельного Терпения. И точно, впереди было Испытание. Но по другим толкователям, это сефира Победы. Победы кого? Полагаю, что в этой истории о проигравших, где Бельбо проиграл одержимцам, одержимцы Бельбо, а Диоталлеви проиграл собственным клеткам, я был единственным победителем. Я упрятался в перископе, я знал о тех, те не знали обо мне. Первая часть моего замысла развернулась точно по плану.

Ну, а вторая? Она тоже пройдет по моему плану или же по Плану, который уже принадлежит не мне?

8
ГОД

113

Наше дело - тайна внутри тайны, тайна чего-то, что остается скрытым, тайна, которую лишь другая тайна может изъяснить, это тайна на тайне, которая тешится тайной.

Джафар аль-Саид, шестой Имам

Я медленно возвращался в сознание. Слышались звуки, тревожно мерцали блики. Меня мучили задеревеневшие ноги. Я постарался подняться тихонько, без всякого шума, ступни оперлись на отмель, заселенную морскими ежами. Русалочка, ау! Совершенно бесшумно я перемялся с ноги на ногу, встал на цыпочки, опустился на пятки. Пытка стала выносимее. Только тогда, высунув осторожно голову из будки, я посмотрел налево, направо и убедился, что моя засада остается в тени. Я мог видеть, не будучи видимым.

Неф освещался повсюду. Свет шел от фонарей, теперь их было несколько десятков, по фонарю у каждого участника бала, число которых прибывало каждую минуту. Они выныривали из постамента памятника Грамму, проходили через бывший соборный хор и устраивались в нефе. Господи, сказал я

себе, что за шабаш на Лысой Горе, нарисованный Диснеем!

Они не галдели, а шептались, но все совокупно производили какой-то назойливый шум, как в театре, когда статисты вразнобой бормочут «чтоговоритькогданеочемговорить».

Слева от меня фонари были расположены на земле полукругом, дорисовывая приплюснутой дугою восточную выпуклость абсиды, достигая окраиной этого как бы полукруга статуи Паскаля. Под статуей располагался пылающий жертвенник, на который постоянно подбрасывали травы, эссенции. Дым пробирался ко мне в будку, драл горло, приводил меня в состояние тупого перевозбуждения.

На фоне трепета фонарей я заметил, что посередине хора колыхалась какая-то штука, какая-то тонкая и подвижная тень.

Маятник! Маятник не болтался теперь на своем месте под крестовиною купола. Он был прицеплен, и не он, а другой, бывший больше, к замку свода над хором. Шар стал крупнее, трос, державший его, толще, он напоминал корабельный канат или витой кабель.

Маятник был такой же громадный, какой проектировался в свое время для Пантеона. Было похоже, как будто я смотрел на Луну в телескоп.

Они реконструировали его в том же виде, в каком тамплиеры испытали его впервые, за полтысячелетия до Фуко. Чтобы позволить маятнику качаться свободно, они к тому же убрали некоторые предметы, добавив к амфитеатру хора свой грубый фонарный полукруг, антистрофу - сцену.

Я недоумевал: как же Маятник ухитряется сохранять постоянную энергию? Ведь под половым покрытием хора не вмонтирован, как на прежнем месте, магнитный амортизатор? И тут же увидел как. У окраины хора, рядом с двигателями Дизеля, находился человек, который, в любой момент готовый, как кот, совершить прыжок в зависимости от изменений колебательного плана, - мягким движением руки добавлял шару, всякий раз когда шар проносился в радиусе его действия, новый небольшой импульс, точно рассчитывая силу толчка длинных и гибких пальцев.

Он был во фраке, как Мандрейк. Немного погодя, получше разглядев всю его команду, я понял, что это фокусник, иллюзионист «Маленького цирка мадам Олкотт», профессионал, умеющий великолепно дозировать энергию нажима, с железными запястьями, с привычкою работать на микроскопических различиях. А может быть, он даже был способен сквозь тонкие подметки своих лакированных туфель прочувствовать течения Земли и привести свои руки в соответствие тайной жизни шара и тайной жизни Земли, на призывы которой реагировал шар?

Его окружение. Чуть погодя я рассмотрел и их тоже. Они проскальзывали между автомобилями нефа, пронырывали около дрезин и мотоциклов, почти что перекатывались в потемках, кто подтаскивал трон и покрытый красным сукном стол заседаний в широкую галерею в дальнем конце нефа, кто примащивал дополнительные фонари. В своей мелкости, в ночном мельтешенье они ковыляли, как рахитичные дети, и я заметил у одного, проходившего рядом, монголоидные черты лица и лысый череп. Это были Мини-Монстры мадам Олкотт, мерзейшие карлики-уроды, которых я видел на плакате в лавке Слоан.

Цирк собрался тут в полном составе, труппа, пожарные и ковёрный персонал. Я увидел Алекса и Дениса, Гигантов Авалона, затянутых в ремни из черной кожи с нашлепками, действительно гигантских, белокурых: они стояли прислонившись к громадному Обеиссану, крестом сложивши руки, выжидая.

Не было времени пытаться рассмотреть остальное. Вошел некто с большой торжественностью, властным жестом призвал к порядку. Я узнал Браманти лишь по его кровавой тунике, белому плащу и митре, которые видел во время знаменитого мистического вечера в Пьемонте. Браманти приблизился к жертвеннику, плеснул на него что-то, всех обдало чадом и вслед за этим жирная белая волна дыма и аромата распространилась по всей зале. Как тогда в Рио, подумал я, как тогда в Пьемонте на алхимическом балу. А у меня нет агогона. Я завесил платком рот и ноздри, как противогазом. Но все тщет-

но: Браманти задвоился в моих глазах, а Маятник стал скакать передо мною сразу во множестве направлений, как в луна-парке.

Браманти начал выкликать: - Алеф бет гимель далет ге вав заин хет тет йод каф ламед мем нун самех айин пе цади коф рейш шин тав!

Толпа отвечала молитвенно: - Пармесиэль, Падиэль, Камуэль, Азелиэль, Бармиэль, Гедиэль, Азириэль, Мазериэль, Дорхтиэль, Узиэль, Кабариэль, Райзиэль, Зимиэль, Армадиэль...

Браманти снова махнул, и некто отделился от толпы, преклонил колено у ног священнодея. Только на мгновение мне удалось увидеть его лицо. Это был Риккардо, человек со шрамом, художник.

Браманти допрашивал его, а тот произносил ответы, откликаясь наизусть затверженными формулами ритуала.

- Кто ты есть?

- Я адепт, еще не допущен до высочайших секретов ТРИС. Я готовился в молчании, в медитации, сопредельной тайне Бафомета, и в сознании, что Великое Деяние творится о шести нетронутых печатях и что только перед скончанием мы узнаем тайну седьмой печати.

- Как ты был принят?

- Взойдя по перпендикуляру к Маятнику.

- Кто тебя принял?

- Мистик-Легат.

- Ты узнал бы его?

- Нет, ибо он был маскирован. Мне известен в лицо только Рыцарь на одну ступень выше меня, а тому известен лишь Измеритель на ступень выше его ступени, и так каждому известен лишь один. И я желаю того же /.../

- Ты доставил женщину?

- Да, она здесь. Я передал ее тому, кто был мне указан. Она готова.

- Ступай же и будь готов.

Диалог проходил на весьма приблизительном французском. Покончив с этим, Браманти сказал: - Братья, мы собрались во имя Единого Ордена, Ордена Неизвестного, к которому до вчерашнего дня вы и не ведали, что принадлежите, а приналежали к нему всегда! Поклянемся же. Анафема профанаторам тайны! И анафема сикофантам Оккультного, анафема тем, кто сделал позорищем Ритуалы и Таинства!

- Анафема!

- Анафема Невидимому Коллегиуму, ублюдкам Хирама и вдовицы, и магистрам оперативным и спекулятивным Великой лжи Востока и Запада, Древней, Принятой и Исправленной, Мисраиму и Мемфису, Филатетам и Девяти сестрам, Строгому наблюдению и Порядку Храма восточного, Иллюминатам Баварии и Авиньона, Кавалерам Кадоша, Избранным Коэна, Совершенному Дружеству, Рыцарям Черного Орла и Святого Града, Розенкрейцерам Англии, Каббалистам Златорозового Креста, Золотой Заре, Католическому розенкрейцерству Храма и Грааля, Утренней Звезде, Светилу Аргентинскому и Телемскому, Вриль и Туле, анафема древним и мистичным узурпаторам наименования Великого Белого Братства, Наблюдателям Храма, анафема всем Коллегиумам и Приоратам Сиона и Галлий!

- Анафема!

- Кто бы по простоте, по повелению, из прозелитизма, расчета либо же по злой воле ни был инициирован в ложу, коллегиум, приорат, капитул, орден, которые незаконно апеллируют к Неведомым Верховникам и Старшинам мира, да отречется этой же ночью и да испросит в исключительном порядке принятия духовного и телесного в ряды единственного истинного наблюдения, ТРИС, Тамплиеров-Рыцарей Интернациональной Синархии, в триединый и триософский мистический и секретный орден Кавалеров Синархов Возрождения Тамплиерства!

- Под сению крил твоих!

- Пусть же войдут местодержатели тридцати шести постов высшей тайной иерархии!

И в то время как Браманти выкликал одного за другим избранных, они

входили в литургических одеждах, каждый неся на груди Золотое Руно.

- Кавалер Бафомета, Рыцарь Семи Нетронутых Печатей, Кавалер Седьмой Печати, Кавалер Тетраграмматона, Рыцарь Каратель Флориана и Деи, Рыцарь Атанора... Достопочтенный Измеритель Вавилонского Столпа, Достопочтенный Измеритель Великой Пирамиды, Достопочтенный Измеритель Кафедральных Соборов, Достопочтенный Измеритель Храма Соломона, Достопочтенный Измеритель Садов Палатинских, Достопочтенный Измеритель Храма Города Солнца...

Браманти выкликал титулы, а их носители группами вступали в зал, и я, как ни силился, не успевал различить их по титулам, однако несомненно в числе первой дюжины вошли Де Губернатис и старик из книжной лавки Слоан, профессор Канестрис и другие, виденные мною на мистическом празднике в Пьемонте. По-видимому, степень Кавалера Тетраграмматона относилась к господину Гарамону, он вошел чопорный, иератичный, полный сознания своей новой роли, подрагивающими руками он то и дело ощупывал свой нагрудный знак Золотого Руна. Тем временем Браманти продолжал: - Мистик-Легат Карнака, Мистик-Легат Баварии, Мистик-Легат Барбелогностиков, Мистик-Легат Камлота, Мистик-Легат Монсегюра, Мистик-Легат Сокровенного Имама... Верховный Патриарх Томара, Верховный Патриарх Килвиннинга, Верховный Патриарх Сен-Мартен-де-Шан, Верховный Патриарх Мариенбада, Верховный Патриарх Невидимой Охраны, Верховный Патриарх in partibus Скалы Аламута...

Как легко догадаться, Великим Патриархом Невидимой Охраны являлся Салон, такой же сероликий, но без своего халата, сегодня он красовался в желтом облачении вроде туники с кровавым подбоем. За ним следовал Пьер, психопомп Люциферовой церкви, имевший на груди, в отличие от всех, не орден Золотого Руна, а стилет в позолоченных ножнах. Тем временем Браманти продолжал: - Великий Иерогам Алхимического Бракосочетания, Великий Психопомп Родоставрос, Великий Референдарий Тайного Тайных, Великий Стеганограф Иероглифической Монады, Великий Коннектор Астрального и Взаимного космоса, Великий Смотритель Гробницы Христиана Розенкрейца... Неуловимый Архонт Земных токов, Неуловимый Архонт Полого Земного Шара, Неуловимый Архонт Мистического Полюса, Неуловимый Архонт Лабиринтов, Неуловимый Архонт Маятника Маятников... - Браманти выдержал паузу, и, как мне показалось, с неудовольствием возвестил последнего члена совета: - Неуловимейший из Неуловимых Архонтов, Раб Рабов, Смиреннейший Секретарь Эдипа Египетского, Ничтожный Посланник Верховников Мира и Вратарь Агарты, Последний Кадильщик Маятника, Клод-Луи, граф Сен-Жермен, князь Ракоши, граф Сен-Мартен, маркиз Алье, властелин Сюрмона, маркиз Уэллдон, маркиз Монферрат, Эмар и Бельмар, граф Солтыков, кавалер Шёнинг, граф Цароги!

В то время как прочие располагались на галерее, в президиуме, лицом к маятнику и к общему собранию, рассевшемуся в нефе, вошел господин Алье, в синем в полоску двубортном костюме, с бледным и замкнутым ликом, ведя за собою, как ведут душу умершего по тропинке Аида, бледную, как он, и как будто одурманенную наркозом, одетую в одну только белую полупрозрачную тунику, Лоренцу Пеллегрини с разметанными по плечам волосами. Я увидел ее в профиль, в то время как она проходила, нежная, изможденная, как прелюбодеица прерафаэлитов. Слишком прозрачная, чтоб не возбудить в очередной раз моего желания.

Алье подвел Лоренцу к жертвеннику, вблизи от статуи Паскаля, погладил ее по отсутствующему, задумчивому лику и подал знак Гигантам Авалона, чтобы они приблизились и поддержали Лоренцу. Потом направился к столу и уселся лицом к своей пастве, и мне он был виден прекрасно, в то время как вынимал из жилетного кармана табакерку и вращал ее пальцами в безмолвии, прежде чем заговорить.

- О братья, о кавалеры. Вы собраны потому, что в эти дни Мистические Легаты оповестили вас о слете, и следовательно, всем вам известна причина, объединившая нас тут. Мы должны были бы собраться в ночь 23 июня 1945 года. Может быть, некоторые из вас в тот год еще не были рождены на свет -

я хочу сказать, не существовали в своей сегодняшней ипостаси. Я пригласил вас сюда, потому что после шести сотен лет мучительнейших блужданий мы обнаружили того, кто знает. Как он узнал - и узнал больше, чем знаем мы - это тревожащая тайна. Но добавлю, что среди нас присутствует - и ты не мог бы не быть тут, не правда ли, мой любопытный друг, однажды уже раскаявшийся в излишнем любопытстве? - итак, открою вам, что среди нас присутствует некто, кто мог бы рассказать, откуда знает Тот. Арденти!

Полковник Арденти - и это был именно он, в том же вороновом оперении, хотя немного одряхлевший - протолкался между зрителями и встал перед столом, за которым заседал грозный Судия. Между ним и подсудимым, как непреодолимая преграда, со свистом прорезал воздух справа налево и обратно тяжелый шар Маятника.

- С тех пор как мы не видимся, о брат мой, - усмехнулся Алье, - я слышал, что ты не сумел удержаться и разгласил секретные сведения. Так как же? Ты знаешь, что сказал нам заключенный, и он говорит, что узнал от тебя. Значит, ты знал это и таил от нас.

- Граф, - отвечал Арденти. - Заключенный лжет. Мне унизительно признаваться, но честь превыше всего. История, которую я ему доверил, не та, в которую посвятили меня сейчас Мистические Легаты. Истолкование Послания - да, это верно, Посланием я занимался, и этого я не потаил от вас тогда, несколько лет назад, в Милане, - его истолкование Послания для меня ново. Я не был бы способен прочесть его так, как читает заключенный, и поэтому я искал помощи. И должен сказать, что этой помощи от него не получил, напротив, встретил лишь недоверие, вызов и угрозы... - Может быть, он собирался сказать что-то еще, но глядя на Алье, он глядел также и на Маятник, оказывавший на него завораживавшее влияние. В гипнотическом трансе он пал на колени и смог произнести только: - Прошу пощады, ибо не знаю.

- Ты пощажен, ибо знаешь, что не знаешь, - сказал ему Алье. - Ступай. Итак, о братья, заключенный знает много того, о чем не знал ни один из нас. Он даже знает, кто такие мы, а мы узнали это от него. Следует действовать безотлагательно, ибо скоро начнет рассветать. Оставайтесь же здесь в медитации, пока я удалюсь, чтобы снова беседовать с заключенным и чтоб вырвать у него признание.

- А, нет, месье граф! - Пьер выступил на просцениум, глаза его горели. - У вас было два дня, вы с ним говорили, с нами это не обсуждалось, и он не видел ничего, не говорил ничего, не слышал ничего, как три обезьяны. О чем вы хотите опять его спрашивать, сейчас, в эту ночь? Нет, нет, сюда, перед всеми, перед нами, немедленно!

- Успокойтесь, мой милый Пьер. Я распорядился доставить сюда сегодня ту, которую чту как совершеннейшее воплощение Софии, как мистическую связную между миром заблуждения и Верховным Огдоадом. Не дознавайтесь, как и почему, но при помощи этой посредницы заключенный заговорит. Скажи всем этим людям, кто ты такая, София!

И Лоренца, в том же сомнамбулическом трансе, почти что с трудом выговаривая слова: - Я есмь... блудница и святая...

- А, вот какие штуки, - ощерился Пьер. - С нами тут сливки мировой инициации, а надо прибегать к девкам! Нет уж, сюда его, к Маятнику, и быстро!

- Не будем ребячиться, - настаивал Алье. - Мне нужен час времени. С чего вы взяли, что он будет красноречив у Маятника?

- Будет красноречива его смерть! Человеческую жертву! Le sacrifice humain! - заревел Пьер, обращаясь к залу.

И зал подхватил хором: - Le sacrifice humain!

Салон сделал шаг вперед: - Граф, ребячество ни при чем, правота на стороне брата. Мы же не полиция...

- Уж вы бы на эту тему молчали... - парировал Алье.

- Мы же не полиция и не считаем для себя употребимыми известные методы дознания. Не думаю в то же время, что могли бы возыметь действие жертвоприношения духам подземного мира. Если бы они хотели подать нам какие-либо знаки, у них имелось достаточно времени. Они не подали знаков. Кроме заключенного, знал еще кое-кто, не считая того, кого не стало. Так вот,

нынешней ночью в нашей власти провести очную ставку заключенного с теми, кто знали и даже... - тут он хихикнул, буравя Алье прищуренным взглядом из-под кустоватых бровей, - провести их очную ставку с самими нами, вернее с некоторыми из нас...

- На что вы намекаете, Салон? - спросил Алье дрогнувшим, внезапно севшим голосом.

- Если позволит господин граф, я сейчас поясню, - заговорила мадам Олкотт. Это была она, я узнал ее по фотографии на плакате. Землистое лицо, оливковые одежды, лоснящиеся от масел черные косы, собранные на макушке, мужской прокуренный голос. Мне еще в магазине Слоан померещилось что-то знакомое в этом портрете, и сейчас я наконец понял: это была та друидесса, которая налетела на нас на мистическом празднике в Пьемонте. - Алекс и Денис, приведите заключенного.

Она скомандовала так решительно, ропот толпы в нефе был так очевидно солидарен с нею, два гиганта так мощно двинулись по ее приказу, передоверив Лоренцу двум мелким Мини-Монстрам, что Алье сжал ладонями подлокотники кресла и не осмелился ей противоречить.

Мадам Олкотт подала знак своим человечкам, и между статуей Паскаля и Обеиссаном вмиг были установлены три кресла, на которые толпа гномов заботливо усадила троицу медиумов. Все трое - темнокожие, мелкокостные, поджарые, с огромными белыми глазами. - Это близнецы Фокс, которые вам, граф, отлично известны. Тео, Лео, Гео, сядьте на места и готовьтесь к сеансу.

В эту минуту снова вступили в зал Гиганты Авалона, ведя за локти Якопо Бельбо. Тот едва достигал головою до их плеча. Мой бедный друг был до дурноты бледен, с многодневной небритостью, руки его были связаны за спиною, рубашка раскрыта на груди. Войдя в задымленное помещение, он хлопал глазами, пытаясь что-нибудь рассмотреть. По-видимому, его не удивила собравшаяся в зале компания иерофантов, он, наверное, за последние дни насмотрелся чего угодно и не поражался ничему.

Но его поразил перевешенный с места Маятник. Гиганты же, не давая ему взглянуть, тащили его прямехонько к трибуне Алье. Оттуда он не мог видеть Маятник, мог только слышать, как он с несильным свистом прорезал воздух за его плечами.

Лишь на мгновение он обернулся - и увидел Лоренцу. Он вздрогнул, хотел было ее окликнуть, попробовал вывернуться, но Лоренца, раскрытыми глазами смотревшая прямо на него, казалось, его не узнавала.

Бельбо повернулся к Алье, очевидно чтобы спросить, что они сделали с Лоренцей, но не успел. Из дальнего края нефа, оттуда, где размещалась в музее касса и лотки с каталогами, послышалась трескотня барабанов и визгливые звуки флейт. Неожиданно дверцы четырех автомобилей открылись и оттуда вышли четверо существ, которых я тоже уже видел на том же самом цирковом плакате в книжном магазине Слоан.

Фетровые шапки без полей, напоминавшие фески, широкие черные плащи, застегнутые до самой шеи, Дервиши Вопленники восставали из автомобилей, как ожившие трупы, подымающиеся из саркофагов, опускались на четвереньки и ползли по направлению к магическому кругу. В глубине все те же музыканты играли теперь уже медленную музыку, и настолько же медленно дервиши прихлопывали ладонями по полу и кивали головами.

Из кабины аэроплана Бреге, как муэдзин из минарета, высунулся пятый дервиш и запел заклинания на непонятном языке, подвывая, скуля, переходя на высокие ноты, а музыканты снова ударили в барабаны, задавая все более нарастающий ритм.

Мадам Олкотт наклонилась над своими медиумами Фоксами и нашептывала им какие-то ободрительные призывы. Все трое, пытаясь войти в транс, казалось, вросли в сиденья, вцепившись руками, закрыв глаза, потея. Все мускулы и тела и лица у них были напряжены.

Мадам Олкотт обратилась к высокому собранию. - Сейчас мои славные малыши приведут сюда кое-кого, кто знает. И выдержав паузу, возвестила: - /.../ Граф Сен-Жермен!

В первый раз за наше знакомство я увидел, что и Алье теряет самообла-

дание. Он вскочил из-за стола и с кулаками бросился на Олкотт и уродцев, молотя их как тесто, он кричал: - Гадина, сволочь, ты сама знаешь, что это неправда... - И крикнул, повернувшись к нефу: - Это подтасовка! Обман! На помощь!

/.../ Мадам Олкотт, побежденная, наклонилась над своими побитыми медиумами в печали, делавшей ее почти похожей на человека. Но Пьер, который наслаждался сценой битвы, скрестивши руки и усевшись на троне, видимо, решил, что настал момент действовать. - Эти пустяки, - сказал он. - Имеется только одно средство. Le sacrifice humain! Заключенного ко мне!

Завороженные его энергией, гиганты Авалона ухватили Бельбо, изумленно наблюдавшего за дракой, и подтолкнули его к Пьеру. Тот с легкостью жонглера вскочил на ноги, поднял трон, поставил его на стол и передвинул всю конструкцию на самую середину хора. Потом он поймал на лету Маятник, с усилием задержал шар и остановил его. Все произошло в одну секунду - и как будто выполняя мизансцену (а может быть, во время драки они действительно договорились о ролях?), гиганты взобрались на подиум, подняли в воздух Бельбо, поставили на трон, и один из гигантов обернул вокруг его шеи, двоекратно, железный трос, служивший Маятником, в то время как другой принял в ладони шар и осторожно положил его на край стола.

Браманти бросился к этой импровизированной виселице, весь пылая великолепием в багряной сутане, и гнусливо затянул: - Exorcizo igitur te per Pentagrammaton, et in nomine Tetragrammaton, per Alfa et Omega cui sunt in spiritu Azoth, Saddai, Adonai, Jotchavah, Eleazereie! Michael, Gabriel, Raphael, Anael. Fluat Udor per spiritum Eloim! Maneat Terra per Adam Iot-Cavah! Per Samael Zebaoth et in nomine Eloim Gibor, veni Adramelech! Vade retro Lilith!

Бельбо прямо стоял на своем табурете с канатом на шее. Гиганты отпустили руки, его незачем было удерживать. Если бы он сделал хотя бы один только шаг, он обрушился бы со своей неверной подставки и петля затянулась бы на его горле.

- Идиоты, - надрывался Алье. - Как мы теперь его опять отрегулируем? - Его больше всего интересовал Маятник.

Браманти прошипел с улыбкой: - Не стоит вам беспокоиться, граф. Мы не смешиваем ваши чародейские краски. Мы создали Истинный Маятник, именно так он задумывался Теми Самыми. Он сам себя отрегулирует. И в любом случае, чтоб побудить некую Силу действовать, нет ничего полезнее хорошего человеческого жертвоприношения.

До этой минуты Бельбо, как я видел, дрожал. Но тут он расслабился, я бы не сказал - успокоился, но оглянулся направо, налево, впервые окинул взглядом весь цирк с неподдельным любопытством. Думаю, что именно в эту минуту, следя за словесной дуэлью противников, видя перед собой поверженные тельца гномов, по их сторонам - дервишей, которые все еще дергались в конвульсиях, видя расхристанных Великих Местодержателей, еще не отошедших после перепалки, он снова вступил во владение основным своим характерным качеством, а именно чувством юмора.

И именно в эту минуту - я совершенно уверен - он принял окончательное решение не дать себя перепугать. Может быть, он интутивно испытал чувство превосходства, наблюдая с высоты, из режиссерской ложи, за дикой свалкой гран-гиньольных паяцев, в то время как публика в дальних рядах, потеряв интерес к прискучившей картине, обменивалась щипками и пинками, как его товарищи по оркестру, недоделанные Аннибале Канталамесса и Пио Бо?

Потом он увидел Лоренцу и взгляд его снова стал тревожен. Лоренца находилась в обьятиях гигантов, сотрясаемая дрожью. Она, кажется, снова пришла в себя. Она плакала.

Не знаю, старался ли Бельбо не показывать Лоренце своего страха, или же просто такова была его естественная реакция перед угрозами этой шайки: презрение, даже пренебрежение и превосходство. Он стоял спокойно, с высоко поднятой головой, с открытой на груди рубахой, со связанными за спиной руками, гордо, как человек, которому неведомо чувство страха.

Успокоенный спокойствием Бельбо, смирившийся - что поделать - с нарушением священного ритма шара, все еще уповающий на открытие секрета, чувствуя себя близким к цели поиска всей жизни, если даже не множества жизней, твердо намеренный снова прибрать к рукам бразды правления своими сотоварищами, Алье снова заговорил, обращаясь к Якопо: - Ну вот что, Бельбо, решайтесь. Вы видите, что находитесь в ситуации, мягко говоря, затруднительной. Кончайте ломать комедию.

Бельбо ничего не ответил. Он смотрел в другую сторону, как будто из деликатности не желая показывать, что слышит разговор, адресованный не ему и долетевший до его слуха по случайности.

Алье настаивал убедительным голосом, как если бы имел дело с ребенком: - Я понимаю и вашу сдержанность, и даже, как догадываюсь, вашу осмотрительность. Вам неприятно было бы обнародовать тайну настолько интимную, настолько, если можно так выразиться, щекотливую, в присутствии плебеев, которые минуту назад являли собой столь оскорбительное зрелище. Ну что же, ваш секрет вы можете поверить одному только мне, на ухо. Сейчас я вам помогу сойти и уверен, что в ответ вы шепнете мне на ухо одно слово, одно только слово.

Бельбо в ответ: - Вы уверены?

Тогда Алье переменил тон. Впервые - опять - за все время я увидел его трансформацию в жреца, оракула, вершителя власти. Он заговорил так, как будто бы и на нем было египетское одеяние, какие были у его приятелей. Я чувствовал, до чего это ненатурально, он как будто бы пародировал тех самых, которых до сих пор не снисходил удостоить даже самого презрительного состарадания. Но в то же время оказалось, что он прекрасно владеет лексиконом, потребным для этой еще не репетировавшейся роли. По какому-то своему расчету - ибо подобное поведение не оправдывалось ни инстинктом, ни здравым смыслом - он втягивал Бельбо в постановку дурацкой мелодрамы. Он лицедействовал, лицедействовал неплохо, потому что Бельбо, кажется, не почувствовал подначки и принимал за чистую монету речь своего собеседника, как будто бы и не ждал от него ничего другого.

- Сейчас ты заговоришь, - вещал Алье, - ты все скажешь и не сможешь оставаться непричастным нашей великой игре. Храня молчание, ты теряешь надежду. Заговорив, причастишься победе. Ибо истинно, истинно говорю тебе, нынешней ночью ты, и я, и все, кто здесь с нами, пребываем в сефире Год, в сефире великолепия, величия и славы. Год управляет всеми магиями церемониалов и ритуалов. Год - это миг, в который приоткрывается вечность. Этот миг мечтан мною множество столетий. Ты все скажешь и присоединишься к тем единым, которые после твоего откровения смогут себя провозгласить Господами Мира. Смирись же, и будешь вознесен. Ты скажешь, потому что так желаю я, скажешь, потому что я так повелеваю, и слова мои крепки, да будет как нарекаю!

А Бельбо ответил на эту речь: - Да вынь у себя пробку.

Алье, хотя и ожидал отпора, от этого оскорбления побледнел. - Что он ответил? - визжал истеричный Пьер, вытягивая шею и прыгая. - Не хочет, - перевел ему Алье. И он пожал плечами, как бы сдаваясь перед непреложностью обстоятельств, и бросил Браманти: - Он ваш.

На что Пьер, вне себя: - Довольно, довольно, человеческую жертву, приносим жертву!

- Да, пусть он умрет, мы все равно отыщем разгадку, - клокотала в припадке мадам Олкотт, бросившая своих уродцев, и кидалась на Бельбо.

В то же самое время бросилась к нему и Лоренца. Она вывернулась из лап гигантов и подбежала к ногам Бельбо, к основанию виселицы. Она широко разводила руками, как будто стараясь остановить безумие, и выкрикивала сквозь слезы: - Вы все что, с ума посходили? Ну разве так делают? - Алье, который уже было покидал помещение, остановился в нерешительности, потом вернулся к Лоренце и стал рядом с ней.

Все остальное произошло в одну секунду. У мадам Олкотт растрепались черно-лиловые космы, отливавшие сполохами пламени, как у медузы, и она пыталась впиться когтями в господина Алье, вцепиться в лицо, сшибить с ног, разорвать в пароксизме злости. Алье, пятясь от нее, запнулся ногою о жертвенник, покатился кубарем, как дервиш, и со всего размаху ухнул головой об один из автомобилей, после чего осел на землю с лицом, залитым кровью. Пьер в ту же самую минуту выхватил кинжал и кинулся на Лоренцу, я мог видеть его со спины, я не сразу понял, что происходит, но внезапно Лоренца склонилась к ногам Бельбо с восковым лицом, а Пьер высоко поднял кинжал с воплем: «Наконец, sacrifice humaine!» И завыл, обратясь к толпе: «I'a Cthulhu! I'a S'ha-t'n!»

Толпа же, напиравшая из нефа, прорвала кордоны, кто-то повалился на пол, другие его топтали, в опасности оказалась модель автомобиля Кюньо. Я расслышал - во всяком случае, мне так показалось, и наверное, я не в состоянии был бы выдумать настолько гротескную подробность - голос Гарамона, повторявшего: - Господа, господа, что же это за манеры... - Браманти, в упоении, на коленях перед безжизненной Лоренцей, выкликал: - Асар, Асар! Кто это сжал мое горло? Кто пригвоздил меня к полу? Кто это пронзил мое сердце? Я недостоин переступить порог дома Маата!

Может быть, продолжения никому и не было надо, и может, жертвоприношения Лоренцы для них вполне бы и хватило, но посвященные топтались и топтались в пределах прежнего магического круга, ставшего доступным с тех пор как был обездвижен Маятник, и кто-то - готов поклясться, что это был Арденти, - неловко увертываясь от толчков, натолкнулся на стол, покрытый алым драпом, и стол буквально, как любят писать, ушел из-под ног Бельбо, накренился и рухнул, в то время как под влиянием того же импульса сам Маятник пришел в резкое, решительное движение, увлекая за собою жертву. Петля затянулась под весом шара и захлестнула, крепко и надежно шею моего злосчастного друга, и он оказался в воздухе, вытянувшись вдоль натянувшегося Маятника, и, толчком отшвырнутый к восточной оконечности хора, теперь возвращался, разлучившись с жизнью (надеюсь!), в направлении моей будки.

Толпа, гудя и толкаясь, вновь отхлынула к бортам арены, оставляя пространство чуду. Фокусник, приставленный противостоять амортизирующим силам, опьяненный чудодейственным возрождением шара, вновь вступил в свою функцию, придавая дополнительный импульс теперь уже непосредственно телу повешенного. Ось колебания установилась по диагонали от направления моего взгляда к одному из окон собора, несомненно к тому самому, где в витраже имелась прогалина, через которую спустя некоторое время должен был заглянуть в храм первый луч просыпающегося солнца. Я уже не видел тела Бельбо, оно не пролетало передо мною, но думаю, что предметы в пространстве расположились именно так, как я думаю, и что траектория, которую он вычерчивал, имела следующий вид.

Шея Бельбо составила собой как бы дополнительную сферу, расположенную на протяженности троса, опускавшегося с замка свода, и... как бы это описать? в то время как металлический шар стремился направо, голова Бельбо (еще один шар) отклонялась налево, а потом наоборот. Довольно значительный отрезок две сферы двигались в различных направлениях, и таким образом фигура, которую Маятник выкраивал из пространства, составляла уже не прямую линию, а треугольник. Но в то время как голова Бельбо следовала натяжению каната, его тело - наверное, перед последним спазмом, со спастической подвижностью деревянной марионетки - прочерчивало в воздухе особую траекторию, независимую от головы, от каната и от расположенного ниже шара, руки в одну сторону, ноги в другую - и меня не покидало чувство, будто кто-то сфотографировал эту сцену фоторужьем Мейбриджа, запечатлев на пластинке все фазы движения в их последовательности в пространстве, закрепив, во-первых, две экстремальные точки, которых достигала в своем колыхании голова в каждый отдельно взятый период времени, во-вторых - две точки останова шара, затем - точки перекрещивания идеальных

тросов, независимых один от другого и соединенных каждый со своим шаром, и промежуточные точки, описываемые краями плоскости колебания туловища и ног. Если бы это все оказалось на одной пластинке, то Бельбо, повешенный на Маятнике, я утверждаю, воплотил бы собою размещенный в пустоте чертеж дерева сефирот, вобрав в себя, в свое последнее мгновенье, все существование всех возможных миров и наметив в своем последнем странствии десять этапов бескровного дуновения, фазы нисхождения Божественного в мир.

Потом, в то время как силою колебаний продолжали гулять вверх и вниз эти траурные качели, так сложились между собою векторы и таким образом перетекла энергия, что тело Бельбо застыло неподвижно в пространстве, а отходивший от него канат и шар продолжали качаться туда и сюда от его тела и до земли, в то время как верхний отрезок - соединявший тело Бельбо с замком свода - стал отвесен и неподвижен, как металлическая палка. Благодаря этому Бельбо, отрешившись от земного мира, полного заблуждений, и от его суеты, превратился сам, именно он, Бельбо, его существо, в ту Точку Отсчета, в Недвижную Ось, в то Место, на которое опирается крыша мира, в то время как под его ногами продолжалось обычное шевеление, и там двигались канат с шаром, от полюса к полюсу, без покоя, и земля вечно убегала из-под них, вращаясь, как и они, подставляя взору каждый раз новый континент, и потому этот шар, как ни силился, не мог бы указать, и никогда не сможет, где находится Пуп Земли.

В то время как орда одержимцев, замерев на несколько мгновений перед видением чуда, снова принялась голосить, я сказал себе: вот теперь история действительно окончена. Если Год - это сефира Славы, Бельбо прожил свою порцию славы. Один только отважный поступок - и он навеки слился с Абсолютом.

117

Die Narrheit hat ein grosses Zelt;
Es lagert bei ihr alle Welt,
Zumal wer Macht hat und viel Geld.

Sebastian Brant, *Das Narrenschiff*, 46[1]

Я проснулся в два часа в полном обалдении, как после каталепсии. Я помнил абсолютно все, но не имел никакой уверенности в том, что то, что я помнил, это правда. Первой моей идеей было побежать за газетой, потом я сказал себе, что в любом случае, даже если бы рота репортеров оказалась в Консерватории сразу после событий, новости не успели бы выйти в сегодняшних утренних газетах.

И вдобавок, Парижу было не до того в тот день. Я сразу же все узнал от дежурного, как только спустился выпить кофе. Город волновался, многие станции метро не работали, в критических ситуациях полиция применяла оружие, студентов было слишком много и они вели себя нагло.

Я нашел в телефонном справочнике телефон доктора Вагнера. Я даже попробовал позвонить, но, естественно, в воскресенье ему нечего было делать в кабинете. Как бы то ни было, я должен был вернуться в Консерваторий. В воскресенье, как известно, он открыт и после обеда.

Латинский квартал бурлил. Проходили какие-то оравы со знаменами. На Иль-де-Сите никого не пропускала полиция. Издалека доносились выстрелы. Видимо, так это смотрелось в шестьдесят восьмом. На уровне Сент-Шапель, надо думать, кончилась потасовка, в воздухе чуялся слезоточивый запах.

---

[1] У Дури множество палат;
Толпятся в них и стар и млад,
Все, кто могущ , и кто богат. (*нем.*).
Себастьян Брант, «*Корабль дураков*».

Где-то рядом протарахтела очередь, интересно, это студенты или правоблюстители. Люди вокруг меня припустились, все мы забежали за какую-то решетку, впереди встала шеренга полицейских, а на улице совершалось рукоприкладство. Что за позор, сижу тут с полысевшими буржуями, пережидаю революцию, дожили.

Потом я отыскал свободную дорогу, кружа по второстепенным улицам в районе бывшего чрева Парижа, и пробился к улице Сен-Мартен. Консерваторий был открыт для публики, в белоснежном дворе на фасаде красовалась плита: «Консерваторий науки и техники, основанный согласно постановлению Конвента от 19 вандемьера года III... в бывшем монастыре Сен-Мартен-де-Шан, построенном в одиннадцатом столетии». Все в обычном порядке, нормальное по воскресеньям оживление, нечувствительное к студенческому празднику свободы.

Я вошел - по воскресеньям пропускали бесплатно - и все было в точности так, как вчера до пяти дня. Смотрители, посетители, Маятник висел из привычной точки... Я стал искать следы того, что происходило накануне, но если это и происходило, кто-то постарался уничтожить все следы. Повторяю, если это происходило.

Не помню, как я провел остаток этого дня. Не помню даже, что я думал, блуждая по переулкам, вынуждаемый то и дело сворачивать в сторону, чтоб не оказаться в гуще драки. Позвонил в Милан, для чего не знаю. Пожав плечами, набрал номер Бельбо. Потом номер Лоренцы. Потом «Гарамон», где никого не могло быть в воскресенье. Я убеждал себя: если сегодняшняя ночь была сегодня, значит, все это произошло вчера. Но от позавчера до сегодня лежала непреодолимая бездна.

Ближе к вечеру я почувствовал голод. Хотелось покоя, чего-то хорошего. Возле Форум-дез-Аль я вошел в ресторан, манивший «свежей рыбой». Даже слишком. Меня усадили перед аквариумом. Мир в нем был до того ирреален, что лишь ухудшил мою неприкаянность. Ничто не случайно. Рыба смотрит астматическим исихастом[1], у которого скудеет вера и который винит Всевышнего за то, что тот недооделил универсум смыслом. Саваоф-Саваоф, отчего ты так лукав, что подзуживаешь меня веровать, будто тебя нету? Подобно гангрене, плоть распространяется по миру... Другая рыба очень похожа на Минни, длинные ресницы и ротик сердечком. Минни - невеста Микки Мауса. Буду есть салат фоль с рыбой хэддок, мягкой, как филе ребенка. С медом и с перцем. Павликиане - передо мной. Вот рыба-планер, зависла среди кораллов, как аэроплан Бреге - широкие рукоплесканья чешуекрылого чудища, сто против одного, что она углядела свой зародыш гомункула, покинутый на донышке проколотого атанора, брошенного в мусорный бак напротив дома алхимика Николя Фламеля. За нею следом рыба тамплиер, облицованная чем-то черным, не теряет надежды отомстить Ноффо Деи[2]. Она толкает астматичного исихаста, который держит курс, сосредоточенно и сердито, на Невыразимое. Отвожу взгляд от водяной стихии, и через улицу вижу вывеску другого ресторана, CHEZ R... У Розенкрейцера? У Рейхлина? У Розиспергиуса? У Рачковскирагоцицароги? Знаки знаков знаков знаков...

Посмотрим. Единственный способ сбить с панталыку дьявола - заставить его поверить, будто ты не веришь. Незачем долго анализировать мой обратный бег по Парижу, видение Эйфелевой башни. По выходе из Консерватория, после того что я там видел или уверовал, что видел, любое городское зрелище любому показалось бы кошмаром. Это нормально. Но что же на самом деле я видел в Консерватории?

Мне было необходимо поговорить с доктором Вагнером. Не знаю почему, я был абсолютно убежден, что это панацея. Лечение речью.

Как мне удалось приблизить сегодняшнее утро? Кажется, я был в каком-то кинотеатре на «Даме из Шанхая» Орсона Уэллса. Когда дошло до сцены с зеркалами, я не выдержал и вышел. А может быть, и этого не было, может, и это я придумал.

[1] Исихаст - приверженец исихазма, учения о единении с Богом через «очищение сердца» слезами и сосредоточение сознания в себе самом.

[2] Деи, Ноффо (XIV в.) - лжесвидетель, обвинитель на процессе тамплиеров.

Дожив до утра, в девять часов я позвонил доктору Вагнеру, пароль «Гарамон» помог преодолеть оборону секретарши, доктор вроде бы помнил про меня, выслушав поток аргументов о сугубой срочности, он сказал приходить немедленно, в девять тридцать, до начала приема. Очень любезно, человечно, подумалось мне.

Не исключено, что и визит к доктору Вагнеру мне привиделся. Секретарша заполнила на меня карточку, взяла гонорар вперед. К счастью, авиабилет у меня был в оба конца.

Кабинет небольших пропорций, никакой кушетки. Окна открыты на Сену, силуэт Эйфелевой башни. Доктор Вагнер встретил меня с профессиональной обходительностью, в сущности все верно, сказал я себе, я ведь сейчас не его издатель, а пациент. Широким и радушным жестом он пригласил меня усесться напротив, с другой стороны стола, как сажают подчиненных в кабинете начальства. - Ну-с? - Сказавши это, он нажал на кнопку, вращающееся кресло крутнулось, и доктор оказался ко мне спиною. Голова его поникла, руки, кажется, он сцепил на животе. Мне оставалось только говорить.

И во мне прорвалось что-то, разверзлись хляби, хлынули речи, все до донышка, с начала до конца, все, что я думал тому назад два года, и год тому назад, и что я думал о Бельбо, и что (как мне думалось) думал Бельбо, и все, что связано с Диоталлеви. И в особенности что происходило с нами накануне, ночью Святого Иоанна.

Вагнер ни разу не перебил меня, ни разу не поддакнул, не удивился. Можно было бы даже предположить, что он мирно проспал весь наш сеанс. В этом, по-видимому, состояла его методология. Я же говорил. Лечение речью.

Потом я замолк и стал ждать. Его речь, его ответ, его слово должны были меня спасти.

Вагнер медленно, медленно поднялся с кресла. Так и не глянув в мою сторону, он обошел письменный стол и стал у окна. И так стоял и смотрел через стекло, сцепив за спиною кисти, в глубокой задумчивости.

В молчании прошло десять, пятнадцать минут.

Потом, все так же продолжая стоять спиною, бесцветным, спокойным, увещевательным тоном он произнес:

- Monsieur, vous êtes fou[1].

И продолжал пребывать в неподвижности. И я тоже. Прошло еще пять минут, и я понял, что больше ничего не будет. Прием окончен.

Я вышел, не прощаясь. Секретарша одарила меня широчайшей улыбкой. И я снова оказался на авеню Элизе Реклю.

Было одиннадцать. Я сложил свои вещи в гостинице и отправился в аэропорт, надеясь на удачу. Удачи не было, пришлось прождать два часа, тем временем я позвонил в Милан в «Гарамон», за счет абонента, потому что у меня не оставалось ни монетки. Ответила Гудрун, реагировала она еще более тупо, чем обычно, мне пришлось проорать три раза одно и то же, прежде чем она сказала уи, йес, что она готова платить.

Гудрун плакала. Диоталлеви умер в ночь с субботы на воскресенье в двенадцать часов.

- И никто, никто из друзей не пришел попрощаться, я только что с похорон, что же это творится, господи! Даже господина Гарамона не было, сказали, что он за границей. Только мы с Грацией, Лучано и какой-то господин весь в черном, борода, курчавые локоны и огромная шляпа, потусторонний тип. Непонятно откуда взялся. Вы-то куда делись, Казобон? И где Бельбо? Что вообще происходит?

Я пробормотал что-то невразумительное и повесил трубку. Меня уже вызывали по радио. Надо было срочно садиться в самолет.

---

[1] Месье, вы безумны (*франц.*).

9
ЙЕСОД

118

Социальная теория заговора... есть результат ослабления референции к Богу, и соответственно возникшего вопроса: «Кто на его месте»?

Карл Поппер, Конъектуры и опровержения
Karl Popper, Conjectures and refutations
London, Routledge, 1969, I, 4

Полет мне пошел на пользу. Я не только отделался от Парижа, но и оторвался от подземного мира, и даже от наземного, от поверхности Земли. Небо и горы, даже летом покрытые снегом. Одиночество на высоте десяти тысяч метров и то чувство опьянения, которое обычно возникает в полете благодаря перепаду давления и незначительной турбуленции. Я подумал, что только в воздухе снова ощутил твердую почву под ногами. И я решил подытожить ситуацию. Сначала перечислю пункт за пунктом в записной книжке, а потом закрою глаза, откинусь и обдумаю записанное.

Прежде всего я решил переписать неоспоримые очевидности.

Неопровержимо, что Диоталлеви умер. Мне об этом сообщила Гудрун. Гудрун всегда была и продолжает оставаться абсолютно непричастной к нашей истории, она бы в ней ничего не поняла, и следовательно, она единственная говорит совершенно истинные вещи. Далее. Действительно Гарамона не было на месте в Милане. Конечно, он мог находиться где угодно, но тот факт, что в Милане его нет и не было в предыдущие дни, дает возможность предположить, что он находился в Париже, где я его и видел.

В то же время отсутствует и Бельбо.

Будем исходить из предположения, что виденное мною в субботу вечером в соборе Сен-Мартен-де-Шан происходило на самом деле. Может быть, не именно так, как это увиделось мне под наркотическим влиянием музыки и курений. Но, допустим, что-то происходило. Это как в истории Ампаро. Возвратившись домой, Ампаро вовсе не была уверена, что она действительно была одержима Помбой Жирой. Но она знала точно, что в павильоне умбанды побывала, и знала, что, будучи в павильоне, уверовала - или же повела себя так, как будто уверовала, - будто Помба Жира действительно ею овладела.

Так. Далее, то, что мне сказала Лия в горах, справедливо, ее прочтение стопроцентно убедительно, послание из Провэна - это товарная квитанция. Не было никаких совещаний тамплиеров в здании Гранж-о-Дим. И не было Плана и не было послания.

Товарная квитанция для нас явилась кроссвордом с незаполненными клетками и без текстовых подсказок. Так что мы стали заполнять клетки, чтобы все крестословья совпадали. Нет, не годится, сравнение некорректно. В кроссвордах перекрещиваются слова и в этих словах на перекрестьях должны оказываться одинаковые буквы. В нашей игре мы перекрещивали не слова, а понятия и факты, а следовательно, правила сочетания были другие, по сути дела правил было три.

Во-первых, понятия сопрягаются по аналогии. Не существует критериев, чтобы знать с самого начала, хороша аналогия или плоха, ибо любая вещь напоминает любую другую вещь под определенным углом зрения. Например. Картофель перекликается с яблоком, потому что оба растительные и круглые. Яблоко со змеем - по библейской ассоциации. Змея с кренделем, если змею закрутить хорошенько, крендель со спасательным кругом, спасательный круг с океаном, океан с мореплавательной картой, карту печатают на бумаге, туалетная бумага, туалет с одеколоном, одеколон со спиртом, спирт с алкоголем, алкоголь с наркотиками, те со шприцем, шприц с дыркой, дырка с

ямкой, ямка с грядкой, грядка с картошкой - и круг замкнулся.

Второе правило об этом и говорит: если в конце концов, tout se tient, все сходится, значит, игра засчитывается. От картошки к картошке мы проследили путь истины.

Третье правило: ассоциации не должны быть слишком свежими, надо, чтобы кто-нибудь когда-нибудь не менее чем однажды, а лучше многажды, о них уже говорил. Только таким образом связи кажутся истинными: они выглядят очевидными.

В сущности, это была идея господина Гарамона: книги одержимцев не должны содержать ничего нового, должны повторять уже известное, иначе как поддерживать древнее Предание?

И мы действовали по правилам. Ничего не изобретали, только сопоставляли имеющиеся кусочки. Так же действовал и Арденти, только он сопоставлял кусочки нелепо, а кроме того, будучи менее культурным человеком, он располагал меньшим количеством кусочков.

А у Тех кусочки были, но не было самого кроссворда. К тому же мы и на этот раз оказались шустрее их.

Я вспоминал фразу, которую сказала мне Лия в горах, когда ругала за то, что мы придумали опасную игру. - Люди мечтают о Планах, стоит им почуять запах, и они сбегаются, как стая хищников. Ты выдумываешь, а они верят. Не надо раздувать воображаемое больше, чем оно есть.

В конечном счете, всегда бывает так. Молодой Герострат терзается, потому что не знает, как сделаться знаменитым. Потом он смотрит фильм, в котором тщедушный мальчик стрелял в звезду кантри мьюзик и им занялись газеты. Готово дело, наш герой идет и убивает Леннона.

То же самое с ПИССами. Как заделаться печатаемым поэтом и войти в энциклопедию? Гарамон отвечает: только заплати. ПИСС о таком никогда раньше не думал, но поелику существует план «Мануция», он готов войти в этот план. Он уверен, что ожидал встречи с этим планом с самых младых ногтей, он только не знал, что план существует.

Следовательно, мы изобрели несуществующий План, а Эти не только уверовали в него, но и убеждены вдобавок, что они в Плане находились внутри, с самых давних времен, то есть они посчитали осколки своих проектов, беспорядочные и жалкие, за этапы нашего Плана, составленного в соответствии с неопровержимой логикой аналогий, сходств и подозрений.

Но если стоит только выдумать План - и он осуществляется другими, значит, План как если бы действительно существовал, более того, отныне он существует.

Отныне и впредь орды одержимцев станут рыскать по миру в поисках этой самой карты.

Мы посулили карту личностям, которые старались преодолеть свои угрюмые фрустрации. Какие? Меня навел на ответ последний из файлов Бельбо. Чувства провала не было бы, если бы План существовал действительно. Было бы чувство поражения, но не по собственной вине. Сдаться пред лицом космического заговора не стыдно. В этом случае ты не трус, а мученик.

Ты же не жалуешься на то, что смертен, что ты жертва бесчисленных микроорганизмов, над которыми не властен, ты не несешь ответ за нехватучие ладони ног, за отвалившийся хвост, за то, что волосы и зубы не отрастают заново, за нервные клетки, которые не восстанавливаются, за сосуды, которые склеротизируют. Все это вина Завистливых Ангелов.

То же самое относится и к повседневной жизни. Это как с крахами на бирже. Они случаются потому, что все одновременно совершают по какой-то ошибке, и все ошибки взятые вместе приводят к возникновению паники. Потом люди с более слабой нервной системой пробуют дознаваться: но кто же устроил весь этот заговор, кому он был выгоден? И плохо, если не удается отыскать того врага, который сплел заговор. Не отыскавши, ты во власти чувства вины. Вернее, поскольку у тебя чувство вины, ты выдумываешь врага с заговором, и даже много врагов, много заговоров. Чтобы победить их, тебе нужен собственный заговор.

И чем дальше ты выдумываешь чужие заговоры как причины твоего

смятения, тем сильнее ты в них влюбляешься и свой собственный выковываешь по их мерке. То же самое происходило, когда иезуиты и бэкониане, павликиане и неотамплиеры ставили в вину друг другу выдуманные ими самими планы. Тогда Диоталлеви говорил: - Конечно, надо обвинить других в том, что делаешь ты сам. И так как ты делаешь вещи заведомо омерзительные, мерзость переходит на тех других. В то же время, так как другие на самом деле хотели бы делать именно те мерзостные вещи, которые делаешь ты, они идут тебе навстречу, давая понять, что да, действительно то, что ты им приписал, это то самое, чего они всегда желали. Бог ослепляет тех, кого желает погубить, надо только немножечко помочь ему.

Заговор, если он должен быть заговором, секретен. Должен быть секрет, зная который, мы излечимся от фрустрации, потому что либо этот секрет приведет нас к спасению, либо знание этого секрета для нас отождествляется со спасением. Но существует ли столь сиятельный секрет?

Существует, при условии чтоб нам не знать его никогда. Разоблаченный, он разочарует нас, и только. Разве не говорил Алье о тяготении к таинственности, переполнявшем собой эпоху Антонинов? А ведь как раз незадолго до того явился некто, кто заявил о себе как о сынове Божием, который воплотился и искупает грехи человеческого рода. Мало ли этого? И обещал каждому спасение, достаточно только полюбить ближнего. Мало ли такой тайны? И в приписке к завещанию сообщал еще, что любой, кто сумеет произнести правильные слова в правильное время, сможет претворить кусок хлеба и полстакана вина в плоть и кровь сына Божия и питаться тем, что получит. Такая загадка не заслуживала бережного отношения? И побуждал отцов церкви предположить, а впоследствии и провозгласить, что Господь одновременно и един и тройствен, и что Дух нисходит от Отца и Сына, а вовсе не Сын от Отца и Духа. Что это, фразочка для иликов[1]? И при всем при том эти люди, у которых спасение было, можно сказать, протяни руку, do it yourself - ноль внимания. Потому что: как так, больше нету секретов? Что за разочарование. И ну снова истерически рыскать на быстроходных либурнах вдоль и поперек по Средиземноморью, искать другого потаенного знания, для которого все эти догмы, цена которым тридцать сребреников, выступали бы не более чем внешним камуфляжем, незамысловатой басней для нищих духом, тайносмысленным иероглифом, подмигиванием пневматикам. Тайна Божественной Троицы? Больно плоско, должно же быть что-нибудь посерьезнее под этой тайной.

Кто-то, мне кажется Рубинштейн, когда его спросили, верует ли он в Бога, сказал: - Ах, нет, я верю в нечто гораздо большее... - И сказал кто-то другой (Честертон?): с тех пор как люди больше не веруют в Бога, это не значит, что они не веруют ни во что, а значит, они веруют во все.

«Все» не означает «еще более» таинственный секрет. Нет «еще больших» секретов, потому что как только они открываются, они становятся маленькими. Есть только пустые секреты/.../ И потому одержимцы убили Бельбо. Конечно, при этом они утратили карту. Но у них впереди столетия, чтобы разыскивать ее, а зато они сохранили всю свежесть своего слабосильного, слюноточивого желания.

Тут я вспомнил, что мне рассказывала в свое время Ампаро. До того как приехать в Италию, она прожила несколько месяцев в Нью-Йорке, и там она жила в таком квартале, где можно было снимать без декораций телефильм из жизни угрозыска. Тем не менее она часто возвращалась одна часа в два ночи. И когда я ее спросил, не боялась ли она сексуальных маньяков, она поделилась со мной своим методом. Когда маньяк подкрался к ней и выказал свои намерения, она взяла его под ручку и сказала: - Коли так, пошли в койку. - Маньяк в ужасе ретировался.

Сексуальный маньяк не желает секса, он желает его желать, ну максимум воровать его, но безусловно при неучастии жертвы. Когда тебя ставят прямо перед сексом и говорят: здесь Родос, здесь прыгай, разумеется, ты удерешь без оглядки, иначе что ты за маньяк, Господи прости.

---

[1] Согласно разделению, бытовавшему у гностиков, люди делятся на иликов (телесных), психиков (душевных) и пневматиков (духовных).

Мы же подзуживали, возбуждали их желания, предлагали им секрет, пустее которого не бывает, потому что не только не знали секрета и мы тоже, но мы еще вдобавок и знали, что наш секрет совершенно пуст.

Самолет летел над Монбланом, и пассажиры все бросились к левому борту, чтобы обязательно полюбоваться глупым прыщом, выскочившим на фоне дистонии подземных сосудов. Я же думал, что если все, о чем я думал сейчас, правда, тогда, наверное, и подземных течений тоже не существует, раз уж не существует послания рыцарей из Провэна. Но история расшифровки Плана, в том виде, в каком мы ее расшифровали, все равно не что иное, как История человечества.

Я возвращался памятью к последнему файлу Бельбо. Но в таком случае, если естество настолько пусто и хрупко, что держится только на иллюзиях тех, кто разыскивает его тайну, действительно, - как кричала Ампаро тогда вечером в палатке после своего позора, - значит, нет раскрепощения, значит, все мы рабы, дайте хозяина, мы его заслужили...

Невозможно. Этого не может быть, потому что Лия убедила меня, что есть и нечто другое, у меня имеется доказательство, оно называется Джулио, и в данную минуту оно ковыляет по лужайке, тянет за хвост козу. Невозможно еще и потому, что Бельбо дважды ответил «нет».

Первое «нет» он сказал Абулафии и всем тем, кто собирался проникнуть в ее тайну. «У тебя есть ответ?» - было спрошено. Настоящий ответ, ключ к познанию, состоял в слове «нет». Вот она правота: не только магического слова не существует, но и мы его не знаем. Кто сумеет признать это, сумеет и узнать что-то, так же как сумел узнать что-то я.

Второе «нет» он произнес в субботу вечером, отвергая спасение, которое ему предлагалось. Он мог бы изобрести какую угодно карту, пересказать любую из тех, которые показывал ему я, во всяком случае при их идиотской подвеске Маятника эти проходимцы никакого Пупа земли никогда бы не обнаружили, а если и обнаружили бы, им понадобились бы десятилетия, чтоб убедиться, что пуп не тот. Но нет, Бельбо не захотел унижаться, он предпочел умереть.

Не то чтобы он не хотел унижаться перед перевесом силы. Ему претило унижение перед отсутствием смысла. А это означает, что он каким-то образом знал, что при всей хрупкости естества, при том, что бесконечно и бесцельно наше исследование мира, существуют некие вещи, имеющие больше смысла, чем другие.

Что же чувствовал Бельбо, может быть, даже в последнюю минуту, что придало ему силы противостоять последнему безнадежному файлу, и не подчинять свою судьбу тому, кто ниспосылает взамен какой-то там План? Что он понял там, наконец, что дало ему силы проиграть свою жизнь, причем так, как будто бы нечто, что он должен был знать, зналось им издавна, только не замечалось до тех пор? И как будто пред ликом этого его единственного, верного, абсолютного секрета, все, что происходило в Консерватории, было бесповоротно глупо; и глупо, раз уж на то пошло, было настаивать на том, чтоб продолжать жить?

Мне недоставало чего-то, какого-то звена цепочки. Я знал о Бельбо почти все, жизнь и смерть и героические деяния, не знал только одной вещи.

В аэропорту, разыскивая паспорт, я нащупал в кармане ключ от сельского дома Бельбо. В прошлый четверг я захватил его вместе с ключом от городской квартиры. Я вспомнил, как мы были у него в гостях и он показал нам шкаф, набитый бумагами, и сказал, что там содержится его полное собрание сочинений юношеского периода. Может быть, Бельбо написал что-то такое, чего не может быть в Абулафии, и это что-то захоронено в шкафу в ***?

Никаких оснований не было приходить к подобному выводу. Неплохое основание, сказал я себе, - чтоб поверить в этот вывод. Учитывая весь предыдущий опыт.

Я нашел на стоянке свою машину, сел в нее и отправился в ***.

Я не застал даже столетней родственницы Канепы, сторожихи или кем там она им приходилась, которую мы видели в прошлый приезд. Может быть, и она умерла за это время. Никого нет здесь. Я прошел по старинным комнатам, пахнет сыростью, мне даже подумалось, что надо установить «монаха» в какой-нибудь из спален. Но какой смысл разогревать постель в июне, стоит только открыть окна, все прогреет воздух летнего вечера.

Сразу после захода солнца не было луны. Ее не было и в Париже ночью в субботу. Она взошла очень поздно, я вижу малюсенький ее ломтик - меньший, чем в Париже, - только сейчас, когда она медленно поднимается над самыми низкими холмами, в проеме между Брикко и соседним желтоватым, может быть, уже окошенным горбом.

Думаю, что приехал я сюда около шести часов вечера, было совсем светло. Я не привез никакой еды, но, блуждая по дому, в кухне я обнаружил окаменевший окорок, подвешенный на балке. Так я поужинал, запивая водою, часов около десяти вечера. Теперь меня мучит жажда, я притащил наверх в библиотеку дяди Карло пузатый графин с водой, пью из горлышка, каждые десять минут спускаюсь за новой порцией на первый этаж к раковине. Сейчас, наверное, часа три. Но свет у меня погашен, и трудно разглядеть циферблат. Я думаю, глядя в окно. Мелькают как будто светлячки, это падающие звезды скользят по округлым бокам холмов. Редко-редко машины проезжают, спускаются в лог, карабкаются на горные отроги. Когда Бельбо был мальчишкой, подобных зрелищ не наблюдалось. Машин не было, дорог не было, не было огней, был комендантский час.

Я открыл шкаф с Бельбовыми бумагами сразу же по приезде. Кучи и кучи рукописей, все от школьных заданий первого класса до множества блокнотов со стихами и с прозой периода отрочества. В отроческую пору все писали стихи, настоящие поэты потом уничтожили стихи этого периода, а плохие их опубликовали. Бельбо был слишком строг к себе, чтоб держаться за них, и слишком беззащитен, чтоб уничтожить. Он похоронил их в огромном шкафу дяди Карло.

Я читал несколько часов. И еще несколько часов, вплоть до нынешней минуты, я раздумывал над содержанием последнего прочитанного текста, который попался мне в руки, когда я почти что готов был сдаться.

Не знаю, когда Бельбо написал этот текст. Для этой рукописи характерно нагромождение различных почерков, вернее сказать, вариантов одного и того же почерка в различные эпохи. Как будто бы писалось это рано, в шестнадцать-восемнадцать лет, а потом исправлялось в двадцать, в тридцать, потом еще раз снова в сорок, а может быть и позднее. До той поры, покуда автор вообще не забросил писать, не считая баловства с Абулафией, к которой не имели отношения эти строки, их нельзя было унижать электронной трансформацией.

Когда читаешь это, кажется, что попадаешь в давно известное пространство, в жизнь городка *** 1943 - 1945 гг., дядя Карло, партизаны, ораторий, Цецилия, труба. Я знал пролог этой пьесы, навязчивые мотивы Бельбо нежного, Бельбо пьяного, грустного и страдáющего. Литература памяти, как нам было хорошо известно, - последнее прибежище бездарностей.

Но я сейчас не литературный критик, я еще раз поработаю Сэмом Спейдом, разыщу недостающую улику.

И вот мне удалось найти текст-разгадку. Это, кажется, последняя страница жизни Бельбо в ***. После этого не происходило уже ничего.

119

И зажжен был венец трубы, я увидел, как отверзлось отверстие купола и сияющая стрела огня низринулась из зияния в зев трубы и вверглась внутрь тел, лишенных жизни. После того, отверстие снова закрылось и труба была удалена.

Иоганн Валентин Андреаэ,
Алхимическое бракосочетание Христиана Розенкрейца
Johann Valentin Andreae, *Die Chymische Hochzeit des Christian Rosencreutz*, Zetzner, 1616, 6, pp. 125-126

В тексте имеются пропуски, зачеркивания, замазывания, провалы. Восходит все, кажется, к апрелю сорок пятого года. Немецкие армии были уже разбиты, местные фашисты разбегались. В любом случае *** находился под контролем партизан. После последней схватки, той самой, о которой нам рассказывал два года тому Якопо, которая происходила практически у них в доме, разные партизанские бригады назначили всеобщий слет в *** с тем, чтобы оттуда двинуться на город. Они ждали условного пароля от «Радио Лондон», что означало бы, что и в Милане все подготовлено к восстанию.

Участвовали и гарибальдийские бригады, командовал ими некий Рас, чернобородый великан, обожаемый народом. Они ходили в разношерстном обмундировании, формой им служили красный шейный платок и красная звезда на груди, и вооружены были тоже как придется, кто с допотопной винтовкой, кто с автоматом трофейного происхождения. Бадолианские войска выглядели совершенно иначе, синие платки, форма хаки, вроде английской, и новешенькие короткоствольные автоматы «стен». Союзники заваливали бадолианцев всяким добром с воздуха по ночам, а перед этим вот уже два года непременно появлялся каждый вечер таинственный Пипетто, английский разведывательный самолет, неведомо что разведывавший, учитывая, что ни одного огня не было заметно окрест на десятки километров.

Между гарибальдийцами и бадолианцами особой любви не было, говорили даже, что в ночь после решающего сражения бадолианцы, преследуя фашистов, кричали «Да здравствует король!», но те оправдывались, что-де по привычке закричишь что угодно, особенно когда прешь в атаку, и что совершенно необязательно из этого следует, что они монархисты и что они тоже понимают, что король очень во многом был неправ. Гарибальдийцы в ответ хмыкали, что, может быть, и действительно, когда бежишь со штыком наперевес, заорешь и король и Савойя, но не тогда же, когда воюешь в городских условиях короткими перебежками, да что там, и без того ясно, что бадолианцы просто продались англичанам.

Было в любом случае достигнуто что-то вроде соглашения, потому что требовалось объединенное командование для похода на город, и выбор пал на командира Терци, у которого была под началом лучше всего обученная бригада. Он был старше всех, воевал еще в первую мировую, это был герой, и он пользовался доверием у командования союзников.

Довольно скоро вслед за этим, думаю - за несколько дней до начала миланского восстания, бригады отправились отбивать наш город. Мы ждали известий, известия были хорошие, операция удалась, бригады торжествующе возвращались в ***, но были убитые, говорили даже, будто в сражении был убит Рас, а Терци как будто ранен.

Ближе к вечеру послышался шум автомашин, пение солдат, люди выбежали на площадь, с шоссе сворачивали первые подразделения, поднятые кулаки, знамена, машут оружием из окон машин и из кузовов грузовиков. По дороге сюда их уже закидали цветами, на машинах горы цветов.

Неожиданно раздался крик: Рас, Рас! И вот он Рас, бог весть как держится на переднем бампере доджа, всклокоченная борода, клочья черной просоленной шерсти вылезают из рубахи, распахнутой на груди, хохочет, приветствует толпу.

Вместе с Расом слезает с доджа и Рампини, близорукий мальчишка, игравший в нашем оркестре, он немного был старше нас, сгинул три месяца на-

зад, говорили - пошел к партизанам. И действительно, вот он с ними, с красной косынкой на шее, в куртке хаки, синие брюки - форма нашего оркестра, но еще у него имелся пояс, кобура, а в кобуре пистолет. Через толстые стекла, которые столько раз служили посмешищем старым товарищам по ораторию, ныне он разглядывал роившихся девиц взглядом Флэша Гордона. Якопо подумал, интересно, есть ли на площади Цецилия.

В течение каких-нибудь получаса площадь вся заполнилась партизанами, толпа громогласно выкликала Терци, добивалась речи. Терци вышел на балкон местной управы, опираясь на свой костыль, бледноликий, и несильно махнул, чтобы замолчали. Якопо ожидал крупной речи, потому что все его детство, как положено в те времена, состояло из крупных и значительных речей Муссолини, из которых следовало заучивать наиболее показательные части, в школе требовали этого, а следовательно, заучивалась любая речь полностью, потому что несущественного дуче не говорил ничего.

Грянула тишина. Терци заговорил сорванным голосом, слышалось плохо. Он сказал так: - Соотечественники, друзья. После огромных трудностей... мы теперь с вами. Вечная память павшим.

Все. И он удалился.

А толпа надрывалась, кричала, партизаны размахивали оружием, пулеметами, автоматами, винтовками, девяносто первыми, от восторга пускали очереди, гильзы разлетались по сторонам, а ребята кидались под ноги военным и штатским, потому что подобного урожая в дальнейшем ожидать им было неоткуда, и вообще вся война грозила закончиться через неделю.

Однако убитые действительно были. По печальному совпадению, оба из Сан-Давиде, крошечной деревушки на вершине горы, и семьи хотели погрести их наверху, на старинном кладбище.

Партизанское командование запланировало торжественные похороны, стройся поротно, повозки в траурном убранстве, духовой оркестр района, пресвитер из районного собора. Плюс к тому оркестр оратория.

Дон Тико согласился с энтузиазмом. Прежде всего, сказал он, потому, что он всегда питал антифашистские чувства. Кроме того, перешептывались оркестранты, потому, что вот уже год он заставлял всех учить траурные марши, надо же было хоть когда-нибудь их обкатать на публике. А к тому же, добавляли злоязыкие поселяне, хочет, чтоб потускнела и стерлась в памяти история с исполнением «Юного фашиста».

С «Юным фашистом» («Джовинецца») история случилась такая. Много месяцев назад, до того как появились партизаны, оркестр дона Тико возвращался с какого-то незапамятного официального концерта и повстречал патруль Черных Бригад. - Сыграйте «Юного фашиста», святой отец, - распорядился капитан, поигрывая пальцами по прикладу автомата. Что делать, как любили говаривать классики? Дон Тико сказал: ребята, тут нам нет резона, остаться бы живу. Он задал темп своей палочкой, и отвратительные нестройные вопли труб и барабанов огласили окрестности ***, и бродячий цирк пересек *** из конца в конец, изрыгая такую какофонию, которая лишь от полного отчаяния могла быть принята за «Юного фашиста». Позор на наши музыкантские головы. За то, что поступились принципами, говаривал впоследствии дон Тико, но в основном за то, что играли хуже некуда. Слова священнослужителя и вдобавок антифашиста. Что ж, искусство действительно не прощает.

Якопо тогда не было. У него был тонзиллит. Были только Аннибале Канталамесса и Пио Бо, и, разумеется, их весомый вклад сыграл решающую роль в падении фашистского режима. Но для Бельбо проблема состояла в другом, во всяком случае в период, когда он писал эти строки. Ему опять не случился повод узнать, хватило ли бы у него духу сказать «нет». Я думаю, именно поэтому Бельбо нашел свою смерть на маятнике Фуко.

Ну в общем, похороны были назначены на воскресенье. На церковной площади собрались все: Терци с военными, дядя Карло и местная административно-интеллигентская прослойка с медалями за прошлую войну. Уже не имело значения, кто из них был фашистом, а кто не был, речь шла о долге памяти героям. Служители церкви, районный духовой оркестр в темных костю-

мах, катафалки, лошади под черными чепраками и повсюду белый, серебряный, черный цвета. Возница был наряжен как наполеоновский маршал, в треуголке, пелерине и громадном плаще той же расцветки, что убранство лошадей. И тут же был оркестр оратория, фуражки, куртки хаки и синие штаны, он шел сияя медью, чернея деревом и рассыпая искры от тарелок и барабанов.

От *** до Сан-Давиде пять или шесть километров все извивами и в гору. Дорога, которую гуляющие пенсионеры проходили за воскресенье, партия в шары, несколько фляжек вина, привал окончен, еще километр, еще винишка, еще сыграем, и так вплоть до самой церкви на вершине горы.

Несколько километров в гору - не так уж страшно для того, кто присаживается отдохнуть в тенечке, может быть, даже вполне осуществимо прошагать этот путь в колонне по два, ружье на плечо, глядя перед собою, вдыхая свежайший воздух ранней весны. Но попробуйте идти в гору дуя в трубу, мускулы щек затвердевают, пот ручьями катится по лицу, дыхания не хватает. Районный духовой оркестр был к этому приучен всей жизнью, но для мальчишек из команды дона Тико это было огромное испытание. Они выдержали по-геройски, дон Тико бороздил палочкой воздух, кларины причитали, саксофоны завывали, баритоны и трубы захлебывались в агонии, но они одолели весь путь до самой деревни, до подножия погоста. С полдороги Аннибале Канталамесса и Пио Бо только притворялись, будто что-то играют, но Якопо свято блюл свою функцию пастушеской овчарки, под благословляющим оком дона Тико. В дуэли с районным духовым оркестром они не спасовали, и это подтвердили и Терци и другие командующие бригадами: спасибо, ребята, вы сделали большое дело.

Командир с синим платком на шее и с радугой нашивок за две мировые войны сказал тогда: - Святой отец, ребята свое отдудели, пусть идут в деревню. Под конец поднимайтесь к погосту. Дадим вам грузовик, он развезет по домам.

Тут все набились в остерию, и музыканты из духового оркестра, заматерелые на сотне процессий, без зазрения назаказывали себе немереные порции почек и красного вина. Застолье обещало растянуться до вечера. Мальчики дона Тико, со своей стороны, столпились около стойки, где хозяин подавал колотый сладкий лед, зеленый, как химический опыт. Лед с размаху проваливался в горло, отчего ломило посередине лба, как при синусите.

Наглотавшись, вся компания потянулась наверх на кладбище, где их ждал грузовичок. Шумно влезали в кузов, и уже все были в машине, стояли прижавшись друг к другу, толкаясь инструментами, когда на паперть кладбища вышел тот же самый командир и крикнул: - Святой отец, для церемонии финала нам нужна труба, для торжественного отбоя. Это всего пять минут.

- Труба, - негромко, профессионально скомандовал дон Тико. Но недостойный обладатель привилегии, к тому времени уже изошедший ядовито-сахарным потом и целиком нацеленный на домашний обед, жалкий мужлан, нечувствительный к обаянию прекрасного, к идеям и к солидарности идей, начал гнусить, что уже поздно, что его обещали отвезти домой, что у него уже кончилась слюна, и так далее и в подобном духе, вгоняя в краску дона Тико, которому было совестно перед командиром.

В эту минуту Якопо, увидев как воочию в полуденном мареве пленительный образ Цецилии, сказал: - Если он мне даст трубу, пойду я.

Признательность в сияющем взгляде дона Тико, потное облегчение гадостного трубоносца. Обмен инструментами, как при смене караула.

И Якопо поднялся по ступеням кладбища, ведомый психопомпом с нашивками за Аддис-Абебу. Все вокруг ослепляло белизной, раскаленная на солнце стена, гробницы, цветущий кустарник живой изгороди, риза завершающего обряд священника, коричневели только поблекшие фотографии на надгробных крестах. И выделялись цвета знамен, окружавших две вырытые могилы.

- Парень, - сказал командир. - Ты становись тут, со мною рядом, и по команде играй смирно. Потом по команде отбой. Все понял?

Понял-то все. Только Якопо до тех пор ни разу в жизни не играл смирно и не играл отбой.

Он держал трубу, прижав ее правым локтем, прижимая к ребрам, раструбом немножко книзу, как держат карабины, и ждал сигнала, подбородок вверх, живот втянут, грудь выдвинута вперед.

Терци кончал свою неяркую речь, состоявшую из коротких фраз. Якопо думал: когда надо будет играть, я подниму глаза к небу, и солнце выслепит глаза. Но так умирают трубачи, и поскольку смерть дается только однажды, имеет смысл умереть хорошо.

Потом командир прошептал ему: - Давай. - И начал набирать в грудь воздуху для «Смии-». А Якопо не знал, как играется «Смирно».

Мелодическая структура, вероятно, должна была быть другая, в тот момент из Якопо вылилось что-то вроде до-ми-соль-до, но заскорузлым сыновьям войны, по-видимому, этого хватило. В последнее «до» он вошел наново захвативши воздух, так чтобы мочь продержать его как можно дольше, чтобы дать этому «до» возможность - как написано у Бельбо - долететь до самого солнца.

Партизаны замерли по стойке смирно. Замерли как умерли, мертвее мертвых.

Двигались только гробокопатели, слышен был шорох опускаемых в ямы канатов, шуршание обратного их выматывания, концы хлестнули по дереву. Это был до такой степени слабый шелест, что он напоминал трепетанье луча на поверхности сферы, нужное лишь для того, чтобы подчеркнуть, что на уровне Сфер ничто не изменяется никогда.

Потом с рывкообразным притопом была выполнена команда «на плечо!». Пресвитер произнес последние молитвы, кропя усопших, командиры приблизились к открытым могилам и каждый бросил горсть земли. В ту минуту неожиданная команда разорвала тишину очередями в воздух, тарах-татах, и ошарашенные птицы ринулись ввысь с зацветающих дерев. Но и это не стало движеньем, это все еще было, как если бы то же остановленное мгновение увиделось из нескольких различных перспектив, а видеть мгновение всегда - совсем не означает видеть его в то время, как проходит время.

Поэтому Якопо оставался бездвижен, даже гильзы, катавшиеся вокруг его ботинок, не имели значенья, и трубу он не опустил, не взял под мышку, а продолжал держать у рта, держал пальцы на клапанах, вытянувшись по «смирно», устремивши по диагонали раструб в поднебесье. Труба продолжала звучать.

Его длиннейшая финальная нота так и не прервалась. Неощутимая для посторонних, из раструба вылетала эта нота, как легчайший ветерок, эта воздушная струйка, которую он непрерывно направлял в отверстие вдува, держа язык меж полуоткрытых губ, но не припадая к латунной присоске. Инструмент он стремил в вышину, но не опирал на лицо, а удерживал одним лишь только напряжением локтей и предплечий.

Якопо из-за того продолжал испускать эту иллюзию ноты, что ему явно чувствовалось: в эту минуту он удерживает нить, приковавшую солнце. Светило прекратило свой бег, зависло в бесконечном полдне, который мог продолжаться и вечность. И все зависело от Якопо, стоило ему оборвать контакт, выпустить нитку, и солнце отскочило бы прочь, как отскакивает мячик, а вместе с ним отлетели бы и день, и событие этого дня, и это действо, не делящееся на фазы, эта последовательность без «досель» и «после», протекавшая неподвижно лишь потому, что подобное ее состояние находилось в распоряжении его желать и мочь.

Если бы он перестал выдувать зачин новой ноты, раздался бы звук разрыва, гораздо более страшный, нежели очереди, которые ошарашили слух Бельбо. Все часы пошли бы тарахтеть снова, содрогаясь в тахикардии.

Якопо вожделел всей душою, чтобы командир никогда не скомандовал «отставить». Я могу и отказаться, убеждал он себя, и тогда все продолжится навеки, так что надо держать дыхание, покуда возможно.

Думаю, что он вошел в то состояние оглушенности и головокружения, которое охватывает ныряльщика, желающего продержаться на глубине и

продлить инерционное движение, которое в конечном итоге утягивает его на дно. До такой степени, что строки, читаемые мною в тетради, передавая его тогдашнее ощущение, перебиваются астматическими задыханиями, разрываются многоточиями, ковыляют сквозь зияния. Но ясно чувствуется, что в эту минуту - нет, он не говорит этого, но это вполне очевидно - в эту минуту он обладал Цецилией.

Дело в том, что Якопо Бельбо тогда не мог сознавать - не сознавал он и после, пиша о самом себе несознающем - что в то мгновение он окончательно и на всю жизнь отпраздновал все свои алхимические бракосочетания, с Цецилией, с Лоренцей, с Софией, с землею и с небом. Единственный, может быть, среди всех смертных он совершил во всей полноте Великое Деяние.

Никто не говорил еще ему тогда, что Грааль является чашей, но является и копием, и что труба, подъятая как кубок, в то же время является и оружьем, орудием сладострастнейшего господства, устремленным в небеса и привязывающим Землю к Мистическому Полюсу, Землю к единственной твердой точке, которую мироздание когда бы то ни было имело: точке, которую сотворил он сам, на эту бесконечную минуту, своим дуновением.

Диоталлеви еще не рассказал ему тогда, что можно пребывать в Йесоде, в сефире Основания, в замке сочетания вышней арки, выгнутой луком, чтобы посылать стрелы в меру Мальхута, который есть цель Йесода. Йесод - капля, упавшая со стрелы, которая питает дерево и плод, это anima mundi[1], в ней мужественная сила, порождая, связывает между собою все состояния вещества.

Уметь развязать этот Пояс Венеры значит исправить ошибку Демиурга.

Как можно прожить всю жизнь, отыскивая свой Случай и не замечая, что решающий момент, тот, который оправдывает рождение и гибель, был тобой уже прожит? Он не вернется, но он сбылся, неотвратимо, полно, блистательно, благородно, как любое откровение.

В этот день Якопо Бельбо глядел в глаза Истине. Единственной, которая в его жизни была ему явлена, ибо истина, которую он воспринял, это что истина быстролетна (впоследствии она превращается просто в комментарий). Именно поэтому он стремился укротить нетерпение времени.

Тогда он этого еще не понимал, конечно. И не понимал, ни когда писал об этом, ни когда решил об этом больше не писать.

Я понял это сегодня вечером: необходимо, чтобы автор умер, для того чтобы читатель открыл для себя истину.

Наваждение Маятника, которое преследовало Якопо Бельбо в течение всей его взрослой жизни, было - как утерянный во сне адрес - отображением другого мгновения, закрепленного в сознании, потом вытесненного, в которое он действительно прикоснулся к потолочному своду мира. И это, то есть мгновение, когда он затормозил пространство и время, выпустив свою стрелу Зенона[2], не было ни знаком, ни симптомом, ни аллюзией, ни фигурой, ни сигнатурой, ни загадкой; оно было тем, чем было, и не выдавало себя за иное, было мгновением, в которое нет отсрочки и уравниваются все счеты.

Якопо Бельбо не понял тогда, что его миг был ему даден и его должно было хватить на всю оставшуюся жизнь. Он его не опознал и провел остаток своих дней в поисках иного, пока не погубил себя. А может быть, он что-то и подозревал, иначе не возвращался бы так часто к воспоминанию о трубе. Но труба ему помнилась в виде утраты, а между тем на самом деле она некогда была ему дана.

Думаю, надеюсь, молюсь, что Якопо Бельбо наконец понял это в минуту, когда он умирал, повиснув на Маятнике, понял - и обрел покой.

Потом было скомандовано «отставить». Он все равно не мог уже бороться, потому что дыхания больше не было. Тогда он оборвал связь и выдул единственную ноту, высокую, убывающей интенсивности, нежно гаснущую, подготавливающую мир к той печали, которая в него приходила.

---

1 Душа мира (*лат.*)

2 «Стрела» - апория (парадокс) древнегреческого философа Зенона Элийского (≈490 - ≈430 до н.э.), доказывающая невозможность движения.

Командир сказал затем: - Все в порядке, парень. Можешь идти. Сыграл молодцом.

Пресвитер устремился к выходу, партизаны вышли через заднюю калитку, где дожидались их бронемашины, могильщики заровняли ямы и тоже отправились восвояси. Якопо вышел последним. Он не решался оставить место счастья.

На площадке грузовичка с оркестрантами не было.

Якопо подумал, как же так, дон Тико никогда бы не бросил его. По прошествии времени напрашивается логичное объяснение, а именно что кто-нибудь заверил дона Тико, что паренька доставят до дому партизаны. Но Якопо тогда на месте подумал - и не так уж он сильно ошибался - что между «смирно» и «отставить» протекло слишком много столетий, и ребятам пришлось бы ждать его до глубокой старости, до седины, до смерти, и прах их успел бы расточиться в мире, став частью того легчайшего тумана, который синевою осенял отлогую ширь холмов.

Якопо был один. За спиной - совершенно пустое кладбище, к животу прижата труба, впереди - перепады холмов, куривишихся все более синим тоном один за другим, как черничное варенье в огромном тазу, и не видно концов-краев до самого горизонта. Мстительно над головой вертикально палило сорвавшееся с цепи солнце.

Он решил, что станет плакать.

Но неожиданно появился катафалк с печальным автомедонтом, выряженным, как генерал наполеоновского войска, цвета сливок, черноты и серебра, и с упряжкой коней в каких-то варварских масках, с прорезями для глаз, и в квадратных до земли попонах, так что каждая сама по себе казалась катафалком. На повозке витые колонки поддерживали ассиро-греко-египетский балдахин, изузоренный золотом. Человек в треуголке придержал коней, поравнявшись с одиноким трубачом, и Якопо спросил его: - Может быть, подвезете?

Гробовоз оказался добродушным. Якопо уселся на козлы с ним рядом, и телега мертвых повлекла его оттуда в царство живых. Харон безмолвно погонял своих лошадок, на ухабах телега подскакивала, Якопо, иератичный, выпрямленный, на козлах, крепко зажав трубу под мышкой, глядел из-под сверкающего козырька, полный сознания своего нового неожиданно обретенного смысла.

Так они спустились с холмов, на каждом повороте открывалась новая ширь виноградников, голубоватый отлив опрысканных купоросом листьев, каждый раз в ослепляющем мареве, и после несосчитанных перевалов они причалили в ***. Пересекли главную площадь, окруженную портиками, пустынную, как только пустынны быть могут площади городков в окрестностях Монферрато в два часа пополудни в воскресенье. Мальчик из одного с Якопо класса, выглянув из окна, выходившего на площадь, обнаружил Бельбо на колеснице, труба зажата под локтем, взгляд вперен в бесконечность, и жестом отдал ему почесть искреннего восхищения.

Якопо вернулся в семью, не захотел ни обедать, ни рассказывать. Он притулился в углу террасы и стал играть на трубе, как будто бы под сурдину, выдыхая тихонько, чтобы не потревожить спокойный послеобеденный сон других.

Отец вышел к нему на террасу и беззлобно, с той легкостью, которая присуща людям, понимающим законы жизни, сказал ему: - Через месяц, если все будет в порядке, мы возвратимся в город. В городе играть на трубе невозможно. Хозяин нас выгонит с квартиры. Поэтому с трубой ты начинай прощаться. Если ты действительно интересуешься музыкой, мы возьмем тебе учителя фортепьяно. - И увидев блестящие глаза Бельбо: - Ну что ты, дурачина. Ты хотя бы понимаешь, что закончились плохие времена?

На следующий день Якопо возвратил трубу дону Тико. Через две недели семья оставила ***, возвращаясь в будущее.

10
МАЛЬХУТ

120

Но от чего я вовсе отчаиваюсь, это когда вижу неких бессмысленных и глупых кумиропоклонников, которые... подражают изысканности культа Египта; и ищут божество, о котором не имеют никоего понятия, в извержениях, мертвых и неодухотворенных телах; тем самым они глумятся не только над теми божественными, прозорливыми блюстителями, но также и над нами; и что еще хуже, при этом торжествуют, видя, что их безумные обычаи уважаются... Пусть не гнетет это тебя, Мом, сказала Изида, потому что суждена роком превратность сумерек и света. Однако худо то, ответил Мом, что они убеждены, что свет там, где они.

Джордано Бруно, *Изгнание торжествующего зверя*
Giordano Bruno, Spaccio della bestia trionfante, 3

Я должен бы быть в покое. Я ведь понял. Ведь говорил же кто-то из этих, что спасение наступает, когда достигнуто полное понимание?

Я все понял. И я должен бы быть в покое. Кто говорил, что покой рождается из созерцания порядка, из порядка познанного, давшего радость, реализованного без остатка, что это радость, триумф, прекращение усилия? Все мне ясно, прозрачно, и око почиет на всем и на каждой части, и видит, как части споспешествуют целому, и проницает сердцевину, где течет лимфа, где дыхание, где корень всех «почему»...

Я должен бы быть изнурен покоем. Из окна кабинета дядюшки Карло я смотрю на холмы и на край лунного диска, начинающего восход. Толстая спина Брикко, более нежные хребты других гор, служащих ему фоном, рассказывают историю медленных сонливых ворочаний матери земли, которая, позевывая и потягиваясь, лепила слоеные пироги «синеющих планов в угрюмом сиянии сотни вулканов», этим стишкам Дзанеллы обучают в школе. Никакого глубинного управления подземными токами. Земля периодически пробуждалась от спячки и замещала одну поверхность другой. Где прежде щипали травку трилобиты, диаманты. Где прежде почковались диаманты, лозы. Это логика морены, лавины, провала. Смещения одного камушка довольно, случайности, чтобы камень покатился ниже, оставил по себе пустоту (отсюда разговор о horror vacui!), другой спешит заполнить пустое место, третий летит за ним. Все на поверхности. Поверхности на поверхности на поверхности. Мудрость Земли. Мудрость Лии. Пропасть - засасывание плоскости. Как можно обожать засасывание?

Но почему-то от понимания покой ко мне не приходит. За что любить Фатум, если он убивает тебя так же, как Провидение или Заговор Архонтов? Может быть, я все еще не до конца все понял, мне не хватает связывающего звена, интервала.

Где я читал, что в заключительное мгновенье, когда жизнь, поверхность на поверхности, напитывается опытом, тебе все становится известно, и тайна и власть и слава, и зачем ты рожден, и почему умираешь, и как все могло бы произойти совершенно иначе? Ты умудрен. Но высшая мудрость, в это мгновение, состоит в том, чтобы знать, что ты узнаешь все на свете слишком поздно. Все становится понятно тогда, когда нечего понимать.

Я сейчас знаю, каковы Законы Царства, бедного, отчаявшегося, расхристанного Мальхута, куда укрылась Мудрость, пробираючись ощупью, чтобы отыскать свою утраченную ясность. Истина Мальхута, единственная истина, сияющая в ночи сефирот, это та Мудрость, которая нагой открывается в Мальхуте, и открывает, что ее тайна состоит в том, чтобы не бывать, если только не на мгновенье, и вдобавок не на последнее. Потом за тобой начнут Другие.

А с Другими и одержимцы, будут искать бездн, где укрывается тайна, которая есть их безумие.

Между отрогами Брикко тянутся сотни борозд, сотни виноградных лоз. Я их знаю, я помню множество подобных им в мои времена. Ни одна доктрина нумерологии не доказала, карабкаются ли лозы вверх или слезают вниз. Между бороздами, но только нужно ходить там босыми ногами, чуть замозолевшею стопою, по привычке с самых малых лет, встречаются персиковые деревья. Эти желтые персики, которые растут только между лозами, трескаются при нажатии пальцем, и косточка сама вылетает со скрипеньем, чистейшая, как после химической обработки, не считая толстеньких белых червячков мяса, держащихся на каком-то атоме. Ты можешь есть эти плоды, почти что не ощущая бархатистости кожи, от которой обычно пронизывает дрожь от языка до самого паха. Некогда здесь паслись динозавры. Потом принадлежащая им поверхность была накрыта другой поверхностью. И все же, как Бельбо в минуту, когда он трубил перед строем, я, вкусываясь в такой персик, понимал все Царство и съединялся с Оным. Все что впоследствии, одна хитроумность. Изобретай, изобретай План, Казобон. Этот план изобретает кто попало, чтобы объяснить динозавров и персики.

Я понял. И уверенность в том, что понимать было нечего, должна по идее гарантировать мой покой и мой триумф. Однако я тут, понявший все на свете, а Они за мной гонятся, полагая, что я обладаю откровением, которого они глухо вожделеют. Недостаточно понять, если другие понять отказываются и продолжают выведывать. Они меня ищут, наверное, они обнаружили мои следы в Париже, знают, что я в этом доме, до сих пор хотят карту. И когда я скажу им, что никакой карты нет, они ее хотеть не перестанут. Что и говорить, прав был Бельбо, иди к чертовой матери, идиот несчастный, что ты хочешь, укокошить меня? И все тут? Ну давай, но что карты-то нет, от меня ты не узнаешь, каждый должен дойти своим умом до определенных вещей.

Очень больно мне думать, что я не увижу Лию и ребенка, мое Оно, моего Джулио, мой Философский камень. Но камни умеют жить без нас. Может быть, он как раз сейчас переживает свой Случай. Он нашел мячик, муравья, травинку, и увидел в том, что нашел, бездну, а в бездне рай. Он тоже узнает это слишком поздно. Это хорошо, это правильно. Пусть он проживает вот так, один, день своей жизни.

Дьявол. До чего же больно. Ну ладно, как только умру, я о нем забуду.

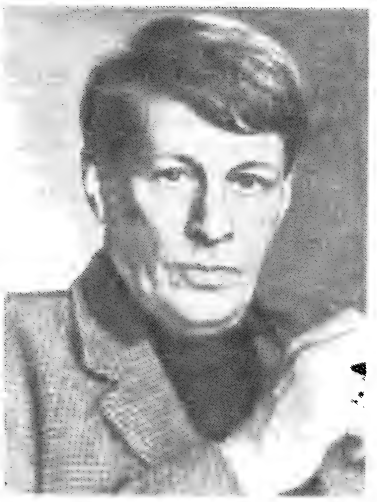
Ночь глубока, я вылетел из Парижа сегодня утром, я оставил слишком много следов. Они уже успели догадаться, где я укрываюсь. Скоро они будут здесь. Хотел бы я успеть записать все то, что я передумал от сегодняшнего обеда до сейчас. Но Они прочитают и выведут из написанного очередную мрачную теорию и употребят очередную вечность на старания расшифровать тайный посыл, который я якобы спрятал в рассказ своей истории. Этому невозможно верить, скажут они, этот человек рассказывает только о том, как он нас дурачил. Нет, возможно, он сам того не понимает, но Тайное посылает нам шифровки через его злостную беспамятность.

Написал я или нет, неважно. Они все равно будут искать второй смысл, даже в моем молчании. Так уж они сделаны. Они слепы к Откровению. Мальхут есть Мальхут и все тут.

Но попробуйте это им объяснить. У них нет веры.

Так уж лучше оставаться здесь, ждать, любоваться холмами.

Они очень красивые.



СТЕФАН ХЕРМЛИН

«Я знал, что каждый звук мой — звук любви...»

К восьмидесятилетию поэта

Перевод с немецкого и вступление Г. РАТГАУЗА

Поэт XX века — по точной формуле Павла Антокольского — «ровесник страшного столетья». Ему не суждена, как Гёте, мирная трудолюбивая старость, окруженная почетом, когда можно в тихой комнате, в зеленом Веймаре диктовать усердному писцу свои воспоминания и без суеты и спешки, с мудрой сосредоточенностью создавать вторую часть «Фауста». Жизнь Стефана Хермлина, как и многих современных поэтов, отмечена печатью трагедии.

Он родился в апреле 1915 года в Хемнице (вскоре семья переехала в Берлин) в обеспеченной семье, где любили и ценили искусство, где в семейной коллекции хранились в оригиналах рисунки Каспара Давида Фридриха, Филиппа Рунге и других великих художников Германии эпохи романтизма. Материальную обеспеченность своих детских и отроческих лет Хермлин ощущал как явную несправедливость по отношению к обездоленным и обделенным судьбой. В шестнадцать лет он (вначале не порывая с семьей) вступает в германский комсомол; после захвата власти Гитлером уходит в подполье и в типографии, где он работает, тайно печатает написанные им антифашистские листовки. В 1936 году он эмигрирует; судьба изгнанников (по крылатому выражению Брехта, «менявших страны чаще, чем башмаки») бросает его «из края в край» (Тютчев), по разным странам Европы и Азии. Отец поэта погиб в концлагере Заксенхаузен, а его брат Альфред, ставший летчиком Британских ВВС, — в воздушных боях в годы войны. Хермлин воюет в Испании на стороне республиканцев, сражается в отрядах французских партизан; попадает в руки властей Виши, которые заключают его сначала в один, потом в другой концлагерь (близ Агда и близ Гере). Однако ему — с помощью французских патриотов — удается бежать в Швейцарию, где и были напечатаны его первые стихи; сразу после краха «тысячелетнего рейха» он возвращается на родину.

Как и многие антифашисты своего поколения, Хермлин горячо уверовал в революцию как символ свободы, в путеводную звезду нового Вифлеема, за которой, подобно волхвам, должен идти и он сам, и все народы. С этим связана отличительная черта иных его стихов о революции: страстный порыв к воле у него (как и в «Двенадцати» Блока или у А. Белого, С. Есенина, в «Песнеслове» Н. Клюева) выражен образным языком ранних евангелистов. Такой «пережиток» ставил в тупик первых русских переводчиков, и эти стихи позже пришлось переводить уже заново. Оставшись верным выбору, сделанному в юности, он (и, как мы знаем, не он один!) связал свою судьбу с ГДР и долго не хотел верить тому, что было слишком очевидно. Плодом этих иллюзий явилось малоорганичное вторжение публицистики в некоторые (но далеко не во все!) его стихи первых послевоенных лет. Однако, оценивая этот выбор, нельзя забывать и о том, что немногим позже, по словам знаменитого философа Карла Ясперса, в ФРГ пришли к руководству некоторые «политики, несшие ответственность за приход к власти в 1933 году Гитлера и национал-социалистов»[1], явно возникли «тенденции к дискредитации свободного духа», множились солдатские союзы, прославлявшие «подвиги» войск СС, нагло и безнаказанно осквернялись еврейские кладбища... Так продолжалось до начала семидесятых годов (о чем можно прочесть в романах Бёлля и Андерша), не случайно именно в эти годы тот же Ясперс и Альфред Дёблин добровольно покинули ФРГ... С середины пятидесятых годов Хермлин прозревает и начинает упорную и энергичную борьбу против бюрократических извращений, против того, чтобы, как он писал, Бодлера именовали декадентом, а жалких эпигонов — классиками реализма.

[1] *Карл Ясперс*. Куда движется ФРГ? М., 1969, с. 154.

Эта борьба позднее обрела новое измерение: когда Вольф Бирман был лишен гражданства ГДР, именно Хермлин стал инициатором мощной акции протеста, в которой участвовали многие выдающиеся деятели культуры. К сожалению, нигде в исследованиях наших германистов (в том числе и в порученной мне главе о Хермлине в академической «Истории литературы ГДР», 1982 г.) не было ни малейшей возможности сказать о том, каким нападкам не раз подвергался Хермлин в выступлениях партийных деятелей и в печати ГДР, подчас принимавших характер дружнбй и ожесточенной травли. Вместе с тем поэт считал своим долгом (подобно Андрею Платонову или Осипу Мандельштаму, творчество которых он знал и высоко ценил) оставаться там, где оставались миллионы его соотечественников, хотя его книги в это время уже постоянно издавались и в Восточной, и в Западной Германии. Подобную же позицию занял тогда и Иоганнес Бобровский.

Как поэт Хермлин дебютировал тоненьким сборником стихов, изданным еще в Швейцарии («Мы не молчим», 1945). Зенит его поэтической славы совпадает с первым послевоенным десятилетием; впоследствии новые стихи появляются скупо. Важнейшие поэтические книги Хермлина: «22 баллады» (1947), «Стихотворения» (Восточный Берлин, 1956), «Стихотворения» (Мюнхен, 1976) и другие имели значительный литературный резонанс во всей германоязычной аудитории; его поэзия прозвучала на многих языках Европы и Азии.

Отличительная черта его поэзии — парадоксальное сочетание традиции и дерзкого эксперимента (в этом он напоминает русскому читателю Цветаеву или Заболоцкого). Как отметил Илья Эренбург в сжатом предисловии к первому из весьма немногочисленных русских изданий стихов Хермлина («Полет голубя», 1963), этот поэт бросает сознательный вызов жестокому хаосу своего времени, обращаясь к твердым каноническим стихотворным формам. «Ему казалось, что в эпоху наводнения слезами и кровью... нужны набережные из гранита». «Он писал баллады с посылками, как Вийон, терцины, как Данте, сонеты, как Шекспир»[1].

Поэзия Хермлина впитала многое из сложной образности Грифиуса и немецкого барокко, из лирики немецкого романтизма, и прежде всего из величавых од не признанного и оклеветанного современниками Фридриха Гёльдерлина (1770 — 1843), которому Хермлин впоследствии посвятил свою замечательную документальную драму «Скарданелли» (1970), известную и в русском переводе.

В поэзии Хермлина контрастно сочетаются два совершенно разных начала. Его знаменитые баллады, запечатлевшие мрачное время войны и фашистского господства, написаны как бы от лица многих; это — трагическая исповедь поколения. Хермлин дает глобальную картину Европы, потрясенной катаклизмами (его образцы здесь: «Пьяный корабль» Рембо и юношеские поэмы любимого им Маяковского). Эта часть его поэзии значительно лучше известна у нас, чем другой цикл стихов, в котором доминируют глубоко личные темы душевных терзаний, безысходной печали и сумрачного одиночества поэта:

Лети, улетай далече,
Скорбный вечерний лик.
Твой спутник в молчаньи поник
На месте сумрачной встречи.

Проза Хермлина, еще более, чем его стихи, известная во многих странах Европы, сохраняет нерасторжимую связь с его поэзией. Главные темы поэзии Хермлина — грозные испытания военных лет, преодоление страха и душевных колебаний, рождение твердой решимости — органически переходят и в его прозу. Один из первых и лучших рассказов, «Лейтенант Йорк фон Вартенбург», был напечатан еще в 1946 году; но лишь с шестидесятых годов проза начинает главенствовать в его работе. В ранней прозе тема самоотверженного, но явно обреченного противоборства с фашистской тиранией еще предстает в преломлении фантастических снов и видений. Очевидно родство этой прозы с миром тогда еще мало известного Франца Кафки, которому Хермлин в это время посвятил свой критический этюд («Франц Кафка», 1947). Уже не оставляя этой темы, Хермлин впоследствии тяготеет к строгому реализму, как в трагической повести о восстании в Варшавском гетто («Время общности», 1950), путь которой к русскому читателю оказался особенно мучительным и растянулся на многие десятилетия. Наконец в лирической автобиографии Хермлина «Вечерний свет» (1979), его главном прозаическом произведении, мы находим дерзкое, зачастую экспериментальное смешение реальности и фантастических видений. Эта повесть, впервые у нас напечатанная в «Иностранной литературе» (1982, № 11) и затем не раз переиздававшаяся, была переведена на многие европейские языки и вызвала множество критических отзывов во всей Германии. Здесь отчетливо выделяются два пласта. Один пласт — реальные события немецкой истории: злодейское убийство Вальтера Ратенау (1922), министра иностранных дел Веймарской республики, затем картины факельных шествий «в морозной тьме», марша штурмовых батальонов СС в центре Берлина, торжествующих только что добытую победу; жестоких боев в горах Испании... Они описаны с необыкновенной четкостью и почти античной простотой, напоминающей историков древности. Второй пласт — сны и видения поэта, своего рода отрывочный внутренний монолог; отдельные образы прожитой жизни, подчас образуя цветную мозаику, сме-

[1] *Илья Эренбург.* Предисловие. — В *кн.:* Стефан Хермлин. «Полет голубя». М., 1963, с. 6.

няются моментальными снимками душевных состояний поэта, тревогами совести, прихотливо чередуются с воображаемыми беседами с живыми или ушедшими спутниками. Всю жизнь Хермлин любил и неустанно изучал музыку (а в молодости и сам играл на скрипке), но ни в одной из его книг музыка — от кантат Баха до немецких романтиков, от Моцарта до Чайковского и новых композиторов — не играет такой исключительно важной роли, как в «Вечернем свете». Она постоянно вплетается отдельными мотивами и цитатами в художественную ткань повести. Более того, сама повесть строится по законам музыкальной композиции.

Начиная с первых своих опытов, Хермлин ощущал глубочайшую связь с наследием опальных в годы фашистской диктатуры новаторских художественных течений первой четверти XX века (и прежде всего экспрессионизма). С большой любовью он пишет о таких великих лириках начала века, как Георг Гейм, Георг Тракль, Эльза Ласкер-Шюлер. Он привлекает внимание к недооцененным или забытым явлениям немецкой классической литературы (барокко, некоторые мыслители и поэты Просвещения и «Бури и натиска», Гёльдерлин, Брентано и немецкие романтики). Составленная им «Германская хрестоматия» (1976) является плодом этих занятий. Особая и важная заслуга Хермлина — его вклад в восстановление и упрочение духовных связей Германии с другими странами Европы после 1945 года (эти связи были насильственно оборваны третьей империей). Неизменной притягательной силой обладает для Хермлина Франция, с которой связаны многие годы его молодости. Франко-германские литературные связи имеют яркую и не лишенную драматизма историю, в которую вписаны имена Лессинга и Гёте (как переводчиков Дидро), Гейне и многих других. В нашем веке творчество Генриха Манна или австрийца Рильке невозможно себе представить вне сферы воздействия французской культуры. После войны Хермлин и Кролов (осведомленности которых во французской словесности может позавидовать не один исследователь) особенно много сделали для того, чтобы немецкий читатель вновь приобщился к богатому и многоцветному культурному наследию Франции. Хермлину принадлежат превосходно написанные эссе о Франсуа Вийоне, Шатобриане, Поле Верлене. Его переводы из Поля Элюара по праву считаются классическими (их ценил Илья Эренбург, столь же хорошо знавший и самого Элюара, и его поэзию). Вклад Хермлина в приобщение немецких читателей к мировой литературе очень велик. Он перевел сонеты Шекспира и Китса, лирику великого венгерского мятежника Аттилы Йожефа (и других видных поэтов Венгрии, мало известных остальной Европе), поэмы Неруды и «блюзы» американских поэтов-негров. В немалой мере благодаря ему в Германии оценили творчество Джона Стейнбека, Мигеля Эрнандеса, Маяковского, Андрея Платонова (некоторые из этих эссе Хермлина печатались и в русском переводе).

В Германии в XX столетии по многим причинам редко устанавливался тот глубоко заинтересованный, душевный контакт между поэтом и читателем, к которому мы так привыкли в России. Один выдающийся немецкий прозаик XX века недаром сказал, что в Германии поэзия ходит в тяжелых сапогах. Даже прижизненная известность великого австро-германского поэта Рильке несоизмерима с его посмертной славой (Музиль с горечью писал еще в 1927 году, что смерть Рильке имела меньший отклик, чем премьера нового фильма). Высокое признание творчества Хермлина чаще всего ограничивалось сравнительно узким кругом тех, кому поэзия необходима как воздух. Поэзия Хермлина — трудная по форме, насыщенная сложными метафорами и ассоциациями — явно не искала легкого успеха. Хермлину никогда не приходило в голову подлаживаться к читателю, искать его расположения. Он ясно видел, что на этом пути творчество неизбежно выхолащивается, и в подобных случаях предпочитал (подобно нашему Баратынскому, утверждавшему, что будет писать и на необитаемом острове!) надолго оставаться в одиночестве.

Если никто не услышит? Даже грядущее племя,
То, для которого ты шествуешь грозной тропой,
Сердцем не дрогнув, воспой и тогда беспощадное время.
Невыразимое — вырази, тяжкую ношу — воспой
И неподвластен сомненью твой твердый ответ изначальный,
Пусть даже ныне твой голос поглотит небытие.
Ты и на это готов. Ты знаешь: когда-нибудь дальний
Явится правнук, который полюбит и слово твое.
Каждому дан свой голос. Твой — на исходе былого
В черной ночи пророчит зарю грядущих годов.
Твердо избрал ты свой путь. Но кто услыхал твое слово?
Будет ли дом для него? Нет, он еще не готов.

(Перевод Г. РАТГАУЗА)

Твердо и неуклонно Стефан Хермлин шел своим путем, никогда и ни при каких невзгодах с него не сворачивая. Любимые Хермлином французские поэты, и прежде всего Бодлер, с ранней молодости учили его безжалостному отбору каждого слова, непогрешимости каждого выражения. О «суровых боях» за слово Хермлин говорит с впечатляющей силой и в своих стихах, которые сегодня прочтет наш читатель («Сонет», 1956). Немецкая речь в стихах Хермлина стала необычно чеканной и строгой. Сегодня, приветствуя поэта и оглядываясь на его подвижнический труд многих десятилетий, мы, его друзья, давние и новые почитатели, воздаем ему заслуженную дань уважения.

Несколько слов об отборе наших текстов. Две трети гражданских стихов Хермлина (а их у него — большинство) уже переведены, и некоторые — хотя и немногие из них — переведены с подлинным вдохновением («Париж» — Д. Самойловым, «Пепел Биркенау» — Л. Гинзбургом). Поэтому гражданскую лирику Хермлина, во многом определившую его облик, его глубоко трагический цикл «О больших городах», мы представляем лишь двумя стихотворениями. И прежде всего это знаменитая «Боль городов», которую поэт печатал в начале почти всех своих сборников, написанная строгими и грозными терцинами, — суровое напоминание о 1942 годе, когда почти вся Европа была оккупирована Гитлером. Поэт очень сдержан в своих эмоциях: скорбь о родном и опозоренном Берлине среди песчаных пустырей и сосен соседствует здесь с образами истерзанных или непокоренных столиц: Мадрида, Парижа, Варшавы, Лондона. Поэт целомудренно не называет по имени Москву (усиливая этим поэтическое воздействие), но в посвященных ей строфах передает все напряжение борьбы:

Да славится твоя борьба! Я возглашаю,
Что мощь твоя изменит мир. Я это знаю.
И посягнувших на тебя я проклинаю.

Сходным пафосом дышат и написанные в том же 1942 году строки Ахматовой: «Час мужества пробил на наших часах».

Мы верим, что грозную поэтическую силу этих строк уловят даже те читатели, которые не разделяют безусловной убежденности поэта в правоте революционного дела (высказанной в столь драматический момент войны...).

Остальные стихотворения либо вводят нас в сложный, подчас герметичный мир юношеских исканий поэта, где античный миф предстает в сюрреалистическом обличье (что существенно для истоков поэтики Хермлина), либо раскрывают картину мучительного душевного разлада и колебаний (знакомую и читателям прозы Хермлина), тех сомнений, которые всегда предшествуют у этого поэта твердой решимости до конца бороться за победу добра. Лишь очистившись в горниле этих сомнений, поэт обретает силу, чтобы ясно и твердо сказать о своем назначении: «Я знал, что каждый звук мой — звук любви».

Баллада о Королеве Большой Беде

Голоса, говорите! Я помню вас,
Голос пчел из германских долин,
Голос пустоши в звонкий июльский зной
И суровой державы равнин.
Золотые и красные города,
Я запомню ваш древний звон:
На крыле одиночества в поздний час
Ко мне доносился он.

Вы мне говорили про демонский лик
Облаков над озерной водой.
Вы вели меня в призрачный парк городской,
Залитый белой луной.
О тоске беззащитных мостов на ветру
Я узнал впервые от вас,
О безмерно далеких, дивных морях.
Почему вы молчите сейчас?

И ласточкин щебет, и сладостный страх,
И террасы дерзостный взлет —
Я тысячи этих видений знал,
Их помнил наперечет.
Речь усопших поэтов во мне жива,
Как прежде, я к ней приник.
Я тонул в этом море Большой Беды,
Но усопший не слышал мой крик.

И сегодня сияет солнечный взор
Над заливами, в небе, везде.

Вы так искушали меня, голоса,
И бросили в лютой беде.
И я чувствую, ветер стал мне чужим
И равнина пуста, холодна.
Не достигла величия юность моя
И до срока в душе седина.

Не боятся дети бессильной руки,
Не страшится ласточка зим.
В ниневийской земле, в вавилонской земле[1]
Стих был казним и гоним.
Кто не жаждет жара нетленной любви,
Никогда не сгоравшей дотла?
Но тебе по летней тропе не пройти,
Твой удел — не пожар, а зола.

Ты не один; погляди кругом:
Поэты повергнуты ниц,
В вонючей канаве их братство лежит
Под надзором мертвых глазниц.
Где та улыбка в тени листвы,
Что бессмертной казалась нам вдруг?
Размалеваны эти губы теперь,
Истерзаны множеством мук.

Своим дыханием прерывистым славь
Королеву Большую Беду,
Владычит она над страною скорбей
С кровавого трона в саду.
Ничего не осталось, кроме Беды.
Это значит: в кулак сожмем
Усталую руку. Остывший взор
Ярость зажгла огнем.

И сонаты, и мертвых поэтов слова
Сурово отринул ты,
Из прибоя памяти выходя,
Из моря ночной темноты.
Ты бесслезный, беспамятный держишь путь
Сквозь железное время — туда,
Где владычит одна над страною скорбей
Королева Большая Беда.

1942 г.

Боль городов

Боль грозных городов! Я грозно возглашаю:
Она изменит мир. Я это твердо знаю.
На голову убийц я кару призываю.

Они давно сорвали жадными руками
Листву дерев, надежный, верный кров над нами,
И наши души изнуряет злое пламя.
Дымятся кровью наши чистые фонтаны,

[1] Ниневия (столица Ассирии) и Вавилон — столицы могучих деспотических держав древности, порабощавших многие народы, — здесь воплощают насилие и тиранию (с явным намеком на родину поэта). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Дымятся кровью наши чистые фонтаны,
Поруган юный лес, осквернены поляны,
И не найти нигде веселой свиты Пана.

Теперь разбойниками стали наши дети,
Хохочут дерзко или гибнут на рассвете
В чужом краю. И челн стальной я вижу в Лете.

Теперь родили наши жены исполина,
Безглазую Войну, любя ее, как сына.
Колосья выжжены, опалена равнина.

Они и нам стократной гибелью грозили,
В темницах те, кто дерзко дал отпор их силе,
За то, что мы чело к свободе обратили.

И кости наших сыновей перемолола
Машина хищных войн. Хмельны от произвола,
Владыки пьют вино из черепов тяжелых.

За вековой стеной, в необоримом зное
Простерся древний город в мертвенном покое.
О город трупов, где поникло все живое...

О город солнечный на Тибре, о, докуда
Ты будешь ждать трубы архангельской, как чуда?
Твой мнимый Цезарь предал правду, как Иуда.

Мадрид, надежда бедняков и князь восстанья!
Отныне в рабстве ты, но не слышны рыданья.
В руинах ты, но враг страшится воздаянья.

Ночь баррикад неукротимых, ты жива
И, затаившись, смотришь гневным взором льва,
Как в час грозы, когда творил Делакруа.

Там, где всегда звучал победный клич литавр,
На Темзе слышен плач. Одеты жены в траур.
Слышны разрывы бомб. Вот-вот — и рухнет Тауэр.

Тебе и в тяжком сне все снятся месть и слава,
И звезды, как клинки, сияют величаво.
Враг, победив тебя, уже дрожит, Варшава.

Среди озер и пустырей — суровый бор.
Мой бедный город, ты поймешь ли свой позор?
В ручьях струится кровь, и видно дно озер.

Тебя я назову последней — и любимой,
Но не по имени: ты для меня незримой
Осталась и ночной мечтой неповторимой.[1]

В полночных грезах я стоял у мавзолея.
Гром площадь оглашал. Под древним оком Змея
Ты и не дрогнула, в бореньях не слабея.

Ты возникаешь, как гроза на горизонте.
Священен жребий твой для всех. Его не троньте!
Ты наступаешь вновь на необъятном фронте!

[1] Впервые поэт увидел Москву только в 1948 году.

Да славится твоя борьба! Я возглашаю,
Что мощь твоя изменит мир. Я это знаю.
И посягнувших на тебя я проклинаю.

И сам я не страшусь смертельного удара.
Что значу я для вас — средь крови, среди жара?
Что значу я для вас? Я — крик, и я — фанфара!

1942 г.

Баллада о Госпоже Надежде

Суровая подруга эшафота,
Царица снов, святая нищета,
Последний вопль восставшего народа,
Последний гвоздь кровавого креста,
К тебе взывают мертвые уста.
Окутав небо предрассветным дымом,
Стучишься ты к сердцам неисцелимым,
Сестра истерзанных, предсмертный свет,
Кудель, перстом развитая незримым,
Надежда, утешенье наших бед.

Прекрасный облик в роще черных змей,
Слепая в гулких уличных набатах,
Под пыткой — стойкость, немота страстей,
Плат, остудивший смертный жар распятых,
Дозор в краю скорбей моих проклятых,
В моих знобящих снах и наяву
Я, зачумленный, я тебя зову,
Стальной фантом, рубиновый скелет,
Последний стебель в обожженном рву,
Надежда, утешенье наших бед.

Вода пустынь, хлеб горьких одиночеств,
Ключ, отворивший новые края,
Заветный сплав познаний и пророчеств,
В дыму, в петле, на острие копья
Жива любовь и ненависть моя,
Мой щит, мой герб, о странница слепая.

Приходишь ты, как весть предзаревая,
Из той страны, где был рожден рассвет,
Всегда распятая, всегда живая,
Надежда, утешенье наших бед.

Посылка

О госпожа! В пустынях изнывая,
В зеленых льдах, где плачет стужа злая,
Укрытая за толщей дней и лет,
Прими обет служения, благая
Надежда, утешенье наших бед.

1947 г.

Из цикла стихов «ПАМЯТЬ» (1945 — 1956)

Цвети и сияй, как злато,
Дивный вечерний лик,
Меня ослепи на миг
Поздним лучом заката.

Белый призрак твой
Я узрел под холодной луною.
Он спешил дорогой ночною,
Звездною колеей.

Слышишь ли: в забытьи
Кто-то поет... Под кленом
Полночи— плачем ли, стоном? —
Вторят мне губы твои.

Ах, я блуждаю давно
В лабиринте снов и печали.
Радости мы не узнали.
Нам это не суждено.

Коснись меня белым перстом,
Это касанье — смертельно.
Ночь растет беспредельно,
Обнимая земной окоем.

Лети, улетай далече,
Скорбный вечерний лик.
Твой спутник в молчаньи поник
На месте сумрачной встречи.

Сонет

Ведя мои суровые бои,
Чеканя стих, чтоб был он чист и молод,
Я знал, что каждый звук мой — звук любви.
Она меня вела сквозь жар и холод.

И в снежных вихрях, в час, когда расколот
Был целый мир, я знал, что никогда,
Как ни грози судьбины грубый молот,
Я не предам грядущие года.

Любовь не льстит, она — сильней всего,
Кто служит ей — не заслужил укора.
Обманутая, верит в торжество.

В мятежных строфах будущего хора
Я чую новый век и суть его:
И зов величья, и клеймо позора.

1956 г.

■

ЭММАНЮЭЛЬ БЕРНХАЙМ

Его жена

РОМАН

Перевод с французского и вступление ТАТЬЯНЫ ВОРСАНОВОЙ

В 1985 году привлекла внимание читателей и вызвала единодушный интерес критики первая книга двадцатидевятилетней писательницы Эмманюэль Бернхайм «Нож». В 1988 году вторая — «Двое» — подтвердила неслучайность успеха, а третья — «Его жена»,— получившая в 1993 году, через месяц после своего выхода в свет, одну из самых престижных литературных премий — премию Медичи, выдвинула Бернхайм в первый ряд современных французских писателей.

Все три книги переиздаются массовыми тиражами, о них пишут и говорят.

В чем же секрет подобного успеха? Да в том, что Эмманюэль Бернхайм пишет для всех, и текст всегда можно воспринимать на разных уровнях. Упругий, крепкий по-мужски стиль, умело выстроенный сюжет— все это держит читателя в постоянном напряжении, открыв книгу, дочитываешь ее, не в силах оторваться, до самого конца. Так называемый массовый читатель увлечен историей любви: все три ее книги — про «это»; читатель же подготовленный и искушенный, с удовольствием вникая в любовные перипетии, разгадывает философскую подоплеку изощренно выстроенных притч, ибо все три маленьких романа — притчи. «Нож» — это притча о всем надоевшем отчуждении и всем недостающей любви, «Двое» — головокружительный диалог двух подсознаний, «разговор» двух тел», изящнейшая иллюстрация к «эффектам поверхности» Жиля Делеза, одного из отцов постмодернистской культуры, а «Его жена» — притча о пустоте бытия-небытия и несущественности вещественности.

Предлагаемая сегодня читателю «Иностранной литературы» книга Эмманюэль Бернхайм, интересного и многообещающего французского прозаика, — наглядное свидетельство активно идущего и в кино (кстати сказать, читатель обратит внимание на кинематографичность прозы Бернхайм, работавшей в журнале «Кайе дю синема» и пишущей сценарии для теле- и кинофильмов), и в литературе процесса сближения массового и элитарного искусств.

У нее украли сумку.

Как всегда по утрам, она завтракала за стойкой. Ела, как обычно, тартинки, пила, как обычно, кофе, сумка, как обычно, была на полу, у ног. Она держала ее лодыжками. И вот сумка исчезла. У нее украли ее, а она ничего не почувствовала. И все остальные, кто был в кафе, ничего не заметили, и хозяин кафе — тоже. Никто ничего не видел.

Клер взяла у консьержки запасной комплект ключей и, не дожидаясь лифта, поднялась по лестнице. Прежде всего она заявила о краже кредитной карточки, потом позвонила слесарю, который сказал, что придет к ней завтра в двенадцать и врежет новый замок.

Повесив трубку, она тут же расслабилась. Не так уж все это серьезно. Денег в кошельке было мало, и чековую книжку она с собой не брала. А журнал, в котором она ведет запись больных на прием,— вот он, лежит на столе, возле телефона.

Включив лампу в прихожей — комнате ожидания, она привела в порядок кипу журналов. Уже без пяти девять, первый утренний пациент вот-вот войдет.

Старика лечили антибиотиками, из-за этого у него развился кандидоз. Язык был черным. Пока Клер его рассматривала, в дверь кто-то позвонил. Она пошла открывать. Это был молодой человек. Он улыбался. Она попросила его подождать и быстро вернулась в кабинет. По дороге машинально заглянула в свою тетрадь. И нахмурилась. Следующей пациенткой должна была быть женщина. Кто же тогда тот человек, которого она впустила? Наверняка что-то неотложное. Она верну-

© Éditions Gallimard, 1993

лась к пациенту и ощупала его живот. До кишечника кандидоз еще не добрался. Вдруг Клер замерла. Незнакомец свистел. Громко свистел. И весело. Он не был болен. Ни один больной не станет так свистеть в приемной.

Может, это тот, кто украл у нее сумку? Да, конечно, это он. Ведь в кошельке у Клер он обнаружил всего двести франков. Этого оказалось мало. Он видел ее документы, знает, что она врач, и пришел за деньгами, которые она получает за консультации. И теперь ждет, когда она останется одна. Пока старик одевался, Клер приоткрыла ящик стола. И зажала в кулаке холодный баллончик со слезоточивым газом. Положила его в карман.

Вдруг незнакомец перестал свистеть.

Когда Клер, провожая пациента, подошла к двери, человек исчез.

Она прислонилась спиной к двери и глубоко вздохнула. И только тут заметила, что на подушке прямо на виду посередине диванчика лежит сумка, ее сумка, которую у нее украли. Взяли только деньги и кредитную карточку.

Клер отменила слесаря. И приготовилась к приходу следующей больной, с отитом.

Было восемь часов. Как всегда по вечерам, Клер, проводив последнего пациента, задержалась у себя в кабинете. Она разглядывала свою крохотную смотровую комнату, блестящие стальные крепления стола, инструменты и флаконы, аккуратно расставленные и разложенные в стеклянном шкафу. Она села в одно из двух кресел для пациентов и огляделась, как это сделал бы больной, пришедший к ней впервые. Плакаты в рамочках, лампы, книжный шкаф, ковер, все ей здесь нравилось.

Клер закрыла глаза. Она была счастлива. Становилось все холоднее. Скоро гриппов, ангин и бронхитов будет больше и больше.

Осень и зима были ее любимыми временами года.

Квартиру она разделила надвое. Кабинет занимал большую часть, а жила Клер в совсем маленькой комнате.

Дверь между ними была приоткрыта. Клер вздохнула. Мишель уже пришел.

Она оставила его два года назад и жила одна, но виделись они чуть ли не каждый день. И у Мишеля тоже были ключи.

Она вошла бесшумно. Лежа на кровати, он не читал, не смотрел телевизор, даже не спал. Он ничего не делал. Он ждал ее.

Она кашлянула. Увидев ее, он встал и подошел поцеловать. Потом, как всегда, внимательно посмотрел на нее.

— У тебя усталый вид.

И он пошел наполнить ей ванну.

Клер жила в одной-единственной комнате с голыми белыми стенами. Угол, отведенный для кухни, был скрыт раздвижной ширмой. Стенные шкафы и гардероб размещались в ванной комнате.

Клер легла в теплую воду.

Она услышала позвякивание льдинок в стакане. Мишель напевал. Клер знала, что он всегда бывал доволен, когда она казалась усталой, чем-то озабоченной или грустной. Он думал, что в такие минуты становится более близким ей. Даже по телефону, как только он замечал, что она говорит усталым голосом, она улавливала его довольные интонации.

Приняв ванну, она энергично растерлась полотенцем.

Завтра она снова позовет слесаря. Она скажет ему, что, несмотря на то что нашла ключи, все-таки, хорошенько все обдумав, предпочитает сменить замок, для безопасности.

У нее будут новые ключи. И на этот раз она их Мишелю не даст.

Слесарь работал аккуратно и даже не поцарапал краску на двери. Он оставил три комплекта ключей. К одному Клер прицепила свой брелок, другой отдала консьержке, а третий положила в ящик письменного стола.

Вечер она провела в одиночестве.

Холодильник у нее был полон. Клер скривилась. Оставалось еще несколько свиных отбивных.

Она открыла свой кабинет два года назад и после первого трудного года решила завязать контакты со всеми лавочниками в квартале. Хотя денег у нее было немного, она ходила за покупками каждый день. Теперь все торговцы и их покупатели знали ее. В лавочках, а иногда даже на улице они рассказывали ей о своих болезнях, и она внимательно выслушивала их. И они приходили к ней на прием. Так ей удалось обзавестись постоянной клиентурой.

Продукты, однако, скапливались. Каждый вечер она ужинала дома и часто приглашала друзей, чтобы ничего не испортилось.

Клер поджарила себе свиную отбивную.

Спать она, как всегда, будет плохо, потому что в этой единственной комнате кухонные запахи пропитывают все, даже простыни.

Проснулась она внезапно. Оконные стекла дрожали. Пол вибрировал. Когда зазвонил будильник, она почти не слышала его, настолько было шумно. Клер встала и открыла ставни. Все обитатели улицы в пижамах и ночных сорочках стояли у своих окон.

Несколько лет назад здесь сгорел соседний дом. Теперь его начали восстанавливать.

Шум не слишком помешает ей. Окна кабинета выходят во двор. И она купит себе уши-беруши.

Как всегда в полдень, Клер вышла за покупками. Перед высоким забором, скрывавшим строительную площадку, разговаривали трое мужчин. Двое ушли. Третий остался один. И тогда Клер показалось, что она узнала того самого человека, который принес ей сумку. Он исчез на стройке.

Она остановилась перед маленькой дверцей в заборе. «Посторонним вход на стройку воспрещен», «Наличие каски обязательно». На проезжей части красные и белые конусы запрещали парковку. Клер в нерешительности помедлила. Затем открыла дверцу. И затворила ее за собой.

Все, что сгорело внутри дома, ссыпали в вагонетки. Оконные рамы с разбитыми стеклами, обугленные ставни, распотрошенные матрасы, проржавевшие бытовые приборы надгробьями лежали среди строительного мусора. Грохот был оглушительный. При каждом неожиданном мощном ударе невольно щурились глаза. Пыль стояла такая, что дышать этим воздухом было невозможно. Вдруг в проеме фасада показался человек. Он что-то прокричал Клер. Она ничего не расслышала. Тогда он стал отчаянно жестикулировать, и она поняла, что он просит ее уйти. Она повернулась к забору, но не смогла отыскать вход. Неожиданно наступила тишина. Клер поднесла руки к ушам — ей показалось, что она оглохла. Но тут что-то загрохотало, и она успокоилась.

Из дома вышел человек. На голове у него была желтая каска, хирургическая маска закрывала лицо. Идя через двор, он снял каску и открыл лицо. Он улыбался. Это конечно же был он. Лоб и брови у него были серые от пыли. Он взъерошил волосы, примятые каской. Клер в свой черед тоже улыбнулась ему. Извинилась, что побеспокоила,— просто хотела поблагодарить за сумку.

Он нашел ее здесь, на земле, прямо за забором.

Он взялся за дверную ручку. Клер еще раз поблагодарила его. Он открыл дверь. Она собиралась уйти. Он похлопал ее по спине. Клер обернулась.

— На вашей куртке была пыль.

Она почувствовала, что краснеет. Сказала еще раз: «Спасибо» — и ушла со стройки.

Какое-то мгновение Клер не понимала, где она оказалась. Потом узнала свою улицу. Ей показалось, что она опаздывает, и она побежала домой. В лифте посмотрела на часы. Было самое начало первого. Она пробыла по ту сторону забора всего лишь несколько минут.

Клер нажала кнопку первого этажа и отправилась за покупками.

В аптеке уши-беруши уже кончились.

Пациенты шли один за другим до самого вечера. Приняв последнего больного, Клер опустилась в кресло. Разувшись, заметила пыль на своих туфлях. И мысленным взором увидела покрытый пылью лоб человека со стройки. Она провела пальцами по запылившейся коже. Потом медленно растерла пыль между большим и указательным пальцами. Это было приятно.

От раздавшегося вдруг звонка в дверь Клер вздрогнула. Она не предупредила Мишеля, что сменила замок. Она скажет ему, что у нее только один комплект ключей. Клер открыла дверь. Мишель почти не смотрел на нее. Она хотела поговорить с ним, но передумала. Он бы не стал слушать ее. Он уже знал, что она солжет.

Они съели последние свиные отбивные и вскоре расстались.

Выходя из мясной лавки, она услышала его. С противоположной стороны тротуара он звал ее: «Доктор!» Бегом пересек улицу, взял ее под руку и повел в кафе. Она подчинилась. Ее сумка с продуктами болталась между ними.

Его звали Томас Ковач. Он был начальником участка. Она расспросила его о здании, которое восстанавливалось. Он положил себе три кусочка сахара в кофе. Ни минуты не сидел спокойно. Клал локти на стол, потом откидывался на спинку стула и вытягивал руки назад. Дважды он оборачивался, чтобы извиниться, потому что кого-то задевал. Клер наблюдала за ним, но слушать его у нее не получалось. Ему наверняка было сорок два или сорок три года. Ложечкой он размешал остатки сахара на дне чашки. Вдруг он схватил Клер за левое запястье, чтобы посмотреть, который час. Ему пора было идти. Он кивком подозвал официанта, расплатился и встал. Потом склонился к ней. Казалось, он совсем застыл. Глаза его блестели. Он смотрел на нее. Потом сказал: «До завтра» — и исчез.

Клер вернулась домой. У нее было ощущение, что шла она не торопясь.

В правой руке она сжимала кусочек сахара. Она не выбросила его.

Это была суббота. На уик-энд работы прекращались. Клер не увидит Томаса Ковача.

Она открыла верхний ящик своего письменного стола и запустила туда руку. Достала четыре кусочка сахара. Уложила их рядком и рассматривала.

Каждый кусочек соответствовал одному свиданию с ним в кафе в полдень.

До пяти она работала, потом Мишель зашел за ней. Они были приглашены за город.

Вечеринка получилась веселой. У Клер было хорошее настроение. Мишель не сводил с нее глаз. А когда она встречала его взгляд, сразу же отворачивалась и продолжала смеяться со всеми остальными. Он первым пошел спать. Она смотрела, как он медленно поднимался по лестнице.

Свет у него был погашен. Клер на ощупь прошла через всю комнату и нырнула под одеяло. Свернулась калачиком на краю постели, чтобы не чувствовать дыхания Мишеля, не касаться его массивного тела. Он спал. Тяжело дышал ртом, будто у него был заложен нос. И тихонько сопел. Тогда по подрагиванию матраса она поняла, что он всхлипывает. Мишель не спал. Он не был простужен. Он плакал. Клер не сделала даже движения в его сторону. Не шелохнулась.

После завтрака он уехал в Париж.

Клер бродила по лесу одна. С хрустом наступала на сухие ветки под ногами и шлепала по грязи. И вдруг поняла, что громко, во весь голос поет.

За обедом она много ела.

Едва оказавшись дома, она выдернула из розетки большую галогенную лампу — подарок Мишеля. Спрятала ее в шкаф.

Клер не любила ее белого света.

Она прослушала сообщения, записанные автоответчиком: Мишель не звонил.

Холодильник был почти пуст. С тех пор как в полдень она стала встречаться с Томасом Ковачем, ей было некогда ходить по магазинам. Клер огляделась. Впервые ей понравилась ее комната.

Она была у себя дома.

В понедельник он не пришел на свидание.

Прождав его некоторое время, Клер подошла к забору перед стройкой. Там

стояла тишина — был обеденный час. Маленькую дверцу она открыть не решилась.

Поднялась к себе домой, взяла свою черную сумку и снова вышла. Руки у нее были ледяные. Надо будет согреть их перед тем, как она будет осматривать пациента. От двух чашек кофе, выпитых в ожидании Томаса, у нее жгло в желудке. Она вошла в булочную и увидела себя в зеркале. Ей было тридцать, но она старалась казаться старше своих лет. Молодые врачи не внушают доверия. Она носила серый костюм и почти не красилась. Она была вся серая. И именно такой ее видел Томас.

Она вышла из булочной, ничего там не купив.

Войдя в комнату, Клер расслабилась. Здесь было натоплено, а закрытые окна и ставни приглушали уличный шум. Она подошла к кровати и осмотрела больного. «Дышите глубже». «Широко откройте рот». Клер говорила вполголоса, в комнате было очень тихо. От постельного белья пахло смягчителем для ткани.

Она бросила шпатель в корзину для бумаг и сложила инструменты. Грипп. Она села выписать рецепт. Писала медленно. Не спешила. Наслаждалась покоем и теплом этой комнаты.

Нигде она не чувствовала себя так хорошо, как в комнате больного.

Наутро Клер нащупала пальцами кусочки сахара, сложенные в ящике стола. И тут вспомнила широкую улыбку Томаса, его шею, когда он запрокидывал голову, допивая последние капли своего сладкого кофе. Она все еще ощущала тепло его руки, когда он держал ее за запястье, чтобы посмотреть, который час. И во время последнего свидания в пятницу его волосы казались седыми, настолько они запылились.

Она взяла кусочки сахара и выбросила их в мусорную корзину. Зачем их хранить? Никогда больше она не увидит Томаса Ковача.

В полдень она не вышла из дому.

Вечерело. Клер измеряла давление у молодого человека, когда зазвонил телефон. Она сняла трубку. И сразу же узнала голос Томаса. Он хотел увидеться с ней, как только она сможет. Сегодня вечером. Ей надо было принять еще двух пациентов. Он будет ждать Клер в баре, неподалеку от ее дома.

Клер открыла гардероб. У нее было мало вещей. Почти все они были серого цвета, серый ведь ко всему идет. Она тут же закрыла шкаф. Из мешка с грязным бельем достала джинсы, в которых ездила за город. Внизу засохла грязь. Клер скребла и терла, но коричневые разводы оставались. И все-таки она надела джинсы, темно-синий свитер и кроссовки. Потом, подкрасившись, навела марафет. И посмотрела на себя в зеркало. Она больше не была серой.

Клер быстро спустилась по лестнице. Хотела было открыть входную дверь, как вдруг застыла на месте. Бегом поднялась к себе и бросилась в кабинет. Порывшись в корзинке для мусора, извлекла из нее четыре кусочка сахара. Положила их обратно в ящик. Вечером, чуть позже, должна прийти убираться консьержка. Она выбросила бы весь мусор. И Клер никогда не нашла бы этих кусочков сахара.

Она захлопнула дверь и мигом слетела вниз по лестнице.

Увидев ее, Томас не улыбнулся. Не встал. И не пошевелился. Клер села напротив него. На столе — ни стакана, ни чашки, ни даже картонной подставки для стакана. Томас ничего не пил.

Тут же подошел бармен. Она заказала «кровавую мэри», Томас не хотел ничего. Он молчал. Она не решалась заговорить первой, потому что никак вдруг не могла вспомнить, на «вы» они или на «ты». Бармен мигом принес ей коктейль. Клер уставилась на свой стакан и медленно размешивала желтой пластмассовой палочкой его содержимое. Она придумывала фразу, в которой не было бы ни «ты», ни «вы».

Вдруг Томас резко схватил ее за руку, за правую, чтобы палочка больше не двигалась. Он склонился к Клер. Ему надо было сказать ей что-то очень важное.

Он сильно сжал ее запястье.

Он не пришел на свидание не потому, что не хотел ее видеть. Напротив. Он хотел ее видеть всегда, каждый день. Но не мог. Не должен был.

— Почему?

— Потому что я женат и у меня двое детей. Я никогда их не оставлю. И не хочу, чтобы ты страдала.

Клер не ответила. Он отпустил ее запястье. Она руки не отвела. Ее правая рука так и лежала совершенно безвольно на столе. Кожа, согретая теплом руки Томаса, становилась прохладной.

Даже если ей нечего ждать от него, она будет продолжать встречаться с ним.

Он наконец улыбнулся. Белки его глаз были ярко-белыми.

Томас расплатился и встал. Ему надо было возвращаться домой.

Они вышли из бара. Томас поцеловал Клер в губы, очень быстро. Она смотрела, как он уходит. Он почти бежал. Ей бы хотелось увидеть его машину, но он уже исчез за поворотом.

Клер пошла к друзьям в ресторан.

На ходу она что-то насвистывала.

Желтую пластмассовую палочку для размешивания коктейлей она унесла с собой.

Назавтра, выйдя из кафе, они на минуту остановились лицом друг к другу. Из полуоткрытых губ Томаса шел пар и пахло кофе. Наверно, во рту у него очень тепло и там чувствуется вкус сладкого кофе. Они не поцеловались. Сквозь стекло за ними наблюдали двое рабочих со стройки, они обедали в баре. И с противоположной стороны тротуара Клер улыбалась сидевшая на остановке автобуса старушка. Это была ее пациентка.

Они отстранились друг от друга.

И решили встречаться теперь не в кафе, а дома у Клер, вечером после приема.

Томас придет в восемь часов.

Клер уставилась на настенные часы в кабинете. Было без двадцати восемь, ее последняя пациентка опаздывала на десять минут.

Наконец она пришла. Женщина была совсем бледной, похоже, она сильно страдала. Очень осторожно она села в одно из кресел для больных и, перекосившись от боли, положила руку на подлокотник.

Клер стала задавать пациентке вопросы. Ей было тридцать лет, она работала кассиршей в соседнем супермаркете. Из-за того, что она беспрестанно делала левой рукой одно и то же движение, а именно подносила каждый предмет к кассовому аппарату для считки кода, у нее начались жуткие боли, отдававшие в шею и в руку до кисти. И с каждым днем она мучилась все больше и больше. Раздеться сама она уже не могла. Клер очень осторожно помогла ей и осмотрела ее.

Шейно-плечевая невралгия. Она прописала ей противовоспалительное и обезболивающее лекарства. И отправила на рентгеновский снимок шейного отдела позвоночника. Дала бюллетень на десять дней.

Молодая женщина попросила у Клер разрешения подождать мужа в прихожей, он заедет, чтобы отвезти ее домой на машине. Они живут далеко.

Клер усадила ее на диван, подложив под спину подушки.

Раздался звонок. Это был Томас.

Клер проводила его в комнату и закрыла за ним дверь. Положила журналы возле пациентки и ушла к Томасу.

Они шептались. Смотрели друг на друга, улыбались друг другу. Но не целовались. Клер внимательно прислушивалась к звукам в комнате ожидания. Она не слышала ничего, даже легкого шуршания переворачиваемых страниц журнала. Молодая женщина не читала. Она, должно быть, сидела на диване в той самой позе, в какой ее оставила Клер, совсем прямо и неподвижно, не решаясь даже пошевелиться, чтобы не причинить себе боли.

Муж приехал за ней только в половине девятого.

Через несколько минут Томас ушел.

Клер осталась одна.

Она больше не будет принимать пациентов после семи часов.

Он ли лежал, вытянувшись, на ней, она ли на нем, губами они не отрывались друг от друга ни на миг.

Если его или ее правая рука выскальзывала из их тесно сплетенного объятья, его или ее левая тут же накрывала ее.

Они были почти одного роста. И потому от кончиков пальцев ног до лба Томас прижимался к Клер, а Клер прижималась к Томасу.

Он оделся. Она осталась в постели.

Он склонился над ней и еще раз поцеловал.

Потом он исчез.

Клер слышала, как завелся мотор автомобиля. Она подбежала к окну, но ничего не увидела.

Буфера, крылья и низ дверей машины Томаса, должно быть, запачканы строительной грязью. И автомобиль у него наверняка четырехдверный, чтобы было удобно с детьми.

Вдруг ей показалось, что в комнате очень тихо. Убирать было нечего. И стакан мыть не надо, потому что Томас ничего не пил, и влажное полотенце не надо вешать сушиться, потому что Томас не мылся. Никаких следов Томаса. Только покрывало слегка смято. И тут Клер увидела возле кровати маленький золотой бумажный пакетик, разорванный. Она подобрала его и улыбнулась.

В ванной она нажала ногой педаль мусорного ведерка. Крышка поднялась. На дне почти пустого ведра лежал маленький круглый блестящий предмет. Клер опустилась на колени и взяла ее в руки. Это был презерватив Томаса.

Она вложила его в разорванный пакетик. И отнесла в ящик письменного стола, туда, где уже лежали кусочки сахара и палочка для размешивания коктейлей.

Она не будет ужинать дома. Галогенную лампу Мишеля она никакой другой не заменила. В комнате было темно.

Она пошла ужинать в ярко освещенное кафе одна.

Официанты суетились вокруг нее, и она шутила с ними.

Жареная картошка была так хороша, что Клер заказала себе еще одну порцию.

Проснулась она совершенно разбитой.

При ходьбе каждый мускул давал о себе знать. И потому она то и дело вставала с места.

Так ей целый день удавалось чувствовать эту свою ломоту.

Она вслушивалась в шум строительных работ. Иногда в общем грохоте кто-то старался, чтобы его услышали. Может, это был Томас.

В полдень она купила шампанского, аперитив и соки. Виски и пиво уже стояли в холодильнике, их принес Мишель.

Томасу будет что выбрать.

Пока он не пришел, она взяла одну из ламп в кабинете и включила ее в комнате. А кабинетную заменила лампой Мишеля.

Едва Томас вошел, он крепко обнял Клер.

Не пили они ничего.

Он ушел. Клер приблизила лицо к подушке, на которой он лежал, и потянула носом. Запаха Томаса она не почувствовала. Она ничего не почувствовала.

Встала, включила телевизор и прибавила звук.

Тут она заметила, что машинально сжимает бедра. В этом не было никакого смысла. Из-за того, что Томас пользовался презервативом, его сперма не текла у нее по ногам.

Ломота исчезла.

На какое-то мгновение Клер замерла посреди комнаты.

Вдруг она опомнилась. Взяла свою записную книжку. Она позвонит всем своим друзьям, даже тем, с которыми давно уже не общалась.

Каждый вечер она будет уходить из дома и не станет больше оставаться одна после того, как уйдет Томас.

Клер пролистала записную книжку. На букве «К» остановилась и прочла все значившиеся там фамилии. Прилежным почерком вписала: «Томас Ковач». И легонько отпрянула. Два раза по пять букв. «О» и «а» в имени соответствовали тем же буквам в фамилии. Томас Ковач. Звучит красиво.

Клер взяла телефонный справочник. Нашла около сорока Ковачей, но ни одного Томаса.

Может, они живут в пригороде. Домик с садом. Он сам построил его или просто сделал там ремонт. Выстроил гараж для своей машины и для машины жены, двухдверной. И там у них стоят, прислоненные к стене, их четыре велосипеда, от самого большого до самого маленького.

Клер закрыла телефонный справочник, взяла записную книжку и сняла трубку. Нужно только договариваться ужинать не раньше девяти.

В субботу, закончив прием, Клер решила купить себе духи.

Переходя от стенда к стенду в большом магазине, она то и дело узнавала духи своих пациенток. Когда у нее началась мигрень, она выбрала туалетную воду с несильным запахом. Еще она купила себе черный свитерок и черную юбку. Выйдя из магазина, она тут же пожалела о покупке. Томас не обращал никакого внимания на одежду Клер. У него на это не было времени. Едва перешагнув порог, он прижимал ее к себе. Они шли через прихожую — комнату ожидания, целуясь, и так тесно сплетались в объятии, что наступали друг другу на ноги и даже спотыкались. Они смеялись над этим, зубы в зубы.

Наконец, не переставая целоваться, пытались раздеться. Одевалась она только после ухода Томаса.

Так когда же и каким образом он мог заметить, во что она одета?

Мишель всегда настаивал на том, чтобы она вместе с ним выбирала, что ей носить. Клер никогда не считалась с его мнением. Он всегда советовал выбрать то, что шло ей меньше всего. Конечно же, он хотел, чтобы она не нравилась ни одному мужчине, кроме него.

Вернувшись домой, она надушилась и стала надевать новые свитер и юбку. Зазвонил телефон. Как только Клер поняла, что это Мишель, она невольно потянула юбку вниз, прикрывая бедра. Он извинялся за свое молчание. Он многое обдумал, и ему совершенно необходимо увидеться и поговорить с ней. Она согласилась назавтра пообедать с ним.

Положив трубку, она начала расстегиваться. Вдруг передумала и застегнула молнию.

Она свободна и вольна носить все, что ей хочется.

Клер ужинала у Мари, своей лучшей подруги.

Два месяца назад та родила, но уже стала снова такой же худенькой, как до беременности. Клер пошла в комнату к ребенку. Бернар, отец, стоял склонившись над кроваткой. Когда вошла Клер, он даже не повернул головы. Он что-то напевал или шептал. Он никогда не обращал на нее никакого внимания.

Какого возраста были дети у Томаса? Наверняка совсем маленькие, и в эту самую минуту он рассказывает им сказку или поет колыбельную, венгерскую колыбельную. И не слышит ничего, кроме их легкого дыхания, не видит ничего, кроме их смыкающихся глаз.

Клер взяла музыкальную куклу и дернула за веревочку. Услышав музыку, Бернар выпрямился.

— Он спит.

Они вышли из комнаты.

Она пошла к Мари в кухню. Повсюду стояли бутылочки с сосками.

Клер не станет рассказывать ей о Томасе.

Мишель тут же заметил, что в комнате нет его галогенной лампы. Клер проводила его в кабинет, он увидел ее и вроде бы успокоился. Но, вернувшись в комнату, сел на кровать и огляделся, не изменилось ли еще что-нибудь. Она следила за его взглядом. Ничего он не увидит, потому что ничего не изменилось. Даже сама Клер. Она не накрасилась и не надушилась. И надето на ней все ему знакомое, и лицо у нее бесстрастное, как всегда, когда она видит Мишеля.

Он кашлянул. Он собирался поговорить с ней. Но сначала решил что-нибудь

выпить. Тут Клер улыбнулась. Пошла в ванную и оставила дверь полуоткрытой. Прислушалась.

Он открывает раздвижную ширму. Потом холодильник. За йогуртом и масленкой находит пиво. Пшшшт. Это он дернул колечко жестяной банки. Находит соки. Это его удивляет, потому что Клер их никогда не пьет. Теперь он видит бутылку шампанского. А ведь Клер его не любит. Наверняка ей его принесли. Дверца холодильника закрывается. Он берет стакан с полки над раковиной. Замечает, что на соседней стоит аперитив. Тишина.

Он медленно задвигает ширму.

Он все понял.

Клер вышла из ванной.

Мишель не задал ей ни одного вопроса. И не сказал того, что ему нужно было сказать ей.

Они обедали в ресторане. Мишель расслабился. Она наблюдала за ним. Ему, казалось, даже полегчало. Теперь он знал, что их роман закончился.

Клер провожала своего последнего пациента. Нажала кнопку и вызвала лифт. Пациент вошел в кабину. Металлическая дверь закрылась за ним. Клер вздрогнула от какого-то звука. Обернулась. На ступеньке лестницы сидел Томас. Его глаза сияли. Он рывком встал и крепко обнял ее. Прижал к себе и с нежностью заговорил с ней. Все эти два дня ему очень не хватало ее и так не терпелось увидеться с ней, что он ждал ее здесь, в темноте, надеясь, что она пораньше закончит прием. Вдруг он отстранился от нее. И вызвал лифт. Сегодня он предпочел бы пойти в кафе. Клер быстро зашла домой за сумкой и пальто.

Пожалела, что не надела новой юбки и свитера — в кафе у Томаса будет время посмотреть на нее.

Они сели лицом друг к другу. Она заказала виски. Томас не хотел ничего пить. И ничего не говорил. Почти не смотрел на нее. А ведь только что он казался таким счастливым оттого, что снова видит ее. Он принялся оттирать пятно на своей левой руке. Когда оно исчезло, он поднял глаза на Клер и наконец улыбнулся. Придвинулся к столу настолько, что коленями они касались друг друга. Он расспрашивал ее о работе. Ей нравилось рассказывать о ней, и она говорила долго. Он слушал не сводя с нее глаз.

Клер допила виски и вдруг, будто против собственной воли, спросила, чем занимается его жена. Она заметила, что он раздумывает, прежде чем ответить ей.

— Она архитектор.

Потом он взял Клер за руку и посмотрел, который час. Ему пора было возвращаться.

Они расстались у ее дверей. Он поцеловал ее в губы, очень быстро.

Она опустилась на кровать. Почему ему вдруг захотелось пойти в кафе, ведь он с таким нетерпением ждал ее? И ей вовсе не надо было задавать этого вопроса про жену. Он не хотел говорить о своей семье, это было очевидно. Не хотел, чтобы Клер страдала.

А вдруг он решил больше не приходить, не видеться с ней?

Она закрыла лицо руками. Нет, этого не может быть. В кафе Томас так сильно прижимался к ее коленям своими, что у нее наверняка отпечаталась на коже тоненькая сеточка колготок.

Они будут видеться. У нее не было в этом сомнений.

Клер глубоко вздохнула. Хотя она целый день без конца мыла руки, ее запястья все еще пахли туалетной водой.

Она распрямилась. Все понятно. Томас отстранился от нее из-за ее духов. Он боялся, что его кожа и одежда пропахнут этим запахом. Жена, конечно, почувствовала бы его. Потому он и повел Клер в кафе.

Клер не ошиблась. Она больше не душилась. И Томас не водил ее в кафе.

Жена Томаса, конечно, же спроектировала дом, а он его построил.

На первом этаже — гостиная, просторная, очень светлая и кухня с огромным столом, а столовой нет. Нет-нет, гостиная и кухня не разделялись. Это была одна большая комната. Так что, когда они принимали гостей, жена Томаса могла готовить еду, участвуя в общем разговоре.

Она наверняка прекрасно готовила, и друзья любили ужинать у них, у Ковачей.

Во сколько бы Томас ни приходил, он оставался у Клер час с четвертью. Никогда больше, редко меньше.

Однажды она выключила из сети видеомагнитофон и электрокофеварку и спрятала будильник в ящик ночного столика. Теперь Томас нипочем не сможет узнать, который час, и пробудет у нее подольше.

Когда раздался звонок, Клер посмотрела на свои часы, положила их в сумочку и только тогда пошла открывать.

Было без двадцати пяти восемь.

Они, вытянувшись, лежали бок о бок.

Клер вслушивалась в дыхание Томаса. Впервые, забыв о времени, он, быть может, уснет рядом с ней. Она не шевелилась. В местах, которыми они касались друг друга, кожа ее становилась влажной. Она закрыла глаза. Они вместе проведут эту ночь и вместе позавтракают. Томас наверняка много ест по утрам. У нее есть яйца, сыр и два больших ломтя ветчины. Этого хватит. Она не откроет окно, и весь день в квартире будет пахнуть гренками.

Томас прижался к ней и нежно поцеловал. Потом отстранился и встал.

Когда он закрыл за собой входную дверь, было без десяти девять.

Томас провел у нее час с четвертью, ровно час с четвертью.

Клер больше не будет ничего отключать.

И будильник теперь навсегда займет свое место на столике у кровати, а часы — у нее на руке.

Клер зажгла лампу у изголовья кровати. Половина седьмого.

Томас сейчас наверняка завтракает. Возможно, это он приготовил кофе. Жена присоединяется к нему. На ней халат мужа, он ей велик. Ее длинные волосы сильно растрепаны. Томас улыбается ей. Он считает ее красивой. В кухню входит ребенок. Мать бранит его, потому что он пришел босиком. Малыш забирается на колени к отцу. Томас берет обе его ножки в одну свою руку и согревает их. Он собирается положить себе в кофе три, нет, наверно, четыре кусочка сахара, потому что чашки для утреннего кофе ведь намного больше. Ребенок останавливает его. Он хочет сам положить сахар. И с размаху бросает его в чашку. Весь стол забрызган кофе.

Томас сейчас уйдет. Машина отъедет от дома. На полке за задним сиденьем — желтая строительная каска.

Он целует свою жену. На губах у них вкус кофе.

«До вечера».

Клер снова засыпает.

Она открыла глаза, когда на стройке начались работы, и тут же встала.

Всю неделю она не ставила себе будильник. В этом не было никакой необходимости. Ее будил шум стройки. И ей казалось, что она почти ощущает присутствие Томаса.

Клер пальпировала брюшную полость пациента. Он был примерно того же возраста, что и Томас, и носил обручальное кольцо. А Томас — нет. Наверняка боялся потерять на стройке. Пациент жаловался на боли в животе. Аппендикса ему никогда не удаляли. Томасу тоже. Клер увидела бы шрам.

Томас никогда не болел, в этом она была уверена. Он не кашлял, не сморкался, даже носом не шмыгал. Никаких печеночных неприятностей, в белках глаз — никакого желтого оттенка. На стройке ему приходилось нелегко, он наверняка поднимал тяжести, но спина у него не болела, седалищный нерв не беспокоил, с поясницей — ни малейших проблем. И голова у него никогда не болела. Ничего у него не болело.

Пациент оделся.

Клер села за свой письменный стол.

Она бы сама лечила Томаса. Узнала бы количество кровяных шариков и ско-

рость оседания эритроцитов, изучила бы все его позвонки, от атланта до крестца. Как и этому своему пациенту, она назначила бы ему рентгеноскопию органов пищеварения. Исследовала бы пищевод Томаса, его желудок, каждую складку тонких кишок, бугры толстого кишечника, весь пищеварительный тракт, ставший бы благодаря барию почти фосфоресцирующим.

Но он никогда не болел.

Клер вздохнула. Она знала только нежную кожу живота Томаса.

Она даже никогда не видела, как он ест и пьет, знает только, как он пьет сладкий кофе. Она не имеет никакого представления о его вкусах. Раз он кладет столько сахара в кофе — значит, любит сладкое. Но она не могла представить себе, что он ест пирожные. Нет, он, конечно, предпочитает мясо, жаркое и дичь. А доедая, подбирает оставшийся соус хлебом.

Лучше всего Клер представляет себе его на стройке, вот он сидит на подформенном камне возле переносной печи. Руками ест куриную ножку. Хрящики трещат у него на зубах. Он голоден, ест быстро, у него отличное пищеварение.

Дает ли ему жена иногда судки? Утром она кладет в них остатки вчерашней еды, плотно закрывает их. И улыбается. Это напоминает ей о тех временах, когда они только поженились и Томас был всего лишь прорабом на стройке. Дети смотрят на все это с завистью. Им бы тоже очень хотелось взять с собой в школу судки. Они бы разожгли костер, чтобы разогреть еду. И не пошли бы в школьную столовую.

Клер вздрогнула. Ее пациент, собравшись уходить, протягивал ей чек. Она взяла его и быстро заполнила страховой листок.

•

— А теперь дышите нормально... Великолепно.

Клер положила стетоскоп на стол.

Вдруг послышалась сирена «скорой помощи»; вот она все ближе и ближе.

Наверняка где-то произошел несчастный случай. Может, на соседней стройке. На стройках часто что-то случается. Срываются буры, проваливаются полы. Обваливаются балки. На Томаса могла упасть балка. Рабочим не удается поднять ее. Он теряет много крови. Еще одно усилие, и балка слегка приподнимается, как раз настолько, чтобы Томаса можно было высвободить. Подъезжает карета «скорой помощи», колеса буксуют в строительной грязи. Томаса кладут на носилки. Внимание! Осторожнее!

Пациентка протянула ей теплую и влажную руку. Клер измерила ей давление. Кожа на предплечье у Томаса такая гладкая, вены так сильно выступают, что санитарам «скорой помощи» легко будет ввести иглу для инъекций.

Она расстегнула «липучку» манжеты. Давление у молодой женщины было нормальное.

Клер отменит всех своих больных и будет сидеть с Томасом в больнице. Она проверит, как работает капельница, заново сделает ему перевязки, изучит его рентгеновские снимки и сама будет делать ему уколы.

Но она даже не сможет узнать, в какую больницу его доставили. А когда Томас откроет глаза, увидит он свою жену. Она обнимет его, и он вдохнет аромат ее духов.

Потому что она-то душится.

Пациентка бросила взгляд на рецепт и нехотя расплатилась. Клер не прописала ей ничего, кроме магнезии.

Прослушав свой автоответчик, Клер обнаружила сообщение от Томаса.

Он извинялся, что из-за каких-то дел не сможет прийти к ней сегодня вечером.

Клер улыбнулась. Это было первое сообщение Томаса. Он никогда не звонил ей.

Она усилила звук и прослушала запись еще раз. Голос у Томаса был очень нежным. Он почти шептал.

Она перемотала пленку так, чтобы никакая новая запись не стерла голос Томаса.

В полдень она купила много новых кассет. Заменила ту, что была в автоответчике, и положила ее в ящик письменного стола.

Теперь она будет хранить все записи с его голосом.

Томас крепко прижимался к ней. Клер закрыла глаза и вдыхала запах строительной пыли, пропитавшей его волосы.

Вдруг она почувствовала, что голова Томаса на ее плече отяжелела. Он уснул. Это впервые он засыпал рядом с ней.

Она старалась не двигаться. Даже глаза открыть не решалась.

Дыхание Томаса было таким жарким и таким сильным, что у нее на шее наверняка образовалось запотевшее пятнышко.

Голова Томаса все тяжелее и тяжелее давила ей на плечо. Она почти чувствовала, как каждый волосок на его щеке и шее входит в ее кожу.

Ладонь, лежавшая на желудке Клер, переместилась на живот и замерла на пупке.

Пульс Томаса отдавался в ее собственном животе. Клер задержала дыхание. И почувствовала всем своим телом биение крови Томаса.

Рука его легонько соскользнула, и она перестала что-либо чувствовать вообще.

Открыла глаза. Кожа у Томаса была гладкая и матовая. Никаких родинок, очень мало волос. На ноге остался след от резинки носка, ступни были маленькие и широкие, а мизинец похож на дольку мандарина.

Она улыбнулась, Томас проснулся.

Резко встал и оделся.

Прижал Клер к себе, но не поцеловал ее.

Потом он ушел.

Она осталась одна. Он ее не поцеловал, но сжал в своих объятиях сильнее, чем обычно, и длилось это дольше. Клер была счастлива. Отрастающая на щеке Томаса щетина оставила красное пятно на ее плече.

Когда он брился по утрам, в белой пене появлялись прямоугольнички его нежной кожи. Потом он, конечно же, принимал душ. Душ — это быстрее, чем ванна. У Клер он никогда не мылся. Хотя она купила марсельское мыло — оно не оставляет запаха. И никогда она не слышала, чтобы он спускал воду.

Наверняка он мылся перед сном. Долго намыливался. Избавлялся от запаха кожи Клер. А потом ложился в свою постель рядом с женой.

Клер содрогнулась. И оделась.

Наутро красный след на ее плече исчез.

Приближались рождественские каникулы.

Томас наверняка поедет с женой и детьми в горы. Он покроет губы защитным кремом, и рот будет казаться почти белым на его загорелом лице.

Когда он вернется, вокруг его глаз появятся бледные круги от темных очков. И на лбу тоже будет светлая полоса, если он надевает шапочку. Нет, она не может представить себе Томаса в шапочке.

Но когда он уедет? И когда вернется?

Она не знала. Он об этом ей еще ничего не говорил. А вопросов она ему не задавала никогда.

Эскалатор, на котором можно было подняться на этаж, где продавались игрушки, был перегружен. Клер схватилась за поручень.

Ей осталось купить один рождественский подарок, племяннику. Чем он интересуется? Клер об этом понятия не имела, она с ним не общалась. Николя было девять лет. И он ее терпеть не мог. Совсем маленький, он вопил, когда она приближалась к нему. А теперь закрывался в своей комнате, как только она появлялась в доме. И потому Клер очень редко бывала у сестры и всегда приходила к ней поздно вечером, когда была уверена, что ребенок уже спит.

Ступени эскалатора под ногами у Клер стали плоскими. Она отпустила черный резиновый поручень. Рука была влажной.

Она не могла вспомнить даже лица Николя.

Маленький мальчик толкнул ее и извинился. Он широко улыбался, и волосы у него были сильно взъерошены. Мальчик был похож на Томаса. Может, это его сын? Он подошел к женщине с длинными волосами, державшей за руку девочку.

Это была жена Томаса, и это были их дети. Клер в этом не сомневалась.

Она пошла в толпе за ними.

Жену Томаса она видела только со спины. Та была в меховой курточке. Клер приблизилась, и рука ее потянулась и дотронулась до меха. Он был мягким и поч-

ти теплым.

Вдруг мальчик показал пальцем на мужчину, шедшего им навстречу, и бросился к нему на руки.

Все четверо, обнявшись, ушли.

Клер огляделась.

Вокруг было много мальчишек. И все были похожи на Томаса.

Она купила видеоигру для Николя и вскоре ушла из магазина.

Клер, вздрогнув, проснулась. Звонили в дверь. Половина девятого, это ее первый пациент. Почему же она не проснулась раньше? Клер быстро оделась во все вчерашнее и побежала открывать. Провела пациента в кабинет, извинилась и, забежав в ванную, почистила зубы. И вдруг застыла на месте. Никакого шума почти не было слышно. Она вслушалась. Ничего. Торопливо подошла к окну и распахнула его. На улице стояла тишина. И тогда Клер поняла, почему она не проснулась. В это утро на стройке не работали.

Был канун Рождества. На время праздников строительные работы, разумеется, прекращались.

А вдруг Томас уехал, не предупредив ее?

Пациент вздрогнул, когда Клер дотронулась до него. Руки у нее были ледяные.

В перерыве между консультациями Клер вышла на улицу. Перед забором тротуар чисто вымели. Клер подошла к дверце. Ручка исчезла. Стройка была закрыта.

Как только выдавалась минутка, Клер подходила к телефону и слушала записи автоответчика. Томас не звонил. Ей никак не удавалось вспомнить, сказал ли он ей «До завтра». Она только помнила, что они так тесно сплетались в объятиях, что она порой и не знала, прикасается она к коже Томаса или к своей собственной.

Когда ушла последняя пациентка, Клер опустилась на диванчик в комнате ожидания. Она не двигалась. Томас не придет. Он уехал сегодня утром в своем большом четырехдверном автомобиле. Сзади капризничали дети. Ремень безопасности слишком туго прижимал их к сиденью. А теперь они, конечно, уже добрались. Жена Томаса распаковывает вещи. Она ничего не забыла. Даже подумала о том, чтобы прихватить спагетти на ужин и кофе для завтрака. Томас целует ее в шею. Завтра все вместе они пойдут за покупками.

Наконец-то они на отдыхе, все вчетвером.

Клер медленно поднялась с дивана и вернулась в кабинет.

Открыла верхний ящик письменного стола. Кусочки сахара, палочка для коктейля и кассета автоответчика по-прежнему были здесь. Они лежали на коврике из маленьких золотых квадратиков. Это были пакетики из-под презервативов, все пустые, кроме первого.

Клер не выбросила ни одного.

Она принялась их пересчитывать.

Тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Ей стало намного легче.

Пятьдесят девять, шестьдесят, шестьдесят один. Звонок в дверь прервал ее. Может, это Томас. Она схватила все пакетики, кучей бросила их обратно в ящик и закрыла его.

В руках у Томаса был букет роз.

Он обнял Клер.

Она слышала, как за ее спиной шелестит бумага, в которую были завернуты цветы.

Она отстранилась, и он протянул ей букет.

Клер налила воды в вазу и расставила в ней розы, бережно, по одной. Их было двенадцать. Это впервые Томас принес ей цветы. Почему сегодня? Вероятно, потому, что завтра уезжает.

Он подошел к ней, снова обнял ее. Она отстранилась.

Завтра он уезжает, ведь так? Он не ответил.

А когда вернется? Он пристально смотрел на нее.

В начале января? Он сильно побледнел, отвернулся и пошел к двери.

Клер догнала его.

Положила руки ему на шею, туда, где самая нежная кожа, и поцеловала его. Он закрыл глаза. И вдруг дыхание его изменилось. Когда Клер выдыхала, он вдыхал. Они долго целовались. Ладонями она чувствовала, как подрагивает горло у Томаса.

Он дышал дыханием Клер. И пил ее слюну.

В поезде было так много народа, что Клер пришлось держать все свои подарки на коленях. Ее соседка прижимала к ней сумку с продуктами, из которой торчал длинный лосось в герметической упаковке.

В прошлые годы она ездила с Мишелем, на автомобиле. Ее родители огорчились, узнав, что она приедет на рождественские праздники без него. Вся ее семья любила Мишеля. Это его Николя всегда благодарил за подарки, которые делала ему Клер. Она попробовала расслабиться. Николя теперь уже большой. Может, он больше не будет избегать ее.

И потом, она так давно не видела родителей, мать будет счастлива повидаться с ней.

Соседка, сидящая рядом, задремала.

Всю дорогу картонная упаковка лосося терлась о руку Клер.

Она подняла голову. Сквозь занавески мигала гирлянда электрических лампочек на елке. Клер застыла на тротуаре.

Только сильно замерзнув, она решилась войти в дом.

Нажала на кнопку звонка и тут же услышала, как Николя улепетывает от двери. Когда она вошла, он уже исчез.

Отец, мать, Сильви, сестра, и Жан-Пьер, ее муж, — Клер перецеловала по очереди всю свою семью.

Мать даже не заметила, что щеки у нее совсем ледяные.

Клер положила свои подарки под елку. На полу валялись разорванные цветные обертки. Она подумала, что Николя разрешили посмотреть свои подарки, пока ее нет, наверняка боясь, что своим присутствием она испортит ребенку удовольствие.

Сильви утащила ее на кухню и шепотом попросила выписать ей лексомил. Но Клер не взяла с собой бланки рецептов. Сестра, похоже, была недовольна. Она молча раскрыла пластиковую упаковку с копченым лососем. Потом они вместе разложили на блюде ломтики, разделенные целлофаном. Клер ушла из кухни. В гостиной на диване она заметила сумку Сильви. Подошла и открыла ее. Отец и Жан-Поль, занятые починкой игрушки для Николя, ее не видели. Она быстро нашла то, что искала: зелененькую коробочку с лексомилом, почти пустую. Проглотила полтаблетки и все положила на место.

Видеоигра Николя, кажется, понравилась. Он поблагодарил Клер и позволил поцеловать себя в голову.

Ужин был уже готов. Николя сел рядом с отцом и играл в видеоигру, подаренную Клер.

Лосося она не ела.

Завтра, как и каждый год после рождения Николя, они отправятся в Пиренеи. Клер не удавалось вникнуть в их разговор. Они обсуждали встречу Нового года и говорили о друзьях, которых она не знала. У матери и сестры были совершенно одинаковые голоса.

Неожиданно она стала моргать в такт мельканию елочной гирлянды, и до ее слуха доносилось лишь пиканье видеоигры. Не надо было ей принимать лексомил — к транквилизаторам она не привыкла. Клер попробовала справиться с подрагиванием век. Уставилась на блестящую оранжевую поверхность. Лосось. Пиканье становилось все более и более далеким. Она уснула.

Вагон был почти пуст. Клер села у окна и положила ноги на сиденье напротив. Ей было хорошо.

Она проснулась на диванчике, когда они уже ели на десерт рождественское «полено». Родители, похоже, из-за нее не встревожились. Врачи всерьез никогда не болеют. После кофе и обмена подарками она всех перецеловала. И спустилась по лестнице, не дожидаясь лифта.

Потом вприпрыжку понеслась на вокзал.

Когда она приедет домой, сразу же поставит пластинку. Ей хотелось слушать музыку.

Клер почувствовала, что проголодалась.

Каждый день она осматривала розы, подаренные Томасом. Они раскрывались, а свежи были по-прежнему.

Но однажды утром они начали склонять свои головки. Клер никак не могла решиться подрезать кончики стеблей. Наконец пошла в кабинет за ножницами. Это были цветы Томаса. Не могла же она дать им вот так завянуть. Она аккуратно наискосок подрезала все двенадцать стебельков.

В тот же вечер розы снова распрямились. Клер вздохнула. Придется подождать еще пару деньков, прежде чем она положит их в ящик письменного стола.

Она сбегала за фотоаппаратом-поляроидом, лежавшим в стенном шкафу. Как она раньше об этом не подумала?

Клер сфотографировала букет.

Цвета получились бледные, но розы видны были очень четко.

Она положила фотокарточки в ящик. Закрывая его, она передумала. Вытащила ящик до конца и поставила его на стол. Отодвинула лампу. Золотые квадратики слишком ярко отражали свет.

Теперь она сфотографировала содержимое ящика. Как только поляроидный снимок получился четким, она положила его в бумажник.

Клер отправилась в супермаркет.

Издалека увидела свою пациентку, кассиршу.

Молодая женщина была в шейном корсете. Она, значит, ходила к другому врачу? Клер сейчас пойдет мимо нее и обо всем расспросит.

Сначала она пошла в хозяйственный отдел. Затем прошлась между стеллажами. Обратила внимание на женщину, укладывавшую в свою тележку одну за другой коробки сахара.

У Клер одна коробка тянулась почти полгода.

Она подумала о сладком кофе, который пил Томас. Если бы Клер жила с ним, она покупала бы столько же сахара, сколько эта женщина. Ей вдруг захотелось уйти из магазина.

Вокруг все толкали перед собой полные тележки. А Клер даже не взяла тележки. Ей для ее покупок хватало металлической корзинки. Она жила одна.

Со своей пациенткой она поговорит в другой раз. Клер встала в самую короткую очередь, ту, в которой у клиентов было не больше десяти покупок.

Клер рассматривала свою тетрадь для записи свиданий. Там была учтена каждая минута, проведенная с Томасом. Большая буква «Т» с двойной вертикальной стрелкой, указывавшей время его прихода и ухода. Час с четвертью каждый день, пять дней в неделю в течение почти трех месяцев. Она подсчитала.

Семьдесят пять часов.

В этой тетрадке были собраны семьдесят пять часов, проведенных с Томасом. Как можно решиться положить эту тетрадь рядом с тетрадками прошлых лет?

Она пролистала свою новую тетрадь. Часы, дни, месяцы, но никаких букв «Т», никаких стрелочек.

Начинался новый год.

Новый год она встречала у Бернара с Мари.

В полночь они обменялись поцелуями.

В эту же самую минуту Томас целовал свою жену, Клер была в этом уверена. Друг Бернара обнял ее за плечи и поцеловал в губы. Она не сопротивлялась.

Его звали Кристофом. Чуть позже он настоял, что проводит ее. Клер согласилась.

Она смотрела, как он открывает бутылку шампанского, купленную для Томаса.

Перед тем как выпить, они чокнулись.

Он был выше Томаса и намного тяжелее его.

Кристоф спал.

У Клер сна не было ни в одном глазу.

Она бесшумно встала и закрылась в ванной.

Пожалела, что не курит. А то бы закурила сигарету и выдыхала бы дым вот так: она откинула голову назад и сложила губы буквой «О». Увидела себя в зеркале и сама себе улыбнулась. А что, если изменить прическу? Постричься покороче. Или отрастить длинные волосы. Клер надула щеки и состроила гримасу. Потом сделала макияж. Положила темные тени под глазами, румяна на щеки и покрасила губы. Нет, это слишком, это ей не идет. И потом, с помадой на губах, как бы она целовалась с Томасом? Она стерла всю косметику и вернулась в постель.

Тепло, шедшее от тела Кристофа, согрело ее.

Он спустился за свежим хлебом к завтраку. Клер подобрала у постели три пустых пакетика из-под презервативов. И выкинула их в помойное ведерко.

Он положил всего лишь один кусок сахара в кофе.

Они прогулялись по Булонскому лесу и пообедали в кафе. Кристоф заказал целое блюдо мидий и прочих морских деликатесов. Открыл для Клер краба, почистил креветки. Она ела с аппетитом, пила белое вино. Теперь она устроит себе сиесту, будет спать одна. А завтра увидит Томаса.

Клер перестелила постель. На простыне она нашла несколько волос, это были волосы Кристофа. Он, кажется, рассердился, что она не пригласила его подняться к ней, и, отъезжая, громко хлопнул дверцей автомобиля. Клер ладонью смела волосы с постели.

Почему ей ни разу не удалось найти хоть один волосок Томаса?

Она улеглась, подложив под спину две подушки, и включила телевизор.

Переключала его с одной программы на другую.

Время от времени она водила голыми ногами между туго натянутыми простынями. Время от времени потягивалась.

Завтра она увидит Томаса.

Она проснулась очень рано и тут же приоткрыла окно. Хотела быть уверенной, что услышит шум стройки, как только работы возобновятся.

Вымыла голову и оделась. До прихода Томаса она быстро, между визитами больных, успеет переодеться.

Клер нахмурилась, увидев в раковине чашку, из которой накануне за завтраком пил Кристоф. Помыла ее и поставила на место. Потом поджарила остатки хлеба, купленного им.

Выпив, как обычно, кофе и съев, как обычно, тартинки, она тщательно протерла стол, так, чтобы на нем не осталось ни одной крошки.

Сменила постельное белье. В полдень она отнесет его в прачечную.

И тогда никаких следов Кристофа не останется.

Она шире открыла окно, накинула свитер на плечи, потому что было холодно. И ждала, когда же послышится шум со стройки.

Проводив очередного больного, она торопилась к своему автоответчику.

Наконец там оказалось сообщение от Томаса. Он придет в половине восьмого. Он надеялся, что она будет дома. Ему не терпелось скорее увидеть ее. Раздался звонок, это был следующий пациент. Она вынула кассету, положила ее в карман и заменила новой. Побежала открывать дверь. Только тут она поняла, что остальных сообщений даже не прослушала.

Пока больной раздевался, Клер аккуратно опустила кассету в ящик стола, постаравшись не задеть ни одной из дюжины роз Томаса. Надо будет уложить цветы в коробку, чтобы не повредить их.

Она погладила рукой обложку своего Видаля. Там лежало несколько опавших лепестков роз. Распластанные, они подсыхали в середине словаря по фармакологии, между ларокорбином и лароксилем.

Они не произнесли ни слова. Обхватили руками головы друг друга. Смотрели друг на друга, но друг друга не видели. Они были слишком близко лицом к лицу, чтобы видеть друг друга. Поцеловались.

Сначала сладость передних зубов, нежность кончиков клыков и дальше — тепло коренных. А потом, сбоку, — гладкая поверхность, и порой можно спутать,

где десна, а где эмаль. И щеки внутри такие мягкие, что нёбо кажется в сравнении с ними твердым и шероховатым. И свежесть узкого пространства между верхней губой и десной, над резцами.

Они снова обрели друг друга.

Томас обнял Клер. Она вдруг поняла, что ей холодно. Почему ей холодно, ведь Томас так крепко прижимает ее к себе? Она провела руками по его спине. Под пальцами, под ладонями — холод. Это от кожи, от новой кожи. На Томасе новая кожаная куртка. Она отстранилась от него, и кожа чуть-чуть заскрипела. Она расстегнула молнию, высвободила плечи Томаса и потянула за рукава. Куртка не осела на руках. Она упала на пол столбом, совершенно негнущаяся.

Они снова обнялись, и ей больше не было холодно.

Впервые Томас пробыл у нее полтора часа.

На лестничной площадке он еще раз поцеловал ее.

Пока не закрылась дверца лифта, Клер видела, как в ярком свете лампочки поблескивает куртка Томаса.

Она стояла не двигаясь. Эта куртка наверняка была рождественским подарком, подарком жены.

Клер почувствовала что-то колкое под своими босыми ногами и тут поняла, что стоит на соломенном коврике. Вернулась в квартиру.

Клер представляла себе их обоих в магазине. Томас примерял куртки одну за другой. Он ничего не говорил, а его жена высказывала свое мнение. «Повернись. Нет, эта слишком узка». Наконец она сказала: «Вот эта». Продавец уверял, что она станет мягкой и быстро обомнется. Томас так и остался в куртке. Он, улыбаясь, смотрел на жену. Та набирала код своей кредитной карточки. Она была красива, курточка будет ей к лицу. Он даст ей надеть ее, и куртка пропитается запахом ее духов.

Сквозь оконное стекло продавец смотрел, как они целовались. Руками женщина гладила новую кожу.

Клер быстро оделась. Они должны были встретиться с Мари в ресторане.

В метро она села на откидное сиденье возле двери со стороны перрона, по ходу движения — на свое любимое место.

Клер еще не знала, расскажет ли она Мари о Томасе. Впрочем, что она могла бы сказать ей? «Каждый день мы проводим вместе час с четвертью,— и добавила бы: —За исключением уик-энда». Тут она поняла, что никогда и никому не говорила о нем. И покачала головой. Теперь, когда Мари живет с Бернаром и родила ребенка, ей конечно же не понравится, что у Клер связь с женатым мужчиной, от которого ждать нечего. Клер решила ничего ей не говорить. И вдруг задумалась: говорил ли кому-нибудь Томас о ней? «У меня есть любовница». Она едва не расхохоталась. И много раз повторила вполголоса: «Любовница». Пара, сидевшая напротив, смотрела на нее, и потому она замолчала. Но всю оставшуюся дорогу не могла не улыбаться.

Как только Мари пришла, Клер заговорила о Томасе.

Рассказала, как они встретились. Рассказала, что они, едва за Томасом закрывалась дверь, сжимали друг друга в объятьях и так и не разжимали их больше часа, и сказала, что счастлива. И тут Клер осеклась. Мари сидела не шелохнувшись. Она уставилась на бутылку с вином. Клер налила вина себе в бокал и отставила бутылку на другой конец стола. Но Мари даже не повернула головы. Она по-прежнему смотрела в ту же точку. И наверняка думала, как бы посоветовать Клер порвать с Томасом. Клер выпила свой бокал и заговорила громче. Ладно, пусть она мало что знает о Томасе и ей нечего ждать от него, но ей довольно и этих мгновений, она счастлива. Вот и все.

Наступило молчание. Мари подняла глаза.

— Ну и хорошо. А потом, может, он оставит жену.

Клер пожала плечами. Невесть что эта Мари болтает. Ни жену, ни детей Томас не бросит. Это невозможно. Она сменила тему разговора. И зачем она заговорила с Мари о Томасе?

Мари почти ничего не съела, и вскоре они расстались. А ведь это впервые они встретились наедине с тех пор, как Мари родила.

Перед сном Клер приняла ванну.

Сейчас Томас с женой, возможно, возвращаются с ужина у друзей. Томас за рулем, а его жена, усталая, положила голову мужу на плечо. Свежее прикосновение к новенькой коже ей приятно, она вот-вот уснет. Когда они приедут домой, на ее щеке останется след от шва на куртке, и Томас прикоснется губами к этому месту.

Как же при всем этом Мари могла сказать, что он, может быть, оставит жену? Хотела ли она подбодрить Клер, чтобы она не расставалась с Томасом? Клер попыталась вспомнить ее интонацию. «Ну и хорошо. А потом, может, он оставит жену». Тоном это было сказано никаким. И речи не шло о том, чтобы поддержать Клер. Она словно наяву увидела остановившийся взгляд Мари. И вдруг вспомнила, что у нее были грязные волосы и она была очень бледна. А ведь Мари всегда пользовалась косметикой, и за все пятнадцать лет знакомства Клер ни разу не видела ее с грязными волосами. А отсутствие у нее аппетита? И как это Клер не обратила на это внимания за ужином? Да, все ясно. У Мари послеродовая депрессия.

Она вышла из ванны и быстро вытерлась. Схватилась за телефонную трубку и тут же положила ее обратно. Сейчас Мари звонить нельзя. Можно разбудить ребенка. И Мари не станет разговаривать с ней при Бернаре.

Клер села на кровать. Она должна была порасспросить Мари, вызвать ее на откровенный разговор. Раз она в угнетенном состоянии, у нее наверняка сложности с Бернаром. Клер оцепенела. Мари ее не осуждала и не поддерживала. Она ее почти не слушала. И когда она сказала: «Может, он оставит жену», думала она о Бернаре и о самой себе. А не о Томасе.

Клер легла спать.

Томас не уйдет от жены.

И она заснула.

Томас захотел что-нибудь выпить.

Клер рывком встала, надела пуловер.

Раздвигая ширму, отгораживающую кухонный уголок, задумалась, не смотрит ли он на нее. Открыла холодильник. Пуловер у нее был короткий, и она не нагнулась, а присела. Хотела достать шампанское и тут вспомнила, что они с Кристофом выпили его.

Сок, пиво, смородиновый аперитив или виски?

Клер задержала дыхание. Наконец она узнает, что он любит.

Виски.

Он любит виски. Она тоже.

Клер глянула на часы на электрокофеварке. Томас уже час и десять минут как здесь.

Она вынула льдинки из формочки, опять наполнила ее водой и поставила обратно в морозилку. Не спеша.

Может, он останется подольше чем на полтора часа.

Томас надел брюки, но до пояса остался голым. Пил он медленно. Адамово яблоко поднималось и опускалось. Говорил он о своей новой стройке. Клер пробовала слушать его, но у нее это не выходило. Ей казалось, что каждый раз, когда Томас глотает, она видит, как виски попадает в глотку, а затем в пищевод. Виски протекало за сердцем, проходило сквозь диафрагму и спускалось в желудок. А Клер взглядом провожала его. Рот, шея, грудь, ребра, живот.

Ей вдруг опять захотелось поцеловать Томаса.

Еще через полчаса он ушел.

Что он скажет жене? По дороге, не останавливаясь, придумает что-нибудь, найдет, как оправдать свое опоздание. Будет мчаться по обледенелой дороге. А вдруг произойдет несчастный случай? Серьезный. Со смертельным исходом. И напрасно Клер будет ждать его завтра и послезавтра. А потом рабочий, случайно встреченный на улице, сообщит ей о смерти Томаса. Если, конечно, работы на стройке не прекратятся. Она пойдет на похороны. Узнать ее могли бы только рабочие со стройки. Она издали увидит жену Томаса и его детей, его семью. А есть ли у него братья и сестры? Она попробовала представить себе, какой может быть сестра Томаса. Томас в женском варианте с длинными каштановыми волосами, с более тонким носом, с более аккуратным ртом. Она улыбнулась. Что-то тут не клеилось. Она заметит родителей жены Томаса, они будут поддерживать дочь под руки. Теща — стройная, выглядит молодо. Томас всегда находил ее красивой. И думал, что и жена его будет стареть точно так же. Мать Клер никогда не была красивой, даже в молодости.

Всем раздадут по розе. Можно ли будет Клер попросить две? Одну она бросила бы на гроб, а другую сохранила. Это было бы последнее, что она положила бы в ящик письменного стола.

Клер оделась и вышла на улицу.

Было тепло. Никакого гололеда на дорогах не будет.

Они разделись и легли в постель. Томас отстранился от нее. Он не хотел надевать больше презерватив: как, она согласна? Клер уже ответила было «да», но вспомнила о ящике своего письменного стола, о золотых пакетиках, скапливавшихся там, — каждый день к ним добавлялся еще один, а иногда и два.

Без презервативов-то что останется от времени, проведенного с Томасом?

И она отказалась.

Он повернулся на бок, и она услышала звук разрываемой бумажки. Томас будет по-прежнему надевать презервативы, а она по-прежнему будет хранить пакетики от них.

На следующий день она снова купила бутылку шампанского.

Он не обнял и не поцеловал ее.

Сел на кровать, закрыл лицо руками. Клер подошла к нему, дотронулась до плеча.

В чем дело?

Она встала перед ним на колени, взяла за запястья, чтобы он открыл лицо. Он не отнял рук, но отвернулся. Мягко отстранил Клер и встал. Остановился на середи́не комнаты и не двигался. Она молча смотрела на него, не зная, что сказать. Она ничего не понимала.

Вдруг он пошел в ванную и закрылся там. Долго не выходил. Она услышала, как он спустил воду из сливного бачка, затем потекла вода из крана.

Когда он появился, пряди волос у него на лбу были влажными.

Взяв Клер за плечо, он заставил ее сесть. Ему надо поговорить с ней. Сказать что-то важное, очень важное.

Она ждала. Он, похоже, подыскивал слова. Обхватил себя за плечи руками, будто замерз.

Она закрыла глаза. Ей все понятно. Он решил порвать с ней и не знал, как сказать об этом.

У него жена и дети. Все слишком сложно. Он принял решение и больше не будет встречаться с Клер. А вчера он не хотел надевать презерватива, потому что это был последний раз. Клер вспомнила вдруг о бутылке шампанского в морозилке. Она сейчас взорвется. Ну и пусть. Клер купила ее, чтобы выпить вместе с Томасом. Без него она все равно не стала бы пить шампанское.

Вдруг откуда-то издалека она услышала голос Томаса. Открыла глаза.

Он сидел спиной к ней. Она уставилась на прямоугольничек кожи, нашитый на поясе его джинсов. Она знала, что́ сейчас скажет Томас, и не слушала его. Ей никак не удавалось разглядеть размер на кожаной этикетке, она прищурилась. W34 L34. Этикетка исчезла. Томас обернулся. И тут она его услышала:

— Я не женат, и у меня нет детей.

Клер думала, что улыбается, но Томас бросился к ней, и она поняла, что плачет.

Прижалась лицом к шее Томаса. Обнимала его, приникала бедрами к его бедрам, скользила ногами по его ногам. Он был здесь, она чувствовала, как он дышит. Он говорил совсем тихо, сказал, что теперь совершенно уверен, что хочет не расставаться с ней никогда.

Час с четвертью, полтора, больше, меньше — теперь она считать не будет. Он не уйдет.

Бутылка шампанского не взорвалась. Томас открыл ее.

Пробку Клер не выкинула.

Руки ее дрожали. Она смотрела на Томаса. Он не был женат, у него не было детей. И эту кожаную куртку он выбирал сам. Она пролила свое шампанское. Томас взял у нее бокал.

— Пойдем.

Едва сев в машину, Клер быстро обернулась и стала нюхать подголовник, думая, что услышит запах духов жены Томаса.

Она улыбнулась. Это же нелепо. Жены у Томаса нет.

Он включил зажигание. Она смотрела на его ладонь на ручке переключения скоростей, на руку, лежавшую на руле, на его колени, двигавшиеся, когда он нажимал то на одну, то на другую педаль.

Она сидела рядом с ним в его машине, четырехдверной, с телефоном, а вверху панели было углубление для приемника. Они будут слушать радио вместе, и она узнает, что ему нравится.

Сиденье было отведено слишком далеко назад. Она подвинула его вперед и укрепила пояс безопасности. Еще вчера она решила бы, что жена Томаса крупнее ее и что ноги у нее длиннее.

Но у Томаса нет жены.

У светофора под красным светом Томас привлек ее к себе. Клер поддалась и прижалась к новой кожаной куртке. Положила щеку на шов на плече.

Все время, пока они ужинали, она не сводила с него глаз.

Он читал меню, держа его неподвижно перед глазами.

Выбрал филе селедки в яблочном соусе и бифштекс с перцем. Он не был на диете.

Попросил, чтобы ему приготовили бифштекс с кровью.

Добавил перца в селедку, подсолил картофель фри. Налегал на хлеб, пропитывал его соусом с тарелки.

Ел он быстро.

Точно так, как она себе это представляла.

От десерта отказался и положил три куска сахара в свой кофе.

Один кусочек из сахарницы она взяла себе. На бумажке, в которую был обернут сахар, красовался маленький клоун.

Она зажала кусочек в руке. Это был их первый ужин.

Хотя есть она больше не хотела, Клер заказала крем-карамель, просто чтобы подольше побыть с Томасом в ресторане.

Она лежала вытянувшись, на боку. Томас спал, прижавшись к ней, его рука покоилась на руке Клер, ладонью он сжимал ее запястье.

Она улыбнулась. Между ног ее была влага, немного липкая. Томас не надел презерватива, он никогда больше не будет пользоваться ими. Ей хотелось бы подвигать ногами, потереться одной о другую, но она лежала неподвижно. При малейшем ее движении Томас мог пошевелиться и отодвинуться от нее. И она бы не чувствовала больше ни спиной, ни рукой его тепла.

Клер тоже уснула.

Она видела во сне Томаса с женой, у нее были длинные волосы. Они ложились спать, он в пижаме, она в длинной майке, потому что иногда по ночам один из их детей приходил к ним в постель.

Она открыла глаза. У Томаса не было ни жены, ни детей. Он спал возле нее, тесно прижавшись к ней, и тело его было таким горячим, что она вспотела. Клер стала дышать в такт с его дыханием. Спать она больше не хотела, она и не будет спать.

Клер не собиралась терять ни минуты из этой ночи.

Проснулись они очень рано.

Щеки у Томаса кололись. Это было хорошо.

Он выпил много кофе и съел много поджаренных хлебцев, обмакивая их в чашку. Наливая себе снова кофе, он всякий раз опять клал сахар.

С ним коробки сахара хватит всего на полмесяца.

В супермаркете Клер будет брать тележку.

Он повел ее посмотреть стройку до прихода рабочих.

Было еще темно.

Томас открыл дверцу в заборе и держал Клер под руку, когда они шли через двор.

В здании он включил переносную лампу. Они пошли вверх по лестнице. Клер чихнула. Пахло чем-то паленым и пылью, так же, как пахла шевелюра Томаса. Она остановилась и глубоко вдохнула. Ей хотелось бы сесть прямо на ступеньках лестницы и здесь и остаться. Она бы закрыла глаза и вдыхала этот запах снова и снова, запах Томаса.

Но он обернулся, и ей пришлось подниматься выше.

Она вернулась к себе прямо к приходу первого пациента.

Пока он раздевался, она положила в ящик письменного стола пробку от шампанского и вчерашний сахар.

Больной сильно кашлял. Он повесил рубашку на спинку стула в кабинете. Клер заметила, что воротник и рукава у рубашки грязные. Некоторое время она рассматривала их. Скоро Томас принесет свою одежду, чтобы было во что переодеться. Рубашки. И тогда она сможет купить стиральную машину. Он наверняка сам установит ее, а потом повесит над ванной сушилку для белья. Это было бы хорошо. Ей не пришлось бы больше стирать руками и относить белье в прачечную. Она оставляла бы все двери настежь, и запах смягчителя для белья распространялся бы по всей квартире. И одежда их пахла бы одинаково.

Она отложила стетоскоп. Бронхит.

Как только пациент ушел, она побежала в ванную. Возле раковины есть место для стиральной машины.

Томас жил в пригороде, у него был маленький домик с садом и гаражом. Он купил его год назад и сам занимался строительными работами.

Они вошли. Клер маленькими шажками шла впереди. Здесь — гостиная и столовая; там — кухня. Пол — плиточный, ковров не было, и голос Томаса звучал гулко. Вдруг Клер пошла в кухню. И постучала по стене. Она не несущая. Можно ее снести и сделать одну большую комнату.

Томас подошел к Клер.

— Ужинать этим летом мы будем в саду.

Они поцеловались и поднялись на второй этаж, в спальню.

Клер нежно отстранилась от Томаса и легла на живот.

Спать она будет крепко.

Он сказал «этим летом» и «мы». Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Полгода, по крайней мере, они не расстанутся. Она повторяла про себя: «Мы». Томас и она, отныне — это «мы». Она закрыла глаза. «Ужинать этим летом мы будем в саду». Погода хорошая, стол и стулья из белого пластика стоят в саду. Четыре стула. Жена Томаса выходит из кухни.

Клер нашла выключатель лампочки у изголовья кровати. Она не должна больше думать о жене Томаса. У Томаса нет жены.

Она встала. В ванной наверняка найдется снотворное.

В аптечке была пачка аспирина, девяностопроцентный спирт и лейкопластырь. Вот и все. Клер улыбнулась. Томас не принимал никаких лекарств. Он никогда не болел.

Она легла рядом с ним и свет не погасила.

Она смотрела, как он спит.

Клер решила снова принимать больных после семи часов. Будет работать до половины девятого, а потом присоединяться к Томасу.

Даст ему второй комплект ключей. И он сможет входить и ждать, пока от нее уйдет последний пациент.

Нет, пусть лучше звонит, чтобы она могла пойти открыть ему и поцеловать его, едва за ним закроется дверь. Как и раньше.

Она дала ему ключи. Так было проще.

Теперь она будет закрывать верхний ящик письменного стола на два оборота.

Клер собиралась ужинать с Томасом дома, когда в кабинете зазвонил телефон. Хотя она не была дежурной, Клер заспешила к телефону. Наверняка что-ни-

будь неотложное. Автоответчик включился раньше, чем она успела подойти. Она сняла трубку и отключила его. Это была одна из ее пациенток, мадам Корей. Она очень обеспокоена состоянием мужа, у него высокая температура. Она умоляла Клер прийти прямо сейчас. жили они поблизости. Клер записала код, этаж и приготовила сумку с инструментами.

Сказала Томасу, что быстро вернется.

Он проводил ее до двери. Он будет ждать ее, и они вместе поужинают.

Мадам Корей с нетерпением поджидала ее. Клер пошла вслед за ней по длинному коридору. Наконец они вошли в спальню. Комната сразу же понравилась Клер. Она сняла пальто и подошла к широкой кровати. Несмотря на то, что в комнате было тепло и лежал он под пуховой периной, мсье Корея бил озноб. Она протянула руку, чтобы пощупать пульс, и, еще не дотронувшись до запястья, почувствовала жар, идущий от его тела.

Цвет лица был желтый. Клер осторожно оттянула нижнее веко и направила лампу на белок глаза и на слизистую. Тоже желтые. Она заметила, что у него длинные ресницы.

Откинула полы пижамной куртки. Ткань была мягкой — бумазея.

Когда она пальпировала печень, он стонал.

Клер стала задавать ему вопросы. Да, вот уже несколько дней, как у него случаются приступы тошноты. Да, моча была очень темной, он заметил это сегодня вечером.

Клер достала пачку своих бланков.

Уровень трансаминазы, исследования желчных пигментов — она назначила массу анализов. Никаких лекарств, только немного аспирина. Это конечно же вирусный гепатит.

Она сложила инструменты и огляделась: стены, обтянутые тканью, ковры, пышная перина. Клер повернулась к мадам Корей:

— Я останусь с ним ненадолго.

Женщина поблагодарила, прошептала, что подождет ее в гостиной. И вышла из комнаты.

Клер устроилась в кресле возле кровати. Ей был слышен шум из коридора. Шажки и детские голоса. Двое детей. Послышалось нервозное перешептывание. Хлопнула дверь.

И потом — тишина.

Она положила руку на лоб больного. Лицо его подергивалось, брови и волосы при каждом вздрагивании щекотали пальцы Клер.

И вдруг его лоб словно бы вырос. Корни волос не касались больше мизинца Клер, и она не чувствовала теперь указательным пальцем ласкового прикосновения его бровей. Он уснул.

Она не убрала руки, пока не почувствовала в ней мурашек.

Ему, должно быть, сорок пять, лет на десять больше, чем его жене. Определить цвет его волос было трудно — они были влажные: он сильно вспотел. Казались они почти черными.

Он был высокого роста. Почему бы ей не лечь рядом и не посмотреть, на сколько он выше ее?

Но она не пошевелилась.

Как его зовут? Перед фамилией Корей должно быть длинное имя, не меньше чем из трех слогов. Жан-Филипп, Франсуа, Доминик? Она потихоньку засыпала. Остаться Клер не могла. Но она очень устала, ведь она так плохо спала ночь. И потом, ей очень нравилась эта комната. Она закрыла глаза.

Разбудила ее скрипнувшая половица паркета. Когда мадам Корей вошла, она как раз встала. Клер успокоила ее. Все будет хорошо.

Она надела пальто, взяла сумку с инструментами, и они вышли из комнаты.

В лифте она сразу же развернула чек, который дала ей мадам Корей. Мсье и мадам Жан-Филипп Корей. Три слога. Клер не ошиблась.

Она бегом вернулась домой. Инструменты звякали друг о друга у нее в сумке.

Пальцами Клер легонько касалась плеча Томаса. Кожа была очень гладкой. Под бумазеей она казалась бы еще более гладкой.

Она подумала о мсье Корее. С высокой температурой он так нагреет постель, что его жена, конечно же, отбросит огромную перину.

И Клер уснула.

Под вечер в субботу она отправилась к Томасу. Ехать было недалеко, двадцать минут электричкой. Она взяла с собой кое-что из вещей, чтобы оставить их там. И лексомил, который, может быть, ей и не понадобится. Уже две или три ночи, как она стала лучше спать. Прислонившись головой к оконному стеклу, она тут же выпрямилась. Забыла сдать в свой банк чек, который дала ей чета Корей.

Да, он по-прежнему здесь, в бумажнике, вместе с поляроидной фотографией ящика. Она достала фотографию и посмотрела на нее. Хранить ее она не могла. В один прекрасный момент Томас мог ее обнаружить. Как бы она объяснила ему, что хранит все пакетики от его презервативов, да еще и сфотографировала их? А кусочки сахара? Их было прекрасно видно, эти беленькие прямоугольнички.

Она еще раз взглянула на снимок, затем открыла мусорный ящик под окном вагона. Положила фото туда.

Скоро она заменит его настоящей фотографией Томаса. И она закрыла крышку.

Белая пыль, летая, образовывала что-то похожее на туман.

Мебель была покрыта брезентовыми чехлами.

Повсюду валялся строительный мусор.

Томас снес стену кухни.

Обломки упирались ей в спину, брезент шуршал, но у губ Томаса был привкус гипса, и Клер улыбалась, приникнув к его рту.

Тем же вечером они вернулись к Клер. Томас будет жить здесь, пока не будет готов его дом.

Она получила результаты анализов мсье Корея. Его жена наверняка ходила с ним в лабораторию.

Жгут выше локтя, спиртовой тампон на сгибе руки. «Сожмите кулак. Отлично». Игла приближается к вене. Кожа нежная, но желтая. Жена отворачивается, она наверняка не выносит вида крови.

Это гепатит А, довольно легкий.

По телефону Клер объяснила мадам Корей, что никаких лекарств не понадобится, диета тоже не нужна. Больной должен довериться своему организму, ему никогда не захочется съесть что-нибудь такое, что способно ему навредить. Нужен отдых, и долгий. Через три-четыре недели она посетит его, и анализы нужно будет повторить. С сегодняшнего дня она даст бюллетень на два месяца.

Мадам Корей перебила ее. Освобождение от работы ни к чему. У ее мужа свободная профессия, он — архитектор.

Клер положила трубку.

Мсье Корей был архитектором, как и жена Томаса.

Но у Томаса нет жены.

Он вставал намного раньше ее, без будильника.

Иногда она притворялась, что спит, и наблюдала за ним.

Он брился, умывался, одевался меньше чем за четверть часа и быстро завтракал.

Потом подходил к кровати. Клер тогда старалась не шевелиться. Он на минутку наклонялся над ней, она чувствовала его дыхание на своем лице, а потом он легонько целовал ее в щеку. Легкое шевеление воздуха, и он распрямлялся. И потом — все, он ушел.

Вечерами он редко приходил раньше, чем у нее кончался прием.

С работы, из машины или из своего дома он звонил Клер, чтобы сказать, что скоро будет, и, хотя у него были ключи, всегда звонил в дверь. Так что, как только она открывала ему, они крепко обнимались.

Не было больше ни мусора, ни чехлов, ни пыли.

Томас перестроил кухню и на месте стены соорудил большой бар со стойкой, за ней они сегодня впервые и поужинают.

Вытянувшись на диване, Клер смотрела, как он готовит еду — венгерское блюдо из кислой капусты. Он налил туда белого вина. Пахло вкусно. Она положила голову на подушку. Мсье Корей не вынес бы этого запаха, его бы затошнило. Сейчас его жена, конечно, чистит овощи, чтобы сварить ему супчик. А за столом, когда они сядут есть, он будет дуть на каждую ложку супа, прежде чем поднесет ее ко рту. Дети будут баловаться, подражая ему. «Ну все, хватит, не забывайте, что папа болеет».

Клер вдруг задумалась: полюбит ли Томаса Николя?

Наверняка.

Мсье Корей позвонил ей, чтобы договориться о визите.

— Завтра, в четыре часа?

— Великолепно. Спасибо, доктор.

«Доктор», она вспомнила день, когда Томас обратился к ней так. Это было на улице. «Доктор». И он побежал к ней.

Мсье Корей, тот сказал «доктор», будто говорил с врачом старше его по возрасту. Когда она осматривала его дома, у него была такая высокая температура, что он, может, ее и не видел. А видел, так не помнил.

Но, разговаривая по телефону, по тембру голоса и по интонации он должен был понять, что она молодая женщина.

Она громко произнесла несколько фраз, не важно, что она сказала.

Голос ее был именно таким, какой бывает у молодой женщины.

Раз он позвонил сам, может, придет один, без жены.

В своей тетради для записи больных на завтрашней страничке против четырех часов Клер вписала: «Ж-Ф. К.»

Они проснулись одновременно и позавтракали вместе.

Когда Томас обнял ее, полы пеньюара у Клер слегка разошлись. Прикосновение кожаной куртки к телу было мягким и приятным.

Она вымыла голову, высушила волосы, надела короткую юбку и черненький свитер. Взяла в руки туалетную воду. Флакон был почти полным. Томас терпеть не мог духов. Она поднесла флакон к шее и тут передумала. С этими гепатитами никогда не знаешь... Запах, даже легкий, может быть неприятен мсье Корею.

Клер проводила пациентку до двери, затем снова подкрасилась.

Без десяти четыре. От Кореев до нее идти пять минут. Мсье Корей, должно быть, еще очень слаб, он наверняка положил себе на дорогу десять.

И сейчас он надевает свою кожаную куртку с меховым воротником, обматывает шею шарфом и выходит из квартиры. Входит в лифт. Жена догоняет его, она протягивает ему перчатки. Он благодарит ее и целует. Что бы он без нее делал?

Холодный воздух ему приятен. Он переходит улицу, поворачивает налево, затем идет прямо. Проходя мимо домовой кухни, он морщится. От одного вида пьемонтского салата его начинает тошнить. А арабески из майонеза на половинках лангуста? Он отводит взгляд. Останавливается возле газетного киоска и покупает вечернюю газету. Ему будет что почитать, если врач заставит его ждать.

Клер пошла к входной двери. Она не заставит его ждать, она примет его немедленно.

Без пяти четыре. Он, без сомненья, подходит к забору, огораживающему стройку. Может, именно он — архитектор, восстанавливающий это здание? Нет, Томас говорил об итальянском архитекторе.

Ему осталось не больше пятидесяти метров. Прямо на ходу он подтягивает брюки. За время болезни он должен был потерять четыре-пять килограммов. Он постарается не набрать их снова.

У подъезда он в размышлении останавливается. Какой этаж? Ищет взглядом медную табличку. Четвертый. Вызывает лифт.

Клер прислушалась к тому, что происходит на лестничной площадке. Не услышала ничего.

Мсье Корей позвонил десятью минутами позже.

Он был не в куртке, а в пальто. Из его кармана торчала газета.

Он был очень высокого роста, жгучий брюнет. Рубашка в красную клетку, похоже, из бумазеи.

Он улыбался ей, пока она его осматривала. Ее он не помнил, но вспомнил ощущение прохлады от ее руки на своем лбу, когда засыпал.

Клер оттянула веко у мсье Корея, и ей показалось, что он внимательно смотрит на нее этим глазом. Она навела свою лампу.

Никаких следов желтизны не осталось.

Он оделся, и она назначила ему ряд контрольных анализов.

Можно ли ему снова начать работать?

Она бы предпочла, чтобы он хоть пару недель еще отдохнул. Она настаивала, он должен быть осторожен. И разумеется, ни капли алкоголя.

«Отлично, доктор». На этот раз он сказал «доктор» улыбаясь.

Он вынул из кармана чековую книжку, и Клер услышала, как что-то упало на пол.

Он этого не заметил, и она ничего ему не сказала.

На лестничной площадке он пожал ей руку.

Клер быстро вернулась в кабинет. Что там у него выпало? Она нагнулась и увидела спичечный коробок. На этикетке значилось название кафе.

Клер села, оперлась подбородком о ладони и так и осталась сидеть не шевелясь.

Наконец она потянулась. Скоро придет следующий пациент.

Она открыла верхний ящик письменного стола и запустила туда руку.

Золотые пакетики зашуршали под ее пальцами.

Она вынула ящик из стола и поставила его себе на колени. Маленький клоун с кусочка сахара от их первого ужина улыбался ей.

Теперь она всегда ужинала вместе с Томасом, а скоро они и жить будут вместе. Она станет его женой. И у них будут дети.

Она схватила ящик и наклонила его над мусорной корзинкой для бумаг. Потом наклонила его чуть больше, еще больше, и золотые пакетики, кусочки сахара, двенадцать засушенных розочек, пробка от шампанского, поляроидные снимки, кассеты автоответчика и пластмассовая желтая палочка для размешивания коктейлей бесшумно соскользнули в помойку.

Клер поставила пустой ящик на место и положила туда коробок спичек мсье Корея. Потом она снова закрыла ящик на ключ.

И улыбнулась.

■

РИЧАРД ОЛДИНГТОН
ХИЛЬДА ДУЛИТЛ

Стихи

Перевод с английского

Поэма с двумя героями

Жизнь дописывает книги, а иногда им просто подражает, если вспомнить знаменитый парадокс Оскара Уайльда. С поэтами, представленными в этой подборке, случилось второе. Соединявшая их нить была соткана стихами. Реальности оставалось только подтвердить, что рисунок, по которому — осознанно, с усилием — вычерчивалась ими обоими собственная судьба, безошибочен. Или обнаружить в этом рисунке деформацию.

О том, что с поэтических опытов начинал Ричард Олдингтон (1892 — 1962), знают немногие. Оглушительный, долго не иссякавший успех «Смерти героя» (1929) отодвинул в тень все созданное Олдингтоном до этой книги, справедливо признанной одним из манифестов «потерянного поколения», которое пришло с первой мировой войны. Как-то позабылось, что прежде Олдингтон вообще не писал романов. Он писал стихи — много, с увлечением. Выпустил книгу перед уходом на фронт — она называлась «Образы» (1915), — еще одну опубликовал, вернувшись: «Образы войны» (1919). И, как бы достраивая триптих, в 1925-м напечатал «Образы желания».

Его приверженность слову «образы» не была ни капризом, ни кокетством, поскольку с самого начала Олдингтон принадлежал к направлению, называвшему себя имажизмом, то есть поэзией, для которой образ самоценен. Имажисты верили, что образ должен оставаться замкнутым в самом себе, сопротивляясь попыткам обнаружить за ним дополнительные смыслы, которые сблизили бы поэзию с философией, политикой, этикой, да с чем угодно. В таком контексте выражение «образы войны» предстает своего рода оксюмороном, если не проще — нонсенсом. Наверняка Олдингтон чувствовал это сам.

Однако война столь много для него переменила, что по тональности, мотивам, даже по характеру метафор книгу, писавшуюся в окопах, почти невозможно сравнивать с вышедшей за месяц до отъезда автора на передовую — добровольцем. О причинах, заставивших Олдингтона — и скольких еще! — принять такое решение, лучше всего прочесть в «Смерти героя», как и о последствиях, которыми увенчался этот героизм. А тут уместнее процитировать автобиографию Олдингтона «Жизнь ради жизни» (1941). Там сказано: «Я был совсем никудышным солдатом... Вот видите, сумел сделать так, что меня не убило... Мало того, я абсолютно уверен, что тоже никого не убил, зато спас двух раненых немцев».

По прошествии четверти века Олдингтону удается подтрунивать над своими фронтовыми воспоминаниями, хотя вокруг опять рвутся бомбы. А пока он находился в самом пекле, было не до иронии. «Образы войны», в отличие от «окопной поэзии» тех, кто прошел теми же, что и Олдингтон, дорогами, не поражают травмирующими достоверностями. В этой книге есть другое: ясность речи, прямота и боль, которой не подделать.

Фактографии Олдингтон избегает, словно решив ее приберечь для прославленного романа. Но избегает и той изысканности на грани манерности, которой дорожил прежде. Ясно, что для Олдингтона имажизм завершился, и бесповоротно. Да он к этому времени и правда завершен как поэтическое явление.

Но только не для Хильды Дулитл, может быть, самой одаренной из выступивших в 10-е годы под знаменем имажизма. Теперь имя этой американки редко вспоминают, и, пожалуй, не каждый литературовед сумеет, обойдясь без справочника, расшифровать аббревиатуру Х.Д., ставшую ее подписью в журналах, а потом вынесенную и на книжные обложки. В Лондоне она появилась летом 1911-го, думала, что останется недолго, но прожила здесь почти всю жизнь. Пополнила своим именем перечень американских литераторов-экспатриантов: Генри Джеймс, Паунд, Элиот, Хемингуэй, — словом, едва ли не весь блистательный авангард первых десятилетий идущего к концу века.

На этом фоне Х.Д. (1886 — 1961), конечно, не выделяется как звезда первой величины. Но зато выделяется верностью принципам, которые были возвещены авангардом. Затем эти принципы оказались изжиты или, во всяком случае, глубоко переосмыслены, однако Х.Д. этого, похоже, просто не заметила.

Стихи, появлявшиеся на страницах «Эгоиста» — модного, отчасти даже скандального журнала, выходившего под редакцией молодого Олдингтона,— как и последняя, за несколько месяцев до смерти изданная книга Х.Д. «Елена в Египте»,— все это чистой воды имажизм с неоспоримыми его достоинствами, со столь же явной узостью. Все та же поэзия как бы вне времени и без оглядки на катастрофы, сотрясавшие мир, и тот же

культ недоговоренности, и античные реминисценции, приглушающие, если не вовсе подавляющие непосредственное лирическое переживание. И подчеркнутый аскетизм слова, мыслившийся как вызов пышнословию запоздалых романтиков, молившихся на Теннисона. И неистребимый привкус искусственности, сконструированности, как будто алгебра не поверяет, а подменяет собой гармонию.

В той атмосфере, когда зарождался имажизм, его установки выглядели чуть ли не революционно. Заповеди сформулировал Эзра Паунд. «Несколько заповедей имажиста» — так назывался текст, сочиненный им в 1913-м. Нельзя и в мелочах нарушать единство темы, нельзя позволить себе хотя бы одно-единственное необязательное слово, нельзя, чтобы ритм напоминал о метрономе, он должен напоминать о музыке.

Тогда эти простые, как бы само собой разумеющиеся тезисы многого стоили. Олдингтон напомнил об этом в предисловии к составленной им в 1930-м «Антологии имажизма», которая мыслилась как подведение итога: «Мы кое-чего добились, нанеся удар по викторианцам, пережившим свой век. Мы внесли в поэзию кое-что от живой современности. Мы заставили признать верлибр и сделали его популярным».

Эти бесспорные заслуги, впрочем, не сохранили бы имажизм в читательской памяти, и он остался бы лишь достоянием историков литературы, если бы не имена: Паунд, пусть он быстро перерос эту школу, тот же Олдингтон. А кроме того, имажизм можно ведь осознать не только как страницу в истории поэзии на английском языке. Он оказался знаковым феноменом для того духовного климата, когда публиковались имажистские книжки. А это самый канун первой мировой войны: «Приближался не календарный — / Настоящий Двадцатый Век», и уже был ясно слышен будущий «гул», хотя «почти не тревожил души».

Афродиты возникли из пены,
Шевельнулись в стекле Елены,
И безумья близится срок.

Ахматовская «Поэма без героя» вспоминается читающими ранние стихи Олдингтона и Х.Д. как бы самопроизвольно. Очевидных перекличек тут нет, как нет их и между стихами двух имажистов, но есть достаточно примет схожести лирического сюжета. Они появились не из-за литературной родственности имажизма с акмеизмом, оставившим такие глубокие следы в «Четках», в «Белой стае». Куда существеннее свойственное всем этим текстам навязчивое присутствие того, что, за неимением более точных терминов, можно назвать воздухом эпохи.

И тексты, и отношения, в них отозвавшиеся, принадлежат совершенно определенному времени, которое их собою окрасило, больше того — пропитало. Люди и положения, заполняющие пространство «Поэмы без героя», угадываются даже без авторских комментариев, намеренно минимальных. А история Олдингтона и Х.Д. могла бы стать дополнительной главкой к ахматовской повести, составляющей в «Поэме без героя» первую часть, которая озаглавлена «Девятьсот тринадцатый год».

Как раз в тот год, предварительно совершив совместное путешествие по Италии, Олдингтон и Х.Д. поженились. Об их браке сохранилось много свидетельств, а наиболее ценное принадлежит самой Х.Д., закончившей незадолго до смерти автобиографический роман «Потребуй от меня не умирать». Там она выступает под именем Джулии. Олдингтон зовется Рейф.

Полагают, что в «Смерти героя», описывая отношения Джорджа с женой и любовницей, он тоже предложил версию этого сюжета, но постарался зашифровать подробности. Х.Д. писала без умолчаний, и по ее прозе видно, до какой степени литературой — причем сугубо авангардистской литературой, построенной на обязательном несовпадении с общепринятым, — оказался союз редактора «Эгоиста» (а для заработка — и спортивного репортера) и экзальтированной почитательницы Сафо. Х.Д. была старше суженого шестью годами, и объединяло их лишь пристрастие к сочинению причудливых, по тогдашним меркам, стихов да вера в имажизм как непреходящее откровение. Разделяло же слишком многое, начиная с полученного воспитания. Олдингтон рос в буржуазной среде, где косо смотрели на художественные увлечения, тем более с декадентским оттенком. А она была дочерью профессора математики и астрономии, преклонявшегося перед античностью, как и перед новейшим искусством.

Начиналось с того, что Олдингтон, закончив футбольный отчет, мчался в Британский музей, чтобы сидеть с нею над старыми персидскими рукописями, или обходил букинистов в поисках греческих классиков — страсть ко всему эллинскому привила ему она, заставив даже переводить, хотя он едва знал язык. Да и не шла ему античная тога. Хорошо его в ту пору знавшая Вирджиния Вулф описывает в дневнике «приземистого, крепкого на вид, немного пучеглазого парня, с виду приятного, хотя уж слишком простецкого» — какой контраст с хрупкой и томной поэтессой, называвшей своего воздыхателя не иначе как «последним цветком эллинизма».

Но что-то ее к нему располагало, чем-то очаровывал этот длинноволосый юноша, зимой и летом не снимавший черный плащ до пят. И выйдя за него, Х.Д. постаралась построить их семейную жизнь так, словно это была иллюстрация к ее стихам, где являются Лета и Елена. Трудно сомневаться в том, что первую скрипку, во всяком случае поначалу, играла она. За ее воздушностью скрывалась каменная воля, и не зря Торнтон Уайлдер, познакомившийся с Х.Д. в 20-х годах, сравнивал ее с Наполеоном.

А кроме того, Олдингтону предстояло лишь осваиваться в том мире художественной элиты, к которому он, в сущности, никогда прежде не принадлежал. Никогда он и не был этому — наполовину декадентскому, наполовину авангардистскому — миру привержен в такой степени, как Х.Д. Видимо, он просто следовал ее замыслам, правда, в охотку. И ему до поры даже нравилось так подчеркнуто не соответствовать нормам, понятиям, заботам большинства.

Тот самый день, когда выстрел в Сараеве возвестил конец огромной эпохи, они с Х.Д. провели на террасе художественного музея в Кенсингтоне, располагающего замечательной коллекцией греческой скульптуры. А до того месяц прожили в Девоне, на побережье. Пригласили друзей, с которыми купались непременно вместе и непременно нагими, словно такая игра в наяд была лучшей защитой от придвинувшегося ужаса Вердена. Кончилось — еще бы, ведь наяды покровительствуют любовным союзам — довольно одиозной историей, героями которой оказались Олдингтон и совсем юная девушка. Запутавшиеся отношения с нею и погнали его в армию, благо война списывает все.

Дома он бывал нечасто, и эти приезды мужа — загрубевшего, изголодавшегося, требовательного — приближали развязку, с каждым разом делая ее все более неотвратимой. Забылись идиллические прогулки по Черч-уок в обществе Паунда, с которым молодожены беседовали о просодии Кавальканти и достоинствах нового сладостного стиля, словно в мире не существовало более захватывающей и важной темы. Воцарился прозаизм: не только бытовые неотложности, с которыми война заставила познакомиться всех, но и новое понимание вещей, заглушавшее воспоминания о поре «предвоенной, блудной и грозной», если цитировать «Поэму без героя».

Лирический акт завершился, занавес поднялся над вторым действием — драматическим, с явственным элементом надрыва. Х.Д. преследовало одно и то же чувство — ужас перед беременностью, переросший в отвращение к сексу. Ее роман говорит об этом откровенно, как и об увлечении Олдингтона студенткой-искусствоведкой, жившей в одном доме с Х.Д. и какое-то время остававшейся самой близкой ее подругой. О собственном романе с начинающим музыкантом, в котором ей грезился Париж, она почти ничего не сообщает, подробно описывая муки над переводом Еврипидова «Ипполита», однако это ее увлечение ни для кого не было тайной, да ни от кого и не скрывалось. И если автобиография Х.Д. едва касается этого сюжета, то дело тут не в стыдливости, просто реальное для людей того круга, к которому принадлежали оба протагониста, всегда было не более чем дополнением к поэзии.

Ипполит намного младше воспылавшей к нему страстью Федры, а по другому сказанию Ипполит является постоянным спутником Артемиды-девственницы. Зная об обстоятельствах, в которых развертывалась история Х.Д. и юного скрипача, кто решится утверждать, что не Еврипид, а живое чувство главенствовало в этом романе? Жизнь лишь продолжала искусство. Или подражала ему. Или ее заставляли подражать.

Хотя иногда такие старания должны были становиться в тягость, Лоуренс, близко наблюдавший знаменитую поэтическую пару, описывает прием по случаю демобилизации Олдингтона: всех присутствующих связывают отношения, которые прежде находили нужным, во всяком случае, не афишировать, и все увлечены пикантностью ситуации. Х.Д. вдохновенно читает только что законченный «Морской сад», лучшую из ее античных стилизаций. Олдингтон становится перед нею на колени. Каждому известно, что они разойдутся со дня на день, этого потребовала бывшая студентка, которая, разумеется, тоже приглашена. Скрипач покажет свое искусство в конце вечера.

После разъезда продолжался обмен рукописями, и они слали друг другу письма, иной раз напоминающие послание школьников, потерявших голову от первой любви. Вот хотя бы: «Как только фавн ощутит себя свободным, — сообщает Олдингтон, — он вернется к своей дриаде, и дриада будет его любить, как прежде... пусть дриада не убивает своего фавна признаниями, что в ней все умерло». Свободным фавн себя не ощутил, напротив, совсем увяз в богемной жизни. С Х.Д. происходило кое-что пострашнее, она стала постоянной пациенткой Фрейда — о нем, кстати, у нее есть любопытные воспоминания, — поговаривали, что ее душевная болезнь опасно прогрессирует.

Но по отношению к Олдингтону она вела себя безупречно. После ее смерти один из друзей сказал ему, добившемуся статуса классика, но не покоя и счастья: она была единственным джентльменом в твоей жизни. Хотя, оглядываясь на их общее прошлое, Х.Д. наверняка могла бы сказать о себе словами Ахматовой: «Я его приняла случайно/ За того, кто дарован тайной...»

Олдингтон пережил Х.Д. всего на год. Он был ужасно расстроен, узнав, что ее похороны — так уж вышло — назначены на тот самый день, когда исполнялось ровно полвека с их знакомства. Почему-то его особенно угнетала мысль, что ее кремировали. Утешая старого товарища, Лоренс Даррел написал ему: «Оставьте, ведь смерть поэта никогда не бывает только печальной, что-то сохраняется, как вкус хорошего вина во рту, когда из бутылки уже не выжать ни капли».

Читая эту подборку, можно проверить, насколько Даррел был прав.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

РИЧАРД ОЛДИНГТОН

Из книги «ОБРАЗЫ»

Амальфи

Мы сойдем к тебе,
О море, глубокое море,
И доверимся бледно-зеленым волнам твоим,
Как опавшие лепестки.

Мы сойдем к тебе с холмов,
Простившись с душистыми лимонными рощами
И солнечным жаром.
Мы сойдем к тебе,
О Таласса,
И отдадимся на волю
Бледно-зеленых волн твоих,
Как лепестки цветов.

Образы (I)

1

Подобно гондоле с зелеными душистыми фруктами,
Плывущей по мрачным каналам Венеции,
Ты, о прелестнейшая,
Вступила в мой безлюдный город.

2

Голубой дымок стремится в небо,
Как клубящиеся облака улетающих птиц.
Так и любовь моя стремится к тебе,
Улетает — и возвращается.

3

Желто-розовая луна в бледных небесах,
Где закат — узкая полоска киновари
В тумане за голыми сучьями деревьев, —
Вот какою видишься мне ты.

4

Как молодой бук на опушке леса
По вечерам тих и недвижен,

Хоть содрогается от веселой легкости воздуха, —
Так и ты, любимая, тиха и трепетна.

5

Красные олени — высоко на склоне горы.
Они уже за последними соснами.
И желания мои там, с ними.

6

Цветок, помятый ветром,
Вскоре наполнится дождевою влагой.
Так и сердце мое будет полниться слезами,
Пока ты не вернешься.

Кино кончается

После щелканья и жужжания
Мельтешащих картинок ощущаешь
Сухость глаз,
Когда взгляд бежит вдогон кадрам.
Фильмы — банальные сантименты,
Молчаливые скопища людей,
Бренчащие пианино...
Внезапно —
Обвал зелено-желтого света
Из-за порога;
Дротики белых фонарных лучей
выбивают контур мрачных зданий;
Густая мгла ночи
Сражается с сиянием;
Торопливые фигуры, ноги, юбки, бледные щеки, шляпы
Мелькают в косой чересполосице тьмы и света.

Миллионы человеческих червяков
Роятся, потея, в прикрытых ночной пеленой
Кротовьих ходах дорог

(Хорошо, что все живое быстро перемелют
Химические пертурбации почвы).

Хэмпстед,

пасхальный понедельник 1915

Темные облака прорезает
Быстрый луч прожектора, длинный белый кинжал;
В прорехи заглядывает лиловое небо.
Черная гудящая толпа
Течет, клубится, останавливается, течет дальше
Меж огнями
На берегах шумных балаганов.

Лондон,

май 1915

Поблескивающие листья
Танцуют в вихре;
За ними — мрачные, недвижные тучи.

Церковный шпиль
Увенчан маленьким медным петушком,
Что кормится зернами в полях голубизны.

Груша, растрескавшаяся белесая пирамида
В неухоженном саду, льет в душу мою
Упоение.

Ночью луна, женщина на сносях,
Бредет осмотрительно по склизким небесам.

Среди всего этого великолепия
Я измучен,
Подавлен
Видением пепелища,
Стен, повергающихся во прах.

Образы (II)

1

Меж темными силуэтами сосен
Сквозят злато и серебро солнца
И облаков;
Море тускло сиреневеет.
Моя любовь, любовь моя, ты для меня недостижима.

2

Ты прекрасна,
Как алый цветок наперстянки
На стройном стебле среди зелени;
Я простираю руку, дабы ласкать тебя, —
И обжигаюсь завистливой крапивой.

3

Этим утром я был у ручья,
Часами искал в воде
Искрящуюся слюду,
Чтобы вспомнить глаза твои.

И все бессонные ночи
Я думаю о тебе.

4

Твои поцелуи захватывают дух.
Ах, почему должен я оставить тебя?

Здесь, в одиночестве, я снова и снова
Пишу на бумаге слова древнегреческого поэта:
«Любовь, ты ужасна,
О любовь, и ты до муки сладостна!»

Молитва

Я — сад красных тюльпанов,
Юных нарциссов и лавровых изгородей,
Маленький подтопленный сад
Вокруг овального пруда
И трех серых свинцовых голландских цистерн.

Я — сад разметенный, продутый насквозь
Каждодневными западными ветрами,
Чреватыми торопливым дождем.

На тропинках моих — грязные цветы,
На взбаламученных водах — палые лепестки.
Трава усеяна сорванными листьями.

Бог садов, милый маленький божок,
Даруй мне теплую полуулыбку солнца,
Танец последней птицы в тумане,
И пусть затем камнем упадет ночь
И вышибет из меня жизнь
Навеки.

Из книги «ОБРАЗЫ ВОЙНЫ»

Утренняя заря

Зловещая заря высвечивает дымку белесых облаков;
На холмах позади затопленных лугов
Лежит мертвенно-бледный, недвижный туман.

Мы устало бредем,
Отяжелев от недосыпа;
Мы вялы, но пытаемся шутить.

Солнце плещет багрянцем на бесцветное небо,
Свет отражается от меди и стали;
Мы устало бредем
И взываем мысленно:
«Господи, не дли эту тупую, ноющую муку,
Пусть сменит ее багряная агония, и затем —
Бледный туман смертного сна».

Убожество

Порою, в горькую минуту, я себя язвлю насмешкой:
«Ты, сверхосел и недопавиан, привычный к рабству,
Лови теперь свои ты упорхнувшие мечты,
Вернуть пытайся гордость — жгучую крапиву,
Ищи, куда исчезла молодость твоя...
Ужель посмеешь снова ты коснуться женщин —
Таинственных и хрупких — этими калеками-руками?
Иль осквернённое подставить тело
Высокомерному светилу дня?
Возможно ль пережить подобный стыд?»

Но вот ответ мой самому себе:
«Чтоб ненависть не опоила ядом дни мои,
Чтоб мог по-прежнему́ любить я все земное —
Цветы и живность, например, —
И песнь моя была б все столь же яснозвучной,
Для этого готов я вынести и не такое!»

Минутная передышка

Однажды вечером я бродил один невдалеке от наших бараков.
Кузнечики тихо стрекотали
В теплом вечернем тумане,
Листья папоротника манили меня из тьмы
Длинными корявыми зелеными пальцами,

Души деревьев взволнованно шептались вокруг,
Издалека донесся негромкий успокаивающий шум
поезда.

Я был так счастлив в одиночестве,
Так полон любви к огромному безмолвному миру,
Что зарылся лицом в траву
И ласкал губами твердое мускулистое тело
Земли, нежной повелительницы своих несчастных
возлюбленных.

Негодование

Зачем хотите вы сокрушить меня?
Ужель я так похож на Христа?

Вы бьетесь об меня,
Гигантские волны, загаженные мусором.
Я — последняя опора расколотого волнореза,
Но вам не сокрушить меня,
Хоть и захлестывает мою голову мутная пена,
Шипящая вашей ненавистью.

Вы накрываете меня, перекатываетесь чрез меня,
Я содрогаюсь под вашими ударами,
Но все же разрезаю вас пополам
И выпрямляюсь — мокрый, оборванный, оглушенный,
Однако живой и несломленный!

Перевод А. КУДРЯВИЦКОГО

ХИЛЬДА ДУЛИТЛ

Из книги «ИЗБРАННЫЕ СТИХИ»

Елена

Ненавидят греки
этот спокойный взгляд,
глянцевые маслины
у нее за спиной,
белоснежные руки;

и сыплют упреки
на бледное это лицо,
и не могут видеть ее улыбку,
вспоминая с болью
прежние ее чары
и пришедшие с ними горести;

они не в силах простить
крови богов в ее теле,
маленьких ног,
точеных ее колен —
но, может быть,
они захотят ее полюбить,
узрев ее белого пепла горсть,
траурных кипарисов грусть.

Лета

Ни кожа, ни руно не защитят от ветра,
ни алый плащ, ни кров
из древесины кедра,
ни шелест молодых лесов;

ни можжевельнику не наклониться
к твоим ресницам, ни бутонам роз;
болотная не встрепенется птица,
не распоется дрозд;

ни легкий вздох, ни слово, ни движенье
тебя не встретят в холоде ночном —
тебя подхватит темное теченье,
не спрашивая ни о чем.

***

Тем звездам, царь, что блещут на порфире,
не суждено затмить Альдебаран,
и Сириус, сверкающий в эфире,
и Марс, багровый от несчетных ран.

Каким они величьем ни блестят,
те звезды в складках царственной порфиры, —
им не затмить собою ни Плеяд,
ни Ориона светлые сапфиры.

Но светят ярче звезд глаза царя,
внушая силу дрогнувшим и павшим
и на морях уверенность даря
судам, ориентиры потерявшим.

Перевод А. ШАРАПОВОЙ

Любовь

Любовь, которой сердце переполнено,
откликнись!
Поведай мне, как под пятнистой скорлупой
ждут жизни лебедята,

как нежная сова
вдруг поднимает веки
и гордостью трепещет,
когда совята у ее груди
шевелятся.

Навеки

Никогда больше ветру
тебя приласкать не придется,
и дождь никогда в ладони твои не прольется.

Никогда больше нам
не увидеть образ твой светлый
в сиянье снегов, под вуалью ветра.

Снег растает,
снег про снежинки свои забудет,
но ты водою смыт, тебя не будет.

Упорхнул ты, как птица из наших рук,
угас навеки, как свет в наших сердцах,
больше тебя не будет.

Роза у моря

Роза, колючая роза
с лепестками кроваво-пурпурного цвета,
хрупкий цветок, чахлый
среди листьев поникших.

Ты сердцу дороже,
чем крупная сочная роза, быть может.
Стебель с одним лишь цветком,
теченьем подхваченный...

Увядающая мученица-роза,
на берегу ты брошена.
Пытаются поднять тебя
зыбкие пески,
размётанные ветром.

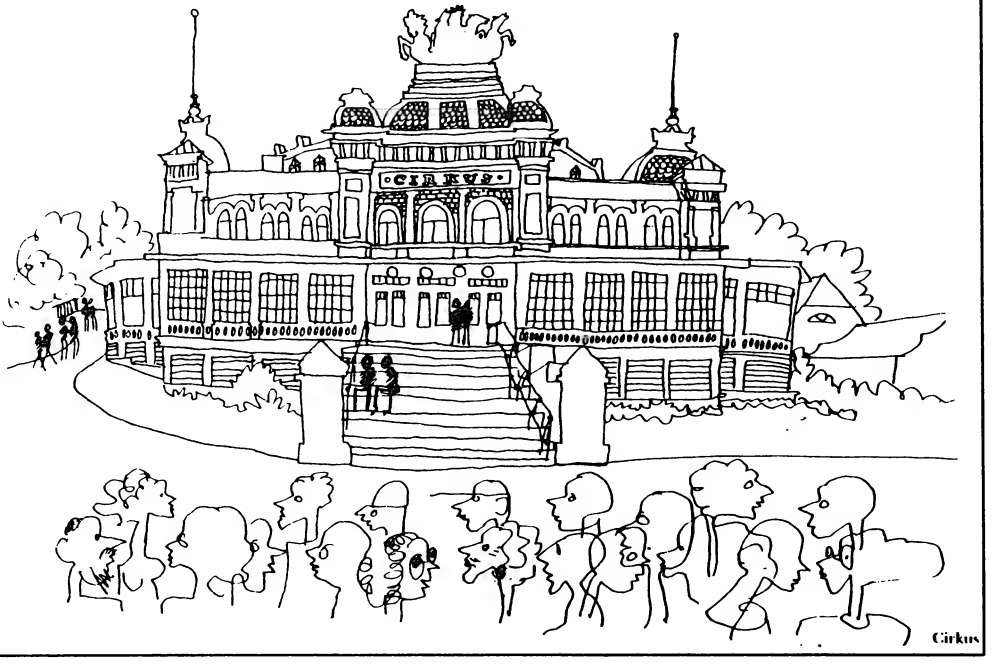
Может ли нежная роза,
в окаменелой листве застывшая,
столь едкий воздух вдыхать?

Перевод С. ФЕТИСОВОЙ

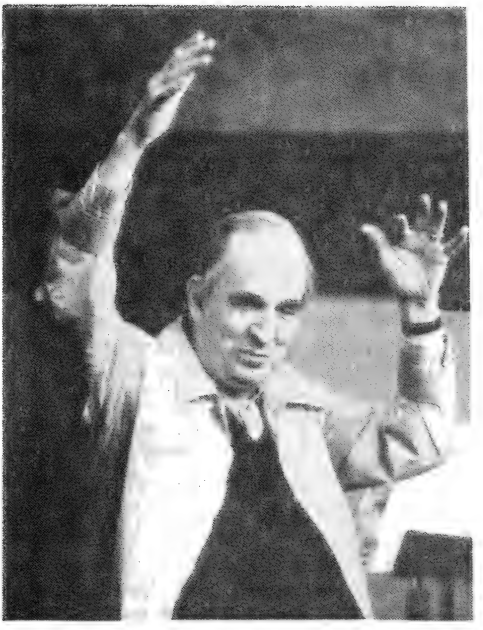
■

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

НОВАЯ ШВЕДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Cirkus



ИНГМАР БЕРГМАН

Воскресный ребенок

РОМАН

Перевод АЛЕКСАНДРЫ АФИНОГЕНОВОЙ

Помню, что и бабушка и дядя Карл весьма критически относились к нашей даче, хотя и по разным причинам. Дядя Карл, который считался немного тронутым, но обладал обширными познаниями в самых различных областях, заявил, что дача эта никакой не дом, ни в коем случае не вилла и уж ни за что на свете не место для жилья. Возможно, этот феномен можно было бы описать как некое количество выкрашенных в красный цвет деревянных ящиков, поставленных в ряд и друг на друга. Что-то вроде Оперного театра в Стокгольме, по мнению дяди Карла.

Итак и стало быть: некое количество красных деревянных ящиков с белыми угловыми венцами и произвольно разбросанными там и сям белыми же рейками. Окна на первом этаже — высокие и щелястые, на втором — четырехугольные, вроде вагонных, из них не дуло, зато они и не открывались. Крыша покрыта латаным-перелатаным толем. Во время проливных дождей по стенам верхней веранды бежали ручейки. Протекало и в маминой комнате, и обои в цветочек там пошли пузырями. Вся эта куча ящиков покоилась на двенадцати внушительных каменных глыбах. Таким образом, между основанием дома и бугристой землей образовалось пространство сантиметров в семьдесят, где хранились поседевшие доски, сломанные плетеные кресла, три заржавленные кастрюли необычной формы, несколько мешков цемента, лысые автомобильные шины, жестяное корыто с пришедшими в негодность хозяйственными предметами и множество пачек газет, перетянутых стальной проволокой. Там всегда можно было найти что-то полезное. Правда, заползать под дом нам запрещалось, поскольку мать была, очевидно, уверена, что мы либо поранимся о ржавые гвозди, либо наша халупа вдруг обвалится и придавит нас.

Жилище это, или как его там еще можно назвать, построил пастор-пятидесятник из Борленге. Звали его Фритьоф Дальберг, и ему, очевидно, захотелось быть поближе к своему Господу и Богу. Посему он приискал себе местечко, расположенное высоко над селением Дуфнес.

Купив уступ под скалой, он расчистил участок. Вероятнее всего, пастор Дальберг предполагал, что Господь оценит его затею и ниспошлет ему и его сыновьям недостающие им навыки строительного искусства. В ожидании вдохновения свыше они принялись за дело. В июне 1902 года, после пяти лет злоключений их творение было завершено. Восхищенные прихожане сочли, что сооружение в каком-то смысле напоминает Ноев ковчег. Ведь Ной тоже никогда не учился строительному делу, а был, строго говоря, лишь скромным выпиво-

© Cinematograph Fårö 1993

хой-паромщиком на Евфрате. Но Господь ниспослал ему нужные познания, и он построил вместительное судно, которому предстояло вынести значительно более тяжкие испытания, чем непритязательному жилищу пастора Дальберга.

Кое-кто из самых набожных считал, что верхняя веранда, помещенная на южной стороне с видом на долину, реку и луга, весьма подходящее место для ожидания Судного дня, когда над горными грядами Гангбру и Бэсна появятся ангелы из Апокалипсиса.

Прямо у подножия главного здания неутомимый пастор возвел своего рода барак весьма необычного вида. Собственно говоря, он состоял из семи каморок, подведенных под одну крышу. Каждая каморка имела отдельную щелястую дверь зеленого цвета. Очевидно, помещения эти предназначались для гостей, которые пожелали бы остаться на несколько дней или, быть может, недель, дабы совместными молитвами и песнопениями укрепиться в незыблемой и без того вере. Из-за отсутствия надлежащего ухода барак совсем обветшал, став прибежищем для разнообразной флоры и фауны. На полу зеленела трава, а через одно из окон сумела проникнуть березка. Крайняя левая каморка составляла владения крота Эйнара, усыновившего наше семейство, в остальных помещениях царствовали лесные мыши. Комнатку с березой одно время оккупировала сова, но, к сожалению, она переехала. В самой просторной каморке хозяйничала одичавшая рыжая кошка с шестью котятами. Мать была единственным человеком, который осмеливался приближаться к этой злобной твари. Мать обладала особой способностью общаться с цветами и животными и яростно защищала наш зверинец от всяких нехороших поползновений со стороны Лаллы и Май, живших в двух центральных каморках. Лалла была нашим шеф-поваром, а Май — всем понемножку. О них я расскажу подробнее чуть позже.

Весь этот строительный комплекс дополнялся чересчур большим, но ветхим нужником, некрашеные стены которого возвышались на самой опушке леса. Нужник вмещал четырех испражняющихся; через незастекленное окошко в двери открывался величественный вид на Дуфнес, излучину реки и железнодорожный мост. Дырки отличались по величине: большая, поменьше, маленькая и крохотулечка. Снизу в задней стене была отдушина с полуразвалившейся и потому не закрывавшейся дверцей. Когда Май и Линнея посещали заведение, чтобы чуток поболтать и скоренько справить малую нужду, мы с братом брали первые уроки по женской анатомии. Смотрели и балдели. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы застукать нас за этим занятием. Но нам и в голову не приходило изучать снизу отца, мать или громадную тетю Эмму. В детской тоже существуют свои негласные табу.

Обстановка в большом доме была разномастная. В первое лето мать набила целый вагон мебелью из городской пасторской усадьбы. Бабушкин вклад состоял из отдельных предметов, хранившихся на чердаке и в подвале дачи в Воромсе. Мать пораскинула мозгами, сшила занавеси, соткала ковер и сумела-таки приручить эту груду разнокалиберных и враждебных друг другу элементов, заставив их жить в мире. Комнаты, насколько я помню, дышали уютом. В общем-то, мы чувствовали себя гораздо лучше в примечательном творении пастора Дальберга, чем в шикарном, изысканном бабушкином Воромсе, находившемся в пятнадцати минутах ходьбы через лес.

Я упомянул вначале, что дядя Карл весьма критически относился к «этому пристанищу, которое и не дом вовсе». Бабушка тоже относилась к нему критически, но по иным соображениям. В ее глазах тот факт, что мать отделилась и сняла дальберговское сооружение, был тихим, но очевидным бунтом. Бабушка привыкла жить летом в окружении детей и внуков. И посему терпела присутствие невесток и зятьев. Этим же летом она пребывала в Воромсе лишь в обществе дяди Карла, который по разным причинам, не в последнюю очередь финансовым, не имел возможности фрондировать. Дядя Нильс, дядя Фольке и дядя Эрнст уехали на заграничные курорты. Бабушка, следовательно, осталась лишь в компании дяди Карла, а также Сири и Альмы, двух состарившихся служанок, которые, хоть и проработали бок о бок тридцать лет, разговаривали друг с другом с большой неохотой. Лалла, тоже входившая в бабушкин штаб, внезапно объявила, что матери требуется всяческая помощь, и в начале июня перебралась к нам, где в самых примитивных условиях готовила мастерские фрикадельки и несравненных запеченных щук. Мать выросла на глазах у Лаллы, и верность старой служанки была непоколебима, наводя на окружающих даже некоторый ужас. Мать, не боявшаяся никого на свете, иногда не решалась зайти на кухню к Лалле и спросить, что будет на обед.

Двор представлял собой круглую, посыпанную гравием площадку, в центре которой находилась круглая же лужайка с проржавевшими и развалившимися солнечными часами. Рядом с кухней простирались громадные грядки ревеня, и все это окаймлялось несколько взъерошенным, никогда не видевшим косы лугом, тянувшимся на сотни метров до самого леса и обвалившегося забора. Густой и запущенный лес взбирался вверх по крутому склону до скалы Дуфнес, внизу был обрыв, слегка уходивший вовнутрь горы и отзывавшийся эхом при грозе. В серовато-розовой горе имелась глубокая пещера, куда можно было попасть с риском для жизни. Пещера была местом запретным и потому заманчивым. Мелкий ручей извивался по камням вокруг подножия горы, мимо нашего забора и немного ниже исчезал под полями, впадая в реку к северу от Сульбакки. Летом он почти пересыхал, весной бурлил, зимой глухо и беспокойно журчал под тонкой коркой свинцово-серого льда, а от осенних дождей звенел высоким, ломким голосом. Вода была прозрачная и холодная. В извилинах образовывались глубокие затоны, где водился гольян — своего рода уклейка,— служивший отличной наживкой для перемета в реке или Черном озере. На крыше земляного погреба росла земляника, а ниже по склону увядал престарелый фруктовый сад, все еще приносивший черешню и яблоки. Крутая лесная тропинка спускалась к Берглюндам, самой большой усадьбе в селении Дуфнес. Там мы брали молоко, яйца, мясо и другие продукты первой необходимости.

Тесная долина, отвесные скальные уступы, дремучий лес, бурный ручей, холмистые поля и, наконец, река, глубоко врезавшаяся в ущелье, мрачная и ненадежная, пастбища и горные гряды — ландшафт отнюдь не романтический, исполненный драматизма и тревоги. Природа здесь не отличалась ни благожелательностью, ни особой щедростью. Хотя, впрочем: земляника, ландыши, линнея, каприфоль — дары лета, но все это скромно, исподволь. Колючие малинники, пригорок, поросший громадным, едко пахнущим папоротником, заросли крапивы, засохшие деревья, сплетения корней, гигантские валуны, разбросанные великанами в каком-то доисторическом прошлом, ядовитые грибы без названия, но с пугающими свойствами. Девять лет мы прожили в жилище пастора Дальберга, прилепившемся под обрывом вплотную к дремучему лесу, который уже начал спускаться к луговине и маленькой зеленой лужайке. Когда на юго-востоке поднимался шторм и с обширных пастбищ по ту сторону реки налетал ураганный ветер, поставленные друга на друга, выкрашенные кое-как в красный цвет ящики трещали по швам. Сквозь щелястые окна доносились завывания и писк, и занавеси печально вздувались. Кто-то, очевидно обожавший детей, уверил меня, что, если начнется настоящий ураган, все дальберговское сооружение поднимется в воздух и улетит к скале. Все сооружение целиком, вместе с семейством Бергманов, лесными мышами и муравьями. Спасутся лишь обитатели барака — крот Эйнар, Лалла, Мэрта и Май. В глубине души я не очень-то верил в эти россказни, но когда разыгрывалась буря, предпочитал залезать в постель к Май, приказывая ей читать вслух что-нибудь из еженедельников «Все для всех» или «Семейный журнал».

Уже в то время у меня возникли трудности с действительностью. Границы ее были расплывчаты и определялись посторонними взрослыми людьми. Я смотрел и слушал: конечно, вот это опасно, а это нет. Привидений не существует, не глупи, нет никаких призраков, демонов, мертвецов с окровавленными ртами, появляющихся при солнечном свете, не бывает ни троллей, ни ведьм. Но внизу, в селении у Андерс-Перса в отдельном маленьком домишке с заколоченными окнами жила взаперти жуткая старуха. Иногда в полнолуние, когда опускалась тишина, ее рев разносился по всей округе. И если привидений не существует, то почему Май рассказывает о Часовщике из Борленге, который повесился на лесной тропинке на пригорке по дороге к Берглюндам? Или девушка, однажды зимой утонувшая в Йиммене, а весной всплывшая у железнодорожного моста с набитым угрями животом? Я ведь своими глазами видел, как ее принесли, на ней было черное пальто и ботинок на одной ноге, на месте другой же торчала кость. Она стала привидением, я встречался с ней во сне, а иногда и наяву, при дневном свете. Почему же люди говорят, что привидений не существует, почему они смеются и качают головами — нет, нет, малыш Пу, можешь быть совершенно спокоен, привидений не существует,— почему они это говорят, а потом сами же с восторгом беседуют о вещах, отвратительных для человека, у которого в глазах так и мельтешат разные существа?

Теперь нам следует — совсем коротенько — рассказать о Конфликте. К

данному моменту, то есть лету 1926 года, ему исполнилось ровно шестнадцать лет. Начало было положено появлением в семействе Окерблюмов студента-богослова Эрика Бергмана в качестве будущего супруга единственной дочери, находившейся под строгим присмотром. Фру Анне эти отношения пришлись не по вкусу, и она приняла решительные меры, употребив при этом всю свою могучую волю. В принципе будущий пастор мог бы быть тещиной мечтой: честолюбивый, воспитанный, опрятный, да и вид весьма импозантный. К тому же с хорошими перспективами на государственной службе. Однако у фру Анны было чутье на людей. Под безупречной внешней оболочкой она разглядела кое-что другое: капризность, чрезмерную ранимость, вспыльчивый характер, внезапные приступы холодности. Кроме того, фру Анна полагала, что слишком хорошо знает свою дочь, свое избалованное «солнышко». Карин была девушка эмоциональная, веселая, умная, очень впечатлительная и, как я уже говорил, избалованная. По мнению фру Анны, ее дочь нуждалась в зрелом, ярко одаренном человеке, в твердой, но бережной руке. И такой юноша имелся в окружении семьи — доцент по истории религии Торстен Булин. Никто не сомневался, что Торстен и Карин — идеальная пара, родители только и ждали, когда молодые объявят о помолвке. И наконец, Эрик Бергман и Карин Окерблюм состояли в отдаленном родстве, а это считалось небезопасной комбинацией. Вдобавок в роду Бергманов тлело трудно поддающееся определению наследственное заболевание, настигавшее его членов внезапно и безжалостно: постепенно развивающаяся атрофия мышц, неумолимо приводившая к тяжелой инвалидности и ранней смерти.

Итак, на взгляд Анны Окерблюм, Эрик Бергман совершенно не годился в супруги ее дочери.

Того же мнения придерживался и Юхан Окерблюм, но по другим причинам. Этот больной старик любил свою единственную дочь искренней и безнадежной любовью. Всякий мыслимый или немыслимый жених внушал ему отвращение. Старому господину хотелось удержать при себе свет очей своих как можно дольше. Карин отвечала на любовь отца сердечной, хотя и несколько рассеянной нежностью.

Когда взаимные чувства молодых людей перестали быть тайной, фру Анна предприняла срочные и более или менее продуманные меры. Интересующихся отсылаю за подробностями к кинороману, который называется «Благие намерения».

Эрик Бергман не без основания чувствовал себя отвергнутым и нежеланным. Между ним и будущей тещей началась затяжная война. Мартин Лютер где-то сказал, что формулировать свои мысли следует с осторожностью, «ибо вылетевшее слово за крыло не поймать». Насколько я понимаю, в первые годы таких слов вылетело немало. Эрик Бергман отличался ранимостью и подозрительностью, и к тому же злопамятностью. Он никогда не забывал и не прощал нанесенной ему обиды — ни воображаемой, ни реальной.

Карин Окерблюм во многих отношениях была дочерью своей матери. В ее силе воли сомневаться не приходилось. Карин бесповоротно решила прожить свою единственную жизнь с Эриком Бергманом. Она настояла на своем, и в конце концов будущего пастора скрепя сердце приняли в семью.

После объявления о помолвке все внешние признаки конфликта были похоронены. Тон стал дружелюбно снисходительным, вежливо внимательным, порой сердечным — каждый играл свою роль. Нельзя было подвергать риску семейную сплоченность.

Однако ненависть и ожесточенность остались, невидимые, под спудом. Они давали о себе знать в мимоходом брошенных фразах, во внезапном молчании, в незаметных действиях, в безответных или натянутых улыбках. И все это — с исключительной изощренностью, но строго в тесных рамках христианской терпимости.

Одним из задвинутых в дальний угол осложнений были летние месяцы. Как организовать летний отдых? Где пастор с семьей будет проводить отпуск? Мать в детстве и юности жила летом на родительской даче в самом сердце Даларна. Ей казалось само собой разумеющимся, что ее дорогой муж полюбит Воромс, Дуфнес, Даларна так же, как любила их она сама. Эрик Бергман молча подчинился, желая угодить молодой жене. Потом родились дети, и им нравилось у бабушки. Идиллия цементировалась, и в то же время молчание и холодная вежливость, паузы и брошенные вскользь замечания становились все очевиднее.

Постепенно и, быть может, слишком поздно Карин Бергман осознала, что дело идет к катастрофе. В одно лето ее муж не приехал вовсе, сославшись на то, что должен замещать заболевшего коллегу. В другое лето Эрик Бергман пробыл с семьей всего неделю, а на все оставшееся время ушел в поход с друзьями. В третье — он внезапно заболел и был вынужден провести отпуск в роскошном Мёссеберге под заботливой опекой благодетельницы семьи, беспредельно богатой Анны фон Сюдов.

Мать, стало быть, осознала, пусть и поздно, что надо что-то предпринять. Таким образом, аренда дальберговского творения была, с одной стороны, компромиссом, а с другой — молчаливой мольбой о прощении. Дом, как уже говорилось, находился в пятнадцати минутах ходьбы от Воромса. Семья Бергманов обязана оставаться семьей, даже когда отец в отпуске. То, что воскресные обеды устраивались в Воромсе и что бабушка неожиданно и, как правило, без предупреждения, появлялась в неприхотливом жилище семейства Бергманов, представляло собой неизбежные осложнения.

Мать осуществила грандиозный переезд бодро и весело. Совершенно неожиданно на помощь ей пришла Лалла, которая на лето покинула свою привычную и удобную комнатку позади кухни в Воромсе и устроилась в примитивном бараке у нас. Мать была ее любимицей и нуждалась во всяческой поддержке. Факт абсолютно очевидный, но потрясший бабушку почти так же сильно, как материн переезд.

Особой признательности за свой подвиг мать не удостоилась. Отец, приехавший на дачу накануне моего восьмилетия, пребывал в состоянии душевной смуты, рассеянности и меланхолии.

Железнодорожная станция Дуфнес состоит из красного станционного домика с белыми угловыми венцами, уборной, на которой написано «Мужчины» и «Женщины», двух семафоров, двух стрелок, товарного склада, каменного перрона и земляного погреба. Начальник станции Эрикссон вот уже двадцать лет живет на втором этаже станционного домика со своей женой, страдающей базедовой болезнью. Мальчик Пу, которому только что исполнилось восемь, получил у мамы и бабушки разрешение пойти на станцию. Дядю Эрикссона при этом не спросили, но он принимает своего юного гостя с рассеянным дружелюбием. В его конторе стоит запах въевшегося трубочного табака и заплесневелого линолеума. На окнах жужжат сонные мухи, время от времени стучит телеграфный аппарат, выпуская из себя узкую ленту с точками и тире. Дядя Эрикссон сидит, склонившись над большим письменным столом, и что-то записывает в узкую книгу в черном переплете. После чего принимается сортировать накладные. Иногда кто-то в зале ожидания стучит в окошко и покупает билеты до Репбэккена, Иншёна, Ларсбуды или Густавса. Там царит покой, похожий на саму вечность и уж наверняка достойный того же уважения.

Пу входит без стука. Он маленького росточка, худенький, чтобы не сказать тощий, коротко острижен (под «бобрик»), на левой коленке — болячка. Поскольку дело происходит в субботу в конце июля, на нем застиранная рубашка с обрезанными рукавами и короткие штанишки, из-под которых виднеются трусы. Все это держится с помощью скаутского ремня, с которого свисает финский нож. На ногах у Пу стоптанные сандалии. О чем он думает, определить довольно трудно. Взгляд у него немного сонный, щеки по-детски округлые, рот полуоткрыт — вероятно, полипы.

Пу учтиво здоровается: «Добрый день, дядя Эрикссон». Дядя Эрикссон на мгновение отрывает взгляд от черной книги, булькает трубка, выпуская небольшое облачко: «Добрый день, молодой господин Бергман».

Пу забирается на один из высоких трехногих табуретов рядом с телеграфом.

— Папа приезжает четырехчасовым.

— Вот как.

— Я буду его встречать. Мама и Май придут попозже. Май нужно забрать какой-то груз.

— Понятно.

— Папа был в Стокгольме, читал проповедь королю и королеве.

— Шикарно.

— А потом его пригласили на обед.

— Король?

— Ага, король. Папа хорошо знаком с королем и королевой. Особенно с королевой. Он дает ей разные добрые советы и все такое.

— Это здорово.

— Без папы король с королевой, наверное, и не справились бы.

Наступает долгая пауза, Пу думает. Дядя Эрикссон разжигает угасающую трубку. В солнечном зайчике на оконном стекле жужжит умирающая муха. Жирный пятнистый кот встает и, мурлыча, потягивается. Потом делает несколько неуверенных шагов по заваленному подоконнику и укладывается на «Шведские коммуникации». Пу прищуривает глаза. Над рельсами и высокими березами разлит белый солнечный свет. На дальнем запасном пути спит маневровый паровозик, прицепленный к вагонам с древесиной.

— По-моему, королева влюблена в папу.

— Вот как, ну и ну, вот это да.

В голосе дяди Эрикссона не слышится особого восхищения, кроме того, он занят накладными, количество не сходится, он пересчитывает их заново, складывая в две стопки: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Из зала ожидания стучат в окошко. Дядя Эрикссон кладет трубку на тяжелую пепельницу, поднимается, открывает стеклянное окошко и говорит: «Добрый, добрый. Значит, сегодня аж до Ретвика? Ага, а завтра до Орсы? Так, так. Стало быть, два семьдесят пять. Спасибо и пожалуйста».

По белой от солнца песчаной площадке неспешным шагом идут мать, Май и брат Даг. На матери светлое летнее платье с широким поясом вокруг тонкой талии. На голове желтая шляпа с большими полями. Мать красива, как всегда, вообще-то она красивее всех, красивее Девы Марии и Лилиан Гиш. Май — в застиранном коротком платьице в голубую клетку. На ногах черные чулки и высокие черные пыльные ботинки. Даг, который на четыре года старше брата, одет почти как Пу, с той разницей, что у него из-под шорт трусы не торчат. Мать вроде чем-то раздражена, она обращается к Дагу, хмуря лоб и улыбаясь одновременно. Даг мотает головой, оглядывается, замечает в окне Пу и указывает на него. «Ага, вот ты где, ну разумеется»,— говорит мать немного сердито — но это как в кино, приходится догадываться, что люди говорят. Она делает знак Пу немедленно выйти. «До свидания, дядя Эрикссон».

В ту же минуту настенный телефон издает два сигнала. Начальник станции хватает трубку и говорит: «Алло, Дуфнес». Из трубки доносится чей-то голос: «Из Лэннхедена в три пятьдесят две». Дядя Эрикссон набрасывает форменную шинель, на голову надевает фуражку с красной кокардой, берет флажок из выкрашенной в голубой цвет стойки возле входной двери и выходит на крыльцо станционного домика, за ним по пятам следует Пу. Они направляются к семафору, который тут же поднимает свою красно-белую полосатую руку,— теперь путь поезду открыт. Дядя Эрикссон, отдав честь матери и Май, идет к стоящему в отдалении человеку с лошадью, запряженной в телегу. Они обмениваются короткими репликами, показывая на склад.

Пу остается сторожить семафор. Мать зовет его, но он либо и впрямь не слышит, либо только делает вид, и она, покачав головой, поворачивается к Май.

Палящее солнце накаляет склад, рельсы и перрон. Пахнет смолой и нагретым железом. Вдалеке у моста журчит река, горячий воздух дрожит над замасленными шпалами, молниями сверкают камни. Тишина и ожидание. Толстый кот устроился на дрезине. Маневровый паровозик на дальнем запасном пути деликатно вздыхает. Помощник машиниста Оскар затопил топку. Внезапно от поворота у Длинного озера показывается поезд, сперва черным пятном на насыщенном зеленом фоне, почти беззвучно, но с быстро нарастающим гулом, и вот состав — мощный локомотив и восемь вагонов — уже на мосту, скрежещут стрелки, гул усиливается, и сердце у Пу дрожит.

Паровоз пыхтит и сопит, из-под плунжеров вырывается пар, вот показались вагоны, длинные элегантные стокгольмские вагоны, визжат тормоза. Дядя Эрикссон отдает честь машинисту. Пу словно окаменел. Начальник станции машет красным флажком. Раздается лязг и скрежет, и все каким-то необъяснимым образом вдруг останавливается, замирает, хотя паровоз продолжает усердно пыхтеть. «Иди сюда, Пу», приказывает мать. Когда у матери такой голос, надо слушаться.

На перрон сходит отец, он еще довольно далеко, но быстро приближается. Он с непокрытой головой, ветерок треплет его мягкие волосы. Через правую руку перекинуто пальто, пальцы сжимают шляпу, в левой руке — видавший виды черный портфель, раздувшийся от книг и дорожных принадлежностей.

Отец ненавидит чемоданы и предпочитает ездить налегке. Мать с отцом целуют друг друга в щеку, материна желтая шляпа немного съехала набок, они улыбаются, теперь очередь Дага здороваться, и он пожимает отцу руку, тот треплет его по затылку — пожалуй, с чуть большей силой, чем надо, и не слишком ласково. Пу с разбегу, заливаясь восторженным смехом, налетает на отца, который тут же подхватывает сына и, тоже смеясь, прижимает его к себе. Мать взяла пальто и шляпу, а Май с деликатным книксеном освободила пастора от его пузатого портфеля. От отца пахнет лосьоном для бритья и сигарильями, щека у него немножко колючая. «Ну-ка, поцелуй меня»,— говорит отец, и Пу звонко чмокает его влажными губами в ухо.

Дядя Эрикссон дает сигнал к отправлению. Паровоз ритмично выпускает черные клубы дыма, скользят колеса, цепляясь за рельсы, хлопают двери и решетки. Семафор опущен, поезд, набирая скорость, мчится к виадуку над дорогой. На повороте у Воромса паровоз свистнул и исчез в лесу.

«А нам обязательно сразу идти домой?» — спрашивает Даг с некоторым сомнением, обращаясь к объединенным родительским силам. «Вовсе нет, — отвечает мать с мимолетной улыбкой, потому что понимает, насколько неуместен вопрос Дага именно в эту минуту. — Вовсе нет, только не опоздайте к обеду». «У тебя ведь есть часы»,— коротко бросает отец. «Они сломались, но я могу спросить»,— говорит Даг.

Кузница стоит в нескольких сотнях метров к северу от станции и представляет собой высокое, но короткое нескладное двухэтажное здание, выкрашенное в красный цвет. На первом этаже располагается сама кузня, на втором, состоящем из двух комнат и вместительной кухни, живет кузнец Смед с женой Хельгой и пятью ребятишками разных возрастов и вида. Йонте — ровесник Пу, а Матсен — Дагу. Вокруг — грязь, запустение и нищета, но настроение, насколько я помню, весьма бодрое. Поэтому-то мы так охотно играем рядом с кузней. Кузнец Смед похож на киргизского хана — статный и темнокожий, его жена — высокая женщина со следами былой красоты. Зубов у нее осталось всего ничего, но тем не менее она часто смеется, прикрывая рот рукой. У всего семейства черные как смоль волосы и черные глаза. Младшенькой девочке по имени Дезидерия всего четыре месяца. У нее заячья губа.

Освободившись наконец от обязанностей членов комитета по встрече, Даг и Пу спешат к строго запретному месту позади кузницы. Мать вообще считает, что им ни к чему играть с детьми Смеда. Бабушка же придерживается противоположного мнения, поэтому братьям все-таки разрешают бывать у Смедов. Только одно место находится под строжайшим запретом — полой за кузней. Полой — это вода, собирающаяся в круглой впадине холмистых лугов, простирающихся от крутых лесных склонов до реки и оврагов. Весной глубина полоя достигает более двух метров, летом он мельчает. Мутная вода кишит головастиками, уклейками, встречаются даже отдельные разжиревшие экземпляры плотвы.

Сегодня в полое разыгрывается морское сражение. Два вместительных деревянных ящика, кое-как проконопаченных и просмоленных, с черепами, намалеванными на сколоченных на живую нитку носах, представляют собой соответственно пиратский корабль и флибустьерское судно королевы Елизаветы. Даг, брат Пу, является режиссером военного действа и руководителем игры. Он сам определил себе роль вождя пиратов. Матсен — генерал Арчибальд. Генерал и пират на своих кораблях одни. По условному знаку они бросаются навстречу другу другу с противоположных сторон полоя, подгоняя корабли с помощью самодельных весел. Происходит яростное столкновение. После чего воители начинают пихать и пинать друга друга веслами. Бой по уговору должен продолжаться пять минут, за чем следит старшая сестра Матсена — Инга-Брита, имеющая в своем распоряжении семейный будильник Смедов. Упавший в воду считается побежденным. Если удастся перевернуть корабль противника, ты на пути к победе.

Бенгт, Стен и Арню Фрюкхольмы из Миссионерской виллы болеют за Дага. Вечно сопливые и кашляющие ребята Тёрнквисты — за Матсена. Несмотря на постоянные ссоры, семейная солидарность требует, чтобы Пу был на стороне брата. Сражение, как и ожидалось, носит ожесточенный характер, и после минуты ритуального фехтования переходит в неконтролируемую рукопашную. Даг — тип свирепый, дерется из-за любой мелочи. Через несколько минут он переворачивает корабль Матсена и сам выпрыгивает из своего. Стоя по грудь в грязной воде, противники сцепились не на шутку, всерьез пытаясь утопить друг

друга под громкие подбадривающие крики своих болельщиков. В момент, когда боевые действия почти сошли на нет, Хельга Смед открывает окно и кричит, что тот, кто хочет получить сок и булочку, должен прийти немедленно. Зрители тут же покидают фехтовальщиков, которые, лишившись публики, заканчивают баталию и по колено в воде бредут к берегу. Они снимают с себя мокрую одежду, все, кроме трусов, так что Дагу вряд ли грозит разоблачение, а ябедничать Пу не осмелится.

В кухне Смедов сразу становится тесно. На всех про всех два стакана и четыре треснутые фарфоровые чашки, гости угощаются в первую очередь, булочки прямо из печки. Тихие, вежливые прихлебывающие звуки. В грязное окно прямой наводкой бьет солнце, мерцает пыль, жара невыносимая, непривычные запахи удушающи. Фру Хельга берет на руки младшенькую и, усевшись на кровать из мореного дерева в комнате рядом с кухней, задирает свою темно-красную заляпанную блузку и дает девочке грудь. Дезидерия жадно чмокает. Наконец она наелась и срыгнула, и ее укладывают на кровать. Хельга зовет к себе моего приятеля Йонте: «Иди сюда, Йонте, теперь твоя очередь». Возможно, Йонте смутился, не помню, не думаю. Как бы там ни было, он подходит к матери и становится у нее между колен. Она приподнимает свои тяжелые груди, и Йонте с наслаждением пьет. (У него была чахотка, и всю зиму он пролежал в туберкулезной больнице.) Насытившись, Йонте вытирает рот тыльной стороной ладони и принимается за ржаную булку с патокой. Только Хельга собралась опустить блузку и подняться с кровати, как Пу громко спрашивает, нельзя ли ему тоже попробовать. Вопрос вызывает всеобщий смех, веселый смех звенит в жаркой грязной кухне. Хельга тоже смеется и качает головой: «Пожалуйста, Пу, я не против, но тебе, наверное, надо сперва спросить бабушку и маму». Новый взрыв смеха, Пу совсем сконфузился: сначала краснеют оттопыренные уши, потом краска заливает щеки и лоб, потом полились слезы — нет никакой возможности удержать слезы. Хельга Смед треплет его по затылку своей задубевшей рукой и спрашивает, не хочет ли он взять еще одну булку, она намажет ее патокой, но Пу не желает никакой булки, это грубоватое дружелюбие приводит его еще в большее замешательство, слезы текут из носа в рот. «Дьявол, дерьмо, черт». Третий приступ смеха. «Пу у нас, в общем-то, девчонка, это сразу видно»,— замечает Даг. Пу швыряет чашку с соком в лицо брату и в бешенстве, спотыкаясь, устремляется по крутой лестнице в кузню.

У закопченного окна Май разговаривает с кузнецом. Ей нужно залудить прохудившуюся кастрюлю. В горне пылают угли. Черные ободa, коромысла, оси, изъязвленная оспой деревянная скамья у окна продольной стены. Скользкий прогнивший пол с заплатами из досточек и плоских камней. Запах жженого угля, горячего масла и копоти. К тому же от Смеда тоже пахнет чем-то особенным, что уж это может быть, не знаю. Во всяком случае, запах этот не вызывает отвращения, и Май он, судя по всему, нравится. Она смеется каким-то словам кузнеца и чуточку отодвигается, но без всякой неприязни.

Повернув свое конопатое, загорелое лицо к Пу, Май с дурашливым смехом говорит, что надо, дескать, поторопиться домой, а то опоздаешь к обеду. И откидывает со лба прядку волос. Кузнец кивает Пу, показывая свои белые, как у молодого, зубы. Возле кузницы дожидается своей очереди длинный парень, которому требуется подковать лошадь. Поспешное прощание и — на велосипед Май. Пу сидит на заднем багажнике, крепко вцепившись в пружины седла. Прямо перед его носом маячит зад Май, ее бедра, талия и спина, она пахнет Май. Пу любит ее почти так же сильно, как маму, а иногда даже сильнее, это сбивает с толку.

У почты посыпанный щебнем большак делает короткий, но крутой подъем. Май сперва еще пытается крутить педали, но потом сдается, и они идут рядом, сообща толкая велосипед. «Нюни пускал?» — спрашивает Май, не глядя на Пу. «Не пускал, просто разозлился ужасно,— мгновенно отвечает Пу. — Когда я злюсь, похоже, будто я нюни пускаю, но я не пускаю». «Из-за Дагге?» — продолжает расспрашивать Май. Пу на мгновение задумывается и потом говорит: «Когда-нибудь я его прирежу». И втягивает носом соплю. Он почти совсем пришел в норму. «Нельзя идти с ножом на брата,— смеется Май. — А то в колонию попадешь». «Не смейся»,— скрипит зубами Пу и толкает Май, которая делает шаг в сторону. «Не смей толкаться, дерьмецо ты эдакое,— дружелюбно говорит она и добавляет: — Хорошо, хорошо, я не буду смеяться, обещаю. Но тебе надо научиться понимать, что люди смеются по самым разным поводам, ничего страшного. Ты ведь тоже смеяться умеешь, правда?»

В пять часов все обитатели дома стоят рядом со своими стульями вокруг обеденного стола. Сцепив руки, присутствующие произносят хором: «Мы с именем Христа за стол садимся, благослови же нашу трапезу, Господь». После чего с шумом и грохотом рассаживаются. Позвольте представить вам это маленькое общество числом в девять человек: мать и отец друг напротив друга. Справа от отца восседает тетя Эмма, которая нам вовсе и не тетя, она тетка отца, забытый, страдающий ожирением динозавр из отцова рода. (В то время всех дальних родственников женского пола называли несколько по-деревенски — тетями. Тетя Эмма жила по большей части одна в двенадцатикомнатной квартире в Евле. Она была дикой обжорой и чудовищной скупердяйкой, вдобавок не отличалась особым дружелюбием, скорее наоборот — была остра на язык и за словом в карман не лезла. Христианский долг предписывал приглашать тетю Эмму на лето и на Рождество. К детям она относилась с суровой нежностью и заботой, читала вслух сказки и играла с ними в настольные игры. Пу был любимцем тети Эммы, она любила говорить, что однажды он унаследует состояние Тетушки. Пу льстиво улыбался, он был, пожалуй, льстивым ребенком.)

Слева от отца сидит Лалла, сидит словно на иголках, поскольку ей весьма не по душе материны демократические выдумки — совместные летние обеды господ и слуг. Не могу припомнить, чтобы Лалла когда-нибудь выглядела както иначе, по-другому. Маленькая, жилистая, с быстрыми движениями, умное лицо, саркастическая улыбка, широкий лоб, седые волосы с прямым пробором, синие глаза. (Лалла, как я уже говорил, царствовала на кухне. Мать выросла на ее глазах, но Лалла непоколебимо называла ее «фру Бергман».)

Рядом с Лаллой — Май. Она присматривает за Малышкой, которой исполнилось четыре и которая недавно пересела с детского стульчика на жесткую подушку. (Малышка — кругленькое, пухленькое и милое существо. Когда никто не видел, Пу охотно играл с сестренкой. Дагге, если ему случалось оказаться поблизости, называл ее Хрюшкой. Поскольку Дагге давал Пу взбучку за малейшую провинность, Пу давал взбучку Малышке за малейшую провинность. Малышка садилась на свою круглую попку, ошеломленно глядя на брата, и глаза ее медленно наполнялись слезами. Но ябедничала она редко. Пу предпочитал проводить время с сестрой, играя в куклы в хитроумно сделанном кукольном домике, чем со своим братом, больше всего обожавшим оловянных солдатиков.)

По другую сторону Лаллы располагается Марианн, темноволосая красавица с широкими бедрами и пышной грудью. (Мать и отец дружили с ее родителями, погибшими при крушении поезда. Марианн была конфирманткой отца и часто посещала пасторскую усадьбу. В это лето ей предстояло заниматься с Дагом немецким и математикой. Он ничего против не имел, так как был влюблен в свою красивую учительницу. Пу был тоже влюблен в нее, но на расстоянии. Он понимал собственную ущербность. В то же время он завидовал брату и дразнил его за чересчур откровенно выказываемые нежные чувства. Природа наделила Марианн прекрасным альтом, и она мечтала стать оперной певицей.)

По левую сторону от матери — Даг и Пу. Рядом с Пу сидит Мэрта. (Мэрта Юханссон, долговязая худая женщина неопределенного возраста, с едва заметным горбом и чуть раскачивающейся фигурой, была, собственно, по профессии учительницей начальной школы, но слабого здоровья (больное сердце, одно легкое). Благодаря своему мягкому нраву и кротости она сделалась всеобщей любимицей. Вернее, ее недолюбливала только Лалла — однажды в пасторской усадьбе Мэрта забыла выключить газовую плиту, что привело к небольшому взрыву. По мнению Лаллы было бы только справедливо, если бы «бедолага» погибла. Когда мать куда-нибудь уезжала вместе с отцом, Мэрта с добродушной решительностью брала на себя командование. Этим летом она прихварывала и жила здесь, чтобы отдохнуть и набраться сил. Пу не исключал возможности, что ангелы похожи на Мэрту. Через несколько лет она умерла и наверняка стала ангелом.)

Субботнее меню определено раз и навсегда и меняется крайне редко. Оно состоит из жареных фрикаделек с макаронами и брусничным вареньем. На десерт — кисель из ревеня, клубники или крыжовника. Закуска неизменна: маринованная селедка и молодая картошка. К этому пастор выпивает рюмку водки и стакан пива. Остальные члены семьи довольствуются квасом или — по субботам — сладкой газировкой.

Столовая, она же и гостиная, просторная и светлая, примыкает к неширокой застекленной веранде. Май подает, Марианн по мере необходимости по-

могает. Мэрте надо поберечь силы, а Лалле приказано сидеть спокойно и позволять себя обслуживать, что ей явно не нравится.

Вот раздают картошку к селедке, миска идет по кругу, отец наливает себе водки, и тетя Эмма тоже не отказывается от глотка к двум кусочкам селедки и розовому картофелю с нежной кожицей. Прошу вас, входите в кадр, встаньте у двери на веранду или сядьте на изогнутый диван под настенными часами, пожалуйста: сначала мы говорим все разом, воспитанно и тихо. Речь, конечно же, идет о погоде: погоде в Стокгольме и погоде в Дуфнесе, о внезапной жаре, и тетя Эмма говорит, что в воздухе пахнет грозой, она чувствует это по своему колену, и тут же тоном знатока хвалит фрикадельки. Лалла с кислой улыбкой выражает радость по поводу того, что фрёкен Энерут понравились фрикадельки. Лаллу не трогают ни похвалы, ни жалобы — в особенности если они исходят от фрёкен Энерут.

Пастор — единственный, кто иногда осмеливается осторожно увещевать Лаллу и ее смоландское высокомерие. Это ей по душе — так и должно быть. Мягкое порицание полезно для душевного здоровья. «Земля потрескалась, и ручей наш совсем обмелел,— говорит мать. — Жалко ромашки и васильки». «Я нашла одно местечко,— радостно сообщает Марианн. — По дороге к Йиммену есть небольшая поляна, там полно цветов и земляники. Мы с Дагом были там позавчера, нет, во вторник». «Вот как, прогулка в середине недели!» — шутит отец. У него от водки слегка покраснел лоб. «Сходил бы с нами, Эрик,— уклончиво отвечает Марианн. — Прекрасная прогулка. Поляна находится в укромном месте, с дороги не видно». «Было бы неплохо»,— говорит отец, улыбаясь Марианн. «Кстати, утром приходила Альма»,— внезапно произносит мать. «С Сири,— добавляет Мэрта своим нежным, почти шепчущим голосом. — Она показала мне свое рукоделие, я тоже собираюсь сделать что-нибудь в этом роде. Надо чем-то занять руки, если я уж такая никчемная сейчас стала»,— смеется она.

«Ты выглядишь сейчас намного лучше, чем когда приехала сюда»,— дружески утешает ее отец. Мэрта слабо качает головой. «Так вот, Альма сообщила, что Ма ненадолго заглянет к нам вечером вместе с дядей Карлом». «Очень приятно»,— мгновенно откликается отец. «Здорово,— говорит Даг,— дядя Калле должен мне две кроны, и я хочу получить их обратно». «Я отдам тебе твои кроны»,— решительно говорит мать.

«Вот как, значит, Тетушка придет»,— произносит отец. Краснота со лба у него еще не сошла. «Можно нести крыжовенный кисель,— обращается мать к Май и Марианн, которые тут же вскакивают и принимаются собирать тарелки из-под фрикаделек. — Да,— продолжает она,— мама придет вечером, чтобы обсудить нашу совместную экскурсию в Монгсбударна и с тобой поздороваться. Карла она берет с собой, потому что, после того как она подвернула ногу, ей не хочется ходить одной через лес». «Вот мы и проверим, умеет ли дядя Калле стрелять из лука»,— радуется Даг. Отец накладывает себе киселя в глубокую тарелку с цветочным узором по краю и наливает туда молока. «Все равно странно»,— говорит он, слегка качая головой. «Что странно?» — мгновенно откликается мать. «Странно, что Тетушка причиняет себе столько хлопот, совершая этот длинный путь из Воромса сюда. Нам, молодым и здоровым, было бы легче прогуляться вечером через лес». «Ну, ты же знаешь Ма,— пытается возразить мать приветливо. — Ей, наверное, скучно все время сидеть одной в этом большом доме».

«А что, никто из сыновей не собирается навестить ее летом? Даже Эрнст?» «Не знаю, во всяком случае пока она одна»,— коротко бросает мать, морща лоб. «А завтрашний обед, как будет с ним?» — спрашивает отец. «Как обычно, а что? Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я, как тебе известно, завтра читаю проповедь в Гронесе и не уверен, что успею вернуться домой к четырем»,— отвечает отец, поднимая глаза на мать. «Но Эрик, *дорогой*! Я ничего не понимаю! Ты хочешь сказать, что дорога из Гронеса займет *три* часа? Это просто невозможно». «Вполне возможно,— беззаботно возражает отец. — Очень даже возможно, поскольку я не могу отказаться от кофе. Настоятель написал, что с *особым* нетерпением ждет нашей с ним встречи после мессы. Так что мне, по всей видимости, не выбраться из Гронеса раньше двух — а товарняк из Иншёна, на который мне надо поспеть, уходит только в полчетвертого. Придется тебе, увы, извиниться за мое отсутствие. Кстати, Пу, поедешь со мной?» «Чего-чего?!» — разинув рот шире обычного, переспрашивает Пу. Во-первых, он не слишком прислушивался, во-вторых, он предпочитает вообще не слушать, ког-

да у матери и отца в разговоре появляется такой вот преувеличенно любезный тон, а в-третьих, он понял смысл вопроса, и это ставит под угрозу его завтрашние планы.

«Чего-чего?» — «Я спрашиваю, не хочешь ли ты составить завтра отцу компанию и поехать в Гронес? По-моему, у нас с тобой может получиться прекрасное путешествие, как считаешь?» (Короткое молчание.) «Поблагодари и соглашайся»,— пытается сгладить неловкость Марианн. «Конечно, Пу с радостью поедет с тобой»,— говорит мать. — «Вот весело-то будет!» — ухмыляется Даг с неприкрытым злорадством. Отец смотрит на Пу, который, потеряв дар речи, ест кисель с молоком. «Я тебя не принуждаю,— ласково говорит отец. — Если у тебя на завтра есть более интересные дела, то я тебя не принуждаю». «Не-е»,— выдавливает Пу. Мать усмехается, она всегда все сглаживает. «Все поели? Тогда встаем». Присутствующие поднимаются и, став позади стульев, складывают руки на спинках. «Благодарим Тебя, Господи, за трапезу. Аминь». Поклоны и приседания. Потом все по очереди подходят к матери, целуют ей руку и благодарят за обед, после чего начинают убирать со стола, все, кроме отца и тети Эммы, которые усаживаются на все еще пышущей жаром веранде среди пеларгоний и маргариток.

Даг дышит прямо в лицо Пу: «Здорово, а?» Марианн дергает его за уши: «Занимайся своими собственными делами, а то ты у меня целое воскресенье будешь решать примеры». «Да уж, хоть бы Дагге разочек заткнулся»,— жалуется Пу, обремененный возникшей проблемой.

Марианн, обняв его за плечи, прижимает к своей пышной груди: «Я знаю, папа обрадуется, если ты скажешь, что хочешь поехать с ним». Пу мотает головой: «Он намного больше обрадуется, если *ты* поедешь». Марианн серьезно смотрит на Пу: «Нельзя». «Почему?» «Нельзя, и все»,— говорит Марианн, отпуская Пу.

«Не вздумайте убегать,— кричит Май,— поможете мыть посуду, Пу будет вытирать ложки и вилки». Она тащит за собой Дага. «Я только пописаю»,— кричит Пу и выскальзывает наружу за спиной Марианн. Он пробегает, согнувшись, песчаную площадку и взлетает к краю опушки, становится за черешней, но не мочится, а просто стоит и разглядывает исподтишка дальберговское жилище и его обитателей.

Сквозь цветы и вьющиеся растения на веранде он видит отца и тетю Эмму. Отец зажигает сигарилью, а тетя Эмма принимает таблетки от изжоги. В открытой двери, ведущей на лестницу, на мгновение мелькает мать, она держит за руку Малышку. «Пу здесь?» — спрашивает она в пространство, но ответа не дожидается. Через столовую проходит Мэрта со стаканами и тарелками на подносе, она неслышно говорит что-то, и мать отвечает, что Пу не должен вот так грубо показывать свое дурное настроение, нужно бы поговорить с ним. На крыльцо кухни осторожно выходит Лалла с ведерком в руках. «Двери надо закрывать, а то комарье и мухи налетят!» Марианн, поднявшаяся на второй этаж, энергично расчесывает свои густые каштановые волосы, видно, что она напевает. Мать, держа за руку Малышку, направляется к веранде. По дороге они прихватывают большую рваную тряпичную куклу. Май моет посуду, дело спорится, она беспрерывно болтает с Мэртой, но кухонное окно закрыто, поэтому их разговора не слышно. Даг, вооруженный полотенцем, вытирает стаканы. Мэрта ему помогает, сидя на стуле, она вытирает тарелки. Мэрта смеется каким-то словам Май, и Май толкает Дага задом. Марианн сбегает с лестницы, хватает Малышку, поднимает ее и прижимает к себе. Руки у нее обнажены. Малышка крепко вцепилась в свою потрепанную куклу. Они подходят к высокому резному пианино, и Марианн усаживается за него с Малышкой на коленях. Они нажимают клавишу за клавишей: сперва Малышка, потом Марианн. Мать стоит на веранде у стола с цветами, лицом к Пу, но не видит его. Она сосредоточенно обрывает пожелтевшие листочки с высокой пеларгонии, склонившей свои крупные красные цветы к пыльному оконному стеклу.

Солнце зашло за дом, оставив веранду в синеватой тени. Шумят кроны деревьев, что-то шуршит и потрескивает в стволах старых черешен. Пу не в силах побороть внезапно охватившую его грусть. Но она быстро улетучивается.

Вот послышались голоса у полуразвалившейся калитки. Это бабушка и дядя Карл переводят дух после утомительной лесной прогулки из Воромса. Прекрасная возможность избежать вытирания посуды, и Пу сломя голову мчится через двор вниз к калитке. Бабушка треплет его по щеке, а дядя Карл, крепко ухватив племянника за шкирку, как следует встряхивает. От дяди Карла пахнет пун-

шем. Пу знает, что это запах пунша, потому что мать каждый раз встречает дядю Карла одной и той же репликой: «Не понимаю, почему это от тебя, Калле, постоянно пахнет пуншем». На что дядя Карл ответствует: «Наверное, потому, что я постоянно пью пунш». У дяди Карла аккуратная бородка, большие голубые глаза, прикрытые стеклами пенсне, пухлые, мягкие руки, большой мягкий живот, по которому спускается часовая цепочка, на нем белый, несколько запачканный летний костюм и жесткий воротничок с галстуком. На голове мятая льняная панама.

Бабушка, несмотря на свой небольшой рост, выглядит чуть ли не импозантно. Ей шестьдесят два года, лицо округлое с приличным двойным подбородком, глаза серо-голубые, испытующий взгляд, седые блестящие волосы гладко зачесаны назад, открывая широкий лоб. Одета она в черное доходящее до щиколоток платье с белым воротничком и кружевными манжетами. Через руку перекинуто серовато-бежевое летнее пальто. У бабушки маленькие, круглые руки, которые могут быть и мягкими, и жесткими.

«По-моему, Пу, ты вырос со вчерашнего дня,— посмеиваясь, говорит дядя Карл. — Или твой нос». Дядя Карл тянет Пу за нос. Пу в восторге, дядя Карл его любимец. Бабушка кладет свое пальто на плечо Пу и берет его за руку. «Придешь завтра, почитаем «Остров сокровищ»? «Не получится»,— отвечает Пу. «Не получится?» «Не получится, потому что завтра я с папой еду в Гронес. Он будет там в церкви читать проповедь и хочет, чтобы я поехал с ним». «Вот как. Ну-ну. Это здорово»,— подтрунивает дядя Карл. Бабушка бросает на него быстрый взгляд, и он замолкает. «Прочитаем вдвое больше в следующее воскресенье!» — говорит бабушка, пожимая руку Пу.

Мать идет навстречу, отец сходит по лестнице веранды, тетя Эмма показывается в дверях. «Добро пожаловать в Дуфнес, дорогой Эрик! Желаю тебе хорошего и спокойного отдыха». — «Спасибо, милая Тетушка! Спасибо за добрые слова!»

«Привет, Калле, пойдем выпьем коньячку?» Отец хлопает дядю Карла по плечу. «У нас нет коньяка»,— решительно говорит мать. Теперь перед домом собрались и остальные члены семьи, они здороваются с бабушкой с разной степенью сердечности. Мать приглашает всех в сиреневую беседку, куда подали кофе и печенье.

«Хочу пострелять из лука,— возвещает дядя Карл. — Есть здесь кто-нибудь, кто осмелится бросить мне вызов? Ставлю две кроны!» Он вынимает из кармана большое портмоне и, выудив из него блестящую двухкроновую монету, кладет ее на растрескавшуюся консоль солнечных часов. «Ты не понимаешь, во что ввязываешься»,— со смехом замечает бабушка, усаживаясь в когда-то белое садовое кресло. Тетя Эмма, мать и отец присоединяются к ней. И они сразу же принимаются обсуждать предстоящую экскурсию в Монгсбударна, которая по традиции происходит во второе воскресенье августа.

Лалла, расположившаяся на ступеньках, ведущих в кухню, пьет кофе вприкуску, рядом лежит ее вязание. Мэрта устраивается в гамаке с романом, а Май, насвистывая, стелет постели на ночь.

В соревновании по стрельбе из лука помимо дяди Карла принимают участие Даг, Пу и Марианн. Лук представляет собой нечто среднее между игрушкой и оружием, довольно опасная штука. Мишень — большая спортивная мишень с разноцветными кругами вокруг черной центральной точки. Ее прислоняют к двери уборной и шагами отмеряют расстояние; Пу получает фору в несколько метров.

«Возможно, мы в этом году на экскурсию не поедем»,— слышится отчетливый баритон отца. Мать говорит что-то неразборчивое, бабушка все так же приветливо улыбается. Стрелы вонзаются в мягкую поверхность мишени. «Да, не поедем»,— опять раздается голос отца. Мэрта отрывается от романа, но сразу же вновь утыкается в книгу. Лалла, налив горячий кофе в блюдце, которое она держит на кончиках трех пальцев, шумно прихлебывает. Дядя Карл стреляет. Марианн аплодирует. Теперь ее очередь. Даг, растянувшись плашмя на земле, считает очки. Дядя Карл зажег сигару и присел на скамеечку, забытую на лугу несколько лет назад и с тех пор так и стоящую там. Пу поручено приносить стрелы.

«Страшно мило с вашей стороны, Тетушка, но это предложение ничего не меняет,— говорит отец. По-прежнему слышны лишь его слова, хотя все остальные тоже оживленно переговариваются. — Страшно мило, и вы, Тетушка, наверно, считаете, что с нашей стороны это невежливо, но я...» — «*Ты* волен отка-

заться, пожалуйста, но я решаю...»— повысила голос мать, но что именно она решает, не слышно. От легкого порыва ветра, поднявшегося в этот предзакатный час, зашумели деревья. На выпасе Берглюндов замычала корова, залаял Сюдд.

Я с удивлением замечаю, что до сих пор ничего не сказал о Сюдде. Это коричневый пудель благородных кровей, которого согласно родословной зовут вообще-то Тедди ов Трассельсюдд. В детстве он вместе со своей матерью сбежал из цирка и попал в «собачник», место, где собирают потерявшихся городских псов. Отец купил его за пятерку. Собака немедленно сделалась членом семьи. Пу боялся Сюдда, что пес не преминул заметить. И кусал Пу, как только предоставлялась возможность. Пу мстил. Когда Сюдд спал, Пу обливал его водой или сыпал в ухо гремучую смесь. Сейчас Сюдд ради порядка облаивал корову Берглюндов.

Пу вступает в соревнование, но у него не хватает сил натянуть тетиву. Спиной он чувствует толстый живот дяди Карла. «Погоди-ка, я тебе помогу!» Пу почти целиком исчез за массивной фигурой и завесой сигарного дыма, дядя Карл помогает Пу натянуть тетиву. «Ну что, давай? — шепчет он, не выпуская сигары из толстых с синеватым отливом губ. — Давай?» Что «давай», Пу совершенно понятно. Карл и Пу вместе держат лук, вот на тетиву легла стрела. Но острие стрелы направлено не на мишень, а на беседку. Стальной кончик выискивает жертву: не отца, не мать, Пу зажмуривается, открывает глаза, опять зажмуривается. Дядя Карл тяжело дышит, из-под тесного жилета вылетают легкие хрипы, живот бурчит. «Ну, давай?» — шепчет он, окутывая Пу новым облаком сигарного дыма. Бабушка сидит в профиль, в это мгновенье она повернулась к тете Эмме. Она что-то говорит, указательный палец выразительно постукивает по краю садового столика. «Подумай только, наконец-то эта незакрывающаяся бабья пасть захлопнется»,— шепчет дядя Карл.

Мать встает, чтобы подлить бабушке кофе. Своим телом она закрывает бабушку. Внезапно стрела с резким свистом слетает с тетивы и попадает в центр мишени. «Пу выиграл, черт меня задери! — кричит дядя Карл абсолютно вразрез со всеми правилами, и протягивает двухкроновую монету мальчику, стоящему с раскрытым от изумления ртом. — Закрой рот, Пу,— говорит дядя, пухлой рукой нажимая ему на подбородок. — С открытым ртом у тебя глупый вид. А ты ведь не глупый? Или глупый?»

На кухонное крыльцо выходит Май, в руках у нее эмалированный молочный бидон, вмещающий не меньше трех литров. «Пу, пойдешь со мной за молоком?» — кричит она через весь двор. «Пойду!» — кричит он в ответ, засовывая монету в карман штанов.

Май быстрым шагом спускается по склону к лесу. На ней голубое льняное платье, рыжие волосы заплетены в косу, достающую до талии. Пу трусит рядом. Май шагает, вытянув шею, курносый носик смотрит прямо вперед, она насвистывает про себя. От Май вкусно пахнет потом и зеленым мылом, называющимся «Пальмолив». Дойдя до моста через ручей, они останавливаются. Водный поток несется быстро и бесшумно, в заводях возле прибрежных камней образуются медленные водовороты. На усыпанном галькой дне покачиваются водоросли, извиваются и покачиваются. «Рыбок видишь?» — спрашивает Пу. «Тихо, они испугались нашего топота. Надо чуток подождать, тише». Пу стоит на коленях, его ладошки совсем близко от Май, которая тоже опустилась на коленки. Он осторожно прижимается к ее бедру, она одной рукой обнимает его за плечи. Внезапно проточная вода наполняется стремительными, сверкающими тенями. Под ними скользит плоская рыба с гладкой головой, это — подкаменщик. Из ручья тянет холодом. Рука Май скользнула вниз, к стайке рыбешек, которая мгновенно, единым движением, исчезла. На песке остается лишь подкаменщик.

«Именно тут Часовщик и повесился»,— шепотом говорит Май. «Чего?» Май прищурившись смотрит на Пу и наставительно говорит: «Ты все время переспрашиваешь «чего», как будто не расслышал, а ведь прекрасно все слышишь». — «Где он повесился?» — «Да неужто не знаешь? Вон там, за этими двумя сросшимися соснами. Там, прямо среди хвороста. Да, он повесился. Говорили, будто он покончил с собой из-за обманутой любви, но это неправда». — «Так почему же тогда?» — «Точно не знаю, Лалле известна вся эта история, спроси ее». «Он стал привидением?» — спрашивает Пу, содрогаясь от приступа озноба — был ли тому причиной холод, исходивший от ручья, или близость к страшному деянию, сказать трудно. «Привидением? Ага, говорят, он появляет-

ся и ворошит кучи хвороста. Там, кстати, водятся жирные гадюки, так что будь осторожнее и смотри в оба».

«Привидения и гадюки»,— бормочет про себя Пу. — «*Я лично* не видела,— говорит Май. — Но я никогда таких вещей не вижу. Надо обладать особым даром, чтобы видеть духов, привидения и гномов. Моя бабушка была ясновидящей, я же — ничуточки». «А *я* — да,— говорит Пу,— потому что я воскресный ребенок». «Ты родился в воскресенье? Вот не знала». «Да, я родился четырнадцатого июля 1918 года в три часа утра». «И что же ты видел?» — недоверчиво спрашивает Май. «Много чего». Пу заважничал. «Расскажешь как-нибудь. Жуть как интересно». Май, брызнув водой в лицо Пу, смеется: «Тебе просто хочется повыпендриваться».

Она вскакивает и припускает по каменистой, извилистой лесной тропинке. Пу трусцой бежит за ней.

— Если хочешь, я явлюсь тебе в виде привидения, когда умру.
— Это еще зачем?
— Расскажу, как там все.
— Где это?
— Ну там, по ту сторону.
— Большое спасибо, но мне что-то не хочется.
— Я появлюсь осторожненько. И при дневном свете.
— Что это за глупости, Пу?
— Обещаю.
— Если человек умер, значит, он мертвый.
— А Часовщик?
— Э-э, это просто побасенки.

Май несколько лет спустя утопилась в реке. Она забеременела, а отец ребенка не захотел больше с ней знаться. Как-то весной тело ее всплыло внизу, у излучины реки, на лбу зияла рваная рана. Иногда я вспоминаю ее и наш разговор у мостка через ручей. Она никогда не являлась мне в виде привидения. Но ведь она и не обещала ничего определенного.

Усадьба Берглюндов раскинулась по обе стороны дороги. Жилые дома стоят ближе к опушке, гумно, конюшня, сараи и скотный двор — ближе к полям, спускающимся к реке и железнодорожной станции. В бревенчатом доме XVIII века располагается кухня с каменной плитой, обеденным столом и двумя деревянными диванами. По другую сторону сеней находится сыроварня. В мансарде ютятся две комнатушки и темный чердак, заваленный хозяйственными принадлежностями и одеждой нескольких поколений.

Двор обширен и ухожен. На заднем плане вздымается древний амбар, превращенный в зернохранилище. Напротив старого дома сравнительно недавно построенный «Исключение», с застекленной верандой и фруктовым садом позади.

В сыроварне возится старая фру Берглюнд. Это ширококостная, приземистая женщина в просторном полосатом переднике, волосы повязаны тряпицей. Лицо сморщенное, беззубый рот. Сыроварня представляет собой просторное помещение, но только с одним окном, стены, пол и потолок выкрашены белой краской. Вдоль стен — широкие полки с сырами разных видов. В углу блестит ручной сепаратор. Фру Берглюнд колдует с литровым мерным черпаком на длинной ручке и крюком на конце.

— Мы сегодня забиваем двух телят, поэтому, Май, можешь передать фру Бергман, что будет телятина. И телячья печенка. Пастор обожает телячью печенку. Он ведь приехал сегодня? Наш парнишка сказал. Он был на станции, и Эрикссон сообщил ему, что пастор приехал сегодня трехчасовым из Стокгольма. Угостить молодого Бергмана медовой карамелью?

Фру Берглюнд, раскачиваясь на распухших ногах, идет к голубому шкафчику, расписанному цветами и различными фигурами, открывает дверцу и достает фарфоровую миску с пузатыми желтыми карамельками, похожими на подушечки. «Можно взять две»,— говорит старуха, обдавая Пу своим дыханием. Пу, надо сказать, никогда в жизни не видел такой уродины, даже тетя Эмма не идет ни в какое сравнение с этим жутким безобразием. «Поблагодари как следует»,— напоминает Май. «Чего?— говорит Пу и тут же, опомнившись, произносит с легким поклоном: — Большое спасибо». Он отламывает две карамельки и запихивает их в рот, щеки сразу раздуваются. «Вкусно, правда? — прищуривается фру Берглюнд. Глаза ее почти совсем исчезли за морщинами и коричневыми шишками. — Как насчет чашечки кофе, Май? Я сварила кофе для забойщиков». «Нет, спасибо, нам надо немедленно возвращаться,— говорит

Май приседая. Но все равно спасибо». «Ты доволен, что отец приехал в отпуск?» — спрашивает фру Берглюнд, кладя руку на голову Пу. Пу кивает. «Мы завтра поедем в Гронес, папа будет читать там проповедь». «Слыхала,— отвечает старуха, откидывая крышку бидона. — До смерти жалко, что я не могу быть на мессе в Гронесе, больно уж далеко. А «форд» наших ребят в Борленге, в ремонте». Фру Берглюнд провожает их до крыльца, но потом уходит на кухню — проверить пузатый кофейник. «Не забудь передать фру Бергман насчет телятины»,— напоминает она, улыбаясь беззубым ртом. «Не забуду. Спокойной ночи, фру Берглюнд». «Спокойной ночи, Май, спокойной ночи, маленький Пу».

На скотном дворе идет забой телят. Первый уже лежит на помосте со вспоротой глоткой, кровь толчками стекает в жестяную посудину. Старик Берглюнд, держа посудину, взбивает кровь. Два крестьянина помоложе накинули петлю на шею второго теленка. К петле привязывают веревку, и животное выводят на площадку. Один из крестьян прячет за спиной кувалду. Вокруг места казни робко мнутся трое младших Берглюндов. Молодая фру Берглюнд помогает свекру справиться с только что забитым теленком.

Пу застывает как вкопанный. Он видел, как режут кур— это бывает даже забавно, хоть и отвратительно: однажды петух выскользнул из рук и взлетел на крышу гумна, где несколько минут сидел, обезглавленный, хлопая крыльями, пока не свалился на землю. Но забой больших животных, например телят, Пу видеть не приходилось. Крестьянин бьет теленка кувалдой между глаз, раздается глухой треск. Теленок подпрыгивает и танцует, по глазу животного течет что-то коричневое. Еще один сильный удар, теленок падает, тут же поднимается и застывает с открытой пастью. Третий удар, передние колени у него подгибаются, и он валится на землю, дрыгая ногами.

Ветер в черешневом саду стих, смеркается, но небо внезапно очистилось и над горными грядами на западе окрасилось в огненно-желтый цвет. Внизу, у Воромса загудел вечерний поезд, направляющийся в Крюльбу, у станции он обретает второе дыхание, дым из паровозной трубы вздымается столбом, слышатся пыхтение и голос дяди Эрикссона. Опуская семафор, он разговаривает со станционным работником.

В дальберговском жилище, или «творении», как называет его дядя Карл, в столовой, на кухне и на нижней веранде зажгли керосиновые лампы. В материной комнате на втором этаже горит ночник для Малышки, она боится темноты. Когда смотришь на дом, или как его еще там можно назвать, стоя рядом с уборной, он весь мерцает изнутри и кажется волшебным обиталищем сказок и снов.

Взрослые собрались вокруг обеденного стола, освещаемого двумя лампами — одна под потолком, другая на столе. Мать вышивает на пяльцах, отец читает свежую газету, у обоих на носу очки, у матери очки беспрерывно съезжают на кончик носа. Тетя Эмма раскладывает пасьянс. Мэрта, склонившись над альбомом, рисует акварельными красками — из-под кисточки выходит точное изображение линнеи. Марианн читает толстенную биографию Рихарда Вагнера, в руке у нее карандаш, время от времени она что-то подчеркивает.

Даг и Пу на кухне едят бутерброды — хрустящие хлебцы с козьим сыром, запивая их еще теплым молоком. Лалла тоже сидит за кухонным столом и штопает чулок, она сняла с себя высокие ботинки и надела на ноющие ноги мягкие тапочки. Несмотря на удушливую жару, на плечи накинута шерстяная кофта. Очки круглые, в тоненькой стальной оправе. Возле нее на столе — последняя на сегодня чашка кофе.

— Завтра Преображение Господне,— объявляет Лалла, словно бы братьям Бергман следовало заинтересоваться подобным событием. — Завтра — день Преображения,— повторяет она,— и это особенный день.

— Почему? — спрашивает Пу из вежливости.

— В этот день Господь говорит с учениками. Они слышат громоподобный глас из облака, который глаголет: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте». Господь хотел сказать, что Иисус — его возлюбленный сын. Наверное, были люди, которые в этом сомневались.

— Ну и что в этом особенного? — недоумевает Даг, прихлебывая из стакана.

— Там, где я родилась и выросла, Преображение — день особенный.

— Чем особенный? — спрашивает Пу, которого против его воли начинает разбирать любопытство.

— Ну, к примеру, можно узнать, сколько ты проживешь. Ежели пойти на рассвете на место, где кто-нибудь покончил с собой, можно узнать немало. В наших краях было так.

— А ты пробовала? — насмешливо интересуется Даг.

— Я — нет, но моя сводная сестра пробовала.

— И что?

— Не скажу. Только без странностей не обошлось. Она, кстати, была воскресным ребенком.

— Чего? — разевает рот Пу.

— А я родился в четверг и вижу красивых девиц сквозь платье,— с невинным видом заявляет Даг.

Хрустят хлебцы, опустошаются стаканы с молоком. Лалла улыбается, блестят ровные мелкие вставные зубы, у нее светлая улыбка, сразу же освещающая ее серо-голубые глаза.

— В таких вещах нельзя знать, что правда, а что ложь. Пу видит то, чего не видит Даг. Пастор видит то, чего не видит фрёкен Энерут. Я вижу то, чего не видит Май. Каждый видит свое.

— Почему повесился Часовщик? — внезапно спрашивает Пу. Спрашивает, хотя не хочет спрашивать, но вопрос уже задан.

— Никто точно не знает,— говорит Лалла, а вид у нее при этом такой, что она-то уж знает точно.

— Расскажи, Лалла.

— Ты перепугаешься, Пу, и описаешься,— говорит Даг.

— Заткнись,— отвечает Пу с долей нетерпения, но без враждебности.

— Никто точно не знает,— повторяет Лалла. — Но говорят — я слыхала, — что он свихнулся от *страха*. Он был не местный, из Таммерфорса. Сперва обосновался в Кварнсведене, но тамошних часы не интересовали, и заработки у него были мизерные. Когда жена умерла от тифа, он перебрался в Борленге, а там в то время много чего происходило, и он прилично зарабатывал. Но люди считали его чудным. Нет, нет! Он всегда был приветливый и вежливый, так что тут ничего такого. И заказы выполнял аккуратно, наверняка был человек порядочный, но все равно его считали чудным.

— Почему он покончил с собой? — Пу расчесывает комариный укус на коленке. Бутерброд забыт. Даг тоже не может побороть скептического интереса. Лалла поняла, что слушатели у нее на крючке, и потому не торопится.

— В его лавке стояли напольные часы, черные, высокие, узкие, с золотыми вензелями вокруг циферблата. Можно было открыть верхнюю дверцу, там качался маятник, но почему-то имелась и нижняя дверца. А за ней пустота — или то, что *казалось* пустотой. Часы тикали задумчиво, с достоинством, мрачно отбивая каждые половину часа и целый час. Много лет ничего примечательного с этими часами не происходило. Напротив, они были послушные, шли минута в минуту и не требовали ремонта. Но вдруг в один прекрасный день их словно подменили. Они начали то отставать, то спешить, иногда на несколько часов в сутки. И когда им, к примеру, следовало бить два, они били семь. Или когда следовало отбивать целый час, они отбивали половину, а порой замолкали совсем, точно мертвые, а потом вдруг снова начинали идти. Тяжелая забота свалилась на голову Часовщика. Уж он их чинил и так и эдак, поменял механизм и колесики, гирю и маятник, даже стрелки. Ничего не помогало. В конце концов он перетащил часы в свою спаленку, которая служила ему и кухней,— темный чуланчик позади лавки. Ведь не мог же он позволить неисправным часам-скандалистам красоваться в лавке на всеобщее посмешище. Этого никак нельзя было допустить, понятное дело. Так вот и жил он с часами днем и ночью. По нескольку раз в день запирал лавку и мчался в чулан проверять, не взялись ли часы за ум. Ночью просыпался каждый час, прислушиваясь к бою часов, но понимал, что все идет наперекосяк. Однажды, когда он вынул часовой механизм, чтобы покопаться в нем, одна шестеренка выскочила точно сама по себе и глубоко порезала ему ладонь. Кровь из раны прямо-таки хлестала, заливая механизм и стол. Пришлось Часовщику бежать в больницу, где ему осмотрели рану и остановили кровь.

Как-то ночью он, вздрогнув, проснулся оттого, что часы пробили тринадцать, а может, четырнадцать ударов, хотя на самом деле было полчетвертого утра. Стояла зима, на улице было темно, но в комнате что-то светилось, и свет как бы сосредоточился вокруг нижней части часов, странный свет — ни сумерки, ни рассвет.

Часовщик сел в постели и вытаращил глаза.

В кухню на цыпочках входит босая Май. Она ставит на стол цветастую чашку с отбитой ручкой. Чашка доверху наполнена зрелой земляникой.

— Где ты нашла землянику в это время года? — удивляется Лалла, наверное, радуясь, что ее прервали, поскольку ее рассказу, как она понимает, искусственная пауза только на пользу. Она, видимо, загнала себя вместе с Часовщиком в какой-то угол, и теперь надобно найти выход.

— Над старой мельницей. Там всегда земляника созревает два раза за лето. Я пошла посмотреть шутки ради. А там все усыпано ягодами. Но потом быстро стемнело.

— Налей себе кофе, Май. В кофейнике еще осталось.

— Мы говорим о Часовщике,— сообщает Даг.

— Ах, вот оно что. Может, тебе, Пу, не стоит слушать такие страшные истории на ночь глядя?

— Да ну! Я не боюсь.

— Откуда все это известно про Часовщика? — спрашивает Даг.

— Последние годы он жил в маленьком домике в усадьбе у Андерс-Пера по дороге в Сульбакку — отсюда километра три. И Андерс-Пер сказал вашей бабушке, что Часовщик оставил письмо с надписью: «Вскрыть после моей смерти». Хотя, ясное дело, точно никто ничего не знает, потому как письмо читал только Андерс-Пер, а когда старик умер, оно пропало, ведь дети продали его шифоньер на аукционе.

— Ну рассказывай же,— просит Пу, и без того потрясенный до глубины души.

— Значит, так,— говорит Лалла, беря разбег. — Он увидел, как нижняя дверца часов вдруг начала открываться сама по себе. И оттуда, из мрака послышался чудной звук. Как я понимаю, больше всего похожий на плач. Но ничего не появилось. Часовщик почувствовал неописуемый ужас. Оставаться в кровати он был не в силах. Дрожащими руками он зажег свечу на тумбочке, слез с кровати и на цыпочках приблизился к часам. В руке у него был зажат подсвечник, от потрясения он забыл надеть тапочки, но даже не заметил, что пол ледяной, потому как камин погас и комнату выстудило.

— Ясное дело,— произносит Пу, стуча зубами.

— Да. Часовщик, значит, подкрался к часам и сразу приметил, что маятник качается медленнее обычного, казалось, он вот-вот остановится, но он не останавливался. И часовая, и минутная стрелки сдвинулись вниз и показывали на цифру шесть. Верхняя дверца была закрыта, а нижняя заскрипела и приоткрылась еще чуть-чуть. Часовщик в длинной ночной рубахе опустился на колени, открыл дверцу до конца и посветил свечой в темноту. Сперва он, конечно, ничего не увидел, но когда глаза немного попривыкли, обнаружил внутри еще одну дверцу, чуточку приотворенную. И тут он разглядел, кто плачет. Это было крошечное существо, женщина, она сидела скрючившись в глубине и безудержно рыдала. На ней была длинная рубаха, пышные черные волосы рассыпаны по плечам. Часовщик заметил, что часы окончательно встали и теперь слышались лишь горькие рыдания женщины да завывание ветра в дымоходе. Он протянул руку и дотронулся до этого крохотного создания, ростом не больше полуметра, но это был не ребенок и не карлик, а настоящая женщина. Дотронулся он до нее, и она подняла голову, открыла лицо, которое до того скрывали волосы и руки. И тут-то Часовщик смог увидеть ее лицо.

У нее были большие слепые глаза, совсем пустые, одни голубоватые белки, рот полуоткрыт, но зубов не видно, потому что рот и губы были в крови. Лицо узкое, бледное, можно сказать, кожа да кости, но с высоким лбом и красивым точеным носиком. Часовщику она, несмотря на свой крошечный росточек, показалась самой красивой женщиной на свете.

— И он, разумеется, влюбился в нее,— говорит Май.

— Не знаю уж, влюбился ли он в нее, но что-то, во всяком случае, произошло с беднягой Часовщиком,— вздыхает Лалла, стаскивая заштопанный чулок с грибка. Она кладет чулок на стол и разглаживает его рукой.

— А что потом? — нетерпеливо спрашивает Пу, дрожа от страха.

— Ну, освободил Часовщик крошку из ее тюрьмы, влажной тряпкой вытер ей губы и лоб, завернул ее в шаль и положил на свою кровать. Зажег керосиновую лампу, лег сам и принялся разглядывать женщину, которая закрыла свои слепые глаза. Скорее всего, заснула. Недолго он так пролежал, как вдруг черные часы заскрипели и затряслись, точно спятили. И начали бить, они били и

били без всякого порядка. Грохот поднялся *омерзительный*, другого слова не подобрать. Обе дверцы — и верхняя, и нижняя — открывались и закрывались с резким стуком, а маятник раскачивался туда-сюда. Часовщик понял, что часы рассвирепели и собираются убить его. Поэтому он кинулся в мастерскую и принес стальной молоток, у которого на одном конце был тяжелый боек, а на другом — острое лезвие. И принялся крушить им часы. Когда он одним ударом разбил циферблат, часы упали на него всей своей тяжестью — они ведь были выше Часовщика, человека невысокого и хрупкого сложения. Но Часовщику удалось увернуться, ему только ступню поранило. За секунду до того, как часы упали, в то мгновение, когда Часовщик своим молотком разбил циферблат, ему показалось, что за шестеренками и пружинками механизма мелькнуло искаженное злобой лицо. Злобное лицо с широко раскрытыми, слепыми, выпученными глазами и разинутым, орущим ртом, полным гнилых зубов. На лбу зияла широкая рана, из которой хлестала кровь. Это было, конечно, ужасно, но будет еще ужаснее. — Лалла допивает остатки кофе и ложкой выскребает со дна сахар. Май, Даг и Пу ждут, затаив дыхание и не сводя с нее глаз. Сейчас ни в коем случае нельзя прерывать.

— Ну так, *стало быть*,— наконец произносит Лалла, выдержав хорошо рассчитанную паузу. — Разбил Часовщик свои часы и, наверное, размозжил обитавшее в них существо. Но это не точно, это только догадка, в письме, оставленном Часовщиком, об этом не было ни слова. Все то время, пока Часовщик крушил часы, крошечная женщина орала и вопила как ненормальная, это был не человеческий крик, а звериный, она кричала, точно лиса, попавшая в капкан, или что-нибудь в таком роде. Часовщик пытался ее успокоить, но напрасно. Она продолжала кричать, а он прижимал ее к себе, гладил, говорил какие-то слова, может, даже посватался к ней, наверняка не знаю, но она все кричала и кричала, и Часовщик все больше приходил в отчаяние, он плакал и молился, словно речь шла о его собственной жизни. И речь действительно шла о его жизни. Да, и тут эта женщина стала ртом ловить его руки, но она ведь была слепая, так что он сумел увернуться. Вдруг она вырвалась из его объятий, скатилась на пол и на четвереньках поползла прочь. Стол с керосиновой лампой опрокинулся, в одном углу комнаты занялся огонь — не знаю, в письме об этом ничего не было. Но Часовщик бросился за ней, схватил ее, прижал к себе, стал целовать, а она укусила его в губы, да, страшная схватка произошла, обо всем, что случилось во время этой схватки, и не расскажешь. В конце концов Часовщику удалось дотянуться до своего молотка, и он раздробил женщину так же, как раньше разломал часы. Он почти потерял рассудок. Придя в себя, он выкопал яму в саду и схоронил в ней и женщину, и часы. Через несколько дней он бросил и мастерскую, и дом в Борленге и обосновался у Андерс-Пера по дороге в Сульбакку. А вскоре, и года не прошло, взял да повесился.

За пределами желтого круга керосиновой лампы сгущаются сумерки, о стекло ударился ночной мотылек. Из соседней комнаты слышится пение Марианн. Она поет без аккомпанемента, поет одну из «Songes»[1] Юнаса Луве Альмквиста.

Боже ты мой, как прекрасны
звуки из ангельских уст.
Боже ты мой, как сладостна
в звуках и песне смерть.
Спокойно, душа моя, в реку стремись,
в пурпурную реку небес.
Спокойно, блаженный мой дух, опустись
в Божьи объятья, в объятья добра.

Даг тихонько встает и ставит пустой стакан из-под молока в мойку. И исчезает, дверь в столовую бесшумно открывается и закрывается вновь.

— Дагге влюблен в Марианн,— говорит Пу.

— Такое маленькое дерьмецо, как Пу, в этом ничего не смыслит,— отвечает Май, щипля Пу за ухо.

Пу в восторге.

— Еще как смыслю. Он сам сказал. Говорит, что собирается стать оперным певцом, как и Марианн.

— Нехорошо ябедничать на брата, Пу. — Лалла поднимается и собирает

[1] Сборник песен Альмквиста. (*Здесь и далее — прим. перев.*).

швейные принадлежности в лубяную корзинку. — Между прочим, тебе пора спать.

— Я могу не ложиться до полдесятого.

— Кто это сказал?

— Бабушка.

— Ну так это у бабушки. А сейчас мы у Бергманов, и здесь положено ложиться в девять.

Пу со вздохом встает со стула, он думает про завтрашний день, много чего произойдет в день Преображения Господня. На рассвете он отправится на место самоубийства и, может, повстречается с Часовщиком, и еще он должен с отцом ехать в церковь Гронеса.

— Что с тобой Пу плохо себя чувствуешь?

— Чего? — разевает рот Пу.

— Закрой рот, Пу. Я спрашиваю, ты плохо себя чувствуешь? — Май пристально смотрит на маленькую фигурку.

— Вовсе нет, черт подери,— вздыхает Пу,— просто так *много* всего.

— Идем послушаем немножко Марианн, а потом я уложу тебя. Идем же, не стой с разинутым ртом. Ты должен следить за собой, человек с разинутым ртом выглядит глупо.

— Знаю. Только идиоты ходят с разинутыми ртами.

— Спокойной ночи, Пу,— говорит Лалла. — Не забывай, что ты воскресный ребенок.

— Да,— кивает Пу, ощущая тяжесть собственной избранности. — Да.

— Спокойной ночи, Май. Я иду к себе.

— Спокойной ночи, фрёкен Нильссон.

— Спокойной ночи, Пу.

— Спокойной ночи, Лалла.

Лалла спускается по кухонной лестнице к бараку с тесными каморками. Май кладет руку на худенький затылок Пу и, подталкивая, ведет его в столовую.

Марианн поет в сумерках. Лампы погашены, комната освещается лишь двумя свечами, стоящими на широкой буфетной стойке. Марианн сидит на вертящейся табуретке, чуть подавшись вперед, руки сложены на животе. Черные глаза широко раскрыты, она поет голосом, рождающимся и живущим в ее теле. Я тоже влюблен в нее, грустно думает Пу.

Мать сидит у обеденного стола, поддерживая голову рукой, глаза закрыты. Пу вздыхает: в маму я влюблен больше всего. Мне хочется чувствовать ее дыхание на лице, но сейчас я не решусь подойти к ней. Да, лучше оставить ее в покое. Пу опускается на стул с высокой спинкой возле двери в прихожую. Со второго этажа тихонько спускается сонная Малышка, в руках у нее плюшевый мишка Балу. Пу перехватывает ее на пороге и сажает к себе на колени. Она не сопротивляется и тут же засовывает в рот большой палец. Длинные ресницы подрагивают, касаясь щеки, она прижимается к Пу, он очень любит сидеть в сумерках, держа в объятиях свою сестренку.

Отец отодвинул стул от стола, очки подняты на лоб, глаза прикрыты рукой, он снял левый ботинок, видно, как в носке шевелится большой палец. Тетя Эмма спит в своем удобном кресле, голова ее покоится на подушке. Рот раскрыт, дыхание простуженное, иногда переходящее в легкий храп. Глаза Мэрты устремлены в одну точку, взгляд мягкий и печальный. Она мерзнет, несмотря на духоту. Щеки горят. У нее наверняка температура.

Даг и Пу обитают в комнате, которая, из-за отсутствия при постройке дома какого-либо плана, имеет форму вытянутой до бесконечности гардеробной размером два на семь метров. Потолок скошен, и у квадратных окон нельзя стоять, выпрямившись во весь рост, если ты выше ста трех сантиметров. Вдоль стены друг за другом стоят две дрянные железные кровати с провисшими сетками. Между окнами — раскладной стол, сейчас он сложен. Два непарных стула и шаткий шкаф с зеркалом завершают обстановку.

Пу спит, а может, не спит. Даг читает книгу в красном переплете, или, возможно, лишь разглядывает фотографии в ней. На стуле — подсвечник с зажженной свечой, от него исходит неяркий свет. Пу выглядывает из-под одеяла.

— Чего читаешь?

— Не твое собачье дело.

— Это та самая книга с голыми тетками?

— Иди погляди. Но это будет тебе стоить пять эре.

Пу мгновенно достает монету из картонной коробки: «Вот тебе твои пять эре».

Братья углубляются в красную книгу. Она называется «Nackte Schönheit»[1]. Даг, который уже два года учит немецкий, знает, что это значит. На картинках — мужчины и женщины, они позируют, бегают, прыгают, пьют кофе, поют вокруг костра. Все — голые. Даг показывает: «Смотри, какой роскошный парик на мышке, ты когда-нибудь видел такой куст!» На фотографии — худая тетка, прогибающаяся назад, чтобы сделать мостик. Фотография снята против света. «А мне больше нравится вот эта, — заявляет Пу, сосредоточиваясь на полной девушке, бегущей на камеру. — По-моему, она похожа на Марианн».

— Иди к черту, *ничуточки.*

— И все-таки она хороша,— говорит Пу, чувствуя, как начинают гореть щеки. — Правда, хороша. Так и хочется укусить.

— Ненормальный,— отзывается Даг, захлопывая книгу. — Тебе вредно смотреть такие картинки. Будем спать.

— Кто тебе дал книгу?

— Никто не давал, я купил ее, идиот.

— У кого?

— У дяди Карла, разумеется. Заплатил полторы кроны. У дяди Карла вечно нет денег. Если бы он смог, он бы и бабушку продал.

— Как думаешь, от тети Эммы мы что-нибудь получим?

— Чтобы избавиться от этой бабы-яги, надо еще приплатить. А вот Лалла, пожалуй, могла бы кое-что оставить.

Несколько минут темно и тихо.

— Дагге?

— Заткнись, я сплю.

— Как ты думаешь, Май трахается с Юханом Берглюндом?

— Заткнись. Она трахается с папашей. Неужто не знаешь, идиот.

— С папашей?

— Хватит болтать. Заткнись.

— А Марианн? Разве с папашей не она трахается?

— Она тоже. Ты ведь знаешь, папаша у нас помешан на траханье. Он прыгает на всех женщин, кроме Лаллы и тети Эммы.

— И с бабушкой тоже трахается?

— Ясное дело, но только на Рождество и на Пасху. Да заткнись же наконец.

С кровати Дага доносится слабое, ритмичное поскрипывание. Пу собирается что-то сказать, но воздерживается. Он не знает точно, чем занимается его брат в этот момент, но подозревает, что чем-то жутко запретным.

— Дагге?

— Да заткнись же, черт бы тебя взял.

— Как ты думаешь, мамаша с папашей сейчас трахаются?

— Хочешь, чтобы я тебя вздул?

Короткая пауза. Ритмичный скрип кровати становится громче.

— Дагге?

— О-о.

— Что ты делаешь?

Ответа нет. Кровать затихает.

— Дагге? Ты спишь?

Ответа нет. Пу из-за отсутствия собеседника засыпает практически мгновенно. Наконец-то беспокойные обитатели дальберговского жилища погрузились в сон.

С горного утеса подул ночной ветер, зашумели сосны, черешни и ревень. Мелкий дождик пролился на нагретую толевую крышу, но почти тут же прекратился.

Скрипит лестница, и на пороге комнаты братьев возникает тетя Эмма. Поверх ночной рубахи на ней длинная ночная кофта. На голове вязанный крючком ночной чепец, волосы заплетены в тугой, седой хвостик. Она тяжело дышит после трудного подъема.

---

[1] «Обнаженная красота» (*нем.*).

— Вы спите, мальчики?

Бормотание, сонное бурчание.

— Я вынуждена попросить одного из вас мне помочь.

— Чего?

— Мне надо в уборную.

— Чего?

— Мне срочно надо в уборную. Кто-нибудь должен пойти со мной, подержать фонарь и помочь. Я не справлюсь одна, я упаду.

— Тетя Эмма, а вы не можете сходить в ведро?

— Видишь ли, Даг, мне надо *по большим делам*.

— А вы не подождете до утра, тогда Май или Мэрта помогут.

— Понимаешь, Даг, я не могу терпеть. Я вчера съела полкоробки инжира. Ох, как болит живот и давит.

— *Я* помогу вам, тетя Эмма,— учтиво говорит Пу. Он немедленно слезает с кровати и всовывает ноги в сандалии. Даг отворачивается к стене.

— Ты так добр к старой тетке, милый Пу. Получишь крону за беспокойство.

— Если вам так надо, я, конечно, могу пойти,— говорит Даг, садясь в постели.

— Нет, спасибо. Спи спокойно. Я не хочу тебя беспокоить.

И вот процессия двинулась. Пу — впереди со старым фонарем в левой руке. Правая рука крепко держит жирную маленькую ладошку тети Эммы. Тетя Эмма осторожно переставляет ноги, пыхтя от напряжения и болей в животе. Время от времени на незначительном подъеме она останавливается, с плеч свисает одеяло. Опять пошел мелкий дождик, но от травы и камней на тропинке поднимается дневное тепло.

Наконец процессия добирается до места назначения. Фонарь ставится на одну из крышек, а старая дама со стоном устраивается на самом широком очке. Пу сидит снаружи на ступеньках и расчесывает комариные укусы. Дверь на всякий случай открыта. В гигантском животе тети Эммы громыхает и бурчит. Глухие пахучие хлопки разрывают ночную тишину. За тощей спиной Пу пыхтение и сопение. Что-то тяжелое шлепается в бочку, потом слышится резкий звук мощной водяной струи. Писает как лошадь, думает про себя Пу. Большим и указательным пальцами он осторожно зажимает нос, но так, чтобы тетя Эмма не увидела и не смутилась. Затем становится тихо.

— Вы закончили, тетя Эмма?

— Нет, нет. Не торопи меня.

— Если хотите, мы можем всю ночь здесь просидеть.

— Ты добрый малыш, Пу.

— Живот очень болит?

— Даже не знаю. Да, все еще болит. Не знаю, милый Пу. Мне так грустно. Вся тетя Эмма — сплошная грусть. Эти запоры и поносы, никакого порядка. Иногда мне кажется, что кишки и желудок, да и душа заодно вылезут наружу и я, наверное, умру. И тогда я думаю о всей той пище, что я в себя запихивала, и даю себе клятву быть в будущем поосторожнее, не есть того, чего мне нельзя. Но на следующий день нарушаю клятву и снова мучаюсь. Ой, ой. Ох, ой. Ну вот, опять начинается. По-моему, я умираю.

Трубы с сурдиной и глухие удары расстроенного барабана. Громадная фигура, слабо освещаемая дрожащим светом фонаря, раскачивается, сжимается и распрямляется, жирные ноги мотаются взад и вперед, локти прижаты к бокам. Ой. Ой.

— Ну вот, конечно же, кровь пошла. Этот гадкий геморрой, никак его не заткнуть. Твоей тетке пришлось ночным чепцом кровь останавливать. Почему Бергманы не могут позволить себе настоящую туалетную бумагу? Почему пастор должен пользоваться газетой? Я с удовольствием заплачу. Ай, опять начинается, а я уж...

Пыхтение прекратилось, Пу больше не слышит дыхания тети Эммы. Он оборачивается. А вдруг тетя Эмма сидит там мертвая, уставившись на него широко раскрытыми, безжизненными глазами? Есть отчего испугаться. Но она не умерла. Дело в том, что старая дама закрыла лицо руками. Она сидит выпрямившись, ночная рубаха задрана высоко на мощные ляжки, волосы в беспорядке после того, как она содрала с себя ночной чепец — сидит, закрыв лицо руками, молча раскачиваясь. Может, плачет?

— Вам грустно, тетя Эмма?

— Да.
— Почему?
— Это ад, малыш.
— Чего?
— Да.

Она отнимает руки от лица, и Пу видит слезы, блестящими ручейками бегущие по дряблым щекам. Тетя Эмма кладет пальцы на фонарь и склоняет на них голову. Тень на стене вырастает до необъятных размеров. И тетя Эмма начинает говорить, голос у нее необычный:

— Старость — это ад, понимаешь, милый Пу. А потом смерть, тоже веселого мало. И все вздыхают с облегчением и получают в наследство чуток денег и немного мебели. Слава Богу, что эта старая карга наконец-то сдохла. Она никогда ни о ком не заботилась. Вот и осталась в одиночестве! А умерла от обжорства, это точно. Хотя варила вкусное рождественское пиво, этого отрицать нельзя.

Тетя Эмма шуршит газетой, водружает ночной чепец на нужное место, подтягивает длинные розовые штаны, после чего опускает рубашку. Пу помогает ей преодолеть две ступеньки, ведущие от сортирного трона. Протянутая ему рука холодная и влажная. Тетя Эмма неуклюже похлопывает Пу по голове. Над горами и кромкой леса уже появилось слабое предрассветное мерцание.

Пу спит сном измученного человека. Может, ему снится, что он летает, или что он, совсем маленький, лежит голый на голом животе Май, или что он наконец получил власть убивать. Сперва он убьет брата, а потом должен умереть отец. Но сначала отец будет молить, плакать и кричать от страха. Но он должен умереть, это неизбежная необходимость. Король приказал Пу убить отца, так что тут и рассуждать не о чем.

Кто-то сказал, что «страх облекает в плоть и кровь причину страха». Это хорошее правило, которое распространяется и на маленьких детей, таких, как Пу, например. С прошлой зимы он испытывал регулярно возвращающийся страх, что мать с отцом больше не хотят жить вместе. А вызван этот страх был тем, что Пу стал невольным свидетелем короткой потасовки между родителями. Обнаружив, что за ними наблюдают, они тут же прекратили драться и захлопотали вокруг Пу, который от ужаса не мог сдержать рыданий. У отца на щеке были следы от ногтей. У матери растрепались волосы, губы дрожали, глаза почернели, нос покраснел. Родители начали энергично объяснять, что взрослые, как и любой ребенок, тоже иногда могут сильно гневаться друг на друга. Но все эти разговоры и объяснения мало помогли. Пу был напуган, и не столько в этот раз, сколько позже. Страх овладевал им исподволь, и Пу стал внимательно приглядываться к отцу и матери. Он заметил, что порой у них появляются особое выражение лица и особые голоса. Отец бледнел, глаза белели, и голова его незаметно тряслась. Мать источала запах металла, а ее нежный, теплый голос становился отрывистым, точно ей не хватало воздуха. Пу хотел поговорить об этом с братом, но Даг, с насмешкой поглядев на Пу, лишь рассмеялся: «Мне плевать на этих господ. По мне, пусть катятся к черту. Главное, чтобы меня оставили в покое и чтобы этот чертов бандит, который утверждает, будто он мой отец, перестал меня лупить плеткой». Пу прикусил язык и ушел в себя. Проблема осталась.

Сейчас он пробуждается от своего глубокого сна. Чувство такое, будто ему несильно дали под дых, он в растерянности, не понимает, в какой действительности находится: то ли в своей собственной, подчиняющейся и подконтрольной ему, Пу, действительности, которая, правда, населена странными образами и фигурами, но все равно это его действительность, легко узнаваемая; или же в другой, новой, вселяющей ужас, начавшей овладевать его мыслями и чувствами. Через секунду после пробуждения он знает, что именно вырвало его из сновидений. Он слышит голоса из материной комнаты — негромкие, иногда переходящие на шепот. Это мать и отец ведут своего рода беседу, Пу не узнает их голосов, или, вернее, их голоса напоминают ему о прежних мгновениях внезапного ужаса — *дьявольщина*, что это еще такое? Что это еще за шепчущие, ускользающие, чужие нотки посреди ночи? Пу клацает зубами, черт подери, надо послушать, подойти к двери и послушать, что они говорят. Пу слезает с кровати и встает босыми ступнями на линолеум. Он холодный, и Пу пробирает дрожь, хотя тепло еще не ушло из узкой как пенал комнаты.

Он сразу видит, что дверь в материну комнату полуоткрыта, и занимает стратегическую позицию на лестничной площадке: отсюда можно наблюдать, не будучи замеченным. Мать сидит в постели, обхватив руками колени, ночная рубашка съехала с круглого плеча, волосы на ночь еще не заплетены. Густые черные волосы струятся по спине, лицо в неверном предрассветном свете бледно. Цветочные гирлянды на роликовых шторах, нежно-зеленые стены. Китайская ширма вокруг умывальника, небольшие пейзажи (акварели, написанные дядей Эрнстом), солнечно-желтый лоскутный ковер, сейчас все кругом серое, и все движется, медленно, медленно. Отец расположился на белом стуле с высокой спинкой. На нем короткая ночная рубаха с красным кантом, ноги босые, руки сцеплены. Пу кажется, будто отец смотрит прямо на него, но глаза невидящие, скорее всего, он не видит ничего, кроме собственного горя. Фигуры родителей врезались в память. Я до сих пор помню эту картину. Я могу вызвать ее перед собой сейчас или в любой другой момент, как только пожелаю, я могу вспомнить страх, вызванный расстоянием и неподвижностью. Мгновение, ставшее последним, роковым ударом по представлению о том мире, который Пу держал под полным контролем и в котором даже привидения и наказания были доказательством того, что действительность подчинялась ему самому. Это представление распалось или растворилось, ничего после себя не оставив. Короля свергли с престола, и заставили покинуть свое королевство, и как самого ничтожного и жалкого изо всех ничтожных и жалких вынудили исследовать отобранную у него страну, не имевшую, к его ужасу, границ. Там сидела мать, обхватив руками колени, там сидел отец на стуле с высокой спинкой, сцепив пальцы и устремив взгляд в какую-то точку за левым ухом Пу. Я не помню, какие слова были сказаны, я помню картину целиком и холод с пола, мне кажется, я помню интонации и аромат материных цветов и ее мыла. А слов не помню. Они выдуманы, построены на догадках, реконструированы шестьдесят четыре года спустя.

— Это унизительно,— говорит отец, глубоко вздыхая.

— Я ведь сказала, что тебе необязательно приезжать.

— Я должен был приехать по очень простой причине. Я тоскую по тебе и детям, я не хочу быть один. Хватит с меня одиночества.

— Эрик, пожалуйста, попробуй быть терпимее. Мы ведь все так рады тебе, надеюсь, ты это заметил? Заметил?

— Да, мне кажется, что... но это так унизительно. А тут еще заявляется твоя мамаша с этим паяцем Карлом. И даже не спрашивает, не помешала ли нам.

— Сейчас ты просто несправедлив. Мама взяла на себя труд прийти сюда только затем, чтобы с тобой поздороваться.

— Она пришла, чтобы оконфузить меня. Я знаю эту низкую женщину. Какое торжество для нее — мы живем в этой отвратительной развалюхе, в этой отвратительной местности. Против *моего* желания. Против моего *ясно высказанного* желания.

— Не думала, что служитель Божий имеет право носить в себе столько ненависти.

— Я не способен простить того, кто хочет меня уничтожить.

— Это чудовищно.

— Вот как, чудовищно?

— Да, чудовищно. Ты сейчас говоришь прямо как твоя бедная мать. Ты говоришь как маньяк.

— Я не способен простить человека, который ненавидит меня за то, что я вообще существую на свете.

— Ты говоришь точно как тетя Альма!

— Мы были не такие благородные. Вот именно. Не такие благородные. Разумеется.

— Послушал бы ты свой тон.

— А ты бы послушала свой, когда говоришь «твоя бедная мать».

— Чем мы, собственно, занимаемся?

— Мы не имели возможности ходить в театры и ездить в Италию и в Мёсеберг, и у нас не было денег, чтобы покупать новейшие романы.

— Помолчи лучше, тебе мои деньги доставляли не меньше удовольствия, чем мне и детям.

— Верно.

— Поэтому ты не смеешь так говорить.

— Верно.

— Ужасно, когда ты так говоришь.

— Может, и ужасно. Но это не я настаивал, чтобы мы поселились в этой дорогой квартире на Виллагатан. Нам было хорошо и на Шеппаргатан.

— Там не было солнца, и дети стали хворать.

— Твоя обычная отговорка.

— Доктор Фюрстенберг сказал...

— Я *знаю*, что сказал доктор Фюрстенберг.

Мать собралась было ответить, но передумала. Она начинает грызть ноготь, ее переполняет бешенство. Она молчит, накачивает себя. Пу видит, что отец, собственно, уже сдался, искоса глядя на жену, он становится у белого письменного стола, его фигура четко вырисовывается на фоне белого прямоугольника роликовой шторы. Тишина разбухает, внушая все больший страх. Теперь у отца другой голос.

— Ты молчишь?

— По-твоему, я должна что-то сказать?

— Ну можешь хотя бы сказать, о чем ты думаешь.

Отец испуган, это заметно.

— Значит, я должна сказать, о чем я думаю? — с расстановкой произносит мать.

Отец молчит, мать тоже. Когда она начинает говорить, голос ее спокоен, как снег. Пу чувствует, как у него заныли ноги, желудок свело, на глазах невольно выступили слезы. Он не желает слышать то, что намерена сказать мать, но не в силах сдвинуться с места, ноги не слушаются, и он вынужден стоять и слушать.

Итак, мать заговорила. Голос ее спокоен, она разглядывает указательный палец с содранным заусенцем, на нем выступила капля крови.

— Ты хочешь знать, о чем я думаю? Так вот, я думаю о том, что часто приходило мне в голову в этот последний год. Или, если быть откровенной до конца, с того времени, когда родилась Малышка.

— Может, я не хочу,— слабым голосом произносит отец.

— Зато теперь хочу *я*, и ты мне вряд ли помешаешь.

— Я уйду.

— Ну-ну, не смущайся. Пора, наверное, хоть раз поговорить откровенно. Полезно, наверное, наконец-то узнать истинное положение вещей.

Мать смотрит на него с легкой улыбкой.

— Я уже давно собиралась забрать детей и уехать от тебя на какое-то время. — Тишина. Фигура у окна замерла в неподвижности. Мать, повернув голову, не спускает с отца глаз. — Я хочу переехать в Уппсалу, там на верхнем этаже в нашем доме есть свободная пятикомнатная квартира, которую я могу снять за небольшую плату. Окна выходят во двор, квартира тихая, солнечная, только что после ремонта, с ванной и со всеми удобствами. Дагу и Пу до школы совсем близко, только улицу перейти. И Май наверняка согласится перебраться в Уппсалу, за Малышкой присматривать будет. А я намерена поступить на работу. Я уже написала сестре Элисабет, и она ответила, что мне будут рады. И потом, я буду ближе к брату Эрнсту, и к маме, и к моим друзьям... не спрашивая... без твоего... без... ревности... и я получу немножко свободы... я... свободы...

За роликовой шторой на березах затрещали утренние сороки, подул ветер, штора выгибается. Отец, опустив голову, что-то чертит пальцем на бюварной бумаге столешницы. Пу окаменел, напуганный до смертной тишины.

— Значит, ты хочешь сказать, что мы разводимся?

— Этого я не говорила.

— Ты хочешь развестись и ты намерена бросить меня?

— Эрик! Успокойся и постарайся услышать, что я...

— Ты уходишь и забираешь с собой детей.

— Я *никогда* не имела в виду развод...

— Это Торстен напичкал тебя такими идеями?

— Нет, не Торстен.

— Но ты говорила с ним.

— Конечно, говорила.

— Говорила о нас с посторонним.

— Но он наш лучший друг, Эрик! И желает нам добра.

— И разумеется, с мамочкой, и, конечно же, с Эрнстом, твоим высокоуважаемым братом, и еще с сестрой Элисабет! С кем ты *не* говорила? Ах, какой стыд, какой стыд. Ты говоришь со всеми, но только не со мной. Потому что, как мне кажется, у тебя слабость слушать посторонних, а меня ты слушать отказываешься.

Пронизанная горечью нерешительность. Пу по-прежнему не в состоянии сдвинуться с места, вот то, чего он боялся больше всего на свете, конец без помилования, наказание без прощения, вышвырнутый во мрак, он падает в яму, набитую острыми камнями, и никто не пойдет его искать, никто не вытащит его из мрака.

— Ну, как бы там ни было, а теперь ты знаешь, чего я хочу,— говорит мать после затяжного молчания. — Ты спросил и теперь знаешь.

— А если бы я не спросил?

— Не знаю, Эрик. Не знаю. Я ждала случая, но была не уверена.

— А сейчас, насколько я понимаю, уверена вполне.

— Эрик, пожалуйста, иди сюда, сядь рядом на кровать. Ты так далеко, а нам ведь надо попытаться распутать этот узел. Вместе. Я не хочу причинять тебе боль.

— Вот как, не хочешь.

Голос пастора звучит скорее печально, чем иронично. Он тяжело садится в изножье кровати, подальше от жены. Она пытается дотянуться до его руки, но безуспешно.

— Как тяжко, Эрик. Я не хочу причинять тебе боль.

— Ты уже говорила.

— Когда ты приезжаешь сюда, то не находишь себе места, все время мечешься. А у нас масса дел по дому. И ты всегда так нервничаешь перед своими проповедями, и у нас вечно не хватает времени куда-нибудь поехать, а если в кои веки мы и выбираемся, то на мои деньги, и ты из-за этого злишься и дуешься. А еще у меня приходские обязанности, и домашнее хозяйство, и дети, и мне бывает порой очень тяжело.

Отец закрывает рукой лицо и коротко всхлипывает. Зрелище непривычное и страшное. Мать встает на колени, чтобы дотянуться до его щеки, погладить, но он уклоняется и встает.

— Ты уходишь? — потерянно спрашивает мать.

— Пойду прогуляюсь. Мне сейчас не помешает.

— Сейчас, ночью?

— Сию минуту.

— Я пойду с тобой.

Мать собирает в узел пышные волосы, готовясь спрыгнуть с кровати. Босая ступня изящна, с высоким подъемом.

— Я иду с тобой.

— Нет, спасибо, Карин. Мне необходимо побыть одному.

— Ты не можешь уйти вот так.

— Не тебе решать, что мне делать.

— Не уходи. Хуже нет, когда ты вот так уходишь.

Отец, направившийся уже было к двери, останавливается и оборачивается. Голос его спокоен и ясен.

— Одну вещь ты должна твердо усвоить, Карин. Ты в последний раз угрожала бросить меня и забрать детей. *В последний раз*, Карин! Ты и твоя мать. С меня довольно унижений.

— Это была не угроза.

— Тем хуже. Значит, мы теперь все друг про друга знаем.

— Очевидно.

— Я всегда был одинок. А теперь наступает настоящее одиночество.

Отец выходит, и Пу беззвучно скрывается за дверью детской, отец спускается по скрипучей лестнице, прихватив по дороге свою одежду, которая лежит на стуле возле гардеробной. Пу раздумывает, не пойти ли ему за утешением к матери. Мог бы, например, сказать, что у него болит живот и поэтому он не в состоянии заснуть, это срабатывает, когда мать в нужном настроении. Но что-то ему говорит, что вряд ли он дождется утешения именно сейчас. Пу украдкой заглядывает в комнату. Мать сидит, выпрямившись, на кровати, босая ступня на полу, она всхлипывает без слез и рукой проводит по щеке и лбу, словно снимая невидимую паутину. Всхлипывает еще раз и еще, потом глубоко вздыхает: да, тяжко.

Наперебой закричали деревенские петухи, один живет у Берглюндов, другой — у садовника Тёрнквиста.

Пу долго стоит в раздумье и наконец принимает решение. Да, так он и сделает, именно так. Все равно уже нет никакого смысла возвращаться в постель и натягивать одеяло на голову, как будто ничего не случилось, теперь, когда привычный мир раскололся вдребезги прямо у тебя на глазах. Пу прокрадывается в детскую и быстро одевается: вылинявшая рубаха, обрезанные трусы, шорты и фуфайка, сандалии в руке. Проскользнуть вниз по лестнице, стараясь не наступать на скрипучие ступеньки. В животе свербит от усталости и возбуждения, что-то ужасное сжимает его тощую грудную клетку, но он не плачет, плакать нельзя, прощения больше нет, обращаться с мольбами и слезами к Богу бессмысленно, Богу явно наплевать на Пу. Пу это давно подозревал. Ангелы-хранители улетели, размахивая крыльями, а Бог про него забыл. Может, Бога-то и нет вовсе. Кстати, это было бы на Него похоже. Небесный свод бел и безоблачен, солнце, громыхая, выкатывает свое исполинское колесо прямо под утесом Юрму. Река, прежде черная, превратилась в расплавленное серебро, уже почти день, в фуфайке жарко. В деревьях шумит ветер, неуверенно пробуют крылья птенцы ласточки.

Пу сразу же видит отца. Тот сидит на шаткой садовой скамейке под верандой. На нем рубашка без воротника и поношенные летние брюки, на ногах — тапочки, на плечи наброшена старая кожаная куртка. Он курит трубку. Трава покрыта росой, ноги у Пу становятся мокрыми. Он подходит к скамейке и присаживается.

Отец удивленно смотрит на сына.

— В такой час и на ногах?

— Хотел сходить в лес.

— Вот как? И можно спросить зачем?

— Посмотреть, не встречу ли привидение.

— Привидение?

— Призрак.

— И где?

— На месте самоубийства.

— Часовщика?

— Я ведь воскресный ребенок.

— Ты и правда веришь в привидения?

— Лалла и Май говорят, что они существуют.

— Ну, раз так...

Разговор иссякает. Отцовская трубка булькает. Когда она гаснет совсем, он разжигает ее вновь, и Пу втягивает в себя запах, который он любит.

— Трубочный дым хорош от комаров,— говорит отец.

— Да, так рано, а комарья-то вон сколько,— вежливо отзывается Пу.

И вновь воцаряется молчание. Солнце вывалилось на горную гряду, уже белое и неистовое, Пу закрывает глаза, под веками жжет.

— Поедешь со мной в Гронес? До Юроса доберемся на поезде, а оттуда на велосипеде километров десять.

Отец, повернув свое большое лицо к Пу, смотрит на него голубыми глазами и, вынув изо рта трубку, повторяет вопрос. Пу молчит, он попал в практически безвыходное положение — у отца тяжело на сердце, он хочет, чтобы Пу поехал с ним. Пу не может ответить отказом.

— Я вообще-то собирался заняться железной дорогой, уложить рельсы, начиная прямо от уборной, где у меня будет конечная станция, до березы — там я установлю стрелки и поворотный круг. Йонте хотел прийти поиграть со мной, он обещал.

— Понятно. Можешь не отвечать прямо сейчас. Подумай.

Ласково улыбаясь, отец выбивает трубку о скамейку. На палец Пу села божья коровка. Тяжесть в груди не проходит.

— Мы поедем на этом маленьком товарном поезде, который отходит из Дуфнеса в девять утра по воскресеньям, в нем только вагоны для перевозки леса и один старый пассажирский. Прихватим что-нибудь поесть, а по дороге купим «Поммак»[1].

[1] Яблочный напиток.

Они сидят на расстоянии метров двух друг от друга. Роса испарилась, над рекой полоса тумана, день будет жаркий.

Теперь на минуту бросим взгляд в будущее. Год 1968-й. Отцу исполнилось восемьдесят два, он недавно овдовел. Живет в пятикомнатной квартире на Эстермальме. Хозяйство ведет сестра Эдит. Она сестра милосердия церковной общины, ей пятьдесят восемь, статная женщина в расцвете женственности, с теплыми карими глазами, опушенными длинными ресницами. Крупный, охотно смеющийся рот, широкие, сухие ладони. Сестра Эдит когда-то проходила конфирмацию у отца и стала другом семьи. Говорит она на четком хельсингландском диалекте.

Отец был тяжелый инвалид, он страдал наследственной атрофией мышц, ходил в ортопедических ботинках, опираясь на палку, его красивые руки с длинными пальцами усохли. Между отцом и сестрой Эдит установились безмолвные, но проникнутые любовью отношения. Им явно было хорошо вместе.

Я поднимался вверх по южной стороне Гревтурегатан. Стояли последние дни зимы, шел дождь со снегом, на тающие сугробы и плохо посыпанный песком обледенелый тротуар падал резкий, но не прямой свет. Вот уж год, как мы с отцом жили во внешнем примирении и вежливом взаимопонимании. Но это отнюдь не означало, что ради этого мы копались в осложнениях, неприятии, недоразумениях и ненависти прошлого. Мы никогда не говорили с ним о наших ссорах длиною в человеческую жизнь. Но внешне наше ожесточение испарилось. Для меня ненависть к отцу была редкостной болезнью, которая когда-то давным-давно поразила кого-то другого, не меня. Теперь я помогал отцу в его денежных и некоторых других практических делах — задача не слишком обременительная. Я навещал его и сестру Эдит каждую субботу во второй половине дня, проводя у них по нескольку часов. Вот об одном таком визите я и расскажу.

Я сел в лифт, который со скрипучим эстермальмским достоинством поднял меня на последний этаж. Позвонил в дверь — два коротких звонка. Сестра Эдит открыла сразу же. Приложив указательный палец к губам, она прошептала, что нам надо быть потише: отец на час продлил свой послеобеденный отдых, ночь прошла беспокойно, мучили боли в бедре и спине. Я, тоже шепотом, предложил сестре Эдит поговорить о делах. Хорошая мысль, согласилась она и спросила, не хочу ли кофе или чаю, она как раз испекла булочки. Нет, спасибо, я прямо от стола, обедал с руководителями скандинавских театров, нет, спасибо. Сняв пальто и промокшие зимние ботинки, я сунул ноги в одни из отцовских тапочек, и мы расположились в комнате сестры Эдит. Комната, окна которой выходили на улицу, была не очень большая, но уютная: светлые обои, красивые картины и репродукции пастельных тонов, легкие занавески, уставленные книгами полки, небольшой двухместный диван и кресло, часы с маятником, украшенные искусными резными гирляндами. Кровать застлана широким, вязанным крючком покрывалом желтых тонов. У окна — белый письменный стол и два стула. Мы сели за стол. Эдит вынула папку и показала мне для порядка оплаченные счета, квитанцию о снятии денег с банковского счета и письмо от домовладельца о повышении с первого июля квартплаты. Прочитав письмо, Эдит вздохнула.

— Хуже всего, Ингмар, что Эрик постоянно беспокоится о своем финансовом положении. Хотя я его уверяю, что у нас все в порядке.

— Я поговорю с отцом.

— Пожалуйста, Ингмар, скажи ему еще раз, что я не собираюсь его бросать, и самое главное, что ты не намерен отдавать его в больницу для хроников.

— Вот как. Так-так. Он это утверждает?

— Он считает, что мы хотим забрать у него квартиру.

— Квартиру?

— Он иногда говорит, будто мне и тебе, Ингмар, нужна его квартира. И это только вопрос времени, когда мы заставим его лечь в больницу для хроников. И от этого он приходит в ужасное отчаяние, и ничего не помогает.

— А как ты, Эдит, себя чувствуешь?

— Я почти всегда хорошо себя чувствую. Меня беспокоит лишь одно — что твой отец, Ингмар, пребывает в таком горе. И что он живет в полной изоляции. Он страшно мучается, а я, хоть и рядом, ничем не могу помочь. И потом еще Смерть.

— Смерть?

— Честно говоря, мне кажется, что твой отец, Ингмар, боится смерти. Он прямо не говорит, но я знаю мысли Эрика. А поскольку он не желает показывать своего страха, то и тут остается в одиночестве. И делается раздражительным, бранится по мелочам. Ну, мне-то все равно. Пусть ворчит и бранится. Он же ничего плохого не имеет в виду. А иногда, уж слишком распалившись по поводу какой-нибудь ерунды, уходит из дома и возвращается с цветами для меня. Так что, как там ни говори, а нам с ним хорошо вместе. Но вот Смерть — это, пожалуй, тяжело. В этом я не могу ему помочь, и я не понимаю его страха. Ведь он все-таки священник и должен был бы верить в милосердие Христа. Но по-моему, он потерял веру. Бедный Эрик, какой опорой он был для стольких людей, и для меня тоже, для меня в первую очередь. У него была сильная и чистая вера, да ты сам знаешь, Ингмар, порой он прямо-таки светился верой и убеждением. Год спустя после смерти Карин мы часто беседовали о чуде воссоединения. Он был убежден, что они с Карин встретятся в мире ином, очищенные и просветленные. В наших разговорах присутствовала неподдельная радость, и я думала, как милосерден Господь, поддерживая в старом человеке такую уверенность в собственном воскресении. Не знаю, Ингмар. Я вот всплакнула, но ты не обращай внимания. Просто мне жалко твоего отца, Ингмар, он такой хороший человек. За что ему выпало такое, такое опустошение? Это жестоко, и я не понимаю смысла. Он мне очень дорог, и я действительно хочу сделать все, чтобы он обрел хоть немного покоя и радости в последние годы своей жизни.

Сестра Эдит высморкалась с негромким трубным звуком. Она определенно принадлежала к тем редким людям, которые становятся красивее, когда плачут. Она вытерла нос и смахнула с глаз слезы. И засмеялась.

— Я тоже малость чокнулась, разнюнилась как девчонка. Ты правда не хочешь чаю, Ингмар? Уже четыре. Может, мне все-таки пойти разбудить настоятеля? Ты спешишь, Ингмар? Погоди-ка! По-моему, я слышу его шаги. Да, он идет! Пока не забыла, я получила копию твоего денежного перевода, будет лучше, если ты возьмешь ее, Ингмар.

Сестра Эдит встала с той живостью в движениях, которая проистекает от твердости души и самоочевидной радости. В коридоре раздались гулкие шаги отца. Он шел, тяжело переставляя ноги в ортопедических ботинках, постукивала палка. Он постучался, Эдит крикнула «входите», и отец открыл дверь. Я уже было приподнялся, чтобы пойти ему навстречу, но что-то меня остановило. Стоя на пороге комнаты, он смотрел на нас отсутствующим взглядом. Жидкие волосы растрепаны, одно ухо — багровое. Он был в своем старом темно-зеленом халате, пропахшем сигарами, ладонь с синими прожилками судорожно вцепилась в ручку палки.

— Я только хотел узнать, не вернулась ли Карин,— пробормотал он, глядя на нас с Эдит, но не узнавая. — Карин уже вернулась?

В ту же секунду лицо его изменилось.

С болезненной стремительностью он осознал, где он и какова реальность: Карин умерла, а он опростоволосился. Улыбнувшись жуткой улыбкой, он извинился — простите, я еще не совсем проснулся.

— Здравствуй, сын, зайдешь ко мне ненадолго?

Он повернулся и зашаркал по темному коридору в свою комнату. Эдит застыла с папкой в руках.

— Ничего страшного! Не бойся, Ингмар. Эрику иногда кажется, что Карин где-то здесь, рядом. Он страшно огорчается, обнаружив свою ошибку: из-за того, что Карин мертва, а еще больше из-за того, что он опростоволосился. Я сейчас пойду к нему. А ты приходи через четверть часа.

Отец наклоняется к Пу: «По-моему, ты засыпаешь. Не пойти ли тебе лечь? Еще только пять. Три часа вполне можешь поспать». Пу мотает головой, молча: нет, спасибо, я хочу остаться здесь и смотреть на солнце. Я хочу быть рядом с отцом. Не спускать с него глаз, чтобы он, чего доброго, не испарился. Меня клонит в сон, но мне грустно. Нет, я не намерен ложиться и нюхать утреннюю канонаду и дерьмо моего братца, я, кстати, всегда проигрываю, когда мы соревнуемся. Пу широко зевает и мгновенно, как будто повернули выключатель, засыпает. Голова его свесилась на грудь, раскрытые ладони лежат на досках скамейки. Волосенки на затылке стоят дыбом, солнце припекает щеку. Отец, застыв, наблюдает за сыном. Трубка погасла.

Во сне Пу идет по лесу — знакомому и в то же время незнакомому. Журчит и плещется ручей. Над головой бегают солнечные зайчики. Он в тени, но все равно душно. Он движется вперед против собственной воли. Но вот он останавливается и озирается, это, без сомнения, место самоубийства, ждать недолго. Ручей журчит, а вообще кругом тихо, беззвучно снуют муравьи в муравейнике и на тропинке. Здесь уже нет разгорающегося солнечного света, здесь серая тень и удушливая жара, но тем не менее холодно. Пу замерз, он садится на корточки. За раздвоенной елью какое-то движение, Пу видит спину Часовщика. Тот стоит сгорбившись, жидкие волосы рассыпались по грязному воротнику. Вот он оборачивается и смотрит на Пу пустыми выпученными глазами без зрачков, черный от запекшейся крови рот раскрыт, брови настолько светлые, что их почти незаметно, лоб чересчур высокий, серый, весь в пятнах. Не хочу, это неправда, не хочу видеть этого, я не могу заплакать и не могу убежать, Часовщик высосал у меня все силы, чтобы явиться передо мной, я об этом где-то слышал, наверное, Лалла говорила: привидения пользуются жизненной силой людей, чтобы сделаться видимыми, поэтому человек и коченеет, теперь я попался, я сейчас задохнусь. Пу говорит что-то, клацая зубами: прошу прощения, я вообще-то не хотел приходить сюда, но я все равно здесь. Со мной что-то не в порядке, если я делаю такие вещи. Я не помню, как сюда попал — а вдруг это сон? Вдруг на свете так устроено, что я вижу сон, я сплю и больше никогда не проснусь.

Страх омывает Пу горячей струей, все его тело терзает неудержимая боль. Часовщик стоит лицом к Пу. Ветка частично скрывает привидение. Фигура покачивается, поднимая ветер, хотя кругом безветренно. Воскресный ребенок, стало быть, день Преображения Господня, стало быть. Теперь надо спросить. И Пу спрашивает, а не получив ответа, повторяет вопрос: *Когда я умру*? Часовщик задумывается, а потом Пу кажется, будто он слышит шепот, невнятный, неразборчивый из-за крови во рту и онемевших губ: Всегда. Ответ на вопрос: *Всегда*.

Слабое дуновение пробегает по лесу, где-то кричит галка. Часовщик покачивается на ветру, голова его отделяется от плеч и шеи, она приближается, и Пу почти не сомневается, что пробил его последний час, только вот интересно, куда голова вопьется зубами — в его голые руки или в колени. Черты лица расплываются, но выражение злобное. Тут ветер меняет направление, и лицо расползается, глаза повисли под ветвями ели, они гаснут, все привидение словно бы гаснет, руки всасываются в землю, сначала правая, кулаки разжимаются, и черные ногти падают как гнилые яблоки. Часовщик складывается пополам, и Пу видит красный след от веревки и кости, торчащие из горла. Все происходит внезапно, очень быстро, вот он исчез, остался лишь запах, запах плесени, точно под линолеумом в детской.

Пу с усилием стряхивает с себя сон и широко раскрывает глаза, чтобы его хитростью не заманили обратно в иной мир. Отец набивает трубку. Рядом с ним Марианн, она пришла с реки, с купания. Черные коротко остриженные волосы плотно облепили голову, лицо обращено к солнцу. На ней брюки и тонкая майка, сквозь ткань проступают очертания груди. Она босая. Отец говорит, что, мол, скоро семь и пора бриться. Марианн рассказывает, как было здорово искупаться там, у плота, хотя бревна прорвали ограждение и беспорядочной кучей застряли в береговом иле. Но все равно здорово, она была одна и могла купаться голой. Вода жутко холодная, градусов двенадцать-тринадцать, не больше, но говорят, в этом году река особенно холодная. «Слава Богу, есть шхеры,— говорит отец, зажигая трубку. — Там не утонешь в прибрежном иле».

— Пу едет в Гронес?

— Не знаю. Я спрашивал, но он, похоже, особого энтузиазма не испытывает.

— *Я* могу поехать,— предлагает Марианн.

— Разве ты не останешься с Карин?

— Я с удовольствием совершу велосипедную прогулку.

— Так, так,— с серьезным видом кивает отец.

— С тобой.

— Пу, наверное, будет рад, если ему не придется ехать.

— Мы могли бы поехать все втроем.

— Он собирался строить железную дорогу между уборной и песочной кучей. И Йонте обещал прийти помочь.

— Ну так как? Что скажешь? — спрашивает Марианн.

— Было бы неплохо,— отвечает отец с сомнением в голосе.

Пу потягивается и громко зевает.

— Я еду с тобой в Гронес,— говорит он решительно.

Отец и Марианн немного удивленно смотрят на Пу: так ты, значит, не спишь, вот это да. «Не сплю,— говорит Пу,— но сейчас пойду лягу и высплюсь. А в Гронес я поеду». Он поднимается, со слипающимися глазами трусцой заворачивает за угол, поднимается по лестнице в детскую, скидывает с себя одежду и сандалии, бухается в жалобно заскрипевшую кровать и зарывается головой в подушку. Он спит, не успев заснуть.

Без десяти восемь, Май безжалостно его тормошит. Даг, уже успевший одеться, приносит из материной комнаты графин и обливает брата. «Перестань,— кричит Пу, Даг хохочет. — Дерьмо чертово»,— кричит Пу защищаясь. Даг, отступив, кидает в брата сандалию. Май, дабы конфликт не кончился братоубийством, встает между ними.

Пу вынужден претерпеть еще кое-какие неприятные испытания. Май заставляет его почистить зубы, вымыть уши и постричь ногти. Кроме того, приходится надеть на себя чистую одежду: свежую майку, от которой чешется кожа, свежую рубашку, которая ему длинна, и чистые трусы. «Черт, до чего от тебя всегда воняет мочой,— враждебно говорит Даг,— ты что, не расстегиваешь ширинку, когда писаешь?» Из гардеробной приносят воскресные штаны — синие шорты с жесткими стрелками и идиотскими помочами. Пу протестует, но Май неумолима и готова, если потребуется, прибегнуть к насилию. «Высморкайся! — приказывает она, держа чистый носовой платок перед носом Пу. — Не понимаю, откуда у тебя столько козюлей в носу?»

— Это потому, что Пу все время ковыряет в носу пальцем,— поясняет Даг, присутствующий при унизительном одевании. — Ежели чего найдешь, поделимся, ладно? — И Даг с грохотом скатывается с лестницы. Пу садится на кровать, на него наваливается свинцовая сонливость. Май выходит из гардеробной. «Что случилось?»— спрашивает она участливо. «Меня тошнит»,— бормочет Пу. «Поешь, и сразу станет лучше. Пошли, Пу!»

Кишки ворочаются и дрожат, твердая какашка давит на задний проход, просясь наружу. «Мне надо по-большому,— несчастным голосом говорит Пу,— очень надо». «Сходишь после завтрака»,— постановляет Май. «Нет, мне надо сейчас»,— шепчет он, чуть не плача. «Тогда поскорее беги в уборную!» «Мне надо сейчас»,— повторяет Пу. «Бери ведро»,— говорит Май, подталкивая ногой эмалированное ведро, наполовину заполненное грязной водой после умывания. Она помогает Пу с помочами и стаскивает с него шорты и трусы. Еще минута, и было бы поздно. «Живот болит, чертовски болит»,— жалуется Пу. Май садится на край кровати и берет его руку. «Через несколько минут пройдет»,— утешает она.

С лестницы кричит Мэрта: «Пу там? Пора завтракать. Пу там? Эй! Май!» — «У Пу болит живот,— кричит Май в ответ, не выпуская его руки. — Придем, когда придем».

«У Пу болит живот»,— передает Мэрта матери. Обе стоят на лестнице. «Сильно болит?» — спрашивает мать. «Ничего страшного, мы уже почти закончили»,— успокаивает Май. В столовой разговоры и возня, звон посуды и столовых приборов. «Ну, значит, скоро придете»,— говорит мать спускаясь.

Лоб у Пу в испарине, сквозь загар проступила бледность. Глаза совсем ввалились, губы пересохли. Май гладит его по лбу. «Во всяком случае, температуры у тебя нет, значит, ничего серьезного, правда? Фу, какая вонища, может, ты чего не то съел?» Пу мотает головой, и еще одна волна спазмов сотрясает его тело. «Черт, дьявол, дерьмо, — выдавливает он сгибаясь. — Черт. Дьявол. Дьявольщина». «Тебя что-то заботит?»— спрашивает Май. «Чего?»— разевает рот Пу. На секунду спазмы отпускают. «Ты чем-то расстроен?» — «Не-е». — «Чего-нибудь боишься?» — «Не-е».

Приступ прошел, щеки Пу приняли свой обычный цвет, дыхание восстановилось. «Мне надо подтереться». «Можно вырвать лист из альбома для рисования,— предлагает Май. — Хотя бумага слишком плотная, пожалуй. Возьмем вот эту красную шелковку». «Нет, черт побери,— говорит Пу,— это же шелковка Дагге, он обычно заворачивает в нее свои самолеты, если мы ее возьмем, он меня пришьет». «Я знаю,— решительно говорит Май,— возьмем фланельку для умывания, ничего не поделаешь. Я постираю ее потом. Поднимай попу, Пу. Вот так, теперь славно, да?»

За завтраком мизансцена приблизительно та же, что и за обедом. Единственное различие — более строгие костюмы, ведь сегодня воскресенье, воскресенье двадцать девятого июля и, как уже говорилось, Преображение Господне. Обеденный стол накрыт не белой скатертью, а желтой узорчатой клеенкой. С люстры свисает медный ковш с полевыми цветами.

Воскресное утро, восемь часов. В берґмановской семье царят обычаи воинства Карла XII. В будни завтрак в половине восьмого, по воскресеньям на полчаса позже — вялая уступка матери, которая любит немного поваляться в постели по утрам.

Отец же, напротив, утром бодр, он уже успел искупаться в реке, побриться и перечитать свою проповедь. Предстоящая поездка привела его в состояние прямо-таки веселого возбуждения. Пу вместо обычной овсянки дали тарелку горячей размазни. Ароматной нежной размазни и ломоть белого хлеба с сыром. Приготовленных собственноручно Лаллой. Возражать никто не осмеливается, хотя и владыки-родители, и еще кое-кто из присутствующих считают, что размазня — это каприз Пу, а любые виды капризов способствуют зарождению и развитию всяческих грехов. Но никто не осмеливается протестовать против размазни, приготовленной Лаллой,— ни мать, ни отец, никто другой. Пу хлебает, он весьма доволен, но молчит. Боль улеглась, уступив место приятному оцепенению. Лаллина размазня заполняет сосущую пустоту, согревает изнутри — ведь от желудочных колик весь леденеешь.

Дверь в прихожую и дверь на крыльцо распахнуты настежь. Песчаная площадка сверкает в ярком свете.

— Сегодня будет жарко,— говорит мать. — Уж не грозы ли нам ждать. — Каждый высказывается по поводу возможной грозы. Тетя Эмма совершенно уверена, ее колени предсказывают непогоду уже несколько дней. Лалла говорит, что простокваша в погребе осеклась, впервые за это лето. Мэрта утверждает, что тяжело дышать, у нее красные круги под глазами, на верхней губе капельки пота, наверное, температура. Отец весело замечает, что небольшая гроза не повредит, крестьянам нужен дождь. «Если пойдет дождь, будет хороший клев,— вставляет Даг, злорадно ухмыляясь. — Выдержит ли дождь мой бедный братишка? А уж как он грома боится, просто жуть».

Разговоры продолжаются. Мы разговариваем, а жизнь проходит, где-то сказал Чехов, и так оно, наверное, и есть. Проем двери на крыльцо внезапно заполняет круглая, чуть пошатывающаяся фигура. Это дядя Карл с небольшим чемоданом в руке. Он смущенно улыбается. «Ой, привет, Карл! — кричит отец. — Заходи съешь чего-нибудь, и выпить найдется. У тебя, клянусь, вид такой, будто ты масло продал, а деньги потерял!» «Входи и садись, милый Карл,— говорит мать. В ее голосе сердечности несколько меньше, чем у отца. — Что-нибудь случилось, почему ты с чемоданом?» «Подать прибор?» — спрашивает Мэрта, приподнимаясь со стула. «Нет, нет, не беспокойся,— бормочет Карл, вытирая пот грязным носовым платком. — Можно я посижу немного?»

Не дожидаясь ответа, он семенит через столовую, отпуская поклоны направо и налево, и устраивается на диване возле окна. Отец достает из буфета бутылку и рюмку: «На здоровье, брат!» Карл осушает рюмку одним глотком, стекла пенсне запотевают. «Спасибо, Эрик, ты истинный христианин, проявляешь милосердие к ничтожнейшему из ничтожных».

— Что-нибудь случилось? — повторяет вопрос мать, строго глядя на брата. Карл с каким-то боязливым видом протирает запотевшее пенсне. И конфузливо смеется:

— Случилось и случилось! Все время что-то случается, не так ли? Время разбрасывать камни и время собирать камни, как написано в Писании.

— Но ты, похоже, собрался уезжать? — по-прежнему весело спрашивает отец.

— Во всяком случае я собираюсь переехать.

— Переехать? И куда же ты собрался переехать? Позволь спросить. — В голосе матери появился холодок.

— Точно не знаю. Но главное — сохранить свое человеческое достоинство.

— Что случилось!? — Третий раз. Теперь мать скорее обеспокоена, чем строга. Карл водружает пенсне на нос и поворачивается. Присутствующие с интересом наблюдают за ним.

— Я лучше поговорю с Эриком. Этот разговор не для детей и малявок.

— Оставайся здесь, отдохни, а вечером поговорим,— быстро предлагает отец, ни единым взглядом не посоветовавшись с матерью. — Сейчас мне некогда. Мы с Пу едем на велосипеде в Гронес читать проповедь. Но мы наверняка вернемся к обеду в Воромсе.

Голубые глаза дяди Карла наполняются слезами. Он несколько раз кивает в подтверждение достигнутой договоренности.

— Ты золотой человек, Эрик!

Мать подает знак, все встают и читают молитву: «Благодарим Тебя, Господи, за трапезу, аминь». «Выходим ровно без четверти девять,— приказывает отец и смотрит на свои золотые часы, которые висят на цепочке и заводятся маленьким ключиком. Потом обращается к дяде Карлу: — Если хочешь остаться на несколько дней, это можно устроить. Мы потеснимся. Не правда ли, Карин?» Но мать не отвечает, она лишь качает головой и уходит на кухню, прихватив с собой миску с кашей.

— Хочешь заработать двадцать пять эре? — спрашивает Даг, дружески улыбаясь Пу. Одна рука у него спрятана за спиной. Они стоят за кухонной лестницей, где Пу только что помочился, хотя это запрещено.

— Еще бы.

— Ладно. Вот смотри, я кладу монету. — Даг кладет двадцать пять эре на ступеньку. Вид у него таинственно-возбужденный.

— И что мне надо сделать?

— Съесть вот этого червяка.

— Чего?

— Закрой рот, у тебя глупый вид.

— Я должен съесть этого червяка?

Даг держит извивающегося дождевого червя перед носом Пу.

— Ни за что.

— Ну, а если я тебе дам пятьдесят эре?

— Нет. Ни за что!

— Семьдесят пять эре, Пу! Это большие деньги.

На крыльце появляется пудель Сюдд, облизывающийся после завтрака. Он угодливо виляет хвостом, приветствуя свое божество, а на Пу, антагониста, бросает презрительные взгляды.

— Зачем тебе надо, чтобы я съел этого червя? Ведь противно же.

— Ребята поручили мне испытать твое мужество.

— Чего-чего?

— Ну да, если ты окажешься достаточно мужественным, ты сможешь стать членом нашего тайного союза и вдобавок заработаешь семьдесят пять эре.

— Давай крону.

— Спятил, что ли? Крону! За крону надо съесть, по крайней мере, какашку тети Эммы.

— А у тебя есть семьдесят пять эре? — с подозрением спрашивает Пу.

— Вот смотри, пожалуйста. Три блестящих монетки по двадцать пять эре. Прошу. А вот червяк. Ну!

— Я съем половину.

— Это что еще за глупости! Либо ты ешь червя целиком, либо вообще ничего. Я так и знал. Ты трусливое дерьмо и никогда не войдешь в наш союз, правда ведь, Сюдд?

Даг поворачивается к Сюдду, который открывает рот, вываливая длинный язык. Сюдд ухмыляется, это очевидно.

— Давай сюда твоего чертова червяка,— говорит Пу в бешенстве от жадности и злости. Он засовывает червя в рот и начинает жевать, он жует, жует, жует. Глаза наполняются слезами. Пу продолжает жевать. Червь извивается, крутится под языком, один его конец пытается улизнуть через отверстие в уголке рта, но Пу запихивает его обратно. И глотает, глотает, глотает. Желудок бурно протестует, но Пу подавляет протест.

— Все, съел,— говорит он.

— Открой рот, я проверю.

Пу разевает рот, брат проверяет — долго и тщательно. Потом велит Пу захлопнуть пасть, чтобы червяк не выскочил. Затем собирает монетки и зовет Сюдда.

— Что за дела, черт! — кричит Пу.

Даг оборачивается и сокрушенно говорит:

— Мы с ребятами решили проверить, насколько ты глуп. Ежели ты настолько глуп, что ешь дождевого червя за семьдесят пять эре, то ты слишком глуп, чтобы состоять в нашем союзе, и абсолютно слишком глуп, чтобы получить семьдесят пять эре.

Пу бросается с кулаками на брата, но получает сильный удар под ложечку, а Сюдд в то же самое время вцепляется ему в штанину. У Пу перехватывает дыхание, и он садится на ступеньку. Даг и Сюдд удаляются, весело болтая. Во дворе они встречаются с Марианн. Пу не слышит их разговора, но подозревает, что они строят какие-то интересные планы. Он сражается с червем в желудке, раздумывая, не стоит ли ему блевануть, засунуть два пальца и блевануть, но колеблется — такого удовольствия брату он не доставит. В эту минуту жизнь не стоит ни шиша: Дождевой червь в животе и месса в Гронесе! Пу совсем сник — никому на свете сейчас так не погано, как ему.

Папа сидит в беседке с дядей Карлом. Он курит первую после завтрака трубку, а дяде Карлу предложена сигара и еще одна рюмка. Дядя Карл говорит безостановочно, отец подбадривающе улыбается. С чего бы это отец вдруг так расположился к нему? Но вот отец смотрит на часы и говорит, наверное, что им с Пу пора идти, если они не хотят опоздать на товарняк, который именно по воскресеньям имеет обыкновение прибывать минута в минуту. Отец поднимается и похлопывает Карла по руке. На главное крыльцо выходит мать с зеленым отцовским чемоданчиком и зовет Пу. Даг выводит велосипед, поклажу привязывают к заднему багажнику. Передний багажник предназначен для Пу. Марианн втыкает букетик колокольчиков в петлицу отцовского пиджака. Выбегает Мэрта со своим фотографическим ящиком, она обожает фотографировать. Тетя Эмма после завтрака посетила уборную и сейчас, осторожно переваливаясь, спускается по тропинке. Под мышкой у нее зажат номер «Евле дагблад». Из кухни выходит Лалла с уложенными в пакет припасами на дорогу, который в ходе некоторой дискуссии запихивают в чемоданчик: там лежат отцовские брыжи, чистая белая рубашка, пасторское облачение и сама проповедь. А вдруг бутылка с молоком разобьется и зальет облачение и проповедь? Сперва бутылку намереваются положить на дно, а одежду сверху, потом молоко вовсе отвергают: настоятель ведь приглашает на кофе, а отец обещал Пу «Поммак», они его купят в лавке на обратном пути.

Теперь Мэрта будет фотографировать, она хочет, чтобы мать тоже была в кадре, вроде бы как прощалась с отцом, но мать отказывается — нет, спасибо, пусть позируют только путешественники. В конце концов получается следующий снимок: отец стоит в несколько деревянной позе, держась за сильно вывернутый вверх руль. На нем легкий пиджак и шляпа. Черные пасторские брюки он надел на себя — они не поместились в чемоданчике, штанины внизу прихвачены зажимами. Белая рубашка без воротника и ботинки дополняют экипировку. Пу в уже описанном одеянии плюс белая льняная панама, которая ему чуть великовата и потому покоится на его оттопыренных ушах. Лицо в тени. Он уже сидит на переднем багажнике, разведя в стороны длинные ноги.

Все говорят, перебивая друг друга, желают приятного путешествия, мать сообщает, что бабушка перенесла обед на целый час, они просто не имеют права опоздать. Тетя Эмма предупреждает, что будет гроза, совершенно точно будет гроза.

Вдали, у выпасов, над далекими горами чернеет полоса туч, белые облака тонкими пальцами тянутся к центру небосвода. «Предвестник грозы»,— говорит тетя Эмма. Мать целует Пу и по меньшей мере два раза велит ему быть поосторожнее, чтобы не попасть ногой в спицы переднего колеса. Дядя Карл машет сигарой из беседки: «Хорошего улова душ, уважаемый брат!» Даг вертится вокруг Марианн, а Сюдд вокруг Дага. Май стелет постель в материной комнате на втором этаже. Отодвинув широкую кружевную занавеску на единственном открывающемся окне, она окликает Пу и машет ему рукой. Пу вяло машет в ответ. На Май выходное летнее платье с вырезом каре, когда она наклоняется, Пу видит ее грудь. Копну недавно вымытых рыжих волос не в силах удержать никакая коса, и ее милое конопатое лицо словно охвачено кольцом огня.

Путешествие начинается с головокружительного спуска. Отец — опытный, но рисковый велосипедист. Пригорок, ведущий от дальберговского жилища, ухабист и каменист, к тому же узок и, как сказано, крут.

Выбравшись на проезжую дорогу, отец принимается жать на педали. «Черт, до чего жарко,— говорит он, снимает шляпу и протягивает ее Пу. — Держи крепко».

Товарняк уже стоит на станции, и маневровый паровозик усердно маневрирует — тяжело груженные вагоны с лесом пойдут на лесопильню в Йимон, пустые вагоны — на склад в Иншён, а три вагона, до верху забитые душистыми, свежераспиленными досками остаются на станции Дуфнес для дальнейшей отправки на строительство нового дома Добрых тамплиеров. Тормозные кондуктора, вылезшие из своих тесных будок, прогуливаются по платформе, кто-то пьет пиво прямо из горлышка, закусывая его бутербродом, кто-то курит трубку, станционный работник мечется между двумя южными стрелками у моста, паровозик, пыхтя, подает назад, два мужика возятся со сцеплениями, звенят буфера и тяжелые железные крюки. Солнце стоит прямо над излучиной реки.

Отец и Пу заходят в контору и здороваются с дядей Эрикссоном: «Вот как, господин пастор собирается ехать в такой ранний воскресный час, да еще с сыном?» «Я читаю проповедь в Гронесе»,— объясняет отец. «Значит, тогда на поезде до Юроса, а оттуда на велосипеде, я полагаю?» Дядя Эрикссон вынимает из ящичка кассы маленький коричневый бумажный билет и пробивает его компостером. «Велосипед надо сдавать в багаж?»— интересуется отец. «Нет, можете взять с собой в купе. По воскресеньям пассажиры садятся только в Лександе».

Со второго этажа спускается фру Эрикссон. Шея ее изуродована зобом, глаза чуть не вылезают из орбит. Она сердечно улыбается беззубым ртом. В руках — чашка с кофе. «Я подумала, что господин пастор не откажется выпить чашечку,— говорит фру Эрикссон на своем диалекте Орса. — А маленький Пу хочет карамельку, да?» Она вынимает из кармана передника липкий кулек и угощает Пу собственноручно приготовленными красно-белыми карамелями. Пу кланяется и благодарит. «А как ваши дела, фру Эрикссон?» — спрашивает отец, глядя прямо в выпученные глаза фру Эрикссон. «Да не слишком хорошо, господин пастор. На прошлой неделе была в больнице в Фалуне, потому как по ночам сильно задыхаться стала. Доктор сказал, что меня надо оперировать, он хочет удалить часть щитовидки, но я не знаю, хотя задыхаться вот так ужасно, но я ведь каждый день принимаю йодистую соль, правда, она мало помогает, мне все хуже и хуже. А вид у меня — страшно смотреть. Прошлым летом зоб был не виден, он за эту зиму такой жуткий сделался. Это все началось, когда я заболела туберкулезом и потеряла... да вы, господин пастор, сами знаете... да, не слишком хорошо, а там наверху такая духота, в спальне у нас по вечерам солнце, иногда я перетаскиваю матрас сюда, в зал ожидания. Тут ведь окна на север и всегда чуток прохладно. Как-то приехал инспектор, увидел матрас и сказал, что в зале ожидания спать нельзя, это запрещено, а Эрикссон заявил ему, что ему плевать и пусть, мол, инспектор, ежели хочет, подаст на нас в суд, ну тот и испарился.

Пу залез на стол у окна, выходящего на станционную площадь — его больше интересуют усилия маневрового паровозика, нежели зоб фру Эрикссон. Посасывая карамель, он следит за двумя вагонами с древесиной — от легкого толчка паровоза они сами послушно катятся на запасной путь у здания станции. Один из мужиков положил на рельсы тормозную колодку, и тяжелые вагоны смиренно останавливаются, слегка дернувшись взад и вперед, точно живые.

— Они закончили,— кричит Пу, слезая со стола. — Все готово! — Пу хочется поскорее в путь, предстоящая поездка в поезде, пусть и короткая, вызывает у него легкую лихорадку. «Что же, тогда поехали, господин пастор». Дядя Эрикссон достает свою форменную фуражку и красный флажок, на древке которого прикреплена зеленая пластинка. Когда подают сигнал пластинкой, это означает «готов к отправлению». Отец опустошает чашку до самой гущи, благодарит и пожимает руку. «Я поговорю с моим хорошим другом, профессором Форсселем о вашей болезни, фру Эрикссон. Возможно, он найдет какой-нибудь выход».

— Спасибо, спасибо, не утруждайте себя, господин пастор.

Один из тормозных кондукторов помогает занести велосипед и чемоданчик в маленький пассажирский вагон в конце состава. Вагон допотопный, выкрашенный в серо-зеленый цвет, с дверями посередине. Интерьер спартанский: двенадцать коротких деревянных скамеек друг напротив друга, по шести по обе стороны прохода. Возле каждой второй скамейки стоит плевательница, пол устлан истертым коричневым линолеумом с узором, в одном торце возвышается железная печка. Окошки открыты, впуская летнее утро. На потолке — две стеклянные чаши, в которых упрятаны газовые светильники. В вагоне пахнет проолифенным деревом и железом.

Пу висит на окне, он в возбуждении, он поедет на поезде, через несколько секунд дядя Эрикссон даст знак, паровоз выпустит черное облако, и вагоны покатятся по рельсам. Отец нашел газету «Борленге-постен» и углубился в раздел «Публичные сообщения»: «В церкви Гронес пастората Гагнеф завтра, в воскресенье в одиннадцать часов утра состоится проповедь пастора Эрика Бергмана из Стокгольма. Во время богослужения состоится причащение святых даров Господних».

Но поезд все никак не трогается, Пу с опасностью для жизни высовывается из окна, чтобы выяснить причину. Дядя Эрикссон читает какие-то бумаги, а станционный работник объясняет и жестикулирует. Паровоз пыхтит и вздыхает, словно жалуясь на утомительную жару и предстоящие подъемы. На втором этаже станционного домика за занавеской мелькает обезображенное лицо фру Эрикссон.

Но вот послышались голоса, и Пу поворачивается в другую сторону. Там бодро шагают Марианн, Даг и дядя Карл. В руках у них удочки, а Даг несет за ручку жестяную банку для червей, в крышке которой проделаны дырочки. У дяди Карла на спине ранец — это снедь.

— Привет,— кричит Марианн. — Вы еще не уехали?

— Куда собрались? — спрашивает отец, становясь рядом с Пу у узкого окошка.

— Удить рыбу в Холодном ручье,— трубит дядя Карл. — Ма должна вот-вот прийти, и сестричка Карин отправила нас на прогулку. Она сочла, что будет лучше поговорить с Ма наедине. Я, во всяком случае, ничего против не имел.

Наконец поезд, тяжело скрипя и усердно выпуская клубы дыма, трогается. Все машут руками. Пу мельком замечает, что Марианн обнимает Дага за плечи. Губы у него растягиваются от восторга, и он энергично машет рукой брату. Они исчезают из вида, в лицо бьет встречный ветер и едкий угольный дым.

На повороте под горой паровоз свистит, вагон бросает из стороны в сторону, стучат на стыках колеса. Вот они покидают реку и ныряют в лес. Паровоз старается изо всех сил, пошел подъем, деревянный вагончик трещит и трясется. «Сядь на скамейку,— велит отец. — Нельзя так висеть на окне, это опасно». Схватив Пу за брючный пояс, он стаскивает его вниз. Отец с сыном сидят друг напротив друга, отец продолжает читать газету.

— Пап!

— Да? — Отец опускает газету.

— Что такое история?

— Рассказ о прошлом.

— Тогда смерть дедушки — история.

— История бывает разная. Есть большая история — история войн и королей, всего народа, а есть малая — история семьи. Таким образом, можно сказать, что дедушкина смерть — тоже история.

Отец сидит подавшись вперед, локти на коленях, пальцы переплетены. Он внимательно смотрит на сына. Когда отец с кем-то разговаривает, кто бы это ни был, он смотрит собеседнику прямо в глаза и сосредоточенно слушает.

— Вам, папа, не нравится жить с нами в Дуфнесе?

— Мне не слишком по душе Дуфнес, только и всего. Я люблю маму и моих детей, а Дуфнес нет.

— Почему?

— Я чувствую себя взаперти, если ты понимаешь, что я хочу сказать.

— Не понимаю.

— Я не распоряжаюсь собой.

— А кто распоряжается? Бабушка?

— Можно и так сказать.

— Поэтому вы и ненавидите бабушку.

— Ненавижу?

Отец, улыбаясь уголками рта, разглядывает свои сцепленные пальцы.

— Даг утверждает, что папа и бабушка ненавидят друг друга.

— У нас с твоей бабушкой разные точки зрения по множеству вопросов. Почти по всем. Ну вот мы и ссоримся. Ты должен это понимать.

— Угу.

— Иногда бывает страшно тяжело. Особенно летом. Мы вынуждены жить бок о бок, и тогда чуть что начинаются всякие неурядицы. Зимой, когда бабушка живет в Уппсале, а мы в Стокгольме, легче.

— Я люблю бабушку.

— И продолжай ее любить. Бабушка любит тебя, ты ее. Так и должно быть.

— Вы бы обрадовались, если бы бабушка умерла?

— Вот это загнул! Чему же мне радоваться? Во-первых, я знаю, что и ты, и мама, и Даг, и множество других людей будут горевать, а во-вторых, человеку не пристало думать о подобных вещах.

Пу задумывается. Все это трудно, но важно. Кроме того, нечасто у отца есть время поговорить. Надо пользоваться случаем.

— Ну да, горестно вздыхает Пу. — А мне вот хочется, чтобы много кто умер и стал историей! Тетя Эмма, и Даг, и...

— Это совсем другое дело,— прерывает отец. — Ты не представляешь себе, что означает смерть. Поэтому и бросаешься такими пожеланиями, не имея в виду ничего конкретного.

Я иногда представляю себе, что мама умерла, и тогда мне делается грустно

А иногда тебе хочется, наверное, чтобы твой отец умер, да? Когда ты, к примеру, злишься.

Отец улыбается, улыбаются и губы и глаза, голос неопасный. Значит, это и есть настоящий разговор, думает Пу. Разговоры или «беседы» Пу обычно ведет с бабушкой в Уппсале, вечерами, когда он приезжает погостить к ней на рождественские каникулы. У матери с отцом никогда не хватает времени на беседы.

— Никогда я не желал, чтобы папа умер,— врет Пу с бесхитростным выражением лица.

Отец треплет Пу по щеке, по-прежнему улыбаясь.

Извини меня, Пу, но порой ты задаешь действительно дурацкие вопросы.

Пу с умным видом кивает и улыбается в ответ.

Товарняк тормозит с жутким шумом — визг, лязг, скрежет. Под горной грядой простираются леса, на крутых склонах вынырнули усадьбы. Отец хлопает Пу по коленке: вот мы и приехали, не забудь панаму и возьми мою шляпу.

Поезд останавливается на полустанке Юрос — это маленькая будка путевого обходчика на пересечении железнодорожных путей с большаком — ни тебе запасных путей, ни семафора, только рассохшийся деревянный перрон. Обходчик — толстая женщина — вылезает, переваливаясь, из будки, в дверь ей приходится протискиваться боком. Она приветствует пастора как старого знакомого и помогает ему вытащить велосипед и чемоданчик. Зной уже стоит стеной, на пригорке мычит корова. Выглянувший из кабины машинист расслабленно отдает честь отцу и сыну. Обходчица подает знак, что можно отправляться, и поезд плавно скользит вниз по склону к Сиффербу, без дыма, без скрежета, без лязга.

Чашечку кофе? — предлагает толстуха.

— Нет, спасибо, фру Бругрен. Мы и так опаздываем.

— Чертовски обидно, что я никак не выберусь в церковь, но Ульссон в больнице, и я здесь одна должна управляться и в будни, и в воскресенье. Может, мальчик хочет сока?

— Нет, спасибо,— вежливо отвечает Пу.

Тогда желаю вам счастливого пути.

— Спасибо, фру Бругрен, и передайте привет господину Ульссону.

Господин пастор, как по-вашему, это Бог нас карает?

— Почему Бог должен карать?

— Я хочу сказать, мы ведь с Ульссоном в грехе живем по словам миссионерского пастыря. Он был тут в прошлый понедельник и скандалил, а на следующий день Ульссон наступил на ржавый гвоздь, и у него началось заражение крови, пришлось в больницу везти. Это кара Божья, господин пастор?

Отец обеими руками вцепился в руль велосипеда. Спешки как не бывало, он не смотрит на горестно вздыхающую фру Бругрен. Его задумчивый взгляд устремлен на склон, спускающийся к реке, и солнечный пожар в черной воде. Наконец он переводит глаза на опечаленную женщину.

— Нет,— решительно говорит отец. — Я убежден, что миссионерский пастырь Стрёмберг ошибается. Бог не карает фру Бругрен и господина Ульссона за это прегрешение — если это вообще прегрешение. Бог не мелочен, жалко только, что он позволяет своей глупой пастве быть глупыми и злопамятными. Но если, фру Бругрен, вас мучают подобные мысли, то поговорите с господином Ульссоном. Если решитесь, я с удовольствием вас обвенчаю. Черкните несколько слов. Я живу в Дуфнесе. Ну да вы ведь знаете.

Толстуха кивает несколько раз и сглатывает, в данный момент она не способна вымолвить ни слова, лишь кивает, да, я поговорю с Ульссоном, в четверг поеду в больницу, пришлют смену из Лександа.

— До свидания, фру Бругрен.

— До свидания, господин пастор.

Пу молча кланяется и взбирается на багажник, отец ставит правую ногу на маленький шпенек, торчащий из ступицы заднего колеса, а левую резко бросает на педаль. Это придает велосипеду приличную скорость на спуске к реке. Пу, держа отцовскую шляпу, широко разводит ноги — не попасть бы ступней в спицы.

Вдалеке слышится свисток товарняка, а вообще вокруг неподвижная летняя тишина. Воздух пропитан острым запахом коров и чабреца. Чахлая рожь, клонящаяся к обочине дороги, бьет Пу по голым ногам.

Пу чувствует, что отец в хорошем настроении, и у него тоже становится весело на душе. Вот отец начинает насвистывать, потом вполголоса напевать и наконец поет в полный голос:

В уборе пышном лес стоит,
И черный прах земли укрыт
Покровом сочной зелени.
Цветов прекрасных океан,
Как летний пестрый сарафан
Роскошней Соломона одеяния.

Отец притормаживает. Дорога круто забирает вправо, внезапно под колесами лишь зыбкий песок. «Тут надо поосторожнее, а то шею сломаем! Держись крепче, если меня поведет в сторону. Дай-ка шляпу, лучше я ее надену, чтобы не получить солнечный удар». Пу обеими руками вцепился в багажник. Отец медленно крутит педали. «Здесь и вправду надо быть поосмотрительнее,— рассудительно говорит Пу. — Опрокинемся, и нам крышка».

Миновав опасный участок, Пу с отцом несутся дальше вниз по пологому склону вдоль реки. Свистят и похрустывают колеса, сверкает темная водная гладь, неспешно плывут бревна, сбиваясь в кучу возле ограждений. Грозовая стена над горными грядами выросла на палец. Отец, тихонько напевая, усердно крутит колеса. Пу незнакома мелодия, может, это вовсе и не мелодия. Сейчас отец в отличном расположении духа, никаких сомнений. Но поездка с ним — всегда рискованное предприятие. Никогда не знаешь, чем оно кончится. Иногда хорошего настроения хватает на целый день, а иногда, неизвестно почему, пастора настигают демоны, и он становится немногословным, замкнутым и раздражительным.

— Ну как, Пу, теперь не жалеешь, что поехал со мной? — Отец перестал напевать и хлопает Пу по панаме.

— Не жалею,— врет Пу, с грустью думая о своих паровозиках, рельсах и железной дороге, которую он собирался провести от уборной до спиленной березы. Там местность все время идет под уклон, поэтому можно сцепить несколько вагончиков и пустить их самостоятельно, они докатились бы до самой стрелки

— прямо как тот электрифицированный поезд, что ходит в Юрсхольм.

У паромной переправы уже ждут повозки с прихожанами, которые здороваются с отцом. Отец отвечает, приподнимая шляпу. Там стоит сгорбленный старик в меховой шапке, с грязной коровой, бока ее вымазаны навозом. От них здорово воняет, вокруг кружатся синие мухи, но старика и корову, похоже, это не смущает. По воде шлепают несколько босоногих мальчишек. Они направляются к Юпчёрну купаться и ловить окуней.

Через реку натянуты стальные тросы. Паром, которым управляют вручную, соединен с тросами железными петлями и подвижными ржавыми колесиками. Пассажиры-мужчины цепляются за трос захватами из просмоленной древесины. Таким образом плоскодонный корабль перемещается взад и вперед по сильно изрезанному в этом месте речному руслу, и кружащиеся в черной бурлящей воде топляки глухо бьются о борт парома.

Отец тут же разговорился с двумя женщинами в одноколке — младшая в местном национальном наряде, старшая, с серым под загаром лицом, в трауре. Она сидит молча, уставясь на свои покрытые пятнами руки. Говорит младшая — ее торопливая речь, окрашенная диалектом, напоминает катание с горки — вверх и вниз. Отец слушает и кивает. «Вот как, все случилось так быстро? Это ведь было неожиданно?» — «Конечно, он был такой энергичный, весь сенокос работал с нами, намеревался ехать на соревнования по стрельбе, да, это было в прошлое воскресенье. Мать принесла кофе, глядит, а он лежит отвернувшись, и глаза закрыты, ну она и подумала, что он опять заснул. А он мертвый».

Пу садится на дощатый пол на носу. Снимает сандалии и опускает ноги в воду, ледяную даже сейчас, в разгар лета, и течение засасывает их.

Когда паром отчаливает от пришвартованного к берегу покачивающегося плота, отец отходит от женщин в одноколке, берет деревянный шест, крепит его к тросу и помогает остальным мужчинам тащить паром через стремнину и топляки.

Пу перебирается еще ближе к краю, чтобы остудить комариные укусы под коленками. Внезапно кто-то хватает его за плечи и отшвыривает назад, сильная пощечина, еще одна. Отец разъярен: «Знаешь ведь, что я запретил! Не соображаешь, что тебя может утянуть под паром, и никто и не заметит?» Следует еще одна пощечина, значит, всего три. Пу смотрит на отца, он не плачет, нет, только не здесь, перед этими чужими людьми. Он не плачет, но сгорает от ненависти: бандит чертов, вечно дерется, я убью его, вот вернусь домой, придумаю для него какую-нибудь мучительную смерть, он будет молить меня сжалиться.

Гулко стучат бревна, журчит вода, палит солнце, в мозгу и глазах резь. Пу стоит в сторонке, но на виду. Женщины в одноколке, наблюдавшие за сценой, кивают головами и перешептываются, сейчас говорит молодая. Пу не слышит ее слов, он видит женщин со спины, потому что отошел к краю кормы. Отец помогает тащить паром, изо всех сил работая деревянным шестом, он тоже зол, это заметно. Он сбросил пиджак и закатал рукава рубашки. Шляпа сдвинута на затылок.

Еще один взгляд в будущее.

— В чем моя вина?

Отец сидит за письменным столом, я — в потертом кожаном кресле в глубине комнаты. За окном — свинцово-серый зимний день без теней, на крышах и в воздухе снег. Отец поворачивается ко мне лицом, темный контур на фоне прямоугольника окна. Я с трудом различаю черты его лица, но хорошо слышу голос.

— В чем моя вина?

Он повторяет вопрос, а что я могу ответить? На столе лежит один из материных дневников.

— Я открыл ее второй банковский сейф и там обнаружил еще дневники. Представляешь, Карин вела дневник с марта 1913 года, когда мы поженились, почти до самой кончины — последняя запись сделана за два дня до смерти. Каждый день.

— Вы знали, что мать ведет дневник?

— Я как-то спросил ее, и она ответила, что обычно вкратце записывает разные события, но чтобы...

Отец качает головой, перелистывая раскрытую тетрадь в коричневом переплете: «...каждый день».

— Я пытаюсь прочитать и понять, я имею в виду, чисто технически. У матери такой мелкий почерк. Мне приходится пользоваться лупой.

Отец поднимает лупу, словно бы извиняясь: ежедневно, микроскопический почерк, шифры.

— Вообще-то у матери был четкий и разборчивый почерк. А здесь совсем другой. И потом, она часто сокращает имена и слова. А иногда употребляет какое-то зашифрованное слово, которое совершенно невозможно понять.

Глубоко вздохнув, отец протягивает мне тетрадку, я встаю и беру ее в руки. 1927 год: мать в больнице, обширная операция, удаление матки и яичников. Три месяца. Беспокойство о доме и детях. Отец приходит каждый день. «Я же не могу попросить его не приходить, я так устаю от его страхов. Как будто я должна испытывать угрызения совести из-за того, что нахожусь здесь».

Я медленно с помощью лупы читаю, потом захлопываю тетрадь и переправляю ее через весь стол обратно.

— Читаю и читаю. И постепенно начинаю осознавать, что никогда не знал той женщины, с которой прожил больше пятидесяти лет.

Отец отворачивается, его взгляд устремлен на падающий снег и белые крыши. Вдалеке бьют часы церкви Хедвиг Элеоноры. Затылок у отца высокий и худой, волосы редкие. «Ничего не знаю», произносит он.

— Карин говорит о фиаско. Жизненном фиаско. Ты можешь это понять? Вот тут она пишет: «Как-то раз в одной книге я наткнулась на слова «жизненное фиаско». У меня перехватило дыхание, и я подумала — жизненное фиаско и есть самые точные слова».

— Мать порой слишком все драматизировала.— Я пытаюсь найти объяснение.

— И я спрашиваю себя,— медленно, почти неслышно говорит отец,— спрашиваю себя, в чем моя вина.

— Но вы ведь с матерью разговаривали?

— Конечно. Разумеется, разговаривали. Вернее, говорила Карин. Что мог сказать я? У Карин было столько идей относительно того, как нам изменить нашу жизнь. Она требовала от меня ответа на ее вопросы, а что я мог ответить? Карин утверждала, что я ленив. Не когда речь шла о работе, а просто ленив, ну, ты понимаешь.

Отец вновь поворачивается ко мне лицом, из-за резкого света из окна я не вижу его выражения, но голос молит: скажи же что-нибудь, объясни, дай мне точку опоры.

— Сегодня ночью мне приснилось, что мы с Карин идем по нашей улице. Держимся за руки, иногда мы так делали. Тротуар обрывается в бездну, и там внизу — блестящее черное зеркало воды. Вдруг Карин выпустила мою руку и кинулась головой в бездну.

— Иногда мне кажется, будто мать где-то рядом,— говорю я нерешительно. — Я сознаю, что это своего рода тоска и ничего больше, и все же.

— Да, да,— отзывается отец. — Сперва обнаруживаешь... нет, не знаю. Не могу объяснить. В чем моя вина?

— Откуда мне знать?

— Словно бы я прожил совсем другую жизнь, не такую, как Карин. Я никогда не призывал Бога к ответу. Такова моя жизнь, думал я, и с этим ничего не поделаешь. Может, я был чем-то вроде послушной собаки? Как Сюдд?

Отец горестно улыбается. Дух Сюдда пересекает ковер и, уткнув нос в отцовскую руку, глядит на своего господина печальными глазами.

— Мать была, наверное, умнее меня. Она много читала, ездила за границу и... Я же в основном жил своими чувствами и представлениями. Хотя теперь вот лишился всего. Не собираюсь жаловаться, не думай, будто я жалуюсь, но когда я сижу здесь, пытаясь истолковать материн дневник...

— Вы считаете, мама заранее предполагала, что вы прочитаете ее дневники?

— Не уверен. У нас как бы была договоренность, что я умру первым. Понимаешь, своего рода шутка. Это я, главным образом... но это само собой разумелось. И когда у меня обнаружили рак пищевода, все было решено, по крайней мере, я полагал, что решено.

— Хуже всего, пожалуй, что мы испытывали страх.

— Страх?

Отец смотрит на меня с искренним недоумением, словно в первый раз слышит это слово.

— Мы боялись вашего гнева. Он всегда овладевал вами неожиданно, и мы часто не понимали, почему вы ругаетесь и деретесь.

— Ты, безусловно, преувеличиваешь.

— Вы, отец, спросили, я попытался ответить.

— Я был скорее кроткий человек.

— Нет. Мы боялись ваших приступов гнева. И не только мы, дети.

— Ты хочешь сказать, что и мать?... что Карин...

— Мне кажется, мать боялась, но по-другому. Мы научились ускользать, врать. Правда, должен признаться, говорить об этом сейчас, по-моему, несколько неловко — два пожилых человека. И немного смешно.

— Но мать поистине была не из тех, кто молчал.

— Мать играла роль посредника, миротворца. Даг, например, вызывал у вас постоянное бешенство. Я помню, как часто его пороли. Плеткой. По голому телу. До крови, до струпьев. И мать смотрела.

— Ты упрекаешь меня...

— Нет, я не упрекаю. Я говорю, что наш разговор смешон. Но вы, отец, спросили, и я отвечаю. Мы безумно боялись, выражаясь мелодраматически.

— Я помню, Карин говорила...

— Что говорила?

— Мать иногда, когда сердилась, называла меня «узколобым». В дневниках это есть в нескольких местах: «Эрик непримирим. Эрик не способен прощать и быть снисходительным, и это будучи пастором. Эрик не знает самого себя».

Отец весь поник и съежился. Прикладывает руку к щеке.

— Я ведь уже понес наказание, правда?

— Наказание?

— По-твоему, сидеть здесь, за этим столом, день за днем читая материны дневники, не достаточное наказание? Она ругает даже мои проповеди.

Отец саркастически улыбается:

— Так что ты и твои брат с сестрой должны быть довольны. Некоторые считают, что ад существует тут, на земле. Теперь я склонен с этим согласиться. Нет, нет, нет. Ты уже уходишь?

Паром причаливает, вода заливает доски настила, понтонный мост раскачивается, повозки съезжают на берег. Отец прощается с матерью и дочерью в одноколке, мальчишки, собравшиеся порыбачить в Юпчёрне, берут удочки и кричат «пока» сопящему Пу: они, конечно, заметили, что Пу получил взбучку и, мало того, направляется на мессу в Гронес. Старик со своей грязной коровой ковыляет вверх по откосу.

— Идем же, дурачина! — Голос у отца ласковый.

Пу стоит отвернувшись, от дружелюбного тона отца его подмывает заплакать. Отец подходит и шлепает Пу по спине.

Ты же понимаешь, я испугался, ведь ты мог бы утонуть, никто б и не заметил.

Еще один шлепок. Отец стоит позади сына, опираясь бедром на велосипед.

Паромщик уже впускает пассажиров, направляющихся в обратный путь. Отец, прислонив велосипед к ограждению, протягивает Пу свою широкую ладонь. Потом садится на перевернутую вверх дном деревянную кадку и притягивает к себе сына.

— Я испугался, понимаешь? Когда человек боится, он сердится, сам ведь знаешь. Я переборщил, просто так получилось, не успел подумать. Я сожалею. Тебе досталось больше, чем ты заслуживал, это было глупо.

Отец испытующе глядит на Пу, теперь его очередь. Пу не желает смотреть на отца, он глотает слезы, черт, дьявол, когда отец вот такой ласковый, хочется только разнюниться, а это черт знает что. Поэтому он лишь кивает: да, да, понимаю.

— Ну, тогда пошли,— говорит отец, слегка шлепнув Пу по заду. Попро-

щавшись с паромщиком, он повел велосипед по скользкому настилу и понтонному причалу. В прибрежном мелководье серебрится стайка уклеек. Рыбки подпрыгивают, все разом, и водное зеркало замерцало. Пу идет босиком, отец привязывает его сандалии к заднему багажнику и кожаным ремнем затягивает чемоданчик.

Склон от паромной переправы круто забирает вверх. Пу помогает вести велосипед. Наверху в лицо ударяет волна жара, путешественники выходят на открытое поле, узкая песчаная дорожка идет прямо на запад. Порывы ветра вздымают вихри мелкого песка, не принося прохлады. Черные отцовские брюки, прихваченные внизу блестящими велосипедными зажимами, посерели от пыли. Высокие черные ботинки на шнурках тоже запылились.

Отец и Пу прибывают в церковь Гронеса, когда колокола отбивают десять. На тенистом кладбище какие-то одетые в черное женщины поливают цветы на могилах, прибирают, работают граблями. Под каменным сводом попрохладнее. Церковный староста, звонивший в колокол, отводит отца в ризницу. В шкафу стоят таз и кувшин, мыло и полотенце, отец, обнажившись до пояса, умывается. После чего открывает чемоданчик и вынимает чистую рубашку, брыжи, крахмальные манжеты и пасторский сюртук. Староста наводит порядок:

— Когда вы, господин пастор, взойдете на кафедру, не забудьте перевернуть песочные часы, у нас в церкви так давно заведено, и потом, мы обычно читаем молитву за упокой души усопших до того, как зазвонят погребальные колокола; как только вы произнесете «аминь», я возьмусь за большой колокол, на это уйдет пара минут, он у нас немного медлительный. Кстати, настоятель просил передать, что он заглянет, чтобы поздороваться с вами, но, возможно, чуток запоздает, у него служба с причащением в Утбю. И в этом случае он просил вам напомнить, что после мессы в пасторской усадьбе будет кофе. А теперь, господин пастор, не дадите ли вы мне номера псалмов, мальчик поможет мне их развесить. Я звоню в малый колокол без десяти одиннадцать, и тогда народ входит в церковь. А до того они предпочитают постоять и поболтать во дворе.

На двух листках бумаги отец написал номера пяти псалмов, указав количество стихов,— одна бумажка предназначается старосте, другая — органисту. Старик подзывает Пу и берет его за руку. Отец, усевшись за большим дубовым столом посреди комнаты, склоняется над своей аккуратно написанной проповедью. «Не будем мешать пастору, — шепчет староста, увлекая Пу в церковь. — Цифры знаешь?» — спрашивает старик, открывая черный шкаф, в котором ровными рядами висят латунные цифры.

Староста, стоя на лесенке, называет цифры, и Пу достает из шкафа нужные и протягивает их старику, который развешивает их на двух черных досках в золотых рамах слева и справа от хоров. О разговорах в это время и думать нечего. Задача важная: одна неправильная цифра — и произойдет катастрофа.

Закончив работу, Пу тихонько выходит из прохладной церкви в зной, чуть приглушаемый темнокудрыми вязами. Небесный свод белый, без единого облачка, безмолвие, тяжесть. Парочка шмелей, комар на руке, за каменной стеной мычит корова. По разровненному граблями гравию дорожки идут, тихо переговариваясь, несколько прихожан в черных воскресных одеждах. Пу не спеша направляется к низкому четырехугольному каменному зданию в северном углу кладбища. Тяжелая, просмоленная дверь приоткрыта. Вокруг никого. Пу прекрасно знает, что это за дом, но не в силах удержаться. Он проскальзывает внутрь и застывает у двери: каменный пол, грубая кладка стен, деревянный потолок, поддерживаемый грубыми балками, низкие, непрозрачные окна. В одном торце — простой алтарь с деревянным крестом, выкрашенным в черный цвет, оловянными подсвечниками и раскрытой Библией. Вдоль правой стены — полки. На полках стоят четыре гроба разных размеров и качества. В центре помещения — катафалк. На нем белый гроб без крышки, крышка прислонена к дверям. В гробу лежит молодая женщина. Лицо худое и серое, вокруг закрытых глаз темные тени, нос заострился, на веках две серебряные монетки. В костлявых руках с длинными пальцами — Псалтирь, кружевной платочек и белая гвоздика. Несколько мух пикируют сначала на неприкрытое лицо покойной, а потом на белую непрозрачность окон. Запах увядших цветов и чего-то сладковатого, проникший в нос и в кожу, не улетучится еще много часов. Пу

стоит долго. На губу ему садится муха, и он в панике шлепает по ней рукой.

Но вот послышались голоса и шаги на песчаной дорожке. Громко топоча, внутрь входят двое мужчин в темных костюмах и белых кашне, они шикают на Пу, но больше не обращают на него никакого внимания. Надо привинтить крышку и собрать цветы. Полку с гробами завешивают грязной занавеской, зажигают свечи на алтаре. Распахивают настежь двери, и внутрь заходят для короткого прощания до начала мессы пришедшие на похороны люди.

— А, вот ты где, малыш Пу,— кричит жена настоятеля, махая ему рукой. У нее громадный живот, который она как бы несет впереди себя. Ей бы не мешало под него колесико подставить. Цветастое платье трещит по швам, на лице и загорелой шее коричневые пятна. Она ведет за руку своего сына. — Добрый день, малыш Пу! Я только что была в церкви, поздоровалась с твоим папой. Он сказал, что ты где-то здесь. Ну вот, а это мой сынок, он твой ровесник. Тебе недавно исполнилось восемь, правда ведь? А Конраду исполняется столько же на следующей неделе. Ну, Конрад, поздоровайся с Пу.

Конрад ниже Пу ростом, но шире в плечах. Живот выпячен, хотя и не так, как у матери. Волосы соломенно-желтые, глаза голубые с белесыми ресницами. Руки и лоб перевязаны бинтами в розовых пятнах. От Конрада воняет карболкой. Мальчики здороваются без всякого энтузиазма. Жена настоятеля радостно сообщает, что после мессы Пу и Конрад смогут поиграть, их угостят соком и булочками, за столом им сидеть необязательно, это чересчур утомительно для таких непосед.

Пу не успел прийти в себя, как зазвонил колокол, сзывая на службу, и жена настоятеля, схватив одной рукой его, а другой Конрада, вперевалочку направляется в церковь, в самый первый ряд, к скамейке, предназначенной для обитателей пасторской усадьбы. «Мне надо попи́сать», — смущенно шепчет Пу. «Поскорее»,— отвечает жена настоятеля, пропуская его. Пу с трудом протискивается мимо громадного живота и стремглав несется вокруг церкви к северному приделу. Облегчившись, он осматривается. Здесь всего несколько надгробий, заросших и покосившихся. Пу известна причина: Страшный суд грянет с севера и опрокинет северную стену церкви. Поэтому на этой стороне хоронят лишь самоубийц и преступников. Их воскрешение не так важно. Пусть на них валится церковная стена, все равно им в ад отправляться.

Колокольный звон стихает, орган начинает играть первый псалом. Пу на цыпочках пробирается в церковь и становится в проходе. Староста открывает дверь ризницы. Выходит отец в пасторском сюртуке и черной шелковой накидке, развевающейся при движении. Пу надеется, что отец его не заметит, но это тщетная надежда, вот он увидел Пу, поднимает бровь, но в то же время чуточку улыбается. Мы — друзья, думает Пу. Этот большой человек в черных одеждах — мой отец. И все эти люди — их не слишком много — ждут, когда отец заговорит с ними, может, будет их ругать. Пу пристраивается рядом с женой настоятеля.

Отец стоит у алтаря спиной к прихожанам, потом поворачивается и поет: «Свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его!»

Пу, зажатый между стеной и беременной женой настоятеля, погружается в полудрему. Происходящее его не волнует — просто непостижимо, до чего тоскливы эти мессы. Он обводит глазами помещение, и увиденное поддерживает в нем искорку жизни: алтарь, витражи, фрески, Иисус и разбойники, окровавленные, в корчах. Мария, склонившаяся к Иоанну: « ...зри сына своего, зри мать свою». Мария Магдалина, грешница, — интересно, она трахалась с Иисусом? На потолке западного свода — Рыцарь, тощий и согбенный. Он играет в шахматы со Смертью — я давно у тебя за спиной. Рядом Смерть пилит Дерево жизни, на верхушке сидит, ломая руки, шут: «Разве нет никаких льгот для артистов?» Смерть, размахивая косой, точно знаменем, ведет танцующую процессию к Царству тьмы, паства танцует, растянувшись длинной цепью, скользит по канату шут. Черти кипятят варево, грешники бросаются вниз головой в котлы, Адам и Ева обнаружили свою наготу, гигантское Божье око косит из-за Запретного древа, и Змей извивается от злорадства. Над южными окнами шествуют флагелланты, размахивая своими бичами и крича в страхе перед грехом.

Пу, вероятно, ненадолго задремал, потому что отец вдруг уже взлетел на кафедру. Он читает евангельский текст, посвященный Преображению Господ-

ню: «...и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое есть осенило их; и се, глас, из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь».

Пу не в силах обуздать свою фантазию, она взрывается в отчетливую картину: сцена — утес Дуфнес, на самой вершине, откуда открывается вид на селение, реку, пастбища и горные гряды. Пу стоит на камне, нет, он парит в нескольких сантиметрах над камнем, сандалии не касаются мха. На нем отцовская ночная рубаха, она достает до лодыжек, лицо светится как лампочка. За его спиной висит грозовая туча, круглая, иссиня-черная. Перед ним — Даг и братья Фрюкхольм. Они уставились на него с дурацким и испуганным видом. Туча разверзается, и из разрыва вырывается свет, небеса оглашаются раскатами громового голоса, напоминающего отцовский, который возвещает: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Гремит гром, белый свет гаснет, Даг и братья Фрюкхольм падают ниц, закрывая лица руками. Пу подходит к ним и мягко говорит: «Встаньте и не бойтесь».

После мессы у настоятеля устраивается кофепитие, на него приглашены староста со своей женой-астматичкой и несколько членов кружка рукоделия Гронеса. Для Конрада и Пу накрыт отдельный детский стол с черносмородинным соком и булочками. Настоятель, приятно округлый, с белыми вставными зубами и сильными очками, склонившись к мальчикам, дает им разрешение покинуть церковное собрание.

— У меня экзема,— оповещает Конрад. — Экзема на руках и на голове, чешется постоянно, но хуже всего летом.

Конрад распахивает дверь в детскую и с требовательной миной смотрит на Пу: что теперь скажешь, а?

Комната переоборудована в часовню. Окна заклеены цветной шелковой бумагой, в одном конце стоит алтарь, на нем семисвечник и раскрытая Библия. Над алтарем красуется цветная вырезка из какого-то христианского журнала, вставленная в позолоченную рамочку. Посреди комнаты расставлены в ряд несколько разномастных стульев. В углу присел маленький комнатный орган с нотами и сборниками псалмов. На стенах — обрамленные иллюстрации на библейские сюжеты. Воняет карболкой и дохлыми мухами.

— Ну, как тебе? — вопрошает Конрад.

— Можно открыть окно? Жутко воняет.

— Нельзя, шелковая бумага порвется. Хочешь послушать проповедь или поиграем в похороны? У меня в гардеробной есть гроб.

Конрад открывает дверь в чуланчик со всевозможным хламом, там же стоит белый детский гробик с крышкой.

— Нет, спасибо,— вежливо говорит Пу. — Я не хочу играть ни в мессу, ни в похороны. Дело в том, что я не верю в Бога.

— Ты не веришь в Бога? Значит, ты идиот.

— Бог — дерьмо, он говенный Бог, если столько всего натворил. Это ты идиот.

— Это я-то идиот?

— У всех, кто верит в Бога, не хватает винтиков в голове — у тебя, у моего папаши и у всех остальных.

— Заткнись!

— Сам заткнись.

Конрад и Пу начинают пихаться, потом плеваться. Конрад бьет Пу в грудь. Пу отвечает затрещиной, сбивая повязку на голове противника. Дело доходит до рукопашной. Пу быстро соображает, что Конрад сильнее, и позволяет уложить себя. Но Конрад неудовлетворен. Сидя верхом на Пу, он брызжет слюной, не плюется, а именно брызжет.

— Сдаюсь,— говорит Пу.

В Дуфнесе это знак того, что победитель выявлен, и враждебные действия

прекращаются. В Гронесе это правило не действует. Конрад, по-прежнему сидя верхом на Пу, принимается выворачивать ему руку:

— Признайся, что веришь в Бога.

— Больно! — хнычет Пу. — Пусти меня. Пусти!

Конрад не ослабляет хватки:

— Признайся, что веришь в Бога.

— Нет.

— Признавайся.

— Нет.

— Тогда я буду выкручивать тебе руку, пока не признаешься.

— Ой, ой, черт!

— Говори.

— Ай! Ладно, верю!

— Поклянись на кресте, что веришь в Бога.

— Клянусь на кресте, что я верю в Бога.

Конрад тут же встает и, поправив повязку, принимается бешено чесаться. Пу садится, у него из носа идет кровь, но не сильно, всего несколько капель.

— Кстати, то, что Бог существует, доказано научно,— наставительно говорит Конрад. — Один русский, по фамилии Эйнштейн, сказал, что разглядел божий лик в своих математических формулах. Съел?

Но Пу не удостаивает его ответом. Он предпочитает выказывать презрение к противнику высокомерным молчанием. Враги мрачно расходятся по разным углам. Пу, найдя «Семейный журнал», углубляется в приключения Вилли и Дика в джунглях. Конрад чешет свою экзему и ковыряет в носу, а обнаруженное там сует в рот.

Прощаются сердечно и с облегчением — уж больно тоскливым было кофепитие. Впереди маячит свобода, и легкое оживление обогащает кислородом кровь вплоть до мельчайших капилляров. Отец пожимает руки, он — сама любезность. Настоятель держит велосипед, его жена помогает привязать чемодан. «Спасибо за прекрасную, будоражащую мысль проповедь!» — «Спасибо за великолепный кофе и приятное общество. Навестите нас в Дуфнесе, мы с Карин будем очень рады!» — «Может быть, все-таки останетесь к обеду? Погода, кажется, портится». — «Нет, спасибо, мы обещали вернуться не позже четырех, нам надо успеть на поезд в Юросе». — «Но ненастье! После такой засухи весьма вероятен проливной дождь». — «Дождь не помешает, принесет прохладу. И мы ведь не растаем, правда, Пу?» «Чего?» — переспрашивает Пу, разинув рот, он не слушал, размышлял, как бы прищучить Конрада, но так ничего и не придумал. «Ну, мы поехали. До свидания». «До свидания. Попрощайся с Пу»,— увещевает жена настоятеля своего глядящего исподлобья сына. «Ну, до свидания»,— говорит Конрад. «Ежели ты думаешь, что Бог существует, значит, ты глуп как пробка»,— шепчет Пу, проворно забираясь на передний багажник.

И они трогаются в путь по аллее пасторской усадьбы. Настоятель и его супруга машут им вслед. Схватив Конрада за правую руку, мать заставляет и его помахать. Отец поднимает руку, но не оборачивается. Он насвистывает, Пу разводит ноги, на пологом спуске они набирают приличную скорость.

— Сейчас купим «Поммак» в лавке, а потом искупаемся в Черном озере и перекусим. Проголодался небось?

— Я даже не попробовал их противные булки,— говорит Пу. — Все время думал про «Поммак» и наши припасы.

— И правильно сделал. — Отец похлопывает сына по панамке.

Лавка помещается в ветхом двухэтажном здании. Стена увешана рекламными щитами «Белого медведя» (стирает, пока вы спите), «Грудных пастилок Аугустссона», «Какао-глаза» (два вытаращенных безумных глаза, глядящих в безумие), газеты «Времяпрепровождение» (смеющийся старик со вставными зубами), конечно же, чистящего средства «Гном» и «Поммака».

Отец стучит в запертую дверь с окошком, прикрытым спущенной роликовой шторой и надписью «закрыто». Через какое-то время слышится шум и шаркающие шаги, штора отодвигается, и появляется изуродованное лицо Звонаря из «Собора Парижской Богоматери». Узнав отца, это жуткое существо кривится в приветливой улыбке, поворачивается ключ, и дверь распахивается.

Происходит обмен вежливыми приветствиями. Лавочник, прихрамывая и

подскакивая, исчезает за прилавком и открывает ледник, находящийся на складе. Он приносит две запотевшие бутылки «Поммака» и ставит их на прилавок. Отец спрашивает, как дела. Старик, дергая себя за бороду, говорит, что будет гроза, он это чувствует уже несколько дней. «Понимаете, господин пастор, у моей спины одно преимущество — она предсказывает погоду».

Он стоит, опираясь покрытыми шрамами ладонями о прилавок, темно-желтые ногти загнуты. Несмотря на запахи соленой селедки, специй и кожи, в лавке витает вонючее дыхание лавочника, точно резкий звук флейты, перекрывающий аккорд других ароматов.

— А что скажет паренек насчет кулька карамелей? — предлагает старик.

— Уж и не знаю,— говорит отец, глядя на Пу. — Его мать запрещает ему есть сладости, они портят зубы. Разве что совсем маленький.

Старик, приподняв свою засаленную шапку, крутанул ею в воздухе: «Будет сделано. Будет сделано». Он вынимает стеклянный сосуд с пестрыми карамелями и из коричневой оберточной бумаги ловко сворачивает фунтик. Потом наклоняет стеклянный цилиндр к Пу и открывает крышку. «Пожалуйста, молодой господин Бергман, наполняйте кулек». «Довольно, спасибо,— останавливает отец. — Сколько с меня за угощение?» «Пятьдесят эре за «Поммак», господин пастор. Карамель не в счет». Отец достает свой внушительный кошелек и кладет две монеты по двадцать пять эре на прилавок.

— Приятно будет сейчас окунуться,— говорит отец, сворачивая к Черному озеру. Узкая извилистая тропинка идет через выпас, где в туче мух и слепней дремлют коровы. Тропинка круто спускается вниз сквозь густой лиственный лес и утыкается в узкую песчаную прибрежную полосу. Черное озеро, круглое как блюдце, вполне заслуживает этого названия. Здесь внизу стоит кисловатый запах папоротников и гниющего камыша.

Отец и Пу раздеваются, и отец бросается спиной в ледяную воду, отфыркивается, размахивает руками, а потом, перевернувшись, плывет, энергично работая руками. Пу действует поосторожнее: с таким озером, как Черное, надо быть начеку, там, внизу, на глубине нескольких тысяч метров наверняка водятся безглазые монстры, осклизлые чудища, ядовитые змееподобные существа с острыми клыками. И множество скелетов животных и людей, утонувших здесь за многие тысячелетия. Пу делает несколько гребков, и прозрачная коричневатая вода смыкается над ним. Он погружается с головой под воду, дна не видно, лишь уходящий в бесконечность мрак, ни водорослей, ни окуней или уклеек, ничего.

Они сидят на берегу и обсыхают. Тень от берез и ольхи почти не приносит прохлады, вокруг роится мошкара. У отца прямые плечи, высокая грудная клетка, сильные длинные ноги и внушительных размеров гениталии, практически лишенные растительности. Белая кожа мускулистых рук усыпана множеством коричневых пятнышек. Пу сидит у отца между колен, словно Иисус, висящий на кресте между колен Бога, на старинном запрестольном изображении. Отец, обнаружив россыпь высоких желтых цветков с красными крапинками, осторожно отламывает один стебелек.

— Этот цветок называется скипетр короля Карла— Pedicularis Sceptrum Carolinum— и очень редко встречается на таких южных широтах, надо бы захватить несколько штук и засушить для моего гербария, впрочем, нет, не получится. В чемодан не положишь, испачкает одежду.

Отец выдавливает из сердцевины цветка горошинку, кладет ее в рот и задумчиво жует.

— Если поешь семена скипетра, чувствуешь головокружение и неожиданно начинаешь говорить на иностранных языках, хотя это, наверное, сказки.

Отец бережно откладывает в сторону осмотренное им растение.

День темнеет, вода почернела, над лощиной внезапно повисла пыльно-серая туча. Осы, как молнии, пикируют на бутылку с «Поммаком» и несъеденный бутерброд. Неожиданно по блестящей воде пошли бесчисленные круги и тут же пропали. Вдалеке послышались протяжные раскаты грома. Ветер стих.

— Ну вот, гроза нас догнала,— довольно говорит отец. — Пожалуй, пора в путь.

Выехав наконец из лиственного леса на равнину с ее необозримыми полями, Пу с отцом видят вертикальные молнии, вспарывающие стену туч над гор-

ными грядами, гром приближается, но он еще далеко. Тяжелые капли падают на дорожную пыль, пробивая в ней борозды и узоры. Отца, похоже, это мало заботит. Насвистывая какой-то старый шлягер, он жмет на педали. Они мчатся вперед.

— Вот так мы могли бы объехать весь свет, папа и я,— говорит Пу. Отец, засмеявшись, снимает шляпу и протягивает ее Пу — на сохранение. И у Пу, и у отца отличное настроение. Они завоевывают мир, им не страшна буря.

— Я тоже воскресный ребенок,— вдруг говорит отец.

На подъеме у заброшенной деревни их настигает буря с градом. За какую-то минуту поднимается ветер, молнии одна за другой вспарывают черноту, раскаты грома сливаются в оглушительный гул. Тяжелые дождевые струи слипаются в комки льда. Отец с сыном бегут к ближайшему заброшенному строению. Это полуразрушенный каретный сарай, где стоят несколько забытых повозок и коляска с торчащими вверх оглоблями. Сквозь прохудившуюся крышу дождь низвергается водопадом. Но там, где когда-то хранились корма, можно укрыться и от дождя и от ветра.

Сидя на рухнувшей балке, они смотрят в открытую створку двери. На склоне растет могучая береза. В нее два раза попадает молния, из ствола поднимается мощный клуб дыма, пышная листва сворачивается, словно корчась в муках, землю сотрясают удары, заставляя Пу зажать уши. Он прижимается к отцовским коленям. От его брюк пахнет сыростью, волосы и лицо мокрые. Отец вытирается рукавом.

— Боишься? — спрашивает он.

— А что, если это Страшный суд,— внезапно говорит Пу, поворачиваясь побледневшим лицом к отцу.

— Тебе-то что известно про Страшный суд? — смеется отец.

— Ангелы вострубят, и звезда, имя которой Полынь, упадет в море, превратившееся в кровь.

— Ну, если это Страшный суд, то хорошо, что мы вместе, правда, Пу?

— Мне, кажется, попи́сать надо,— говорит Пу, стуча зубами, и скрывается за стеной. Отсюда он видит отцовскую спину. Отец вытаскивает трубку, набивает ее и раскуривает.

Порывы ветра, еще недавно теплого, становятся мощнее, потянуло холодом. Когда Пу возвращается, сделав свои дела, отец снимает пиджак и укутывает сына.

Последний взгляд в будущее.

День — 22 марта 1970 года. Отец умирает. Он почти все время без сознания, приходит в себя лишь на короткие мгновения. Я стою у изножия кровати, сестра Эдит склонилась над больным. Горит ночник, накрытый тонким платком. На тумбочке усердно тикают часы. Поднос с минеральной водой и стакан с трубочкой для питья. Лицо у отца страшно осунулось, это лицо Смерти.

Профессор утверждает, что отец без сознания, но это неправда. Я держу его за руку и разговариваю с ним и чувствую, как он в ответ легонько сжимает мою ладонь. Он слышит и понимает, что я говорю.

Отец открывает глаза, смотрит на Эдит и, узнав ее, едва заметно шевелит головой, она дает ему попить. «Твой сынок здесь», — произносит она тихо и проникновенно.

Я подхожу к изголовью, и отец поворачивает голову. Лицо в тени, но я вижу его глаза, на удивление ясные. Он с большим усилием поднимает руку и нащупывает мою. После минутного молчания он начинает говорить, сперва шевелятся только губы, потом прорезается голос, но слов я не разбираю. Отец говорит отрывисто и невнятно, не сводя с меня своего ясного взгляда.

— Что он говорит? — спрашиваю я сестру Эдит. — Я не понимаю.

Сестра Эдит, присевшая на край кровати, наклоняется к отцу, чтобы получше разобрать слова, кажется, она поняла и в подтверждение этого кивает.

— Что он сказал? — шепчу я.

— Отец благословляет тебя. Разве ты не слышишь... мир тебе... во имя Святаго Духа...

Это — как удар молнии, мгновенный и неожиданный, я беззащитен. Отец смежил веки, похоже, напряжение лишило его последних сил, и он вновь впадает в полузабытье. Высвободив свою руку из его, я выхожу в столовую. Комната

погружена в сумрак и поэтому напоминает столовую моего детства со своими тремя окнами, тяжелыми зелеными занавесями, обеденным столом мореного дерева, старомодным пузатым буфетом, на котором матово поблескивают столовые приборы, потемневшими картинами в золоченых рамах и неудобными стульями с прямыми высокими спинками. Я стою у торца стола, глаза мои сухи, в душе страх. Сестра Эдит открывает дверь: «Я не помешала? Нет, нет, не зажигай! Так хорошо».

Сестра Эдит подходит к окну и глядит вниз, на тихую заснеженную улицу, руки скрещены на груди, лицо спокойное. Потом она поворачивается ко мне:

— Почему ты так боишься?

— Боюсь? Я вообще ничего не чувствую. Немного сострадания, немного нежности, немного страха перед смертью, больше ничего. Все-таки он мой отец!

— Наверное, в такие моменты, как этот, трудно что-то чувствовать. Это может случиться с любым.

— Я не это имею в виду. Я смотрю на него и думаю, что должен забыть, но не забываю. Должен простить, но ничего не прощаю. Во всяком случае, я мог бы почувствовать хоть капельку привязанности, но я не в силах заставить себя сделать это. Он — чужой. Я никогда не буду тосковать по нему. По матери я тоскую. Каждый день. Отца я уже забыл, не того человека, который сейчас умирает там, его я вообще не знаю, а того, который сыграл определенную роль в моей жизни, — он забыт, его не существует. Хотя нет, это неверно. Я хотел бы суметь его забыть.

— Мне нужно идти к нему. Пойдешь со мной?

— Нет.

— Тогда до свидания, береги себя.

— Мне хотелось бы не чувствовать того, что я чувствую.

— Ты не властен над своими чувствами.

— Пожалуйста, не...

— ...сердись. Понимаешь, Эрик — мой самый близкий друг с детских лет. Для меня он совсем другой человек, чем для тебя. Тот, о ком ты говоришь, мне незнаком.

Эдит кивает и чуточку улыбается. Я остаюсь возле отливающего темным блеском обеденного стола. Сквозь закрытую дверь доносится голос Эдит.

Тут есть повод сделать примечание, вряд ли как-то связанное с моей историей, поскольку вышеизложенный эпизод произошел более двадцати лет тому назад. Мое отношение к отцу незаметно менялось. С почти непереносимым душевным волнением я вспоминал его взгляд, когда он вырвался из сумеречной страны, чтобы призвать Божие благословение на своего сына. Я начал изучать прошлое своих родителей, детские и юношеские годы отца и увидел повторяющиеся примеры патетических усилий и унизительных неудач. Увидел и заботу, и нежность, и глубокую растерянность. В один прекрасный день я разглядел его улыбку и взгляд его голубых глаз — такой дружелюбный и доверительный. Передо мной возник отец в старости, тяжелый инвалид, вдовец, живший в добровольной изоляции: пожалуйста, не жалей меня, прошу тебя, не трать на меня своего времени, у тебя наверняка есть дела поважнее. Пожалуйста, оставь меня в покое. У меня все отлично. Спасибо, спасибо, очень мило с твоей стороны, но я не хочу, будет ужасно, если я сяду за стол с моими неуклюжими руками.

Любезно-холодный, ухоженный, тщательно выбритый, опрятный, с чуть трясущейся головой, он смотрит на меня без мольбы и без жалости к себе. Я протягиваю ему руку и прошу его простить меня, сейчас, сегодня, в эту минуту.

Отец снимает с себя пиджак и укутывает Пу. Пиджак еще хранит тепло отцовского тела, он — словно согревающий компресс. Пу больше не мерзнет.

— Ну, согрелся?

— Согрелся.

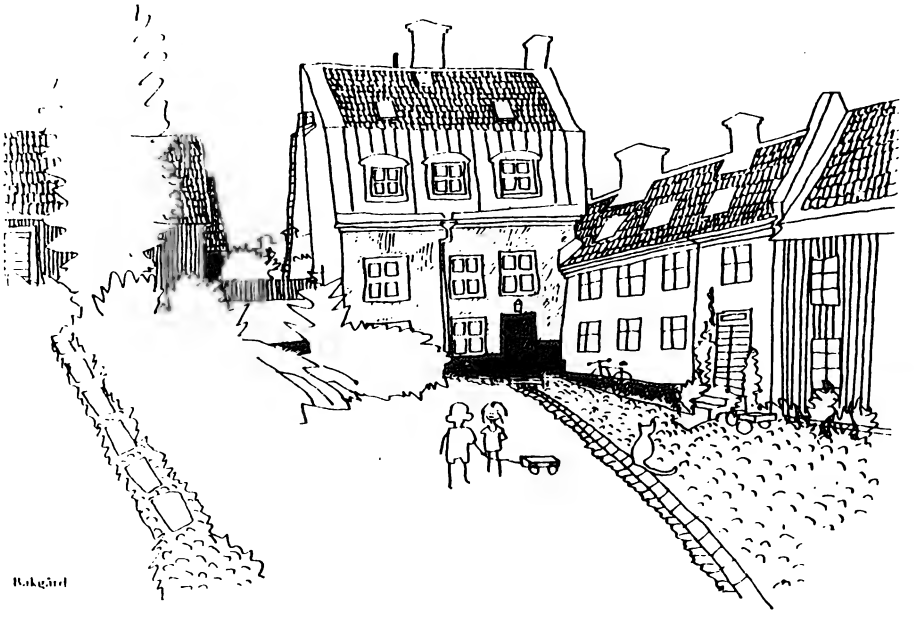
Ландшафт совсем исчез за пеленой дождя. Град прекратился, но земля усыпана ледяными мячиками. Перед сараем образовалось озеро, которое устремляется под каменный фундамент. Скоро они окажутся в воде. Свет серый, блуждающий, как сумерки, наступающие без захода солнца. Раскаты грома уходят вдаль, становятся глуше, но гремит по-прежнему бесперебойно, что наводит еще больший ужас. Сплошная стена дождя разделилась на обильные струи.

Отец и Пу выходят из укрытия. Дорога превратилась в бурные ручьи, ехать на велосипеде тяжело. Внезапно переднее колесо пошло юзом. Пу, успев подобрать ноги, скатывается на лужайку. Отец остается на дороге. Проворно вскочив, Пу видит неподвижно лежащего отца, одна нога придавлена велосипедом, голова прижата к груди. Он мертв, думает Пу.

В следующую секунду отец поворачивает голову и спрашивает, не ушибся ли Пу. Пу говорит, что немножко промок, потому что попал в лужу, и по-клоунски размахивает длинными рукавами пиджака. Отец весело и добродушно смеется, выбирается из-под велосипеда и встает, выясняется, что у велосипеда проколото заднее колесо. Отец опять смеется и качает головой: придется нам тащиться пешком, малыш.

До станции около трех километров. Оба, и отец и Пу — промокшие, грязные, в глине. У отца на щеке царапина. По-прежнему льет дождь, холодный дождь. Отец толкает пришедший в негодность велосипед, Пу ему помогает.

Форё, 1 августа 1990 г.



ЛАРС ГУСТАФССОН

Искусство пережить ноябрь

РАССКАЗ

Перевод ЕКАТЕРИНЫ ЧЕВКИНОЙ

1

Всему виной была его жена, то и дело обезоруживавшая его своим иронническим отношением.

Светловолосая, бледная, решительная, всегда бесстрастно занятая чем-то другим.

Превосходная наездница; ее каскетки, отделанные черным бархатом, таким нежным на ощупь, лежат высоко на полке в передней.

В спальне в шкафу висят диковинного покроя брюки для верховой езды, от них сладковато пахнет опилками и лошадью.

Сам он вообще-то заслуживает, чтобы к нему относились без иронии.

У себя в кабинете — просторной светлой комнате на первом этаже — он занимается разработками для Промышленного союза, для Института конъюнктуры, нередко и для ЮНЕСКО. Для них он авторитет.

Отменный магнитофон системы Тандберга доносит до него бесконечные клавиры Баха, покуда он сидит, склонившись над своими таблицами и разграфленными блокнотами.

После обеда приходит секретарь, фру Шёгрен, седая, компетентная, любезная, и перебеливает все написанное им с утра.

Дом велик, он перешел к нему по наследству — старинная собственность его семейства, еще с середины девятнадцатого века занимавшегося импортной торговлей. У его бабушки была первая во всем Вестеросе настоящая ванная.

Дом возвышается на гребне холма, с видом на половину города. И ни больше ни меньше как с двумя огромными стеклянными верандами, которые зимой просто немыслимо протопить.

Одну из них так и держат постоянно холодной, там в картонных ящиках хранятся яблоки, распространяя неприятный кислый запах.

К тому же, стоит зимним днем открыть дверь на веранду или просто оставить ее неплотно прикрытой, как оживают мириады мух. Обманутые теплом, они заглушают все прочие звуки своим омерзительным жужжанием.

И это невыносимо.

С верандами связано множество воспоминаний. 30-е годы, эксцентричные дядюшки за картами; весенние вечера, когда не было надобности зажигать керосиновую лампу и когда, сидя рядом с прелестной белокурой барышней из Коммунальной школы для девочек, что на Мариабергет, слушаешь «Весну священную» Стравинского.

Все те барышни, похоже, уже исчезли, превратившись в жен дипломатов или в оперных певиц.

Он мог бы воскресить в памяти и хлопанье карт о столешницу, и шипение бутылок с минеральной. Вот только тихие беседы с этими девочками, в длинных, по моде пятидесятых, плиссированных юбках, ему уже не припомнить.

Впрочем, если уж на то пошло, может, у них прыщавые спины?

© Lars Gustafsson, 1981

Во всей своей гротескной гигантской деревянности, с башенками и флюгерами, со всеми появившимися с годами нововведениями, дом стоит по нынешним временам не меньше миллиона.

Однако продать его он, разумеется, не может, поскольку надо же где-нибудь жить.

А жить в Вестеросе ему нравится.

В Стокгольме не успеешь отойти и двух шагов от центра, как тебя пырнут ножом. С одним его другом так уже и случилось.

Но, естественно, он зарегистрировал сам себя как консалтинговую фирму, фирма, соответственно, снимает у него дом под офис и, в свою очередь, сдает ему часть площади для жилья. Во времена, когда налоговые власти определяют, сколько стоит твое собственное жилище, а фактически — как тебе следует жить, без подобных ухищрений просто не обойтись.

Он-то принадлежит к элите, но тем не менее и его не покидает чувство непрестанного унижения.

— Швеция, — твердят некоторые его приятели, — Швеция сделалась страной, невыносимой для всякого, кто хоть что-нибудь может или хочет.

— Возможно, у такого пути развития есть и свои скрытые преимущества,— отвечает он обычно (например, своему ревизору, для чего даже несколько приглушит магнитофон, прокручивающий уже в четвертый раз с начала рабочего дня, с восьми утра, одну из *больших* сюит для лютни Иоганна Себастьяна Баха — ту спокойную, аскетически-сосредоточенную, ре минор). — Сегодня никто не стремится попасть в интеллектуальную элиту общества из *материальных* соображений. Уже и речи нет ни о льготах, ни о машине или жилье как вознаграждении тем, кто больше знает. Короче говоря, прилежная учеба перестала окупаться.

Отсюда два следствия. Первое — что вся экономика и управление переходят в руки людей посредственных, серости. Те, что в пору нашей юности вполне довольствовались должностью на железной дороге, или заведовали детским садом, или пописывали стишки, сегодня возглавляют министерства или руководят целыми отраслями промышленности, убыточными и живущими на дотации. Таким образом, истинно интеллектуальная элита Швеции остается не у дел.

Какой-то ее части придется, конечно, уехать, причем тем раньше, чем быстрее будет расти государственный сектор. Они облагодетельствуют собой несчастненьких, больных-сердечников в Хьюстоне, штат Техас, возглавят исстрадавшиеся без руководства транснациональные нефтяные компании или примутся обслуживать пациентов клиник Цуга и Базеля. Все это общеизвестно и уже стало реальностью. Но на самом деле куда более интересное ожидает тех, кто останется.

— Вон оно что, — ответит ревизор. Он выдающийся гурман и член многих обществ. А кроме того, он преклоняется перед своим приятелем из этой темно-коричневой виллы. Что-то с ними всеми теперь будет?

— Еще в шестидесятые годы интеллектуалы начали превращаться в подобие класса, не имеющего собственных экономических интересов. Мы превратимся в класс странствующих монахов, мыслителей, философов. Понимаете? У нас появятся сверхвозможности в области трансцендентного. И мы *выстроим храмы*, уж вы мне поверьте!

В те годы он мог показаться несколько чудным. Прошлой осенью с ним случилось то, что сам он называл «мой крах».

Теперь же стоит ноябрь, необычно теплый и ласковый, он кроток с женой и рассчитывает пережить этот месяц благополучно.

Даже когда она два дня тому назад по невыносимой, свойственной всему их полу рассеянности распахнула дверцу машины прямо перед бампером проезжавшего грузовика, который начисто снес эту чертову дверцу — считай, тысячи три на ремонт, — то и тогда он ничего такого особенного не сказал.

— Может, стоило бы оглянуться, прежде чем открывать дверь? — поинтересовался он вполне любезно.

Он был в той фазе отрешенности, когда стычки не приносят никакого удовольствия.

Покуда стоял единственный в городе храм,
вокруг которого осенние чайки
рассеянно кружили перед отлетом.

2

Никто толком не знает, что такое человек.

Мастера средневековых застенков, умелые, упорные, изощренные, на сей счет заблуждались. Клиники восемнадцатого века, с их ваннами и душами, с коварно расставленными препятствиями и ловушками на пути блуждающих, век девятнадцатый с его смирительными рубашками, маэстро Фрейд со своими хитроумными трансформациями и ритуалами — все они упускали из виду нечто.

За спиной человека всегда остается сгусток темноты, настойчиво испускающий свои собственные сигналы, не адекватные ничему, чего можно было бы ожидать от самого человека.

Современные государства наделяют человека с рождения личным номером; они вносят его в банки данных, организуют в рабочие бригады или распаляют митингами, его силами осваивают заполярные рудники, ссылаясь при этом на его якобы троцкистские взгляды; превращают его в недоразвитого уродца в голодных тропических регионах или в косноязычного алкоголика в метро, в промозглой сырости, под давящей тяжестью горных пластов. Физиологи втыкают в его мозг свои серебряные электроды и наблюдают, как тот реагирует на слабые, но очень точно направленные разряды и как оргазм бушует электронной бурей, неотличимой на экране осциллографа от эпилептического припадка.

И все это — в странной уверенности, будто действительно известно, что на самом деле есть человек.

Но непрерывно со всех сторон стекаются иные сведения, дающие понять, что это заблуждение.

Человек постоянно опровергает свою идиотскую человеческую убежденность в том, что знает свою собственную сущность.

Это произошло осенью 1977 года на Джекилле — маленьком тропическом островке близ побережья Джорджии, с прекрасным гостиничным комплексом для конференций.

Мощный тропический ливень затянул густой сеткой горизонт.

Он стоял у громадного, во всю стену, окна, глядя, как молния всякий раз высвечивает широкий, не меньше мили, ослепительно белый пляж, где водятся диковинные крабы, боком отбегающие в сторону из-под самых твоих ног, когда ты совершаешь ежеутреннюю пробежку вдоль берега.

И в этом ливне стоял пожилой индеец и удил рыбу. На нем была старая бесформенная соломенная шляпа, вся усаженная рыболовными крючками, удочка у него была метра три длиной, широченные штаны резко вырисовывались на белом фоне.

И то, как он стоял — совершенно неподвижно — в теплом вихре тропического дождя, не обращая ни малейшего внимания ни на вспыхивающее над его головой небо, ни на белое от пены море, беснующееся у самых его ног в обтрепанных штанинах, вселяло радость в того, кто на это глядел.

Его осенило, что на самом деле никто не знает, что такое человек.

Ибо со стороны посмотреть на человека невозможно.

Ему захотелось, чтобы и девушка тоже подошла и взглянула в окно.

Она же еще не решила, хочется ей этого или нет. Утомленная, она была такая мягкая и необыкновенно теплая. Она зевнула.

Потом снова натянула ночную сорочку, ее длинные, возможно, слегка подкрашенные светлые волосы рассыпались по изящному кружевному воротничку. У нее были округлые сильные плечи и маленькая крепкая грудь, какая иногда встречается у американок и за тридцать.

Она ему очень нравилась. Друг дружку они почти ни о чем не расспрашивали. Он повстречал ее в баре Джексонвилла, она утверждала, будто недавно овдовела.

Он не особенно задумывался, как там обстоит на самом деле. Просто нужно было во что бы то ни стало принять участие в семинаре на острове Джекилл; был сентябрь 1977 года.

Никто не знает, что такое человек.

Кондиционер работал на полную мощность, и она немного озябла.

Он опять забрался в постель и прижался к девушке.

Ливень несомненно шел к концу. Осторожно, медленно-медленно он зарывался лицом все глубже в ее подмышку, испускающую нежное, влажное тепло и слабый аромат крема «Нивея».

(Много лет назад, помнится, одна девушка в Греции объясняла, для чего горлышкам флаконов с «Нивеей» и колпачкам от них придают продолговатую, такую удобную форму, и тогда его это шокировало.

Тогда шокировать его было несколько проще.)

Она приехала из Хьюстона. Вообще говоря, она была *очень* привлекательная девушка. Как это бывает у многих американок нашего поколения, оргазма у нее долго не наступало, покуда наконец он не накатывал медленными, тяжкими волнами, как прибой на отдаленном берегу, таком далеком, что не всякому путешественнику хватит времени до него добраться.

Ему пришло в голову, что она *внегеографична*, в Европе такими бывают, пожалуй, девушки из ФРГ.

Девушка без диалекта, без родины, и нет такой тропинки или такой горной гряды, которая была бы знакома ей лучше, чем другим. Она — порождение мира с перемешанной средой обитания, где один мотель похож на другой, а контора одного агентства неотличима от всех остальных.

Сколько таких контор она, наверное, успела сменить после колледжа!

Ему нравились такие девушки: когда сквозь всю эту безликость, сквозь запах «Нивеи», заменяющий диалект, сквозь знание правил поведения и равнодушное знание собственной роли — сквозь все эти знания, которые для человека прежних дней заменяло знание своего ландшафта, его хитросплетений и тайных свойств, когда сквозь все это тебе в них явится вдруг *темнота* — то единственное, что есть индивидуального в человеке, — ты поразишься тому несказанному теплу, той мудрости чувства, той глубокой интуиции в наслаждении, которой наделены такие девушки.

— О чем ты думаешь? — спросила она много позже той же ночью.

— Каждую минуту на Земле вырубается двадцать гектаров леса. Ты слышала об этом?

— Нет. Но он ведь снова вырастает?

— Поди-ка сюда и посиди со мной у окна, тогда расскажу. Только накинь что-нибудь, тут очень дует от кондиционера. Может, откроем окно, впустим немного тепла? Москитов сейчас нет, после дождя.

— О'кей.

Семинар оказался весьма интересным. С утра начнется третий день его работы. Компания-устроитель, имеющая дочерние акционерные общества в пятидесяти с лишним странах, нуждалась в разработке единой информационно-поисковой системы и единой терминологии для описания развития конъюнктуры соответственно во всех этих странах.

Располагая контролем над языком, можно в известной мере контролировать и самое это развитие — через формулировку проблемы.

И во всех отношениях будет правильнее предоставить контрольные функции относительно объективной транснациональной компании, нежели отдать их на откуп местным мафиям, коррумпированным партиям, опьяневшим от власти народным героям и туземным министрам внутренних дел, потихоньку прибирающим к рукам государственную власть при помощи тайной полиции. Но загвоздка в том, что, очевидно, одной такой описывающей системы явно недостаточно. Одна нужна оптимистам, другая же, куда более трудно формализуемая, — реалистам.

Утром к каждому из этих отдельно стоящих домиков с окном во всю стену, вместе составляющих отель, подъедет на маленьком электромобиле прислуга, сменит простыни и махровые полотенца и приберет в крохотных уютных кухоньках, где можно готовить самим.

А девушка наверняка, как и во все предыдущие дни, усядется, но не у

моря, не на берегу (где, по ее мнению, слишком дико и ветрено), а у плавательного бассейна, под раскидистыми пекановыми деревьями, увешанными сомбреро, и будет сидеть в шезлонге у кромки тепловатого бассейна, в котором плещутся дети с родителями, и просидит там до вечера, безмятежно погрузившись в очередной фантастический роман.

Поистине она принадлежит иному берегу, новой культуре, и это ему по душе.

Она громко зевнула и потянулась за его бокалом, где еще оставался «Бурбон», сильно разбавленный водой (он не одобрял этой американской манеры смешивать алкоголь и эротику: влияние алкоголя может легко оказаться расслабляющим, притупляющим чувственность), и сказала:

— Может, лучше поспим? Еще целый день впереди.

— О'кей.

Он поцеловал ее с искренней нежностью. С той бережностью, с какой прикасаются к археологической находке. Правда, с ней все обстояло с точностью до наоборот.

Через день тяжелое грузовое судно уйдет в пролив, а по одному из телеканалов будут без конца рассказывать о направлении воздушных потоков над районом Карибского моря, скрупулезно перечисляя все возможные предвестники циклона.

Она же, во всяком случае во время отлива, станет бродить вдоль берега, отыскивая по дыхательным отверстиям в песке моллюска с изысканно-розовой изнутри раковиной, который называется Cornea purpurea.

Моллюска можно удалить из раковины, прокипятив ее в кастрюльке с водой.

Она питала отвращение к этой процедуре и перепоручала ее ему; на кухонном столике уже лежало несколько раковин.

Их пурпурное нутро было похоже на ничего уже не стоящую, выданную тайну.

3

Вместе с невозмутимым профессором Янцем из Мюнхена они брели в купальных костюмах вдоль белоснежного пляжа.

Они уже проплыли несколько километров, но тут девушка испугалась огромных плавников, показавшихся в нескольких сотнях метров впереди.

По мнению профессора, то были вовсе не акулы, а дельфины.

Они уселись втроем на серебристую, отшлифованную волнами корягу и смотрели, как солнце медленно входит в огромное скопление темных облаков — возможный центр циклона, готового разразиться над Карибским морем.

— Год тысяча восемьсот шестьдесят шестой, — сказал профессор, несколько эксцентричный специалист в области общественных наук, приглашенный на эту осень читать курс лекций в Гарвард. — Год тысяча восемьсот шестьдесят шестой — это тяжелый и мрачный год в баварской истории. Проиграв войну Пруссии, Бавария утрачивает свое явное первенство среди германских государств.

Король Людвиг II, полностью утратив иллюзии насчет своей грядущей исторической миссии, лишенный дружбы Рихарда Вагнера, выдворенного из Мюнхена после скандальной истории с Козимой, женой капельмейстера фон Бюлова, полностью потеряв надежду на мало-мальски нормальную жизнь после того, как его помолвка была расторгнута, — король Людвиг II Баварский покидает свою столицу и заточает себя сперва в своем роскошном альпийском замке Линденхоф, а спустя несколько лет — в еще большем, еще пышнее и расточительнее убранном Нойшванштайне.

Оба дворца примечательны, знаете ли, в том смысле, что они и не дома вовсе, в обычном понимании. Это *образы* домов, трехмерные фантазии на тему жизни, нигде и никогда не прожитой.

— Вроде Диснейленда?

— Да. Только всерьез. В этих замках не найдешь ни одной нормальной ванной, ни гардеробной, ни единого пригодного для топки камина.

Королевская спальня — парадная, отчасти в стиле Версаля, отчасти в духе испанских образцов романского стиля.

Вся нормальная жизнь, кухни, туалеты — все *закулисное* удалено в подвалы.

Со временем он заставил даже слуг ходить в масках; в Линденхофе его обеденный стол утапливается в пол кабинета при помощи специального устройства, едва трапеза окончена.

Остаются только зеркала, слоновая кость, китайские вазы, взбирающиеся, словно альпинисты, по причудливым барочным полочкам под самый потолок, на котором ангелочки и putti неорафаэлитов гоняются друг за дружкой под сумрачным облаком.

Но главное, конечно, зеркала — зеркала, эти серебряные шедевры, зеркала, бесконечно продолжающие каждый покой, повторяющие и повторяющие лепнину и позолоту, и так до головокружения.

— Значит, у этого Людвига так никогда и не было шансов вернуться в свою собственную жизнь?

— Боже, сколько же ты всего пережила, деточка, вот ведь какая ты умная! — восхитился профессор. — Надо же!

Да, он был заточен в *изображение* своего обихода, заточен внутри абстрактной идеи королевского замка, эдакого Версаля, эдакого двора короля Артура, и заточен навечно, без малейшего шанса стать когда-нибудь снова королем Людвигом.

Можно сказать, это король, вошедший в легенду лишь тем, что пытался стать кем-то другим, не собой.

— *За одним исключением*, если угодно: той темной и бурной ночи на берегу Штарнбергского озера, когда он, задушив своего лечащего психиатра, сам исчезает в волнах.

— Так не кажется ли вам, что это — история *потребителя*?

— Разумеется. Он потреблял неслыханное множество *самого лучшего*. Лучшего мрамора. Черного. Лучшей слоновой кости. Белой. Листовое золото. Только серебряные зеркала, с серебряной же филигранью, никаких других. Естественно, он дал работу десяткам тысяч мастеров и поднял на новый уровень прикладное искусство Баварии.

— Так, значит, первый потребитель? Первый житель загородной виллы? Первый держатель кредитной карточки Diners Club? Первый, кто последовательно попытался *жить внутри образа,* вместо того чтобы...

— Вместо того чтобы — что?

Последнее произнесла девушка, и совершенно неожиданно. Занята она была тем, что озабоченно исследовала внутреннюю сторону своей левой ляжки на предмет поиска возможного укуса москита, вполне вероятно, малярийного.

Это нестерпимо отвлекало обоих ее спутников.

— Не волнуйся, может, это был я, а не москит, — произнес он, положив руку ей на плечо. Она тут же проворно ее сбросила.

Ее не на шутку взволновал их разговор.

— *Потребитель*, — сказал он. — О'кей. Живущий внутри *изображения некоего стиля жизни* и сам, таким образом, равный нулю. Но ведь возможна и иная точка зрения.

— Какая же? — сказал профессор Янц (который был все еще сильнейшим образом заинтригован происшествием с этой белой ляжкой. Там росли маленькие золотистые волоски, ставшие заметными лишь теперь, когда солнце пробилось сквозь обширную тучу).

— О, мне видится холодный и хмурый осенний баварский день, как он сидит у окна в свинцовом переплете, откуда открывается вид на две долины и далекое озеро, и *знает, что он — заурядность*. Отсюда все его тщеславие, вся мечтательность и безумная жажда роскоши. Он — первый Виттельсбах без свойств.

Конечно же, он был просто убит, когда Вагнер его покинул.

Вот сидит он и глядит на эту осеннюю долину, где на ветвях не осталось уже ни одного листа. Серое небо, и пара тщательно подобранных шпицев заливаются лаем на псарне, так что слышно даже здесь, за свинцовым окон-

ным переплетом. И сидит он у окна, и глядит сквозь свинцовый переплет, как кружит над долиной черная воронья стая, — а сам он в буквальном смысле ничто...

— Как это понять? — переспросила девушка. — Может, сплаваем назад? Так захотелось чего-нибудь выпить!..

— Я только хотел сказать, что на самом деле это, возможно, был *способ пережить ноябрь.*

— А это как понять?

— *Способ пережить ноябрь* необходим в жизни каждому. А это ведь искусство, не так ли? Боже, до чего он тривиален, этот баварский король!

4

Профессор Янц устроил семинар именно на острове Джекилл из особых соображений.

Ему необходимо плавать, чтобы восстановить кровообращение.

Он тут уже бывал — и оценил по достоинству воду, температура которой держится выше двадцати градусов вплоть до конца ноября.

Начинал он плавать по утрам, задолго до завтрака; в этих занятиях ему неизменно составляла компанию жена, высокая, худощавая, очень ухоженная и элегантная дама.

В одиннадцать, непосредственно перед ленчем, полагался второй заплыв. А потом еще один, после обеда.

Эта немецкая нация, со своей одержимостью собственным телом, своими нарушениями кровообращения, своими институтами здоровья, своими курсами лечения печени, своей непрестанной заботой о собственной плоти — заботой аутоэротической и в то же время какой-то безличной, — начинала уже действовать ему на нервы. На конференциях и в поездках он с этим сталкивается уже не в первый раз.

Трудно понять, что за всем этим стоит.

Может, мы имеем дело с особого рода утонченным наслаждением? Или же это цена, которая платится за нечто другое, нечто неявное, по ту сторону автострад, «мерседесов» и хорошеньких белых альпийских домиков в Тессине?

Плавали они вдоль бесконечного пустынного пляжа. Профессор Янц и его жена практически никогда не разговаривали во время плавания. Американская девушка дурачилась, заходя в воду, а потом долго плыла на спине, показывая пальцем на пеликанов, держащихся в полосе прибоя, который усиливался к вечеру.

Отель пропал из виду как-то сразу, и виден был только берег, один мыс, неотличимый от другого.

Однажды они нашли полуразложившегося тюленя. Он лежал среди камней, покрытый жужжащим слоем мух и странными тропическими пиявками, вернее сказать, это на его взгляд они были тропическими пиявками, — большая гниющая туша, которая в каком-то смысле *должна была* привлечь к себе их внимание.

В меру тщательно осмотрев ее и ужаснувшись ее запаху, этому поистине мерзостному, отталкивающему запаху распада, избавиться от которого можно, лишь разведя костер и предав тушу огню (американская девушка даже потыкала ее щепкой и обнаружила, что при желании можно легко проткнуть мягкую тюленью шкурку), они побрели обратно, на запад, к отелю.

Примечательно, что плавать больше никому не хотелось.

Это был необыкновенно содержательный пляж: одни только формы, которые ветер и песок придали серебристым кусочкам дерева, могли бы занимать воображение часами. А мелководные ракушки с их небывалой, право- и левосторонней закруткой: та же самая раковина, во всех мыслимых отношениях, но — и разница эта, так сказать, в самой основе, — если одна из них заворачивается влево, другая бесповоротно закручена в обратную сторону.

Словно бы одна из них, обойдя всю Вселенную, возвратилась назад, на этот свой берег, чтобы встретить тут другую, никогда его не покидавшую.

После ленча дискуссия продолжилась. Он оставил американскую девушку — она вновь погрузилась в четвертый за эту неделю толстый роман в бумажной обложке, свежеприобретенный в газетном киоске приземистого, похожего на бунгало гостиничного административного здания и полностью повторяющий три предыдущих — кажется, что во всех них говорится о той же самой неслыханной страсти, пронизывающей, словно пассат, все эти продающиеся в газетных киосках одинаково толстые американские романы в бумажных обложках.

Итак, дискуссия продолжалась, и какой-то совершенно лысый господин из Нью-Йорка выступил с итоговым докладом, посвященным необходимости изыскивать принципиально новые способы описания конъюнктуры в периоды, когда полагаться на нее уже невозможно.

Все это было, прямо скажем, на редкость приблизительно и спекулятивно, и последние года два у него появилось чувство, что подобные семинары долго не протянут.

Негоже забалтывать действительность, и ни ужасающие уличные беспорядки в телерепортажах из той или иной страны «третьего мира», ни столь же ужасные колебания курсов валют никак не укладываются в теоретические модели, разработанные в пятидесятые годы командой экспертов, поставивших перед собой простую — проще некуда — задачу: предсказать последствия продолжающегося промышленного роста.

В его собственном промышленно развитом отечестве уже не хватает средств ни на уборку снега зимой, ни на бифштекс или хоть какую-нибудь мясную пищу для рабочей семьи.

Почва уходит из-под ног у промышленно развитого мира, а тут какие-то болтуны прогуливаются по берегу.

В то время как другие плавают ради собственного кровообращения, а кое-кто упивается великой страстью под бумажной обложкой.

Завтра он уезжает в Джексонвилл и увозит американскую девушку. Ее самолет на Бостон (дался ей этот Бостон — но зачем-то ей туда надо) вылетает рано утром, а ему еще сидеть полдня с книжкой в аэропорту. Что его, видит Бог, не особенно огорчает.

У него было предчувствие, что если он останется еще на день-два, то окажется втянутым во взаимоотношения немецкого профессора и его молчаливой, сдержанно-послушной жены и будет вынужден играть роль *свидетеля* при этих двоих, вовлеченных на самом деле в скрытую войну не на жизнь, а на смерть, и что подобная роль — *свидетеля* — отвлечет его, измучит и отнимет немало времени, еще много недель кряду.

Они тепло, даже как-то настораживающе тепло простились на стоянке у административного здания.

Профессор намеревался остаться еще на две недели и заняться своим кровообращением.

На шоссе, пролегающем главным образом среди мангровых зарослей, с тех пор как они въехали на материк, машин было совсем немного.

В Джексонвилле он спокойно попрощался с американской девушкой, как только объявили ее самолет, и она весело помахала ему своей косметичкой и еще недочитанным романом в бумажной обложке *про страсть*.

Не удержавшись, он расхохотался — от некой радости, что вот бывает же такое,— и легким шагом направился в бар заказать большую чашку кофе.

Еще осталось время позвонить домой и сказать, что, по его расчетам, он прилетит часов через восемнадцать.

Было ощущение, будто он пережил один из тех романов, что не смогли осуществиться просто потому, что, хотя имелись все необходимые ингредиенты, никто не посмел привести их в более тесное взаимодействие.

5

О, эти горы, что родят мышей!

Вернувшись ноябрьской пятницей, он понял совершенно отчетливо, что будет снег; он ощущал, что снегопад готов начаться с минуты на минуту — так сух был воздух.

Прибыл он трехчасовым поездом; не было смысла брать машину в Арланде, спешить ему некуда.

Дома никого; он уселся у кухонного окна, чтобы быть как можно заметнее с дороги: если жена вернется не одна, у нее будет возможность сразу же увидеть его и избежать неудобных неожиданностей.

Вместо того чтобы объявиться вместе с любовником, она сама куда-то пропала. Он сидел час за часом, тихонько гудела батарея отопления, и ему вдруг захотелось глянуть, нет ли писем, но в последний момент расхотелось: ему ничего не могло прийти, кроме счетов да приглашений на очередные конгрессы, каковые его уже ничуть не привлекают.

Знать хотя бы, где ее черти носят!

Он уже всерьез подумал обзвонить кое-кого из знакомых и родственников, но воздержался.

Легко показаться смешным.

Он дважды приложился к виски и отправился спать.

Заснуть было абсолютно невозможно. Что-то ныло в области диафрагмы, не обычное голодное подсасывание, а нечто другое, нет, не плач, плакать было бы ребячеством, скорее плач в его твердой, кристаллической форме. Чувства имеют свойство *становиться банальными*, едва прорвавшись наружу.

Он не мог отыскать той любви, которую когда-то, должно быть, питал к ней, — разные мелочи на кухне, следы ее возни с цветам на подоконнике, она, похоже, только что уехала, — все говорило ему, что когда-то он, должно быть, любил ее, — и взамен надо теперь найти *что-то другое*.

Словно Лючия в сцене безумия у Доницетти в «Лючии ди Ламмермур». Обманутая вероломной любовью, словно бы весь мир, даже ветер, даже горы предали ее, она не может отыскать свою любовь.

Взамен она находит что-то другое, смешное, нечто пародийное, нечто банальное. Шлягерный мотивчик взамен великой песни.

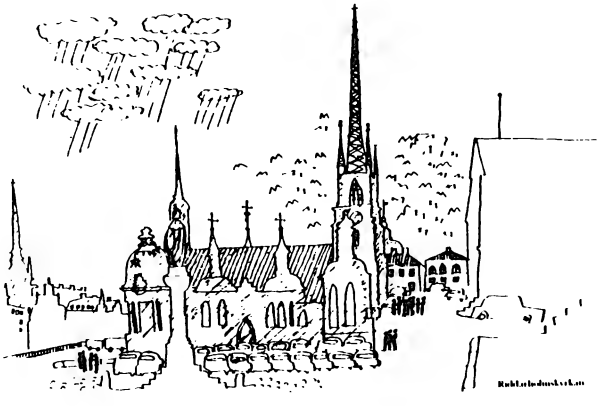
Да и тот звучит недолго.

О. эти горы, они только мышей и родят!

Утро выдалось безветренным, холодным, сухой снежок хрустел под ногами. Заснул он ближе к шести и, уже заснув, вспомнил, что она улетела с подругой чартерным рейсом на Родос.

Он натянул ботинки, тренировочный костюм, перчатки.

И выскочил на сухой ноябрьский воздух, как раз перед очередным снегопадом, и побежал легко и ритмично, и больше не знал уже, от чего, собственно, убегает.



ТУМАС ТРАНСТРЁМЕР

Стихи

Перевод ИЛЬИ КУТИКА

О Тумасе Транстрёмере

В России поэты все еще «поют» (нередко и воют... — говорю о «подаче» им их сочинений). В Европе... — будто читают лекции. В лучшем случае — будто беседуют с аудиторией, правда, односторонне.

Творчество Тумаса Транстрёмера помогает взять (говоря словами Велимира Хлебникова) «верный угол сердца» к этому «создавшемуся положению» в современной поэзии.

Внутренний специфический мелос (по-видимому, являющийся бессловесным выражением заветов — да, сокровенных, да, народов-отцов), похоже, в поэзии уже не действует (притом *повсюду* — «дело идет к этому» и у нас).

Прямой, ясный язык Транстрёмера, подобный холодноватому свету северного неба, втягивает читающего в себя, как мне кажется, постепенно и незаметно. И совсем тут другое «колдовство» и «очарование» (а они и есть, и подлинны, хотя я и взял эти слова здесь в кавычки).

Лаконизмом, да и гармонией новой художественной содержательности управляет здесь страстное внимание мысли и сдержанная человечность говорящего. Душевность здесь прикрыта кажущейся описательностью («предметный мир» заранее — давно уже — пропитан страданием и состраданием: «Буксир ржавеет, пустивши на суше корень... Слышно в земле нытье и всхлипы».

Втягиваясь в эти стихи, я слушаю странный, «необязательный» монолог — этот разговор, который будто «ни с кем», который скептичен, чтобы не выглядеть мудрствованием (а на самом деле именно му_р), где чувство будто исключено, но, на поверку, может таиться запрятанно-хрупким... ак строки о человеке — о самом авторе, — «несомом своей тенью, как скрипка — в утляре».

«Бог» в этой поэзии «не умер». Ее мир отсвечивает холодным светом постоянно присутствующей *оставленности... — кем?* даже не надо задавать этого вопроса, — стихи Транстрёмера, отзвучав, завершившись, продолжают действовать «не отпускающим» молчанием.

«Все оказалось гораздо сложнее», — говорю я себе, набрасывая эти строки. Ясность и простота в стихах Транстрёмера обманчивы... — нет, и слово «обманчивы» здесь не подходит, настолько честность и подлинность Транстрёмера в искусстве мне кажутся уникальными.

Вернее будет сказать: сквозь эту поэзию просвечивает мощный поэтический дух, редкостная личность самого поэта (...лучезарная — я это знаю по личным впечатлениям и позволю себе здесь это слово).

22—23 октября 1994

ГЕННАДИЙ АЙГИ

Эпилог

Декабрь. Швеция как расснащенный
поднявшийся корабль. Закоченелость
мачт в сумерках. А сумерки длиннее,
чем день, — кремнист сюда ведущий путь:
к полудню лишь сюда доходит свет,
и колизей зимы прожекторами
туч освещается. От хуторов
восходит дым, вращаясь, будто штопор,
но тучи бесконечно высоко.
А море подрывает корни неба,
усталое, но вечно начеку.
(Не виден путь, когда душа во мраке,
вполглаза — птица пробуждает спящих
чириканьем. Рефрактор, так вертясь,
другое нам показывает время,
и это лето: полных светом гор
мычание, поток, поднявший солнце
в руке прозрачной... Но — всему конец,
как будто пленка рвется в темном зале.)

Звезда под вечер прожигает тучу.
Деревья, огороды и дома
в лавине тьмы безгласной вырастают.
Под звездами становится ясней,
чем все другое, тайный тот пейзаж,
как на рентгеновском возникший снимке.
Тень едет на салазках меж домов.
Те ждут.

В шесть вечера сюда влетает ветер
и громко ходит по поселку, как
внезапно спешившийся всадник. Как
тревога эта темная играет!
Дома лишь пританцовывают в этом
глубоком шуме, что на сон похож.

Его порыв минует бухту — в море
открытое стремясь. Туда — во мрак.
Отчаянно сияют звезды в небе,
то выключаясь, то включаясь тучей,
которая и существует лишь,
когда скрывает свет, как туча та,
что в душах наших шастает. Когда я
конюшню прохожу, оттуда звук
доносится топтания на месте.
И это бури спад. Отмечен он
поваленной калиткой, вонью псины,
идущей от зверья, во все углы
забившегося. Отступая, гром
о крышу спотыкается, бренчит
электропроводами, будит свисты
у черепицы ночи, и деревья
отбрасывают ветки безнадежно.

Напоминает это звук волынки!
Волынки приближающейся, вольной.
Процессия. Волынка. Лес на марше!
Бурлит у штевней и клубится мрак,
земля с водой клубятся. Мертвецы,
лежащие под палубой, — те с нами

© Tomas Tranströmer 1984—1990
© Илья Кутик, русский перевод.

всегда в пути: и это — путь по морю,
и не блужданье, а нормальный рейс.
Мир ставит заново свою палатку.
Дубов оснасткой ловит ветры лето,
выбрасывая Землю из пращи.
И водяные лилии гребут
корнями в озерце, как при погоне.
Валун отторгся от скалы пространства.

В июньских сумерках чуть привстают
над горизонтом острова. Деревни
откатываются все глубже в лес,
а за баранкой — лето. Крик сороки.
Год снашивает башмаки, и солнце
все выше. Поднимают лист деревья
и наполняют ветром, и плывут.

Сожженный бор прилип к подошве горной,
но летний солнечный прилив грядет,
чуть затопляет кроны, выжидает
мгновение и отступает — и
без листьев оставляет побережье.
Дух Божий — тот же Нил: он затопляет
и отступает, этот ритм мы слышим
в созданиях разрозненных эпох.

Но Он и неизменен, потому
Его мы наблюдаем здесь не часто.
Процессию перебивает Он.

И будто бы корабль плывет в тумане.
Туман его не замечает. Тишь.
И слабый свет с кормы словно сигнал.

Поворот суток

Муравей на вахте таращится в
никуда. Лишь тиканье капель с листвы
и слыхать да застывшую на краю
пропасти воду.

Ель как стрелка зубчатая в часовом
механизме. Сверкнул муравей болтом.
Вскрикнула птица! И небосвод свою
тронул подводу.

Hommages

Прогулка вдоль полной бесчувственности. Стена.
Die Mauer, скажем.
Взрослые наши жизни стремится закрыть она
в рутинном городе с таким же пейзажем.

Элюар однажды какой-то сказал сезам —
и стена открылась... и яркая зелень нам
ударила по глазам...

С ведром молока я шел через лес. Драпри
лиловое было задернуто за стволами.
Уютная старая шутка подвешена изнутри
была, как кораблик в храме...

Лето — цитата из «Пиквика»... Обнимусь
и я со спокойной жизнью!.. Как много дней
впереди!.. Пикники... Катящийся омнибус...

Смежи глаза, смени лошадей.

Детские мысли приходят ко мне все реже.
Подле больничной кровати просили мы, чтобы без
боли все прекратилось, о синей бреши,
в которую пиквики спрыгивают с небес...

Смежи глаза, смени лошадей.

...прекрасно любить фрагменты, обрывки фраз,
пылящих многоточиями... Литые
гулкие надписи на колоколах... Святые
с пословицами в ногах.. И это все ради нас
гудит и пылится многие-многие лета...

Архилох! — Нет ответа.

Белые птицы пригладили пыльный ворс
моря. Мы с Сименоном вдвоем теперь, и
дверь на запор. Запах жизни нам в ноздри врос,
и роман с продолженьем — как свет из-под двери.

Запах правды, как в батисфере.

Распахнутое окно останавливается само
против верхушек деревьев. Эти
прощальное передают письмо

от вечернего неба... Бьёрлинг и Унгаретти —
мелками жизни по черной классной доске
смерти... Осуществимость в любой строке.

Я посмотрел туда, откуда был ропот слышен.
Чайки белели средь черных вишен.

Формулы зимы

I

Я заснул в постели, внимая крыльям,
а проснулся под глубоководным килем

в четыре утра — когда кости, отчищенные добела,
собирают своих соратников
по скелету от недостатка тепла.

Среди ласточек я засыпал,
а проснулся среди стервятников.

II

В фонарных лучах мерцало
растопленное свиное сало.

Это не Африка. Это не
Европа. Т. е.
это вообще ни в какой стране.

И то, что именовалось «мной»,
смешалось с белой слюной
во рту декабря. Растопленный шпик свиной.

III

Больничные зданья еле
мерцают, как будто теле-
экраны. Без всякой цели.

Какие-то тайные знаки,
полосы, точки, аки
при гриппе, хрипят во мраке.

По небу прошелся веник
метели. И я ощущаю, что
мир заползает ко мне в пальто,
как в муравейник.

IV

Три дуба в черном. Один, как инок,
помоложе. В морщинах другие два.
К весне из их монастырских крынок
молочная выплеснется листва.

V

Автобус, раздвигающий фарами зимний мрак,
как корабль черную воду с поплавками коряг.
Ели, всплывающие, как топляк.

Нас — несколько пассажиров, но если не жать на газ
и выключить фары, то мир тотчас
утонет, включая нас.

Утренние птицы

Я бужу машину. Ветровое стекло
во сне затекло.
Очки от солнца я надеваю, и пенье птах
смеркается на глазах.

Человек на платформе во власти басен
газетных. На солнце лезет
товарняк. Он красен
от ржавчины. Но это загар
железа.

Все заполнено. Нету вакантных дыр.

Тепло упирается в коридор
холода, откуда борзо
кто-то идет, чтоб поведать про оговор
на пути его в боссы.

С черного хода пейзажа, куда-то целя
свой бег, хиляет сорока-воровка,
черно-белая птица, служанка Хеля[1].
Черный дрозд работает как штриховка,
пока (сквозь очки) все не станет цвета сангины,
кроме белых простыней на веревке:
гудящих, как хор Палестрины.

Никаких вакансий не существует тут.

Странно чувствовать, как твои же стихи растут,
ибо сам ты съеживаешься... Когда
они растут, ужимаешься ты, как ртуть.
Они норовят тебя выжить.
Растут, чтоб тебя спихнуть.
Всё. Ты вытолкнут из гнезда.

[1] Хель — в скандинавской мифологии царство мертвых. Позже стало противопоставляться небесному царству мертвых — Вальхалле. (*Прим. перев.*)

Медленная музыка

Зданье заперто. Солнце протискивается через
двойные рамы
и согревает поверхность канцелярской мебели,
под
тяжестью многих судеб загрубевшую. По утрам мы

выходим, чтоб постоять на вершине пологого склона.
Одеты многие в черное. И чуть сдувает вперед,
когда на солнце стоишь зажмурившись. Правда, к лону

воды я спускаюсь лишь иногда. Пока мне
не нужно побыть одному. Со спокойными спинами камни
передвигаются медленно назад и кверху из вод.

Имя

Я стал засыпать за рулем и отъехал под дерево на обочине автострады. Откинул сиденье и заснул. Сколько я спал? Наверное, пару часов. Успело стемнеть.

Сознанье проснулось, но это не помогало. Где я? Кто я? Я — некто, проснувшийся в автомобиле, объятый паникой, словно кот, угодивший в мешок. Кто я такой?

Жизнь наконец стала ко мне возвращаться. Имя спустилось, как ангел. Звуки рожка за стеною (как в оперной увертюре) и чьи-то шаги (быстро-быстро) по длинной лестнице вниз. Это я спускаюсь! Да, это я!

Трудно, однако, забыть эти пятнадцать секунд битвы в аду забытья всего лишь в нескольких метрах от шоссе, по которому мчатся и мчатся.

Оттепель-66

Древнейший гипноз: шипение, шипение водоверти.
Река затопляет кладбище автомобилей, сверкая в ста стеклянных масках.
Хватаюсь за парапет моста.
Мост: железная птица, отбивающаяся от смерти.

Набросок в октябре

Буксир ржавеет, на суше пустивши корень.
Лампа, задутая холодом. Правда, колер
деревьев настойчив, как мигание маяка.
Будто надо кого-то спасать, пока

я иду домой и вижу грибы, из дерна
выглядывающие, как пальцы того, кто денно
и нощно просит вытянуть. Слышно в земле нытье
и всхлипы. Мы все — ее.

Ответы на письма

В нижнем ящике стола я вдруг обнаружил письмо, полученное двадцать шесть лет назад. Паническое письмо. Оно прерывисто дышит, придя ко мне по второму разу.

В доме пять окон: четыре показывают солнечный ясный день. Пятое — черное небо и непогоду. Я стою перед пятым. Письмо.

Пропасть порою лежит между вторником и средою, но двадцать шесть лет могут вместиться в секунду. Время отнюдь не прямая, а скорей — лабиринт, и если прижаться к стене в каком-нибудь точном месте, то можно услышать торопливые шаги, голоса, даже себя услыхать, проходящего с той стороны.

Ответил ли я на письмо? Не помню, это ведь было *давно*. Море спотыкается о свои же бесчисленные пороги, а сердце скачет от секунды к секунде, как лягушка по мокрой траве августовской ночи.

Неотвеченные письма громоздятся, как перистые облака, предвещающие непогоду. Солнце не проникает сквозь них. Когда-нибудь я отвечу. Когда-нибудь, когда я умру и смогу
наконец
собраться. Или где-нибудь там, где можно себя отыскать вторично. Когда я иду, почти уж дойдя, в большом городе, по 125-й улице, в ветре сора. Я, который так любит сбиться с пути и исчезнуть в толпе, как заглавная Т в густоте бесконечного текста.

Во глубине Европы

Я как черное тело, всплывшее у ворот
шлюза. Лежу в отеле, а город уже встает.
Серые волны света, принявшие эстафету
у ночи, меня выплескивают на новый этаж:
к рассвету,
чей горизонт прослушивается. И мертвые невпопад
говорят, но не дышат; курят, но не едят.
И я — как один из них — по проулкам бреду сонливым,
где храм навис, как луна, чередуя прилив с отливом.

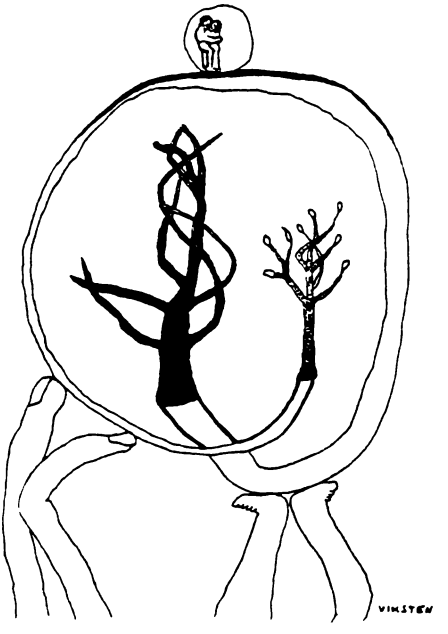


Рисунок Ханса Викстена

МАРГАРЕТА ЭКСТРЁМ

Рассказы

В ночь со второго на третье

Нередко случается, что люди говорят о точном дне и моменте своего преображения или называют точное время, когда началась влюбленность. Таким же образом я могу показать место в календаре — а в этом случае и на карте,— где моя жизнь раскололась пополам, раз и навсегда и окончательно. До этого она была довольно цельной, никогда не простой, постоянно уязвимой, но все же по своей структуре весьма похожей на жизнь других людей. С тех пор линия моей жизни, вычерченная геометрически, стала буквой «Y».

Я снял на лето дом в маленьком рыбачьем поселке в бухте Ханёбуктен, недалеко от Кристианстада. Мой друг, директор местного краеведческого музея, находился на раскопках под Чивита Веккиа и благородно предоставил свой летний дом в мое распоряжение.

Это был старый рыбачий дом, построенный из камня и побеленный известью; уже в начале века он был отдан дачникам и поэтому потерял часть той грубой простоты, которой отличались береговые постройки. Земляные и каменные полы были покрыты линолеумом. Большой каменный очаг, в котором прежде выпекали хлеб, готовили пищу и которым обогревались, сначала заменили обыкновенной дровяной печью, а потом электроплитой, снабженной современной кухонной вытяжкой и полкой из тикового дерева для банок со специями.

И все же что-то в расположении дома, прижавшегося к другим домам на крошечной деревенской улочке, в тени двух черных вязов и под защитой выцветшего серебристо-серого лодочного сарая, вызывало у меня чувство, будто я перенесся в другое столетие. Длинными солнечными днями я играл в Робинзона Крузо, только что выброшенного на берег необитаемого острова; лишь новости, и в первую очередь газеты, напоминали мне о моей профессии. Я вынул из чемодана только самое необходимое: пару поношенных джинсов и два свитера. Вся более городская одежда лежала без употребления. Ходил я босиком, за исключением тех немногих случаев, когда отправлялся на машине в Симрисхамн пополнить запасы еды и вина.

Теперь относительно места в календаре: это было в ночь со второго на третье августа 1980 года. Турпаны, сбившись в черные неуклюжие стаи, так близко подлетали к воде, что я принял их за дельфинов. Сорочай на своих тонких, покрытых красным лаком ногах бродил по грязи, выброшенной первым осенним штормом. Водоросли остро запахли гнилью, и казалось, будто клочья тумана застряли на изгородях, на кустах бузины и еще долго оставались там после того, как вставало солнце и разгоняло их: то были тысячи осенних паутинок, видимых благодаря каплям росы.

Нередко ясно и тепло становилось только часам к одиннадцати. Тогда солнце масляно-желто светило наперегонки с плоскими головками цветов пижмы у дома, и я со своим утренним кофе и трубкой, пренебрегая зеленой

© Margareta Ekström, 1988. First published by Albert Bonniers Förlag

летней скамьей перед домом, сидел на старой корзине для рыбы с подветренной стороны у лодочного сарая и смотрел на южный берег залива Ханёбуктен. Иногда по утрам Борнхольм возлежал на горизонте, круглый, величиной с кита; в другие утра он исчезал в неведомых широтах.

К вечеру второго августа поднялся ветер, разбушевавшиеся волны, шипя, сбивали белую пену над темно-синей августовской водой. В сумерках море гремело как несмолкающий гром. По своему радио я услышал предупреждения о шторме именно на юге залива Ханёбуктен и, ложась в постель в нише не слишком обустроенного чердака, оставил окно только чуть-чуть приоткрытым.

Убаюканный ритмичными ударами волн, я заснул под «Воспоминания эгоиста» и проснулся лишь на минуту, тут же погасил лампу и повернулся на другой бок.

Второй прекрасный сон — если бы он был товаром, он бы получил высшую оценку благодаря своей крепости и прочности — был прерван на рассвете странным звуком.

По ночам в деревне и в окружающей ее вересковой пустоши, где стоял мой дом, было слышно прежде всего, как плескались, как стонали набегающие волны — звуки моря были всегда ритмичны, словно удары сердца гигантского млекопитающего. Затем кричали петухи — шестичасовые горластые и спесивые петухи моего ближайшего соседа-рыбака и карликовые на другом конце деревни, принадлежавшие семье дачников. И наконец, порой ухали совы, кричали сонные дрозды, мычали коровы и где-то вдали со свистом проносились к шоссе ранние машины.

Забыл ли я какой-нибудь звук или крик? Попытаюсь вспомнить... Да, электрический насос, который подавал воду в душ, туалет и кухню, мог взять да застонать или закашлять, хотя никто не претендовал на его услуги.

Я приподнялся на локте и прислушался. Ветер усилился, но я сказал себе, что еще очень не скоро жители рыбачьего поселка начнут говорить о шторме. Оба вяза крутили и качали ветвями, словно пытаясь освободиться от листьев, а ветер гнул и трепал их с такою силой, что казалось, вот-вот вывернет с корнями. Окно билось на коротком поводке. Буруны кидались на прибрежные скалы и ревели в постоянном крещендо.

Когда на мгновение рев стихал, с моря доносились громкие крики.

Кто мог так кричать глубокой ночью? Кто-то из деревни? Это было исключено. Правда, однажды в начале лета маленький дачник с перепугу заорал благим матом. Он проснулся один и не мог найти свою маму, которая играла в бридж в доме через дорогу. Но это было исключением. Деревня была местом тихим и покойным.

Я лег, закрыл глаза и попытался вытеснить картину, неумолимо возникавшую даже несмотря на закрытые веки: небольшой дрейфующий, потерявший управление парусник или другая прогулочная лодка, которую вот-вот подхватят опасные буруны, а может, ее уже пришпилило к острым скалам далеко на мысе, и отец, по горло в воде, с ребенком на руках, запутался в снастях и боится, что их снова унесет в море или разобьет о скалы.

Вот опять. Громкий, умоляющий крик. Теперь я совершенно отчетливо услышал, что это был крик о помощи! Не нечленораздельный вопль, померещившийся мне сначала, а вполне отчетливый: «Помогите!»

Он или она ловили момент, когда море становилось чуточку тише, чтобы закричать, или, может быть, кричали беспрерывно, но только во время пауз я мог различить это «Помогите!», от которого волосы у меня буквально вставали дыбом.

Я не имел ни малейшего понятия, что мне надлежало делать. В то же время я понимал, что оставаться в бездействии равносильно убийству. Будучи «сухопутной крысой», я не имел ни сил, ни снаряжения, чтобы отправиться на помощь. Канаты, спасательный круг, фонарь — всплыли слова. Где их взять? Меня основательно проинструктировали по таким вопросам, как уход за водяным насосом, вынос мусора, пересылка почты и размораживание холодильника. Героические подвиги или трагедии не были предусмотрены в плане этих недель отдыха. Теперь я метался по низкому чердаку,

натягивал джинсы прямо на голое тело, ругался и искал свои сандалии (которые стояли под скамейкой во дворе), напяливал на себя свитер задом наперед и тщетно пытался застегнуть его сзади, причудливо вывернув руки, время от времени останавливаясь, прислушиваясь и слыша — не знаю, чего я боялся больше: того, что услышу крик или что он прекратится, — ритмичный и рвущий сердце крик «Помогите!».

— Помогите! Помогите!

В последний раз в моей голове пронеслись возможные версии; очень уж мне не хотелось выходить на улицу и будить местных жителей для борьбы с морем за жизнь каких-то неизвестных и отчаянных мореплавателей. Но нет. Одно несчастье билось, как пульс, вне меня и во мне, и я выскочил в черную бушующую ночь и услышал свой крик, также рвущий сердце:

— Помогите!

Мерцающее серебристое сияние на горизонте говорило о том, что рассвет уже близок; но на пустоши, вокруг деревни и на берегу было все еще темно, и у скалистого мыса виднелись только белые взрывы бурунов.

Наверное, из-за крика и спешки вид у меня был безумный, когда мне наконец удалось достучаться до моего соседа-рыбака, шестидесятилетнего мужчины, и объяснить ему, задыхаясь и заикаясь, что случилось. Я до сих пор вижу его задумчивый, скептический взгляд, он не торопясь, лениво натягивает пижаму, мне приходится оттолкнуть его, чтобы подойти к телефону, и, только набрав 90, я замечаю, что телефон стоит у самой головы его спящей жены. Она стонет во сне, а я говорю свое имя, название деревни и рассказываю, что слышал.

На минуту в трубке наступает тишина, а потом флегматичный голос говорит на диалекте:

— Вы их видели?

— Нет, — воплю я, — вы сами послушайте. — И в глупом отчаянии поворачиваю трубку к наружной двери, затем опять к себе и кричу: — Вы что, не слышите! Они все время кричат!

Конечно, на другом конце провода молчат, но мой сосед хватает трубку и говорит довольно внушительно:

— Вы бы лучше приехали!

Только тогда человек из службы экстренной помощи на что-то решается и отвечает почти с готовностью:

— Хорошо, мы едем.

Тем временем сосед надел непромокаемый костюм и схватил фонарь, который, очевидно, у него всегда под рукой у входной двери вместе с прикнопленной программой телепередач на неделю; мы пробираемся вперед сквозь ветер, и он то и дело повторяет:

— Где же они?

Но иногда ветер относит его слова, и тогда он кладет свою твердую, теплую ладонь на мою ледяную руку, и я молча показываю. Там. На самой оконечности мыса.

Я все еще их слышу.

— По-мо-ги-те! По-мо-ги-те!

Я слышу, что голос становится слабее, и бегу все быстрее. Но мыс, который в тихие солнечные дни — любимое место для купания, теперь залит морем и является частью подводного ландшафта, борозды известняка ведут к скользким, как мыло, западням. Я упал, ушибся и насквозь промок. Вскоре меня хоть выжимай. Я вижу, как фонарь высвечивает гребни волн, и каждую секунду жду — вдруг мелькнет в волнах остов лодки или белое, объятое ужасом лицо. Но ничего не видно, кроме тяжелых, как свинец, волн, белой пены и серебристого мерцания на востоке, которое усиливается, рассеивая темноту.

Видно, они все-таки утонули.

Жена рыбака, должно быть, проснулась и оповестила других соседей. В дрожащем свете дня можно различить маленькую группку местных жителей и двух незнакомцев с шестами и тросами, прокладывающими себе дорогу к воде. Это, наверное, спасатели, которые приехали на машине. Наши фонари

освещают море с одной стороны, утренний свет — с другой, и не видно ни обломков лодки, ни тонущих людей. Однако все время через равные промежутки то тише, то громче слышатся эти жалобные крики о помощи.

На этом все могло бы кончиться, с восходом солнца на берегу появились люди, безмолвные и растерянные перед загадкой. Но тогда бы моя жизнь не приняла форму буквы «Y».

Жена рыбака подходит ко мне и говорит без всякой иронии или недоброжелательности, скорее мягко и немного сочувственно:

– Может быть, это кричали овцы?

И тут все поворачиваются к суше, начинают болтать, смеяться, а кое-кто ворчит: «Ох уж эти проклятые дачники!», и я едва могу различить ритмичное блеяние на хуторе у большой шоссейной дороги:

— Беее! Помогите! Помогите!

Не знаю, как добрался я обратно до постели. Я срываюсь с места с бешеной скоростью — разговоры и смех стихают, — взбегаю вверх по крутой лестнице на низкий чердак, головой вперед бросаюсь на кровать и плачу как дитя, плачу от стародавней обиды, в продолжение той беды, которая случилась со мной, когда мне было двенадцать лет и мой учитель мне не поверил, хотя я всячески пытался ему объяснить, что не списывал, наклонившись к товарищу по парте во время контрольной, а только хотел спросить, который час...

И сверхчеловеческим, самогипнотическим усилием мне удается опять зарыться в сон и дойти до его плодоносной темной жилы, из которой я черпал отдых, пока меня не разбудили крики.

Я опять растянулся на широком матрасе под низким, слегка пахнущим смолой чердачным потолком и целиком и полностью погрузился в сон, убаюкиваемый шумом моря, которое определенно решило побить свой собственный рекорд шторма в эту ночь со второго на третье августа.

Одинокому человеку, находящемуся на летнем отдыхе в доме на надежном расстоянии от моря, этот ритмичный звук должен даже приносить наслаждение. «Послушай море, — пробормотал бы я другу или любимой, если бы они были со мной. — Слышишь, как красиво оно поет?»

Но я был один и глубоко погрузился в сон, и в конце концов разбудил меня не шум прибоя, а нечто совсем иное. Крик.

Я повернулся на бок и подпер голову рукой. Окно было только слегка приоткрыто, но этого было достаточно, чтобы отчетливо услышать крик. Человек попал в шторм и кричал: «Помогите! Помогите!»

Я лег на спину и посмотрел в потолок. И за окнами, и в доме было темно. Глупости, подумал я. Никто не станет бродить по пустоши и звать на помощь! А если кто-то и потерпел кораблекрушение, ведь не настолько же он наивен, чтобы думать, будто такой крик может достичь человеческого уха сквозь неистовый шум моря.

Но пока я лежал и даже чуть было не заснул опять, крик повторялся, снова и снова, столь же реальный, как мощные удары волн о берег:

— Помогите! Помогите!

Я поднялся и почувствовал, что волосы у меня на руках встали дыбом от ужаса и холода. Там, в волнах, человек боролся за свою жизнь. Может быть, целая семья. Отец, на глазах которого дочь смыло за борт, или, быть может, он был в воде с младенцем на руках, или, может быть, с собачкой...

Итак, я отыскал теплый свитер, умудрился всунуть обе ноги в одну штанину и чуть не упал, как поваленное дерево, ударившись лбом о грубо обструганный покатый потолок чердака; я все время слышал эти рвущие сердце крики и представлял себе человека, который пытается плыть, гребя одной рукой, а море то затягивает его, то накрывает волнами, и он не знает, хотеть ли ему, чтобы его вынесло на острые скалы, или бояться этого. Иногда, когда ему удается набрать в легкие воздуха, он издает пронзительный и жалобный крик о помощи.

Я распахнул окно настежь, и оно тотчас вырвалось из моих рук и ударилось о стену. Слабый звон подсказал мне, что часть стекла нижней рамы

разбилась и упала на землю. Я высунулся, потянулся за окном, но напрасно шарил в темноте. Все было черно. Не должен ли быть на опрокинувшейся лодке фонарь или хотя бы лампа? Дурак, сказал я самому себе. Мачта, наверное, уже в воде и застряла между двумя обросшими ракушками валунами на глубине пяти метров. В таком случае они могут держаться за киль.... но его накрывают эти тяжелые волны, и держаться за киль все равно что держаться за намыленный нож.

Я усердно искал безупречные причины, чтобы вернуться в постель и погрузиться в сон, и в конце концов попытался убедить себя, что все это лишь мое воображение. Однако вновь и вновь до меня доносился крик о помощи:

— Помогите!

К кому был обращен этот крик? К тому, кто его слышал.

Какие еще звуки могли быть в деревне, если не... Я перечислил: сова, собаки, петухи, черный дрозд (исключено) и, по мере перечисления, вяло, как в забытьи, затянул пояс на джинсах и подумал о том, как плохо я подготовлен с моими довольно слабыми мышцами и коротким дыханием, чтобы совершить геройский поступок в такую ночь, вроде этой, в ночь со второго на третье августа.

Уж не стали ли крики слабее? А может быть, это значит, что кричат не о помощи или у перевернувшегося рот наполнился холодной как лед морской водой? Вот я сижу здесь, — как я могу так сидеть в свои сорок лет, в здравом уме, воспитанный в христианской вере швед и почти что жаждать, чтобы крик прекратился, чтобы мне ничего не делать? Да это же убийство! По крайней мере, мысленное.

Затем я вспомнил об овцах. Это было для меня таким облегчением, что я улыбнулся в темноте на своем чердаке. Ну конечно же! Овцы! Крестьянин у шоссейной дороги только неделю тому назад обзавелся двумя овцами, коричневой и серой. Они были редкой породы и, привязанные, паслись на лужайке у дороги прямо перед фермерским домом. Их блеяние слышалось уже несколько дней. Может быть, съели всю траву, и пора было переносить столб, к которому они были привязаны.

Какая удача, что я вспомнил о них! Они существовали на самом деле. Я не придумал их по своей лени и слабости, чтобы не выходить в эту ненастную ночь! Я громко рассмеялся, чтобы убедить себя в их существовании. Ну конечно, как же я о них позабыл! Хорош бы я был, если бы меня не осенила мысль об овцах и я успел бы опять разбудить моего соседа-рыбака и его жену или позвонить в «Спасение на море», у которого в такую штормовую ночь, как эта, и без того хватало дел.

Конечно, существовал один шанс из ста, что все-таки я слышал человеческий крик, но на девяносто процентов это были овцы, которые ближе к рассвету обычно перекликались: «Беее! Бее!» Я не привык к их блеянию и потому проснулся. Но если все-таки это кораблекрушение, проснулся ли бы я от этого нового ощущения — ощущения катастрофы?

Вот опять послышалось: «Беее! Помогите!» Они чередовались — сперва овца, потом человек, попавший в беду. Однако я уже стянул джинсы и сидел на краю кровати, обхватив голову руками. Почему-то мои ладони сползли на уши, так что я слышал лишь отголоски — или это стучал пульс?

Не стоит делать из себя посмешище, думал я. «Помогите!» слабее донеслось со скал, где я только два дня назад стоял с удочкой и поймал две извивающиеся морские трески. Нет. Не там. Там была рябь, и крачки, и турпаны, перелетавшие черной стаей над гребнями волн и напоминавшие дельфинов. Какая удача, что я подумал об овцах!

На следующее утро шторм немного улегся. Я сидел, как обычно, с подветренной стороны на своей старой рыбачьей корзине, удобно опираясь спиной на серебристо-серые, мягкие, как бархат, доски лодочного сарая; в фарфоровой кружке дымился кофе, и на камне среди полевых гвоздик и васильков магнитофон наигрывал французские сюиты Баха. Мне показалось, будто я услышал голоса с берега, и когда я поднялся и заглянул за угол сарая — помню, в лицо мне ударил морской ветер и я подумал, что он еще силен, —

то увидел толпу деревенских жителей и машину, которая каким-то непонятным образом добралась до прибрежной гальки.

Море успокоилось, и ветер изменил направление. Я четко увидел, в чем было дело. Мачта парусной лодки торчала под углом сорок пять градусов у самого скалистого мыса. Там, где я еще недавно стоял с удочкой, двое незнакомых людей, возможно тех, кто приехал на машине, пытались привязать кого-то к носилкам. Мне одновременно и хотелось и не хотелось узнать, что произошло. Но я тотчас вспомнил все: крики и свою трусость. Овцы! О, я...

Весь день я прятался. Но какой был от этого толк? На закате ко мне пришел сосед-рыбак в ужасе от того, что случилось на море прямо перед его и моим домами.

Я сварил кофе, и мы сдобрили его виски. Мы пили и старались не смотреть друг на друга, он смотрел на стену за мной, а я — в окно, на скалы, где мачту пригвоздило, будто стрелку на сломанных часах. Она словно игла вонзалась мне в сердце.

— И ведь никто ничего не слышал, — вздыхал он на прощание и снова повторял: — Подумать только, никто ничего не слышал!

Я не ответил. Зачем? Его слова не требовали ответа.

— Потому что слишком много шума, слишком шумно. Море шумит, старуха храпит. И когда устанешь, спишь без задних ног. Вот так-то. А в это время эти бедняжки...

И наконец, как навязчивая кода к сонате, когда мы уже стояли на пороге и я почти выгонял его, подталкивая в сторону дома и деревни:

— И я ничего не слышал. Ничегошеньки. Ни черта.

И уже пройдя полпути по выгоревшей докрасна августовской траве, он вдруг оборачивается. Он стоит, вырисовываясь черным грозным силуэтом в свете заката, смотрит прямо на меня, хотя я не вижу его лица, и производит последний выстрел:

— А ты-то что? Как же это ты ничего не слышал?

Наступает длительная пауза, и тогда я понимаю, что теперь моя жизнь раздвоилась, приняла форму буквы «Y». И я никогда не узнаю, на какой линии этой буквы я живу. Ни сейчас, ни в будущем.

Это случилось в ночь со второго на третье августа несколько лет назад. У меня было много времени для размышлений над Y-образной формой моей судьбы, и мне стало ясно, что моя жизнь, как фитиль, с самого начала была сплетена из двух нитей. Одна нить — равнодушие, другая — сострадание. И только после происшествия в ночь со второго на третье ее составляющие разошлись и, свободные друг от друга, находятся в постоянном противостоянии.

С той ночи овцы для меня всегда люди, а люди — овцы, если вы понимаете, что я имею в виду. Крики о помощи всегда звучат как блеяние, а мирное блеяние овец — как трагический вопль. Что бы ни случалось, с тех пор я не могу ни на что решиться: ни пройти мимо, ни протянуть руку помощи, и моя христианская совесть постоянно находится на электрическом батуте, как те мыши, о которых мы все читали, — они вынуждены прыгать на маленьких трамплинах с электрическим зарядом, чтобы достать свою еду; когда трамплины заряжены, они получают шок, когда не заряжены — только еду.

А я — как бы я ни прыгал, что бы ни делал, я получаю шок, пощечину и тщетно пытаюсь не потерять равновесие.

Перевод Е. СЕРЕБРО

Пьеса на три голоса

На «си» левая рука все-таки запнулась. Каждая рука должна четко вести свою партию. Играть становится трудней и трудней, голова чуть не лопается от напряжения.

...За окном она видит вязы, слышит, как на лугу блеют овцы, и остро ощущает, как давит на нее та тесная, до блеска вычищенная комнатушка, как жестко чуть шершавые пальцы фрекен Мелкер поправляют ей запястье, стискивают плечо и перевертывают нотную страницу. Та с невероятной тщательностью прибранная комнатушка, где от тебя вечно что-то требовали и ты обязана была подчиниться, выглядела почему-то частью некоей квартиры, которая то ли пригрезилась ей, то ли придумалась, просто других комнат не видно, они скрыты безжалостно захлопнутой кухонной дверью...

Картинка из прошлого напоминает ей о давнишней странной фантазии, и снова, как раньше, пальцы на ми-бемоль — фа — ми-бемоль — фа теряют уверенность. Фантазия, которая преследует ее с самого детства: будто из тесной комнатенки можно попасть в другие комнаты, в неведомое пространство, где все совсем по-другому устроено. Иногда в ее воображении возникала двухкомнатная квартирка с отдельным входом или просто еще одна комната, заставленная пыльной мебелью. И непременно в этих мечтах присутствовал друг, чье вдохновенное, не менее чем у нее самой, лицо наполняло ее душу восторгом. Неведомое пространство! Сколько надежд! Сколько упущенных возможностей, и все из-за этой намозолившей глаза стены! А возможности только и ждут, чтобы их использовали, разгадав все тайны загадочных покоев.

Увы, на самом деле у фрекен Мелкер была всего одна комната. Входишь в прихожую — добрый день, фрекен, — и легкий реверанс, а правая рука совсем задеревенела от зимней стужи и портфеля с нотами. Запах мокрых пальтишек учеников или звуки фортепьяно, это если явишься на урок чересчур рано. Слышно, как кто-то спотыкается на этюдах Черни или не может одолеть фрагмент анданте из бетховенской серенады, опус №8. И тогда этот же фрагмент проигрывает сама фрекен с безропотным терпением, а терпение у нее железное, о которое можно здорово пораниться.

У фрекен безупречный порядок. Полированный стол сверкает, комод блестит, нигде ни пылинки, книги стоят корешок к корешку, строго по алфавиту, золотисто-зеленая скатерть топорщится волосками, точно чья-то колючая борода. Зато на самой фрекен ничего не топорщится. Каштановые с рыжеватым отливом волосы всегда уложены ровным-преровным валиком, ни одной непослушной прядки, блузка тщательно заправлена, все пуговки наглухо застегнуты, ни одного лишнего жеста, никаких почесываний затылка. Сама же она, с вечной своей простудой, выглядит здесь почти неприлично. С бумажными платочками, с похожим на кошачье фырканье чиханием, с частыми отлучками на кухню, чтобы откашляться.

А если еще и соком угостят, попробуй тут не капни на стол, да еще жирным пирогом, он рассыпчатый и крошится; обычно она норовила усесться за рояль с немытыми, маслеными руками, лишь бы не ходить в этот стерильной чистоты туалет. Фрекен Мелкер, миловидная особа средних лет, ну такая чистюля, такая воспитанная, что и не улыбнется никогда. Музыка ее стихия, но фрекен цепко держит эту стихию своими сильными пальчиками, не позволяя ей разгуляться.

... Вот сколько сразу вспомнилось за коротенькую паузу. Итак, дальше у Баха эти два голоса должны звучать слитно, и она начинает одновременно обеими руками, зная, что скоро подойдет черед еще и третьего голоса. А теперешний ее дом — загородная усадьба неподалеку от Тенбриджских Ключей, и Эрнест, одаривший ее двумя детьми, то и дело курсирует между Ключами и Лондоном, где находится его фирма. Она старается добиться равномерного и легкого звучания правой руки, и трель ажурным куполом послушно взмывает над распевной мелодией, которую левая рука от мрачных басов и триолей ведет выше и выше, к светлым высоким тонам, и в тот миг,

когда мелодия готова столкнуться с ажурной трелью, резко ее обрывает. А ему лишь бы улизнуть. «Широко шагая, Эрнест пересекает Пиккадилли-серкус, тщетно стараясь не глазеть по сторонам...» Представив себе эту картину, она хохочет и снова сбивается. Вот так он и ее поймал когда-то на крючок, все смешил. Как сейчас она видит тощего, долговязого архитектора, объявившегося однажды у них в конторе.

Он был совсем не прочь приударить за девушками, это не очень ловко у него получалось, зато искренне. Да, да, ты не ошиблась, читала она в его полных любопытства глазах. А как ты догадалась?

Однако поддалась она ему не сразу. Наверно, ей хотелось подразнить его, проверить, действительно ли он такой простак или лукавит.

Вот их гувернантка-шведка привела детей с прогулки. Она слышит, как они громыхают в кухне посудой и переговариваются. Да, это от нее, от Анны, узнала она о бурной личной жизни господина архитектора. Анну хлебом не корми, дай посудачить и поохать над молоденькими шлюшками с Набережной. При подобных разговорах глаза Эрнеста вспыхивают уже знакомым ей любопытством, но отнюдь не сочувствием к бедным заблудшим овечкам с Набережной. Видно, сказывается ирландская кровь, терпимость католика. А может, предки-католики здесь и ни при чем, просто он принимает жизнь такой, как она есть, не желая обронить ни одной капельки из источника. Источник по имени Жизнь растекается в незатейливых беседах о том, что бы такое подарить на свадьбу, какие обои выбрать для детской, о форме колонн в проекте Иниго Джонса или о тех глупышках с Набережной, зябнущих в своих обольстительных платьишках.

Одолев очередную порцию изощренных мелодических переплетений, она опустила руки на колени. Эту баховскую пьесу она играла еще школьницей, у себя в Бристоле. Боже, как давно это было. Ведь играла запросто, не задумываясь. Пальцы так и летали по клавишам, выдерживая нужный темп и долготу звука. Послушно растягиваясь, легко справлялись с октавами. Из кухни донесся еще один голос, Эрнест вернулся из Лондона.

— Привет, дорогая. Я тебя еще с улицы услышал.

Соблюдая привычный ритуал, он прямо с портфелем подходит к пианино и целует ее в щеку. Почему не в губы... и, слегка повернувшись, она обнимает мужа и не отпускает, пока он не начинает бормотать, что у него затекла шея и портфель мешает, а потом с шутливо обреченным видом исчезает в своем кабинете. Но вскоре появляется снова: играй, играй, дорогая, ты мне нисколько не мешаешь.

И она играет, ребячески радуясь тому, что он слышит ее сквозь толстые деревянные стены, тут же забыв, что пора распорядиться насчет обеда.

И за обедом, когда детям не терпится выложить школьные новости: какие ужасные эти мальчишки, и какие дуры эти девчонки, и «а учительница сказала»... — вот тут-то он и извлекает на свет Божий свои разномастные образцы, и через минуту они всем семейством обсуждают интерьер какого-то заказчика. Иногда это даже забавно. Иногда скучно.

— Будто меня заставляют решить задачку о том, сколько понадобится кому-то циновок, — ворчит старший.

Однако Эрнесту прощается все, они любят его. Обедает ли он с ними дома или звонит, что задержится. Встревает ли со своими образцами в их разговор. Они виснут на нем и буквально не дают ему прохода. Норовят лечь спать в его кровать, дочка взрослеет, пора бы от этого отучить. Когда они, расположившись у камина, пьют все вместе кофе, дочка усаживается к папочке на колени. А мамочка, то есть она сама, набрасывает эту идиллию карандашом.

Мужа она любит, обожает каждую его жилочку, и эту милую долговязость, и его обаяние, она любит даже его недостатки: эгоистическую сосредоточенность на собственных проблемах, неумение обращаться с деньгами и то, что он не помнит ничьих дней рождения, даже своих детей. Как в азартной игре — попадаются хорошие карты, попадаются плохие, а у нее карт

столько, выбирай — не хочу, вот это игра так игра.

Анна однажды даже одернула ее, стаскивая у кухонной двери перемазанные глиной сапоги: «Как же мне надоел твой идиотски счастливый вид!»

... Так, теперь помедленней. Ровнее темп. И совсем медленно. Аккорд, ми-бемоль — соль, потом триоль, и си-бимоль — соль, и еще соль — ми-бемоль, аккорд. И теперь пойдет трель левой рукой, долгая-долгая, словно на триоли набегает затаившаяся в самой глубине волна...

Подчиняясь поредевшим на нотных линейках значкам, она сбавила темп и услышала, что он с кем-то говорит по телефону. «Понедельник» — донеслось до нее, когда она чуть помедлила на бекаре[1] перед си-бемоль, и прежде, чем левая успела ринуться в коварный пассаж, завершающийся «фа», из кабинета прозвучало: «Времени сколько угодно». Наверно, Фил, сослуживец, и раз, и два, снова диминуэндо[2], и снова, явно желая убедить: «Да, сколько угодно времени». Теперь черед самых верхних ноток, и сразу перед глазами повелевающий указательный пальчик фрекен Мелкер: «Еще выше! И е-ще!»

Фил их самый близкий друг, можно сказать, член семьи. Стукнуть, что ли, в стенку, узнать, не выберется ли он к ним в воскресенье? Впрочем, она могла и не расслышать, стены толстые. Может, это вовсе и не Фил, который еще в школьные годы был соседом Эрнеста. Тот самый, что вырос в сверкающем свежей краской особняке, окруженном подстриженными газонами и шпалерами роз. В этом доме Эрнест и научился ценить красоту. Как он сказал тогда, в интервью для телевидения: «Чуть тронутый временем старинный особняк, берег в туманной дымке, буйство зелени — эти неизгладимые детские впечатления, конечно же, дали подспудный толчок моему творчеству...»

А теперь, почти сразу после пассажа левой, к двум голосам присоединится третий. Вернее, будет переходить от левой к правой. Этот третий требует невероятно дерзких ударов по клавишам, сплошные перекрестные аккорды... нужно дотянуться до черной клавиши, иначе ничего не выйдет... Она заметила, что от усердия высунула кончик языка, ну и нелепый же у нее вид. Ладно, главное — сосредоточиться, предельное внимание. О том, что пора обедать, она уже и не вспоминала.

Надо же, опять сбилась на бемолях, тут ведь си-бемоль. Ну вот, куда проще, когда правая рука не мечется туда-сюда, спокойно бредет по клавишам, а левая при этом легонько фиксирует «соль».

— Дорого-ой. С кем ты там болтаешь, а?

Если играть погромче, его радостного голоса вообще не будет слышно. Никак не наговорится. А теперь еще и хохочет. Так раскатисто, так заразительно. Неужели он умеет так смеяться?! Впрочем, он всегда улыбается открытой, ужасно располагающей улыбкой, это в его характере. Никогда не вспылит, не сорвется. Она неловко поправила ноты, и потрепанная голубенькая тетрадь соскользнула на пол.

Пришлось на какое-то время прерваться, чтобы собрать разлетевшиеся листочки, снова сесть и разложить ноты на пюпитре. И в этой нечаянной тишине, в тот миг, пока она отыскивала тридцать шестую страничку, он нежно-нежно произнес имя. Нет, не Фила. И снова рулады хохота, они раскручиваются, точно яркий веселый серпантин, опутывая ее душу мукой и унижением...

Когда Эрнест выходит из кабинета, она уже яростно колотит по клавишам, точно ей хочется вдребезги разнести Баха со всеми его пьесами. Достается от нее и фрекен Мелкер, вот уже более десяти лет покоящейся в могиле; она расправляется с октавами, безжалостно кромсая созвучия, вместо нотных линеек у нее перед глазами колючая изгородь, вокруг которой копошатся ноты, назойливые, точно оводы, и она гонит, гонит их прочь. И как это пианино еще не впилось ей в пальцы своими ровными чуть желтоватыми зубами, не придавило их крышкой, словно пригвоздив к позорному столбу? Но

[1] Знак отмены действия диеза или бемоля (*муз.; прим. перев.*)

[2] Постепенное ослабление силы звучания (*муз.; прим. перев.*)

нет, оно позволяет издеваться и над собой, и над Бахом, пара мучеников, совсем как Святые Петр и Павел; Бах тоже не может защитить себя от нее, ведь он мертв, и фрекен Мелкер умерла...

Она не заметила, как вошел Эрнест и, пройдя по лежащей на паркете дорожке, встал у нее за спиной.

— Как ты чудно играешь, — неожиданно для нее произнес он, положив руки на ее сведенные напряжением плечи. От смущения она остановилась и повернулась к нему вместе со стулом. — Чудесно. Что это за вещь?

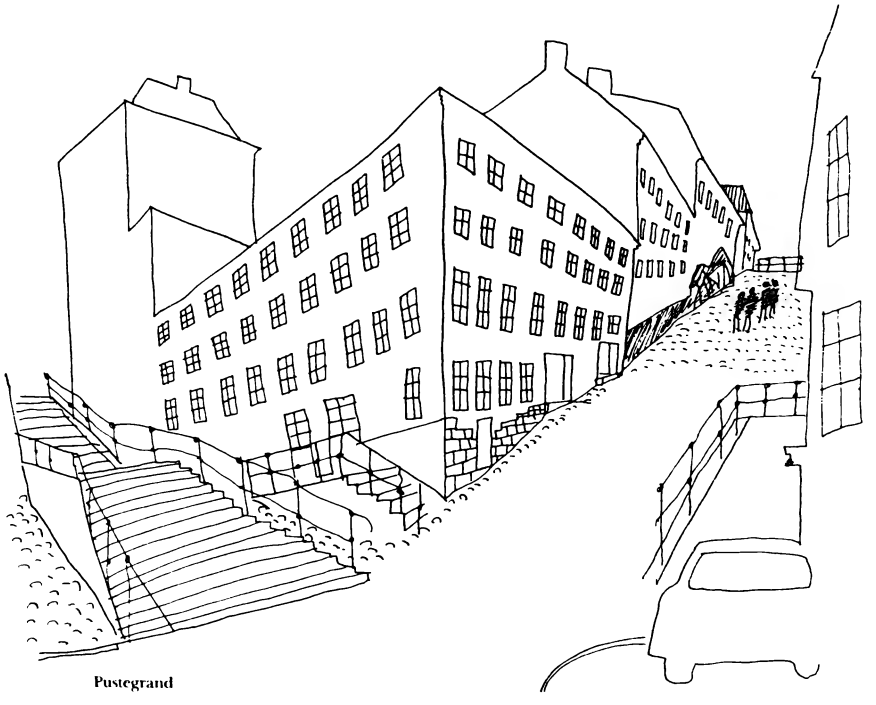
Он смотрит ей в глаза проникновенным и таким честным взглядом, а его пальцы привычно соскальзывают с ее плеч к грудям, которым от этого так сладко, им, глупым, больше ничего и не нужно.

— Это старина Фил, — небрежно произносит он, — приглашает нас отобедать с ним в понедельник.

И тут ее почему-то одолевает хохот, давно она так не смеялась. Громкий, но совсем не радостный хохот. И, мгновенно все поняв, Эрнест весело подхватывает. Они смотрят друг на друга и никак не могут остановиться. Они изнемогают от хохота, невольно друг друга подначивая. Хохоча, они входят в кухню, где их ждут дети, гувернантка и рыбный суп.

— Все веселитесь! — с шутливой завистью вздыхает Анна и ставит на стол суповую миску. Но лица детей серьезны. Их не обманешь даже самым громким смехом.

Перевод М. МАКАРОВОЙ



Pustegrand

ТОРГНИ ЛИНДГРЕН

Легенды

Перевод ОЛЬГИ ДРОБОТ

Легенда пятая

Сигнаром звали человека из Ормбергслидена, у него была дочь по имени Рут, а больше у него никого не осталось. Жена померла, то есть у него были две жены, но обе умерли, и сыновей троих он наплодил, но и они погибли, утонули, проверяя его сети; когда-то были у него сестра и брат, но они тоже отошли, а прежде еще были отец с матерью, но они, понятное дело, давно покинули белый свет.

И осталась у него только Рут.

Она слушала его рассказы, жарила селедку и варила кашу, стригла ему ногти и волосы, раз в год стирала его домотканые штаны и кормила птицу в клетке, черного дрозда, умевшего говорить: «Какого черта!»

Сигнару было шестьдесят. Он был сильный и здоровый, но не верил, что выдержит одиночество. Он привык говорить: «Пока ты не уехала». А она отвечала: «Да, пока я не уехала». Они жили во времени, которое называлось «пока она еще не уехала». Потому что ясно было, что она уедет, все люди рано или поздно поступают так.

Рут была взрослой, девятнадцатилетней, она уже переросла веснушки и по воскресеньям подкручивала волосы щипцами. Наконец время пришло. Она поедет в Харнесанд и будет потрошить салаку. И заглянет в Гавле посмотреть на детишек двоюродных братьев. А в Стокгольме есть фарфоровый завод, там она и пристроится.

Фарфор, он такой красивый.

И она сложила шаль, и оба платья, и выходные туфли, и Псалтирь, и фартук с кружавчиками в чемодан.

— Ну вот ты и уезжаешь, — сказал Сигнар.

— Да, я уезжаю, — ответила Рут.

— Какого черта! — крикнул дрозд.

Она уезжала в понедельник, в первый понедельник мая. Когда они проснулись в этот день — Рут на кухне, Сигнар в комнате,— их разбудило вторгшееся в окна солнечное тепло: выяснилось, что у Сигнара вышел из строя мизинец, мизинец на левой руке. А старик был левшой.

И поэтому оказался в бедственном положении. Он сидел в постели и нянькал свою руку; Рут положила на больное место холод и забинтовала руку, она завернула бинтом всю ее целиком, притянула к груди отца и прихватила английской булавкой, а он сказал:

— Хорошо, что это случилось, пока ты еще не уехала.

Не могла же она бросить его на произвол судьбы, когда его так подкосила болячка и он был беспомощен.

Она разобрала чемодан и сложила одежду в ящик комода.

У нее все впереди, жизнь и большой мир подождут ее, пока поправится Сигнар; никуда не убежит ни салака в Харнесанде, ни братья в Гавле, ни фарфоровый завод в Стокгольме.

© Norsted, 1986

Спустя полгода Сигнар забыл, что у него болит мизинец; это случилось в ноябре, они зашли в магазин, Сигнар засуетился, замельтешил и поднял бочонок селедки.

— Значит, палец у тебя больше не болит, — заметила Рут.

— Да, — ответил он. — Похоже, все прошло.

И она снова стала мечтать о соблазнах большого мира. Но она не поедет зимой, лучше подождать до весны.

А в журнале она прочитала о вдовцах в расцвете лет, которые жаждут познакомиться с молоденькими девушками.

И к Пасхе Рут уложила чемодан, пока она лечила отцов мизинец, кстати, сшила себе ситцевое полосатое бело-голубое платье.

Но в ее последний вечер дома, когда она мыла посуду, прибиралась, сидела и смотрела в окно, у Сигнара вступило в спину, он едва дотащился до кровати. Болело под лопаткой, он не мог шевельнуть ни головой, ни руками и стонал при каждом вздохе, не в силах удержаться. Рут сказала: «Это просто прострел», а он выдохнул: «Конец мне», а дрозд ругнулся: «Какого черта!»

Но она дождалась утра, и только тогда распаковала чемодан и снесла его на чердак.

Прошли лето и осень, он лежал в постели, дремал, стонал, а она подносила ему горшок и ведро, кормила утром и вечером, потому что он не мог ни держать ложку, ни оторвать голову от подушки; иногда она выходила на крыльцо, тут не слышны были его скулеж и стенания, и смотрела на горный хребет на горизонте; она смотрела на вершины гор, за горизонт, где мир раскрывался широко. Салака и дети двоюродных братьев, фарфоровый завод и вдовцы.

Он заставлял ее раз за разом читать ему вслух «Горестную историю Иерусалима» (в кратком изложении).

А в журнале было написано, что в Америку можно уехать за сто шестьдесят крон.

На тринадцатый день Нового года выборный Совета по призрению бедных зашел узнать, как у них дела.

И Сигнар в запальчивости забыл про спину, скатился с кровати и крикнул:

— Мы ни в чем не нуждаемся, так и знай!

Тогда Рут сказала:

— Ну вот и прошла твоя спина.

А он ответил:

— Похоже, прошла, а мы и не заметили.

Она уезжала той же весной, на другой день после Троицы, один сосед брал ее с собой до Острэска.

В тот день Сигнар проснулся и попросил:

— Мы можем еще полежать, пока не рассвело.

— Светлее, чем теперь, не будет, — сказала Рут.

— Еще темная ночь, — настаивал он.

— Солнце стоит на четыре фута над Змеиной горой, — сказала она.

— Я никакого солнца не вижу.

— Значит, ты ослеп за ночь, — сказала Рут.

— Да, — согласился Сигнар. — Ослеп. Только этого не хватало.

Слепой, он не мог обойтись без нее, Рут была вынуждена остаться дома и быть светом его очей.

Она сидела с ним и читала ему «Рассказ о страстях Христовых» (выдержки из писаний евангелистов) и умащивала глазницы ворванью и скипидаром.

И все время твердила ему: «Ты снова будешь видеть». Пророчила слепцу прозрение.

— В свой срок человек теряет все, — отвечал он. — Что уж говорить о зрении.

А дрозд добавлял: «Какого черта!»

В Америке молодая женщина босиком дошла от берега одного океана до другого, на плечах она тащила ягненка, до нее никто до такого не додумывался, теперь она прославилась на весь мир.

Известно, что зрение иногда возвращается, и Рут не оставила надежду

полностью, когда он прозреет, она уедет, она связала себе красно-белую полосатую кофту и читала книгу по географии.

Салака, дети двоюродных братьев, фарфоровый завод, вдовцы, Америка и босиком от океана до океана.

Как-то в начале октября Рут стояла у окна и увидела оленя, покрывшего олениху на картофельном поле в двадцати шагах от дома; почему-то она смутилась и закричала: «Боже, какой ужас!»

Сигнар встрепенулся, мигом оказался рядом. А потом сказал:

— Да это ж просто олень топчет олениху.

И Рут сказала:

— Вот ты и видишь опять.

— Да, — ответил Сигнар. — Создатель невзначай вернул мне зрение.

Но теперь уж было предзимье, она решила подождать с отъездом до весны, это весной манит чудо отъезда, к тому же хоть Сигнар и выглядел как в лучшие, молодые годы, ему на первых порах требовалась подмога: прозреть так, в одночасье, ничуть не легче, чем разом ослепнуть.

— Уеду в мае, — сказала она Сигнару. — В начале мая.

И Сигнар понял, что она неминуемо уедет, весной он потеряет Рут, а больше у него никого не было.

Вечерами и ночами Рут слышала, как он истово молится, заклинает избавить его от одиночества и на пороге смерти умоляет ее поторопиться. Он читал Евангелия, вразбивку и подряд, толковал о Гефсимании, каково человеку быть преданным Богом и людьми.

Есть он не хотел, через день проглатывал полтарелки каши, а пил только воду.

Он был безутешен, да Рут и не пыталась его успокаивать, даже мысленно ни разу не посочувствовала отцу — так кривить душой она не могла.

После Рождества он опять слег. И потерял дар речи; даже когда она спрашивала: «Не хочешь еще каши?»— он не отвечал.

На первой неделе поста у него открылись раны на ладонях, маленькие, не больше монетки, Рут смазала их смолой, но они не затягивались.

В третье воскресенье поста такими же ранами сплошь покрылись ноги.

Потом, на Благовещенье, левый бок прорезала длинная глубокая рана.

На Пасху из ран на лбу, ушах, шее стала сочиться кровь, вся голова походила на изгрызенный каравай.

И Рут позвала доктора, но тот ничем не мог помочь. Сигнар умер на второй день Светлой седмицы.

Рут занялась похоронами, но не стала делать поминки, прест и две кузины Сигнара зашли к ней после погребения, они пили кофе, и прест сказал: «Одиночество — тяжкий крест, такую безмерную и тягостную свободу не снесешь».

Рут промолчала, она смотрела на дрозда, который тоже не открывал клюва с тех самых пор, как Сигнар слег и онемел.

Потом она распродала с аукциона движимое имущество, ушло все хоть немного ценное, и выручила восемьдесят восемь крон.

Последнюю ночь перед отъездом, перед тем как ей наконец-то пуститься в путь, Рут провела на соломенном тюфяке на полу в кухне, она почти не спала, грезила. Харнесанд, и Гавле, и стокгольмский фарфоровый завод, и вдовцы, и босиком от побережья к побережью.

Проснулась она от солнечного света, это было седьмое мая, и от вопля дрозда: «Какого черта!»

Она открыла клетку, схватила птицу, свернула ей шею и кинула в выгребную яму. Потом Рут надела пальто, взяла в левую руку чемодан, она была левшой — фамильная черта, — и вышла на лестницу.

Рут шагнула на первую ступеньку, и вдруг у нее ужасно заболел мизинец на левой руке.

На второй ступеньке жутко вступило в спину, как будто под лопатку вогнали огромный кол, казалось, спина раскалывается надвое, и Рут выронила чемодан.

Она поставила ногу на третью ступеньку, и в глазах у нее потемнело, она не видела ни солнца, ни вытянутой вперед руки.

А на последней, четвертой ступеньке у нее потекла кровь из ран на руках, и ногах, и в левом боку, и на голове, она упала на приступок у лестницы и истекла кровью; и немного вроде потеряла крови, а душа отлетела.

Так Сигнарова Рут никуда и не уехала.

Легенда тринадцатая

И был злой дух, один из самых безжалостных, не чета тем, что на поверку оказываются почти что добрыми, и дух тот неотступно следовал за Буддой, наделенным мудростью, и сторожил его.

Он видел, как возрастает мудрость и добродетельность Будды, как сердце его переполняется добротой и справедливостью, как питает его любовь, и в своей неизбывной злобесовости решил злой дух: если Будду не остановить, не поставить на колени, то своей мудростью и добротой он спасет человечество.

Тогда задумал он — он, ибо этот дух был мужского пола, у него была душа мужчины, и если б он воплотился, то получил бы алчное мужское тело, — подвергнуть Будду такому искушению, которое непременно доводит до падения: заставить выбирать из двух зол.

Он обернулся соколом, голодным, страшным соколом, и налетел на одну из голубок поднебесья. И стал преследовать ее, и погнал голубку к Будде, который в тот час сидел под миндальным деревом, и этот злой дух-сокол вскочил на голубку и стал терзать ее на глазах у Будды, а птица билась, как разрывающееся от смертельного страха сердце, она ощущала каждой клеточкой мучительный конец, когда отвратительные когти и безжалостный клюв раздерут в клочья ее плоть, и из последних сил голубка напрягла свои немощные крылышки и кинулась на колени к Будде, на его гигантские, но размякшие от доброты и сердечности колени.

И Будда прижал голубку к груди.

Тогда сокол подлетел к Будде и прокричал:

— Ты зачем отнимаешь мою добычу?

— Она сама нашла меня, — ответил Будда.

— Отдавай птицу, — потребовал сокол. — Она моя.

— Я чувствую, как колотится ее сердце, — сказал Будда.

— Или она умрет, или я, — не отступался сокол.

— В небе много голубей, — заметил Будда.

— Я гнал эту голубицу долго и издалека, у меня нет больше сил, — отрезал сокол. — И теперь или я, или она. Выбирай.

— Жизнь полна противоречий, — сказал Будда. — Если бы ты бросился мне на колени, я бы полюбил и тебя тоже.

— Горькая правда такова: или я подохну с голоду, или голубица умрет в моих когтях.

Потом сокол добавил:

— Смерть ужаснее всего на свете.

— Нет, — возразил Будда, — смерть приходит и проходит, приходит и проходит.

— Моя судьба в твоих руках, — сказал злой сокол.

— Проси у меня чего хочешь, только не проси голубку, — сказал Будда. Он чувствовал, как ее сердце бьется о его грудь.

— Тогда отдай мне столько твоей плоти, сколько весит голубица, — потребовал сокол.

Тут рассмеялся Будда, и смех его говорил: что значит кусок моего немощного тела в сравнении с разрывающимся от страха сердцем!

И сей же миг с небес спустились весы с двумя чашами, и Будда осторожно и нежно взял голубку и посадил на одну из чаш, которая тотчас ушла вниз.

А Будда вынул нож и отрезал от своего круглого живота кусок мяса величиной с голубку и положил его на другую чашу. Весы не шелохнулись.

— Ты легкий и несытный, — обиделся сокол.

— Что знаешь о тяжести и легковесности ты? — вздохнул Будда.

— Я разбираюсь в этих вопросах очень хорошо, — заявил сокол.

И Будда отрезал еще кусок: мощную мышцу со своего левого бедра, и положил его на чашу. Весы не качнулись.

— Тугой ты человек, прижимистый,— возмутился сокол, — так по крохам себя не отдают.

— Я всегда знал, что моя жизнь немного стоит, — вздохнул Будда, сердце его переполняли счастье и отчаяние. И он отдал плоть с правого бедра и обе икроножные мышцы, но чаша с голубкой мертво стояла внизу.

— Если бы не моя зловредность, я б тебя пожалел, — вымолвил сокол.

— Не будь зловредности, и сострадание стало б ни к чему, — откликнулся Будда.

Теперь он в отчаянии орудовал ножом с безоглядным пылом, известным лишь любящим божественно и невыносимо горько; шматок за шматком швырял Будда на чашу весов, жилу за жилой, связку за связкой, слизистые, мягко усмехающиеся губы, щеки, скрюченное судорогой мужское начало, ногти, уши — все, все отдал он на небесные весы жестокости.

Но голубка была тяжела как прежде, изнемогая от страха и ужаса, она, однако, лежала в своей чаше на диво спокойно.

И сокол сказал:

— Нет, Будда, ты слишком жаден, труслив и расчетлив, тебе никогда не спасти мою маленькую голубку!

Он так и сказал: мою маленькую голубку!

Будда промолчал в ответ: язык он уже отдал.

Медленно, мучительно, позвонок за позвонком, осел он на землю, потом повалился вперед и встал на четвереньки, обнаженные кости ходили ходуном, и из последних сил, которых уже не было, да-да, бессилием, оставленным на долю тех, кто уже не здесь, Будда пополз вперед, камешки забивались в голые коленные чашечки, нагие фаланги пальцев ввинчивались в песок, он извивался как ящерица, которая сбросила не только кожу, но и мышцы.

Но глаза Будда сохранил, одни только глаза, и ими он неотрывно смотрел на голубку.

Наконец он добрался до весов и прыгнул, бросил на чашу все, что от него осталось, свою оголившуюся суть, в этом прыжке были невыразимая боль, но и ничем не отягощенная легкость, невесомость, какая возможна лишь у полностью очистившегося, освободившегося от плоти существа, и повалился на кучу собственного мяса.

И тут голубка поплыла вверх.

■

НИКЛАС РОДСТРЁМ
Эйфелева башня

РАССКАЗ
Перевод Е. ГЛУХАРЁВА

Утром за завтраком он сразу же рассказал жене, какой сон ему приснился ночью.

— Мне снилось, что я читаю книгу, — сказал он. — Речь в ней шла о Париже двадцатых годов. Хемингуэй, Пикассо, Вирджиния Вулф... вся компания. Но одного не хватало. Эйфелевой башни. Ее вообще не было. И, когда я кончил читать, это стало самым главным. Все анекдоты об этих художественных натурах потеряли для меня интерес из-за того, что Эйфелевой башни не было. Я буквально штудировал страницу за страницей, чтобы найти хоть малейший след Эйфелевой башни. Ее просто не было. И в конце концов я поставил книгу на полку и проснулся.

Жена с удивлением посмотрела на него.

— Понимаешь, — продолжал он. — Можно было пройти весь берег Сены, но, даже дошагав до самого Атлантического океана, так и не увидеть Эйфелевой башни.

Жена по-прежнему не отрываясь смотрела на него.

— Якоб, — сказала она. — О чем это ты говоришь?

— Об Эйфелевой башне, — сказал он. — Ее не было. Ее как ветром сдуло. Или, скорее, ее никогда и не строили.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — сказала жена.

Он начал раздражаться.

— Черт возьми, по-моему, это не так уж странно, — сказал он. — Мне снилось, что Эйфелевой башни нет. На Всемирной выставке восемьдесят девятого года народ завлекали чем-то другим, а Эйфелеву башню они так и не построили.

— О чем ты говоришь? — повторила жена. — Эйфелева башня? Что это такое?

— Эйфелева башня, — сказал он.

Он сам заметил, что заговорил в повышенном тоне.

— Эйфелева башня. Мы же там были.

— Я не знаю, о чем ты говоришь, — сказала она.

— Что с тобой? — сказал он. — Что-то с памятью? Старческий склероз? Эйфелева башня!

— Фу, какой ты противный, — сказала она и, взяв воскресное приложение к утренней газете, спряталась за ним.

— Лена, послушай меня, — начал он.

— Веди себя сначала по-людски, — перебила она его.

— Ладно, ладно, — сказал он. — Прости меня. Я только хотел рассказать, что мне приснилось, будто Эйфелевой башни нет.

Жена опустила газету.

— Якоб, — сказала она. — Я просто не знаю, о какой башне ты говоришь.

— Давай не будем препираться из-за этого, — сказал он. — Это был всего лишь сон.

— Ладно, — согласилась она. — Но я все-таки не знаю, что это за башня.

— Почему тебе надо непременно дразнить меня? — сказал он. — Это был только сон. Сон.

© Niklas Rådström, 1988

— Я тебя не дразню! Я просто не знаю, о чем ты говоришь.

— Я говорю об Эйфелевой башне, черт побери! — закричал он. — Об Эйфелевой башне!

Он вскочил и сердито вышел в гостиную. Чертовщина какая-то, подумал он. Но потом сразу успокоился. В общем-то это не причина, чтобы приходить в ярость. Он просто пытался рассказать сон о том, что Эйфелевой башни нет. Он подошел к книжной полке. Достаточно будет показать ей Эйфелеву башню, а потом сказать, что ему приснилось, будто ее нет, и всей этой комедии придет конец.

Он стал перебирать тома энциклопедии, пока не дошел до шестого: Drumev — Fackeldans[1]. Друмев, подумал он, что это еще за черт? Ему пришлось сначала посмотреть это слово. «Друмев, Васил, болгарский писатель...» Ага, будем знать, подумал он. А пляска с факелами? Что они об этом пишут? «... танец в стиле полонеза...» Подумать только.

Но сейчас речь шла об Эйфелевой башне. Он полистал том. Эренсвэрд, эйдология, Эйебакке... Эйфель.

— Эйфель, — крикнул он в кухню, жене. — Вот оно. Странно, никакого изображения башни. Лена!

— Да, я слышу, — откликнулась жена.

Он подошел и встал в проеме кухонной двери.

— Сейчас посмотрим, что они пишут. «Эйфель Александр Гюстав, французский писатель...» Писатель? ... «(1832 — 1923), начал свою карьеру инженером, но стал знаменит изобретательными «естественно-научными» описаниями будущего».

Он замолчал.

— А что же башня? — поинтересовалась жена.

— Башня...

Больше он не смог выдавить из себя ничего. Внутри у него что-то оборвалось. Он уставился на раскрытую страницу тома, как будто искал там изображение башни, которое сначала не смог разглядеть.

— Тут еще есть, — сказал он. — «Его большие познания в географии, технике, физике и т.д. придавали его романам видимость достоверности. Среди наиболее известных его произведений можно назвать «Бродяг подземного царства», «Город на горах» и «Башню до луны».

— Вот твоя башня, — сказала жена.

— Но... — начал он. — Но... все же знают, что такое Эйфелева башня...

— Я не знаю, — сказала жена.

Он опустился на стул.

— Что с тобой? — спросила жена.

— Ты действительно никогда не слышала об Эйфелевой башне? — спросил он.

— Я же говорю, что не слышала, — настаивала она. — Это был всего лишь сон.

— Но... — начал он.

— Это был сон, — сказала она. — Не ломай больше голову. Нам надо уже поторапливаться. Ты же знаешь, мы сегодня должны идти в гости к Лассе и Карин.

— Да, но... — пробормотал он.

— Давай поторапливайся, — сказала она и скрылась в ванной.

Пока жена принимала душ, он сидел за кухонным столом и пытался нарисовать Эйфелеву башню, как он ее себе представлял. Он нарисовал нечто, напоминавшее большую железную конструкцию с широким сводчатым основанием, постепенно сужающуюся к вершине, где была расположена маленькая смотровая площадка. Жена, выйдя из душа, осведомилась, почему он не начал приводить себя в порядок.

— Посмотри-ка, — сказал он. — Я тут нарисовал Эйфелеву башню. Узнаешь?

Она подошла к нему и посмотрела на рисунок.

— Это похоже на башню Киплинга в Лондоне, — сказала она.

— Кип... башню Киплинга, — повторил он запинаясь.

— Ты же знаешь, — сказала она. — Мы там были. А теперь давай поскорее.

Она исчезла в спальне. А он продолжал сидеть за столом, не в силах поше-

[1] Пляска с факелами (*шведск.*).

вельнуться. Потом поднялся и снова подошел к книжной полке. Он схватил одиннадцатый том энциклопедии и прочел: «Киплинг, Редьярд, английский архитектор и художник (1865—1936), известен в первую очередь как конструктор т.н. Башни Киплинга (см. Киплинга Башня). Рядом живописных произведений завоевал также репутацию певца Востока».

Тишина давила на него, будто он находился в какой-нибудь черной дыре в космосе. Он прочел кусок, относящийся к статье «Киплинга Башня»: «... названная в честь своего конструктора Редьярда Киплинга (см. Киплинг, Редьярд) железная башня фахверковой конструкции высотой 300 метров, возведенная в 1897 году на южном берегу Темзы поблизости от Баттерси-парка. Б. имеет три платформы, на высоте соответственно 57, 115 и 276 метров, куда можно подняться как по лестницам, так и на лифтах (два нижних этажа предназначены для публики). Башня тяжело пострадала от бомбежек во время второй мировой войны, но была отреставрирована и заново открыта в 1948 году».

Он долго сидел не в силах вымолвить ни слова, а очертания того, что ему хотелось назвать Эйфелевой башней, выступали перед ним с книжных страниц на фоне Темзы и Баттерси-парка. На заднем плане ему чудился столб пара от локомотива, двигавшегося по мосту Виктории к вокзалу Виктории.

— Башня Киплинга, — сказал он самому себе, словно для того, чтобы попробовать название на вкус. — Башня Киплинга.

Он был уверен в том, что никогда раньше не произносил это название.

— Эйфелева башня, — сказал он. — Эйфелева башня.

И сразу понял, что произносил эти слова сотни раз за свою жизнь. Он поднялся и поставил тома обратно на полку. Но не смог удержаться, чтобы не посмотреть, нет ли там книги, которая ему приснилась. А не найдя ее, испытал чуть ли не облегчение.

— Ты не примешь душ? — послышался голос жены из спальни.

— Да-да, — пробормотал он. — Да. Я приму душ.

Стоя голым под струями горячей воды, стекавшими по телу, он вдруг подумал о Нобелевской премии. Ему стало тревожно оттого, что Нобелевской премии, может быть, тоже нет или она называется Крюгеровской премией или как-нибудь еще в том же роде. Он попробовал слово на вкус: Нобелевская премия. Нобелевская премия по литературе. Возникло ощущение подлинности.

Ему показалось, что в душе вода слишком холодная, и он протянул руку к крану с горячей водой, чтобы повернуть его. Но на мгновение остановился. А что, если «горячая» означает «холодная», а «холодная» — «горячая»? Тогда можно ошпариться или в лучшем случае невольно нарваться на холодный душ. Он вышел из-под душа и одновременно закрутил оба крана. Нобелевская премия, повторял он, Нобелевская премия.

Закрыв дверь ванной, он крикнул жене:

— Лена? Нобелевская премия? Когда Киплинг получил Нобелевскую премию?

— А Киплинг получил Нобелевскую премию? — удивленно спросила жена. — Тогда, наверное, по физике?

— Ну, я не знаю, — сказал он неуверенно. — Я считал, что он получил Нобелевскую премию.

Слова «Нобелевская премия» он выговаривал преувеличенно четко, чтобы убедиться, что жена не ослышалась.

— Я не знаю, — ответила жена.

Он испытал облегчение оттого, что слова «Нобелевская премия» не вызвали удивленных комментариев.

— Я посмотрю в энциклопедии, — сказал он.

— Только поторопись, — сказала жена. — У нас мало времени. Мы должны быть у Лассе и Карин в одиннадцать.

Он осторожно подошел к книжной полке. Четырнадцатый том — от Мейербера до Нюфорса. «Нобели, шведский род, происходящий из Сконе...», «Альфред Бернхард, учредитель Нобелевских премий, химик, изобретатель...» «Карл, инженер-машиностроитель...», «Эммануэль, предприниматель и техник...», «Роберт Яльмар, техник...»

Он никак не мог найти Нобелевскую премию. Хотя подождите, вот... «Нобелевский фонд основан по завещанию, составленному Альфредом Нобелем (см. Нобель, Альфред) 27 ноября 1895 года... Премий имеется пять... Нобелевские лауреаты... Литература... Моммзен... Мистраль... Кардуччи... Верн... Эйкен...

Лагерлёф... Тагор... Хейденстам... Шпиттелер... Йейтс...» Верн?! Жюль Верн?

Он сорвал с полки том энциклопедии на «В»: «Верн, Жюль, французский писатель(1828 — 1912)... В. дебютировал сборником рассказов о жизни крестьян французской провинции... затем посвятил себя исключительно беллетристике... Он стал ведущим представителем импрессионизма во французской литературе... Его новаторский язык, подчеркнутый драматизм повествования, актуальность в выборе предмета и реализм произвели фурор во французской поэзии, которой нужен был новый тон и более тесный контакт с...»

— Ты знала, что Жюль Верн писал стихи? — спросил он жену.

— Что ты сказал? — переспросила жена.

Он осекся.

— Да нет, ничего.

Он стал проглядывать страницу за страницей дальше: «В 1907 году получил Нобелевскую премию по литературе и посетил Швецию...» Он опустился на стул.

— А «20 000 лье под водой», — пробормотал он. — «Вокруг света в 80 дней»?

Он услышал, что жена зовет его из спальни. Пора было собираться. Действительно, надо спешить. Как в тумане, он подошел к гардеробу и начал одеваться.

«Михаил Строгов», — сказал он сам себе. — «Путешествие на Луну».

— О чем ты говоришь? — спросила жена.

— Жюль Верн, — сказал он.

— Жюль Верн? И ему они дали Нобелевскую премию, — сказала она. — За эти плаксивые умильные стишки?

Он не мог не засмеяться.

— Над чем ты смеешься? — спросила жена.

— Жюль Верн, — сказал он. — Лучше бы он писал научную фантастику.

— Возможно, — сказала она. — А теперь нам надо ехать.

— Подожди минутку, — сказал он.

Он вышел в гостиную и стал наугад вытаскивать разные тома энциклопедии. Хемингуэй, Джойс, Шекспир, Элиот... все имена были ему знакомы. Все иллюстрации рядом с именами Пикассо и Рембрандта он видел раньше. Профиль Моцарта так же шаловливо, как всегда, улыбался с одной из своих партитур, а за складками лба Бетховена звучало эхо всех его симфоний. В шестом томе энциклопедии он нашел рисунок, на котором был изображен Томас Алва Эдисон, сидевший, склонясь над фонографом, перед полкой с лампочками накаливания, а под фамилией Александера Грейама Белла читателя отсылали искать слово «телефон».

Он облегченно вздохнул. Не совсем все-таки он потерялся в мире. Некоторые небольшие исторические детали сдвинулись, и он никогда больше не сможет открыть «20 000 лье под водой». Но он подумал, что это все же довольно небольшая цена за право сохранить свое место среди живых в этом мире. Для последней проверки он открыл энциклопедию на фамилии Г. Уэллса. Он читал названия книг — «Машина времени», «Человек-невидимка» и «Война миров» — как блестящие подтверждения истинности и надежности мира.

В машине, по дороге к друзьям, он думал, что, конечно же, нельзя ожидать, что все всегда будет оставаться именно таким, как ты себе представлял. И если ты обнаруживаешь небольшой провал во времени, то приходится мириться с тем, что видишь. Но все-таки на душе стало спокойнее оттого, что из-за этого небольшого провала лишь несколько литературных произведений оказались под фамилией другого автора да мощная железная башня — по другую сторону Ла-Манша. Хотя ему будет недоставать «20 000 лье под водой».

За обедом у друзей жена в шутливом тоне рассказала, что утром они поспорили из-за странного сна, который он видел ночью. Его попросили рассказать.

— Ну, мне снилось, что я читаю книгу о Париже и... — начал он, но вдруг смешался.

Он посмотрел на жену. Они прожили уже 23 года, и он по-прежнему считал ее самой красивой женщиной на свете. Посмотрел на друзей. С этими людьми я хотел бы состариться, подумал он. И он сказал:

— Ну, мне снилось, что я читаю книгу, в которой утверждается, будто башня Киплинга вообще-то должна находиться в Париже...

■

БЬЁРН ГУННАРССОН

Внуки «шведской модели благоденствия» уходят в себя

Конец семидесятых годов ознаменовался в шведской литературе несколькими заметными взлетами. В 1976 году двадцатисемилетний Ульф Лундель выпускает роман поколения «Джек» — книгу, которая в традициях американских писателей-битников описывает экстатические и кочевнические поиски молодым горожанином счастья, свободы и наслаждения. В 1979 году двадцатичетырехлетний Стиг Ларссон дебютирует романом «Аутисты» (то есть «ушедшие в себя»). Спустя почти два десятилетия становится очевидным, что именно эти два романа послужили парадигмой для большей части молодой прозы, написанной в этот период.

Ульф Лундель пишет свободным от условностей языком, со скрупулезной точностью описывает процесс возмужания и романтически-художнические мечтания, что делает его особенно привлекательным для молодых писателей-мужчин. Стигу Ларссону тоже подражают многие, но совсем по другим причинам. Заслуга Лунделя в том, что он осовременивает образы, отношения, среду обитания и приближает язык шведской литературы к языку улицы. Ларссон же представляет традицию, прежде не свойственную шведской литературе; на уровне формы у него впервые проявляются черты, которые вскоре станут считаться характерными для молодой прозы восьмидесятых: металитературные, иронические уровни в тексте, желание избавиться от иллюзии реалистического воспроизведения действительности, письмо на базе авангардных повествовательно-временных конструкций. «Аутисты» — свидетельство успеха линии, идущей от французской литературы — Жида, Селина, Батая. Это традиция имморализма, которая противоречит догме, гласящей, что литература непременно должна создавать идеологические образцы для подражания. В Швеции это направление стали называть «литературой ужасов». Используя психоаналитический термин, ее следовало бы назвать «литературой вытеснения», поскольку она описывает отвратительную, неприглядную сторону человеческой натуры и идет вразрез с представлением о едином субъекте, одновременно находящемся и в тексте и за текстом — в лице писателя.

Для шведской литературы восьмидесятых— девяностых годов характерны попытки снять с автора ответственность за написанное, что вызывает возмущение у многих читателей, ибо Швеция — страна, в которой всегда господствовал моралистический взгляд на роль литературы. Однако многие писатели и критики считают, что текст живет собственной жизнью, по собственным законам, в собственной вселенной. Он ничего не говорит ни о психологии реальных людей, ни об обществе, ни тем более о личности и опыте писателя.

Название «Аутисты» очень точно отражает господствующую тенденцию в изображении человека в литературе последних лет. Во многих произведениях, написанных после выхода романа, рассказывается о людях аутичных, то есть социально безразличных, склонных к самолюбованию, не умеющих сопереживать и строить отношения, живущих в бесчувственной пустоте и осознании бессмысленности общества потребления. Эти люди отчаянно, но в то же время бесстрастно пытаются контролировать жизнь тела и духа, а также свои взаимоотношения с окружающим миром, который воспринимается ими как исходно чуждое, враждебное начало. Персонажи самозабвенно ищут все более острых ощущений, прибегая к насилию, сексуальным извращениям или наркотикам, чтобы проявить свою индивидуальность и почувствовать себя живыми. Если последователи Ульфа Лунделя описывают людей, на самом деле ведущих кочевой образ жизни — меняющих местожительство, профессию, интересы, взгляды, любовников, друзей,— то герои Стига Ларссона и его приверженцев могут быть названы кочевниками по натуре: у них подвижная психика, неустойчивая структура личности, они считают и себя, и свое окружение объектом быстротечных, постоянно меняющихся желаний. Индифферентному, нацеленному на потребление и полностью анонимному обществу противостоит душа, промерзшая до дна и пытающаяся оттаять. Внуки эпохи строительства социал-демократической

модели благоденствия, пресловутого шведского «народного дома» превратились в аутистов.

Но в последнее десятилетие прослеживаются и иные тенденции, тоже уходящие корнями в семидесятые. В середине семидесятых дебютировало немало рано созревших талантов, которые впоследствии стали самыми значительными авторами своего поколения: Никлас Родстрем, Клас Эстергрен, Ларс Андерссон, Стефан Гурт. Они не олицетворяют собой перелома в литературе ни с точки зрения стилистики, ни в литературно-историческом смысле; скорее они за преемственность, то есть за повествовательность, радость сочинительства, желание рассказать хорошую историю, обработать материал, увлечь читателя. В восьмидесятые годы у писателей этой группы появилось много последователей — таких, как Эрнст Брюннер, Бьерн Ранелинд, Кристер Эриксон, Рольф Юхансон, Ян Хенрик Сван, Петер Чильгорд, Вибеке Ульссон, Элизабет Ларссон, Бьерн Колларп; сюда же можно отнести и любимца публики Юнаса Гарделя. Однако традиционность — не единственная отличительная черта писателей этого направления. Многим из них также свойственно стремление избавиться от иллюзий сочинительства и реализма посредством иронии и метакомментариев. Например, последний роман Петера Чильгорда «Береговой человек» представляет собой именно такую постмодернистскую игру с реальностью и подтекстами. В нем прослеживается тема бессмысленного насилия и случайной смерти, которая стала ассоциироваться с «литературой ужасов». Класу Эстергрену принесла успех «Эстерленская трилогия» («Якорь», «Торговцы и партизаны» и «Чудо в сентябре»). Это стилизация под Хемингуэя, Грина и Лаури: авантюры, драки, пьянство, сомнительные женщины и разбитые иллюзии. Именно игровые, ироничные стилизации обычно считаются характерной чертой постмодернистской литературы. В последнем романе Ларса Андерссона «Водяной орга́н» писателю так надоедает собственное повествование, что он обрывает себя в середине блестяще написанной биографии художника Густафа Фьестада и начинает писать совсем другой, экзистенциально-философский роман, представляющий собой смесь метакомментариев, фрагментов в стиле магического реализма и поэтических перебивок.

Однако шведская проза никогда не находилась под таким влиянием постструктурализма, как поэзия. Бум шведской поэзии в середине восьмидесятых годов не имел аналогов в прозе, которая, в противоположность поэзии, характеризовалась, как уже говорилось, преемственностью. Она означает сильную повествовательную традицию, что при общем высоком уровне письма до известной степени уплощает, даже нивелирует текст. В новой прозе не видно по-настоящему ярких звезд. У нас в Швеции нет аналога датскому писателю Петеру Хээгу, имеющему большой успех во многих странах. Проза Норвегии и Дании, развивающаяся совсем в другом эстетическом направлении, котируется в мире гораздо выше. У наших молодых нет амбиций — или способностей — создать Большую Литературу, нет стремления разработать по-настоящему солидные и увлекательные проекты, и в этом состоит их существенное отличие от старшего поколения шведских писателей.

В начале восьмидесятых годов дебютировал ряд писателей, которые стремились создавать более философски ориентированную прозу. Это в первую очередь Ульф Эриксон, начинавший как поэт, и Стив Сем-Сандберг, выпустивший два больших романа: «Безликие» и «Урок парного танца» — книги, которые могли бы стать романами поколения, но не стали таковыми из-за слабого художественного исполнения.

Леннарт Гёсс создает идеологические романы в русле христианской этики. Последний из них называется «Новое напоминание о...», и речь в нем, в частности, идет о насилии среди молодежи, о проблемах иммигрантов, о противоречиях между поколениями и о роли государственной церкви в качестве духовного пастыря. Это грандиозный роман, написанный в традициях большого эпоса, а Леннарта Гёсса можно назвать социально ангажированным писателем-традиционалистом.

В шведском книгоиздательском деле большую роль играет конкуренция со стороны импортируемой переводной литературы, причем становится все очевиднее, что и литература оказалась подверженной непреложным законам рынка. Издательства закрываются или сливаются, значительно сокращается выпуск романов-дебютов, а литературу молодых покупают все меньше и меньше. Ужесточается конкурентная борьба за стипендии и гранты. Газетно-журнальная литературная критика сведена к минимуму и повсеместно подменяется сиюминут-

ными репортажами о знаменитостях; недостаток вдумчивых обзоров и комментариев просто поражает. Читателям становится трудно ориентироваться в ситуации, когда новые критики охотнее заботятся о собственной академической карьере (посвящая себя эстетическому теоретизированию или исторически канонизированному писательскому творчеству), нежели о своей роли посредника, представляющего читателю новую литературу. Искусство подчиняется все более жестким коммерческим законам. Вовсю расплодилась книжная продукция, создаваемая журналистками вечерних газет по образцу американской поп-литературы.

Более других в изготовлении занимательных романов по рецепту телевизионных мыльных опер преуспела Луиза Бойе аф Геннэс; при этом язык ее произведений все же не выходит за рамки приличия и не лишен определенных литературных амбиций. Ее последний роман называется «Человек — не остров»; в этой мелодраме о повседневной жизни предпринята попытка отразить сразу все проблемы шведского общества, хотя итогом стала всего лишь обычная коммерческая романтика.

Еще одна набирающая силу тенденция заключается в том, что издательства заказывают романы людям, ставшим знаменитостями в других сферах: театре, моде, музыке, политике. Это чистейшая спекуляция, основанная на расчете, что громкое имя принесет коммерческий успех, пусть даже и в ущерб литературному качеству.

Читающая публика по-прежнему тяготеет к старшему поколению писателей: Черстин Экман, Саре Лидман, Йорану Тунстрему, Марианн Фредриксон, Герде Антти. И поэтому молодым рассказчикам трудно по-настоящему заявить о себе. Про молодую шведскую литературу можно коротко сказать так: ее не знают и не читают. Юнас Гардель со своими трагикомическими рассказами о семейной психологии, одиночестве и незащищенности в «народном доме» и Никлас Родстрем, поэтичный, мечтательный романист, являются, пожалуй, исключением, да еще , может быть, Леннарт Хагерфорс с его негромким, но сильным реализмом будней.

Молодых писателей, разумеется весьма приблизительно и обобщенно, можно разбить на несколько групп. Если начать с женщин, то здесь заметны следующие традиционные направления. Это, в первую очередь, традиция, восходящая к Вирджинии Вулф, и еще одна, идущая от Сильвии Плат,— традиция психологического самопознания. Биргитта Стенберг представляет направление, увлекающееся описанием приключений женщин-бродяг, ставящих эксперименты над собственной жизнью; ее младшей сестрой можно считать Анн-Мари Берглунд, которая, однако, в своих последних книгах все больше и больше склоняется к сюрреализму. Много говорят и пишут о женской сексуальности, самоидентификации, самолюбовании и незащищенности. Агнета Клингспор дебютировала в семидесятых годах исповедью в форме дневника (примером для нее послужила датчанка Сусанн Брэггер); в прошлом году Клингспор выпустила продолжение своей книги, которая называется «Ключевой роман», что достаточно симптоматично. Журналистка Нина Лекандер опубликовала два романа, рассказывающих о поисках женщинами профессиональной и политической самореализации. Дебютантка весны 1995 года Катарина Рос продолжает этот саморазоблачительный жанр, повествуя о попытках женщины разобраться в современном хаосе распределения ролей между полами и о том, как трудно создавать настоящие отношения с другими людьми. В последние годы в Швеции активно обсуждалась тема инцеста и сексуальных извращений; у нас возник целый поджанр «кровосмесительных романов», содержащих собственные или вымышленные признания. Наиболее известная представительница этого направления — Анна-Карин Гранберг.

Писательницы самой молодой генерации исследуют сдвиги в женской психике из-за страха потолстеть. Может быть, здесь в первую очередь речь идет о героине, которая намеренно голодает и тем самым пытается контролировать не только процесс принятия пищи, но и свои эмоции, отчего вообще перестает что-либо чувствовать. Она мучается из-за сильных, чуть ли не садомазохистских метаний между желанием господствовать и подчиняться, крайней индивидуалистической свободой и потребностью в безопасности, между бунтом и рутиной.

Не менее важной предшественницей литературы восьмидесятых— девяностых годов, нежели Ульф Лундель и Стиг Ларссон, является Ингер Эдельфельдт.

Также дебютировав в конце семидесятых, она начала описывать молодых женщин-«аутисток» в «Книге Камалы», продолжив эту тему в сборнике новелл «Рит». Лучший в стилистическом отношении сборник новелл, посвященных женщинам-скиталицам, под названием «Костюм», вышел весной 1995 года у Нины Хольмквист.

Среди мужчин— последователей Ульфа Лунделя немало тех, кто пишет романы воспитания. Недоброжелательные критики обычно называют эти книги «романами поездных бродяг» и отмечают, что их авторы незаметно для себя меняют направление, превращаясь из эпигонов Ульфа Лунделя в эпигонов Стига Ларссона.

Крайне важное влияние на молодую мужскую прозу оказал, среди прочего, американский «грязный» реализм, в первую очередь Бред Истон Эллис, который описывает именно аутичного человека, страдающего от пресыщения. Книга Эллиса «Нечего терять», вышедшая по-шведски в 1985 году, стала школой для ряда молодых писателей, таких, как Пер Хагман, Александр Скантзе и Клас Хольмстрем. Они пишут действительно о поколении без будущего, поколении X, поколении лодырей. Ведущую роль в их произведениях играет поп-культура: названия музыкальных групп, тексты мелодий и видеоклипы. Музыкальный канал MTB всегда присутствует как фон повествования, будь то занятия любовью или сцены насилия, которые подаются наравне с рассуждениями о фирменной одежде и знаменитостях. Но и эти писатели всегда испытывают сострадание к «аутистам», живущим в мире масс-медиа и развлечений без цели и смысла. Именно в этом поджанре нашла свое литературное отражение другая широко обсуждаемая в Швеции общественная проблема — проблема жестокого насилия среди молодежи. Характерно, что истории на эту тему часто рассказываются в настоящем времени, поскольку у их героев нет ни прошлого, ни будущего. Юаким Форсберг и Стефан Экберг выпустили книги с показательными названиями: «Далеко ли до Голливуда», «Меняю подержанную роликовую доску на жизненный опыт» и «Умирающий яппи». Юаким Форсберг использует стилистику шведского писателя рубежа веков Яльмара Седерберга, хотя вообще наши молодые крайне редко подражают образцам из собственной литературы.

К последователям Стига Ларссона я хотел бы причислить и писателя с мировой известностью Матса Вэгеуса. Его главная книга «Охота на белом поле» повествует о том, как охотники, преследуя зверей, начинают охоту друг на друга. Для представителей «литературы ужасов» типично описание героев-психопатов без психологических или социальных объяснений зла. Существует только воображение и никак не обозначенная писательская позиция. Стиг Ларссон даже вводит самого себя в свои романы в качестве педофила. Понятно, что такая позиция обозначает язвительную насмешку над читательскими ожиданиями возмездия за дурные поступки.

Описатели «ужасов» используют приемы развлекательного романа: истории рассказываются эффектно, персонажи романов часто — люди из высших слоев общества, и читатель неумолимо вовлекается в дьявольские интриги, плетущиеся без настоящей развязки. К этой категории писателей иногда относят Роберта Кангаса. Его мир — малонаселенный Вэрмланд пятидесятых; здесь происходит действие почти всех его рассказов. Но поэтичный стиль Кангаса, мне кажется, берет свое начало в изобразительных традициях устного сказа.

Традиционная пролетарская литература сейчас почти сошла на нет, хотя имела в Швеции богатую историю. Тони Самуельссон описывает переход из одного социального класса в другой; это важная тема для страны, которая на протяжении полувека отличалась, быть может, самой высокой в мире социальной мобильностью. В его романах показано, как люди покидают свой класс и пытаются примкнуть к другому социальному слою; он описывает отчуждение, возникающее и в рабочей среде, и в среде образованной буржуазии, в которую попадает главный герой. Его лучшие романы называются «Миф о первородном» и «В гостях у буржуазии».

Исторический роман редко встречается в нашей новой литературе. Май-Бритт Вигг выпустила трилогию, действие которой происходит во времена викингов, но тема которой — все то же кровосмешение, то есть историческое повествование используется здесь для анализа современной проблематики. Юхан Фростегорд, пожалуй, единственный писатель, создающий исторические книги. В этом ряду можно упомянуть и Петера Лукаса Эриксона, хотя он пишет

скорее мрачные архаичные сказки, а не реалистические исторические повествования. Его роман «Ночной сторож у порога» — одна из лучших книг, вышедших в Швеции за последние годы. Это тонкое, нежное и поэтичное описание жизни нескольких жителей маленькой деревни в Норланде.

Нельзя не упомянуть о писателях, которых можно назвать «документалистами». Путевые заметки Кристиана Петри написаны явно под влиянием Брюса Чатуина. Он рассказывает о путешествиях на Борнео, Сахалин, острова Атлантики. При этом его путешествия не столько географические, сколько литературные; автор — путешественник разочарованный, начисто лишенный наивной радости первооткрывателя. Петри начал свой писательский путь с книги об ужасном детстве с мамой-психопаткой; в его произведениях всегда было очень сильно автобиографическое начало. Ула Ларсму — один из немногих, кто пишет о проблемах окружающей среды, например в романе «Птичья дорога».

Своеобразную позицию занимает Ларс Якобсон. Его интересует вымысел в документалистике, он соединяет факты с вымыслом и меняет реальный ход событий. В своей последней большой книге «Испытания» он затрагивает такие разные проблемы, как этнические конфликты и вырубка вечнозеленого тропического леса. На социально-политическую современность Якобсон смотрит с эстетической точки зрения: он хочет показать, что в потоке событий и рассказов о них в информационном обществе присутствует вымысел, что действительность зависит от способов ее представления и что восприятие действительности легко может стать произвольным. В его лучшей новелле рассказывается о жизни убийцы президента Кеннеди — Ли Харви Освальда. Она заканчивается тем, что Освальд вовсе не стреляет в президента, а погибает как еще один неизвестный солдат на войне во Вьетнаме.

Такой же вольной трактовкой реальных событий отличаются и писатели-абсурдисты. Стефан Фокони, выпустивший три небольшие книги, рассуждает обо всем — от зоологии до мировой политики — и подтрунивает над претензиями на фактологичность и достоверность во всякого рода научных и журналистских беседах. А молодой абсурдист Кристер Хермансон показывает ничтожную и нелепую самодостаточность обывателя, создав образ рядового человека по имени Силлиман.

Наиболее яркой чертой шведской прозы является абсолютное господство сферы интимного. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами занимают буквально всех молодых писателей. Их описания включают в себя широкий спектр — от сексуальных извращений до обычной любовной неразберихи. В обществе с высоким процентом разводов важной темой являются разного рода расставания. Можно также отметить, что общим местом в молодой литературе стало детство. Когда молодые писатели пытаются ответить на вопросы «кто я?» и «как я стал тем, что я есть?», они анализируют свое детство, отношения с родителями и со взрослыми противоположного пола. Если писатели старшего поколения часто не спешат с автобиографиями, то многие молодые затрагивают эти темы уже в первой книге. Преобразования шведского общества всегда рассматриваются в личном ракурсе. Удивительно, но обострившаяся социально-политическая напряженность, вызванная большим потоком иммигрантов в Швецию, почти не находит отклика у молодых авторов. Неофашизм, появление гетто как результат жесткого социального отбора, сегрегация на рынке рабочей силы — темы, которые по-прежнему нуждаются в художественно-литературном воплощении. Как будто все крупные общественные преобразования, само изменение шведской ментальности олицетворяют лишь заселяющие молодую шведскую художественную литературу заблудившиеся «аутисты». Писатели восьмидесятых и девяностых годов — первое по-настоящему урбанистическое поколение Швеции. Провинция, которая раньше играла в литературе такую большую роль, исчезла за горизонтом. Описания природы встречаются в книгах крайне редко, тогда как атрибуты городской жизни описываются со скрупулезной тщательностью.

Молодая шведская литература живет в моральном вакууме конца века и отражает его, вынося частную жизнь на всеобщее обозрение. Молодой прозе присущи широкий охват и богатство материала, но в ней отсутствуют глубина и художественная значимость. В основе этого лежит чувство беспомощности и беззащитности перед силами истории. Взятая в целом молодая шведская литература описывает тот исторический момент, в который она создается.

Двух шведских художников, чьи работы читатели видят на обложке журнала и на страницах нашего «Литературного гида», представляют журналист и переводчик ЕВГЕНИЙ ГЛУХАРЕВ и поэт ГЕННАДИЙ АЙГИ, большой поклонник творчества Викстена.

ХАНС ВИКСТЕН (1926 — 1987) — художник, поэт, музыкант. Член Шведской академии искусств, картины которого демонстрировались более чем на 200 выставках. Работы Викстена имеются во многих музеях как в Швеции, так и за границей. Наибольшей известностью среди его монументальных произведений пользуется оформление фойе концертного зала «Бервальд» в Стокгольме.

Для Викстена живопись, музыка и слово всегда сливались воедино. Недаром он сопровождал свои картины, вызывавшие огромный интерес и у зрителей, и у коллекционеров, поэтическими комментариями и записанной на пленку музыкой собственного сочинения, исполнявшейся на разных инструментах. При этом богатейшая фантазия сочеталась в его творчестве с самой строгой самодисциплиной.

Особый интерес у Викстена всегда вызывали «солисты» любого рода — поэты, музыканты, боксеры. Упоминание бокса в этом ряду не случайно: Викстен непрестанно стремился нокаутировать зрителей. С его точки зрения, человек должен испытать шок, чтобы образ, вызванный тем или иным ощущением, надолго запечатлелся в сознании.

В последние годы жизни, уже больной, художник совмещал занятия живописью с литературой. В это время вышли его «Книга жизни» — рисунки тушью и дневник «Магия жизни» — акварели с поэтическими комментариями, а также мемуары «Моя дикая жизнь», в которых он проявил незаурядный талант рассказчика-юмориста.

СТИГ КЛАССОН (род. 1928) — один из популярнейших шведских писателей, живописец, график. Автор нескольких десятков романов, рассказов, очерков. Многие из них посвящены Стокгольму и, в частности, Сёдеру — большому рабочему району на юге шведской столицы («сёдер» по-шведски — «юг»), где вырос писатель. Нередко обращается он и к судьбе шведской провинции, утрачивающей свой исконный облик под натиском современной цивилизации. Излюбленными героями Классона являются пожилые и одинокие люди, оказавшиеся как бы на обочине жизни и подводящие непростой итог прожитым дням. В творчестве Классона постоянно соседствуют трагическое и комическое, необыкновенная наблюдательность дополняется тончайшим знанием времени и среды, а лаконичный, легкий, кажущийся на первый взгляд небрежным язык его книг приводит в восторг шведских читателей, но создает массу непреодолимых трудностей для переводчиков.

Рисовать Стиг Классон начал довольно рано и известность поначалу снискал как многообещающий книжный иллюстратор. Постепенно литература стала главным делом его жизни, но с живописью и графикой писатель не только не порвал, но, напротив, с годами стал заниматься ими все больше и больше. К излюбленным жанрам Классона-художника следует, пожалуй, отнести зарисовки (обычно это виды различных городов и областей Швеции) и живописные портреты. Его художественные работы не раз выпускались отдельными изданиями («Стокгольм летом», «Сконские картинки», «На должном расстоянии» и др.). В этом номере мы публикуем рисунки из его книги-альбома «Стокгольм летом», которая открывается следующим авторским предисловием:

«По-моему, лето в Стокгольме начинается с того дня, когда можно уже посидеть на воздухе, на скамейке и порисовать, а кончается оно, по-моему, двенадцатого сентября.

Может показаться, что к одним районам Стокгольма я недостаточно внимателен, а другие вообще обхожу стороной. Дело в том, что в одних местах невозможно оставаться долго, а другие некрасивы. По большому счету, Стокгольм летом — очень красивый столичный город, но и некрасивого в нем, несмотря на то что сияет солнце (или как раз поэтому), тоже много.

То, что вы держите в руках, — это не портрет города. Важно не то, что я нарисовал. Важен рисунок.

Я охотно признаю, что мне повезло с погодой. Да и ни туристы, ни обычные любопытствующие мне не мешали. Не очень мешали. Мешали, но не беспокоили.

Рисовать — значит, играть. Мне было весело.

Обо мне говорят, что я смотрю на вещи с высот Сёдера. Это неправда. Иногда я смотрел на Сёдер с севера. Я просто выбирал места, где опасность, что тебя переедут, была невелика, а опасность, что тебя затопчут, — минимальна. Это можно счесть малодушием. Но это не малодушие».

Е. ГЛУХАРЕВ

ГЕННАДИЙ АЙГИ
СРЕДИ ОБРАЗОВ ВИКСТЕНА

Шведская академия искусств, сентябрь 1993

1

Все плотнее и все холоднее растягивало шевеления неба далекое молчание Совы.

Души-человечки давно невыносимы (может яблоко треснуть — в лицо).

Облака означают «что-то происходило всегда в облаках», и узоры этого *что-то* будто вели и указывали — среди белых халатов и красных движений — линии разрезывания тела — и было оно как Страна.

Возникало — «фактурностью» преломленного хлеба — что-то от забытого лица, — постепенность его разворота утепленно устанавливала его — будто «законно» отцовским.

И *это* смотрело в небо — как, выпроставшись из утреннего тумана, отдыхает наконец-то зрящая сила Холмов.

«Слышишь, а они опять приходили» — это слова-пигмеи, они вечны в пещерах — *где угодно, когда угодно*, — ветер от этих слов неотступно окружает Землю.

2

И давние шорохи-и-шуршания превращаются, все ближе, в горение-тление, преображающееся — в чистое зарево: света-и-боли.

Превращение это проходит по тебе. Именно от этой яркости и резок свет твоего «рисовального» действия и поблескивающе-твердо Молчание Белого (современный Лик, можно сказать, Невыносимости).

И далекое зрение Совы продолжает ширить холодное уплотнение Синевы.

3

Вступление было где-то в середине: олень держал на рогах Громаду Снега (как Родину).

Вдруг: «а люди-то, оказывается, легкие», — складывается, взвиваясь поземкой и вздрагивая, стихотворение — ветром. Сад облаков. Деревья сделаны из вечности. Вдали — место лица, и оно возникает: брат.

И двинулись уже одуванчики: будто народ слепых видит все шумнее и ближе, — фольклорное движение, шум.

Ясность — облака над огородом.

Береза — это только чуть-чуть «не я».

Здесь — тайна любви: меня сейчас видит самый жаркий в мире глаз.

Есть уникальный цвет, выражающий лишь следующие слова: «Не дай вам Бог услышать детскость заячьего крика», — иногда это сквозит в красках заката.

Плохо бывает, Дерсу, от псевдодетей.

29 — 31 мая 1995

■

Проза и стихи

1956

ХЕДЕНВИНД-ЭРИКССОН. Проезжая дорога (Рассказ), № 10.

ЮСЕФ ЧЕЛЬГРЕН. Золотой песок с Аляски, Случай из жизни (Рассказы), № 10.

1958

АРТУР ЛУНДКВИСТ. Рабочие и крестьяне. Снег. Жизнь как трава (Стихи), № 7.

1959

ЭРИК ЛУНДКВИСТ. Бали. Главы из книги, № 1.

1962

САРА ЛИДМАН. Я и мой сын (Роман), № 5.

1963

АРТУР ЛУНДКВИСТ. Стихи, № 10.

1964

АРТУР ЛУНДКВИСТ. Десять и тысяча (Стихи), № 6.

ЭРИК БЛОМБЕРГ. Ни веры, ни счастья. Дом людской. Сокол (Стихи), № 6.

ХАРРИ МАРТИНСОН. Природа и человек. Осень. Воспоминания детства. Замерзшие слова (Стихи), № 6.

ЛАРС ФОРСЕЛЬ. Десять солдат (Стихи), № 6.

КАРЛ ВЕНБЕРГ. Прощание (Стихи), № 6.

ТУМАС ТРАНСТРЁМЕР. Стихи, № 6.

1965

КАР ДЕ МУММА. Церквушка. Подающий надежды (Рассказы), № 7.

АРТУР ЛУНДКВИСТ. Илона (Стихи), № 12.

1967

СВАНТЕ ФЁРСТЕР. Я коллекционер, как вам, вероятно, известно (Рассказ), № 9.

1968

Из шведской поэзии (КАРЛ-ЭМИЛ ЭНГЛУНД), № 10.

1974

АРВИД ЛУНДБЕРГ. Мемуары шведского рабочего, № 11.

1978

ТАГЕ ДАНИЭЛЬССОН. ЛАРС ФОРСЕЛЬ.Юмористические стихи, № 4.

1979

Шведский юмор. ЛАРС ЮЛЛЕНСТЕН. Ars Amandi, ТАГЕ ДАНИЭЛЬССОН. Медитации в будке суфлера, ПЕККА ЛАНГЕР. Прошение по поводу руки принцессы Маргареты, № 2.

1982

ЛАРС ГУСТАФССОН. Стихи, № 4.

1984

ЭРИК БЛУМБЕРГ. Стихи (К 90-летию со дня рождения), № 5.

ХАНС ЛИДМАН. Рассказы, № 10.

1985

АРВИД РУНДБЕРГ. Путешествие в Новый Орлеан (Роман), № 3.

1987

ГУСТАВ ФРЁДИНГ. Стихи, № 2.

1988

Афоризмы шведских писателей, № 2.

1989

ИНГМАР БЕРГМАН. Laterna Magica, № 9,10.

1990

РИКАРД ФУКС. Рассказы, № 7.

1991

ХАНС БЬЁКЕГРЕН. Стихи, № 12.

1992

ГЕРД РЕЙМЕРС. Жены и музы. Портреты спутниц великих мужей. Фрагменты, № 1.

ЭММАНУЭЛЬ СВЕДЕНБОРГ. Из книги "Истинная христианская религия", № 8-9.

1994

ИНГМАР БЕРГМАН. Благие намерения (Роман), № 5.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ, ИЛИ ГИЛЬОТИНА БЛАГИХ НАМЕРЕНИЙ

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ
НЕ СПИ, НЕ СПИ, ХУДОЖНИК...

«Президент принял делегацию чучмеков» — невозможный заголовок в газете. «Выдающееся бабьё в русской культуре»— немыслимое название для книги. Это всем понятно: в первом случае задеваются лица некоторых национальностей (расистское высказывание), во втором — лица женского пола (высказывание сексистское). Понятно, что напечатать или публично произнести подобное было бы оскорбительным хамством, хотя, с другой стороны, почему? Ни в слове «чучмек», ни в слове «баба» вроде бы не слышится ничего специфически оскорбительного, но так уж исторически сложилось. Обидно.

Слово «чурка» еще обиднее, чем «чучмек»: предполагает тупость, дубовые мозги (я вот умный, а они все тупые). «Косоглазый» — оскорбление: предполагает отклонение от некоторой нормы. То же «черномазый» — имплицитное утверждение, что белое лучше черного; а почему это, собственно? Однако если вы скажете: «эбеновая кожа» или «миндалевидные глаза», то отмеченные наружные признаки прозвучат как комплимент, ибо в рамках нашей культуры эбеновое и миндальное деревья имеют положительные коннотации (в отличие от дуба).

Недоказуемые утверждения, что белая раса выше черной или желтой, что женщины хуже мужчин, звучали слишком часто в истории человечества, а как всем известно, от слов люди всегда переходили к делу и угнетали тех, кого считали хуже и ниже. Прозрев и раскаявшись в этом варварском поведении, цивилизованная часть человечества восприняла идеи равенства и братства и как может воплощает их в жизнь. И старается исправить не только дела, но и слова, ибо слово это и есть дело. И слово — проще исправить. Выражаться и мыслить надо *политически корректно*.

Так, ловлю себя за руку: одну политическую некорректность в этом тексте я уже допустила — употребила слово «братство». Вот к чему приводит многовековое угнетение со стороны патриархата! Жалкая, слепая жертва фаллоцентризма, неспособная сбросить с себя путы мужского свинского шовинизма (*male pig chauvinism*), я кооперируюсь с угнетателями, сотрудничаю с агрессорами! Я переметнулась на сторону врага. Я должна была употребить слово «сестринство», невзирая на то, что его нет в русском языке. А теперь пусть будет. Ведь язык — тоже средство угнетения, потому-то этого слова в нем и нет. Язык слишком долго был орудием мужчин, в нем отразилась их многовековая власть над женщинами, это они не допустили слово «сестринство» в словарь. Доказательств сколько угодно. Человечество по-английски *mankind*, почему не *womankind*? То-то. Да ведь и само слово *woman* — производное от слова *man*, и с этим можно и нужно бороться. Например, принять написание *womyn* (во множественном числе *wimyn*), чтобы хотя бы на письме сбросить с себя унизительные путы родовой зависимости. Или слова «семинар», «семинарий», которые происходят от слова *semen*, «семя»,— вопиющий фаллоцентризм. Введем слова «оварий», или — вариант — «овуляр», обозначать они будут то же, зато явятся женским вкладом в культуру. (По-русски — яйцеклетий. «Научный яйцеклетий по проблемам освоения космоса»? Глупо, но корректно.)

Засилие политически корректного языка и, соответственно, выражаемых этим языком политически корректных мыслей и понятий захлестнуло современную американскую культуру. (Вышеприведенные примеры — *womyn*, *ovarium* — не продукт моего натужного остроумия, как может подумать не знакомый с американскими реалиями читатель, а взяты из существующих текстов: ими предложено пользоваться, и некоторые уже пользуются.) Идеология политической корректности требует, чтобы любое публичное высказывание и публичное (а в ряде случаев и частное) поведение соответствовало неким нормам, в идеале выражающим и отражающим равенство всего и вся. Во многом эти требования исходят со стороны агрессивного феминизма, но не только. Есть расовая политическая корректность (*political correc-*

tness, или сокращенно *PC* — Пи-си), экологическая, поведенческая, ценностная, какая угодно. Упрощая (но не слишком), можно сказать, что она базируется на следующем современном мифе: белые мужчины много веков правили миром, угнетая меньшинства, не-белые расы, женщин, животных, растения. Белый мужчина навязал всему остальному миру свои ценности, правила, нормы. Мы должны пересмотреть эти нормы и восстановить попранную справедливость.

Мысль, не лишенная наблюдательности, конечно, и всякий может привести массу примеров, ее подтверждающих. Нерешенным, правда, остается вопрос, отчего же так произошло — по природе вещей или по зловредности и в результате заговора? Свойственна ли мужчине агрессивность от рождения или навязана ему культурой свинского самцового шовинизма? Сволочь ли самец павлина с его роскошным хвостом, в то время как его самка выглядит так непритязательно? Кроме шуток: можно ведь утверждать, что самцы павлинов на протяжении вековой эволюции заклевали и истребили тех самок, у которых было чем похвастаться в смысле оперения, оставив для размножения лишь чахлых и бледных дурнушек, дабы надмеваться над ними, держать их в подчинении и постоянно указывать им своим внешним видом, кто тут, собственно, начальник. То же и куры. Докажите, что это не так. В обратном же случае, когда самки красивее самцов, результат тоже может свидетельствовать о злостной эгоистической направленности мужского отбора: молодых и симпатичных они выбирали, а старых и уродливых отбраковывали (ср.: люди). Куда ни кинь, всюду клин (желающих всюду прозревать фрейдистские аллюзии просят порадоваться этой плохо завуалированной фаллоцентрической поговорке). Можно утверждать, что мужчина всегда морально дурен,— агрессивные феминисты (ки) это постоянно и делают.

Например, нашей современной культуре навязана идея так называемой «красоты», то есть представление о том, что люди неравны в отношении внешней притягательности. Это грех «смотризма» (*lookism*). Феминистка Наоми Вулф[1] (сама молодая и красивая) разоблачила негодяев: она открыла, что идея «красоты» возникла с развитием буржуазного, индустриального общества где-то в XVIII веке. Женщинам внушили, что красота — это ценно, что красиво то-то и то-то, наварили кучу косметики и всяких притирок и через рекламу вкомпостировали все это в мозги. Женщины попались на удочку, отвлеклись от борьбы за свои права и по уши ушли в пудру и помаду, а тем временем мужчины захватили рабочие места и успели на них хорошо укрепиться. Когда одураченная женщина кончила выщипывать брови и спохватилась — глядь, все уже занято. Просвистела, бедняжка, свои исторические шансы. (В частности, из этого следует, что настоящая феминистка не должна ничего себе ни брить, ни выщипывать, а настоящий феминист должен принимать ее как она есть и «полюбить ее черненькую».)

Примеры «смотризма» в русской литературе:

Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних...

Автор-мужчина прямо сообщает, что его текст не предназначается для уродок, старух, меньшинств, инвалидов; доступ к тексту — выборочный; это недемократично.

Как завижу черноокую —
Все товары разложу!

Это еще хуже: это называется *preferencial treatment*, то есть предпочтение, предпочтительное обслуживание; хорошо, если не сегрегация! Он не хочет обслуживать категории населения, не соответствующие его понятию о красоте, хотя в его коробушке «есть и ситец, и парча»; в результате нечерноокие потребители не смогут осуществить свое право на покупку. Дальше в тексте, кстати, открыто описывается обмен товаров на сексуальные услуги: «... знает только ночь глубокая, как поладили они». Нужны ли более яркие иллюстрации свинско-самцового шовинизма?

Ты постой, постой, красавица моя,
Дай мне наглядеться, радость, на тебя!

В данном случае, как говорится, всё каше наружу: автор-мужчина *останавливает* красавицу, понятно, с тем чтобы быстро забежать вперед и занять вакантное рабочее место. Ее же уделом будет безработица или низкооплачиваемая профессия.

К греху «смотризма» тесно примыкает и грех «возрастизма» (*ageism*). Это когда неправильно считается, что молодость лучше старости.

Примеры «возрастизма»:

Старость — не радость.

[1] См. «ИЛ», 1993, №3. (*Прим. ред.*)

Просто лживое утверждение, окостенелый стереотип.

На что нам юность дана?
Светла как солнце она...

Это еще слабая степень оскорбления, ведь можно оспорить утверждение, что солнце лучше, скажем, луны, и что тем самым здесь выражено возрастное предпочтение. Тем более что врачи сообщают: солнце вредно, излишнее пребывание в повышенной зоне ультрафиолетового излучения вызывает предрак кожи. А вот хуже:

Коммунизм — это молодость мира,
И его возводить молодым.

Здесь прямо, внаглую содержится требование отстранить от рабочих мест лиц среднего и старшего возраста. За такие стишки можно и в суд. Называть старика стариком обидно. Старики в Америке сейчас называются *senior citizen* (старшие граждане), *mature persons* (зрелые личности); старость — *golden years* (золотые годы).

И наконец, совсем возмутительные стихи, наводнившие всю Россию:

Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Здесь и смотризм, и разнузданный возрастизм, и любование поверженностью лица женского пола, и выдавание тайно желаемого за действительное: он представляет ее мертвой, так как мужчины ненавидят женщин и желают им смерти, что опять-таки символически выражается в сексуальном акте, который всегда есть насилие, порабощение и, в конечном счете, уничтожение. Не пропустите ключевые слова: автор символически помещает ее в ров, то есть в яму, могилу, а сверху еще примысливает насыпь, то есть слой земли. Убил, в землю закопал и надпись написал — вот что он сделал. Упоминаются косы, то есть устаревший стереотип женской привлекательности. (Может быть, намек: «волос долог — а ум короток»?!) «Платок» — то же самое. «Цветной» — не расовый ли намек? Предлагаю следующую, политически корректную редакцию строфы:

На насыпи, в траве подстриженной,
Живой и радостный на вид,
Стоит свободный, не униженный,
Достойный, зрелый индивид.

Sizeism (размеризм, что ли?) — предпочтение хорошей фигуры плохой, или, проще, худых толстым. Он же *fatism* (жиризм), *weightism* (весизм). Страшный грех. Попробуйте не взять человека на работу за то, что он толстый, — засудят. Существуют комитеты, борющиеся за права толстяков. Если раньше толстяк назывался в лучшем случае *oversized person*, то есть предполагалось, что есть размер (*size*) нормальный, а есть и другие, сверх нормы, то теперь надо говорить *full-figured*, что есть маленькая сладостная месть худым: у жиртреста, получается, фигура полноценная, а у доходяги — нет. Недотягивает. Худые пока не протестовали.

Пример феминистского прочтения:

Талия в рюмку.

Всмотритесь в это выражение. Сопоставляются и оцениваются позитивно центральная зона женского туловища и стеклянная емкость для приема алкоголя. Женщина приравнивается к посуде, и их функции отождествляются. Хвать — и опрокинул. Здесь, разумеется, выражено пренебрежительное отношение к женщине: она воспринимается лишь как объект удовольствия.

Нехорошо оскорблять человеческую внешность. Мы ведь не виноваты в том, что родились такими, а не другими. Надо избегать обидных слов и выражений. Скажем, уродился человек маленького роста — не называть же его коротышкой (*short person*). Мягче будет vertically challenged (трудно перевести, нечто вроде «вертикально неординарный»). Плешивый — hair disadvantaged, follicularly challenged.

В целом первая задача политической корректности — уравнять в статусе (за счет подтягивания) отставших, обойденных, вышедших за рамки так называемой нормы. Считается, что низкая самооценка вредна для индивида, а стало быть, и для общества в целом. Оскорбление же направлено на понижение статуса оскорбляемого (дурак, дубина, мордоворот, рожа неумытая, засранец, мудила гороховый, жиртрест, пром-сосиска-комбинат, осел, свинья, козел, корова, сука, пидарас, очкарик, жертва аборта, чурбан, чучмек, чурка, черножопый, деревня, скобарь, дерьмократ и многое, многое другое). Поэтому необходимо поднять самооценку и запретить любые оскорбления. С этим можно было бы согласиться, но беда в том, что, раз начав, трудно остановиться и провести границу.

Вряд ли женщине приятно, если ее назовут «коровой» или «мочалкой». Это

понятно. Труднее понять, когда американские феминистки оскорбляются, услышав слова «honey», «sugar», «sweetie», которые все соответствуют нашему «милочка» и обозначают мед, сахар, сладкое. Но подумайте сами: подобными словами мужчина указывает женщине на вторичность, униженность ее социального статуса; он как бы посылает ей сигнал о ее неполноценности: она призвана «услаждать» мужчину и не более того. Столь же оскорбительно считается подать женщине пальто (что она — инвалид, что ли? Сама не управится? Чай, не безрукая), открыть перед ней дверь, уступить место в транспорте, поднести тяжелую вещь. В газетах даются советы девушкам, как постоять за себя, когда услышишь такое непрошеное обращение: надо повернуться к обидчику и строго указать: я тебе не «honey», а такой же индивид, как ты... ну и так далее.

Почти правильная модель поведения:

Сняла решительно пиджак наброшенный

(молодец, женщина: символическая акция избавления от вековой патриархальной зависимости),

Казаться гордою хватило сил

(поправочка: надо не казаться, а быть: как известно, женщина может делать все то, что умеет мужчина, и еще сверх того),

Ему сказала я: «Всего хорошего»

(а вот это зря: сейчас нас учат не сдерживаться, а прямо лепить, что думаешь, то есть выявить в себе внутреннюю стерву, to discover your inner bitch),

А он прощения не попросил

(все они свиньи, что хоть и общеизвестно, но всегда нелишне напомнить).

В русском обществе, конечно, тоже существует представление о политической корректности, хотя и слабое. В шестидесятые годы продавали «Печенье для тучных», кто помнит. Покупавший чувствовал себя сильно уязвленным, хотя, думаю, это был не недосмотр, а неловкая попытка избежать слова «толстый», воспринимавшегося именно как обидное. Сейчас подобные продукты уклончиво именуются «диетическими», так как слово «диета» стало в основном связываться с положительным процессом потери веса (несмотря на то, что диеты бывают всякие: бессолевые, для диабетиков и даже для прибавки веса). Кстати, выражение «лица, страдающие ожирением» тоже политически некорректное: я не страдаю, я поперек себя шире и тем горжусь. Не смейте меня виктимизировать! (Victim — жертва.) Если бы в XIV веке, когда появилась фамилия Толстой, существовало понятие политической корректности, то этот номер у россиян не прошел бы и семья, чей основоположник изволил быть преизрядного весу, получила бы иное прозвание:

Лев Полновесный
«Анна Каренина»
роман в 8 частях

В советской печати уже возражали против употребления слова «больной» в применении к пациентам, или, лучше сказать, к посетителям медицинских учреждений: слово это оскорбляет здоровых, закрепляет за истинно больными ярлык неизлечимости, неприятно напоминает о страданиях. Слово «прислуга» несет оттенок сервильности («служить бы рад, прислуживаться тошно») и давно заменено «домашней работницей». Продавец у нас становится работником прилавка или товароведом. Все эти труженики полей, машинисты доильных аппаратов, операторы подъемников (вместо крестьян, дояров и лифтеров) — попытка повысить статус малопрестижных профессий. Царя ведь никто не назовет «работником престола». А следовало бы, по справедливости.

Умение прозревать в языке следы угнетения со стороны эксплуататоров достигло в академических кругах Америки виртуозности. Можно попробовать на русском примере: отчего в официальном, бюрократическом языке ваша зарплата называется «оклад»? Оттого, очевидно, что она не «зарплата» — вы гораздо больше «зар», чем вам выплатили. Чтобы скрыть несоответствие затраченного вами труда мизерной выплате, употребляется слово «оклад»: сколько вам положено-накладено, столько и берите, не более. «Зар» соответствует вашей активности, «клад» несет оттенок решения свыше. А если вы работаете сдельно, то это уже будет «заработок». Так, вглядевшись в слово, как в магический кристалл, и прозрев в нем скрытые пружины управления миром, вы найдете и опознаете своего агрессора и можете захотеть предпринять какие-то политические меры, чтобы изменить соотношение сил в обществе. В значительной степени именно через слово, через заложенные в нем сигналы различные группы американского общества добиваются тех или иных политических урегулирований.

В одном американском университете разразился расовый скандал. Белый сту-

дент спал в своей комнате в общежитии. Ночью под окно пришла группа развеселых студенток (в дальнейшем оказавшихся чернокожими), буянила, визжала и хохотала. Рассвирепевший студент, которому не давали спать — а ему с утра на занятия, — распахнул окно и заорал на одну из резвушек: «Что ты орешь, как водяной бык (waterbuffalo)?!» Вместо ожидаемой реакции вроде «Ой, извините» или «Сам такой» девушки усмотрели в высказывании (выкрикивании) студента расовое оскорбление и обратились к начальству. Начальство восприняло инцидент всерьез — а попробуй не восприми, тебе же достанется, запросто потеряешь работу и другой не найдешь. Клеймо расиста смыть с себя невозможно. Слово за слово, разбуженному зубрило грозило отчисление. Конечно, защитники Первой поправки к Конституции (свобода речи) тоже не дремали: свободный американский гражданин спросонья может кричать что угодно. Но и защитники меньшинств (чернокожих) не сдавались. Как это, всякая сонная дрянь будет безнаказанно сравнивать черты лица представительницы угнетенной в прошлом расы с безобразным животным! Кажется, студент победил: его адвокаты сослались на то, что, во-первых, на улице было темно и цвет кожи был не виден, а во-вторых, животное waterbuffalo водится только в Азии, а стало быть, сравнение шло не по внешности, а по звуку: голос барышни вызвал у студента соответствующие ассоциации, а Африка здесь ни при чем.

Пример двусмысленности высказывания на русском материале:

Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.

С одной стороны, автор вроде бы отказывается от территориальных притязаний и отрицает империалистическую экспансию, это хорошо. С другой стороны, он вроде бы отказывает в праве приема на работу мигрантам из стран Ближнего Востока (немецкие чернорубашечники и по сей день терроризируют семьи турецких иммигрантов) и отказывается признать вклад африканских народов в мировую культуру (в лучшем случае), а то и солидаризируется с куклуксклановцами.

Расовый вопрос в Америке — заминированная территория. Достаточно сказать, что, с одной стороны, существует квота при приеме на работу и так называемые афро-американцы, женщины, другие меньшинства должны получать, по крайней мере теоретически, предпочтение. С другой стороны, политическая корректность требует «цветовой слепоты» (color blindness), неразличения цвета кожи: равенство так равенство. Как быть? Вот нерешаемый вопрос: если в театре лучшие роли должны доставаться лучшим актерам, а при приеме на работу должно соблюдаться расовое равенство, то допустимо ли, чтобы роль Отелло досталась корейцу, а Дездемона была черной? Если в репертуаре только Шекспир, то что делать актерам азиатского происхождения?

Президент одного колледжа сообщил, что зал, предназначавшийся для торжественного выпуска студентов, закрывается на ремонт. Студенты огорчились. «Что ж делать, — вздохнул президент, — у меня самого был черный день (black day), когда я об этом узнал». «Ах, черный день?! Черный?! — возмутился чернокожий студент. — Что это за расистское отношение? Как плохой — так сразу черный. Слово «черный» для вас связано только с отрицательными эмоциями!» Долго извинялся и каялся напуганный президент: оговорился, больше не буду, простите и так далее. Отбился, могло быть хуже.

Но как же быть? Куда девать выражения «черная овца», «черная метка», «черная оспа», «черный список»? Неужели из боязни задеть чьи-то чувства, из желания быть деликатным и вежливым надо портить, менять, искажать английский язык?

Надо! — считают приверженцы Пи-си.

Так, американские феминисты (ки) усмотрели в слове history (история) слово his (его), и предложили историю женщин называть herstory, хотя слово «history» — греческого происхождения и к современному английскому притяжательному местоимению his никакого отношения не имеет: мало ли какие буквы сойдутся на письме. Неважно. О слове «womyn» я уже говорила. В параллель к слову «hero» (герой) предложено употреблять слово shero. Председатель, заведующий всегда был chairman. Теперь часть завкафедрами в университетах (женщины) совершенно официально называют свою должность chairwoman, а если, скажем, нужны выборы заведующего и будущий пол кандидата неизвестен, то годится нейтральный термин chairperson. Это создает известную путаницу: некоторые женщины плевать хотели на Писи и хотят продолжать называться chairman, других это оскорбляет, и как к ним обращаться, предварительно не выяснив их предпочтений, неизвестно. Приходится осторожно выяснять стороной, а то ведь сделаешь faux pas.

Можно себе представить, сколько шуток и насмешек прозвучало из несгибаемого лагеря ревнителей традиции! Предлагали тогда уж переименовать остров Манхэттен (Manhattan — индейское слово) в Personhattan, mailmen (почтальоны — в слове слышится male, мужчина) в personpeople и тому подобное.

Конечно, «herstory» и «оварий» — это смешно. Это как если бы мы, носители

русского языка, прозрели в слове «баобаб» слово «баба», возмутились бы и стали заменять его на «баожен», «баодам» или, в неопределенно-нейтральном ключе, «баочеловек». Вместо «Бабетта идет на войну» — «Человетта идет на войну». Что было бы со словами «ондатра», «бабахнуть», «сегодня», «лемур»?.. Вместо бабочек порхали бы индивидочки, а что стало бы с Баб-эль-Мандебским проливом, даже выговорить страшно.

С расовой чувствительностью хуже. По-русски слово «негр» звучит нейтрально, по-английски — политически двусмысленно. Очень малая часть населения хочет называть себя *negro*, большая часть не переносит этого слова и хочет быть *black*. Но из-за неприятных оговорок типа «черный день» был найден нейтральный вариант: *afro-american*. Хорошо? Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, как вздыхает русский народ на завалинках. Если араб из Египта, что в Африке, переселился в Америку, может ли он считаться *afro-american*? Нет, ведь он белый. А как называть черное население в Африке? Тоже *afro-americans*? Даже если они ногой в Америку не ступали? А Пушкин, наш Пушкин! Неужели и он, невыездной рабовладелец, тоже афроамериканец?[1] Предлагались варианты «*non-white*» (не-белый) и «*people of color*» (именно не «цветные люди», а «люди цвета», почему-то это ласкает чей-то чувствительный слух). Опять-таки, сразу набежали насмешники и пародисты и предложили называть женщин «*person of gender*» (персона пола). Но в лагере Пи-си это не вызвало улыбки. Они вообще не улыбаются. Тревожная серьезность, бессонные ночи на посту, суровая складка губ. Всегда в дозоре. «Если враг — он будет сбит. Если наш — пускай летит».

Примеры правильной цветовой слепоты:

... очи
Светлее дня, темнее ночи.

Прекрасные, политически зрелые стихи! Представитель любой расы свободно может самоидентифицироваться с окраской зрительного органа описанного субъекта.

Или:

Мы купили синий-синий,
Презеленый красный шар.

(Не требует комментариев.)

Есть деликатная область, касающаяся инвалидов и сумасшедших. Медицинские, клинические идиоты и кретины не виноваты в том, что родились такими или стали таковыми в результате заболевания, которое может постигнуть любого. Это Бунин мог писать о том, как прочел в детстве в старой подшивке «Нивы» подпись под картинкой: «Встреча в горах с кретином». (Медицинский кретинизм — результат дефицита йода в организме.) В рамках Пи-си кретины называются *differently abled* — альтернативно одаренные. (Вы одарены вот так, а они иначе. Все равны. А судьи кто?)

Теоретически это смешно и нелепо. Но вот в американских супермаркетах вас часто обслуживают дауны: помогают укладывать купленные вами продукты в пластиковые пакеты. Болезнь Дауна — генетическая, у даунов лишняя хромосома. Они опять-таки не виноваты, они эту хромосому не заказывали. Милые, доброжелательные, с раскосыми глазками, блаженной полуулыбкой и замедленными движениями, дауны всегда и всюду почему-то делают одно и то же: на дно пакета укладывают помидоры или персики, а сверху — тяжелые консервные банки. Если бы так сделал нормальный продавец («работник прилавка»), то вы бы возмутились: «Какой идиот ...?!..» А тут это сделал именно идиот, которого вам так называть совершенно не хочется. Он вам мил, вам его жалко, его дружелюбные глазки и плоский затылочек заставляют сжиматься ваше сердце, и когда вы вспомните, что́ о нем вам предложено думать, что он «альтернативно одарен», то это уже не кажется вам глупым, вы

[1] В своей статье для американского журнала я как-то процитировала строку Пушкина: «Потомок негров безобразный». Мне позвонил редактор: «Вы что, с ума сошли? Я не могу напечатать эти слова». «Но Пушкин это сказал о себе». — «Этого не может быть». — «Может». Молчание. «Снимите строку». — «Не сниму». — «Тогда давайте напечатаем Вашу статью под другой фамилией». — «Тогда я вообще снимаю свою статью и напечатаю ее в другом месте, сославшись на вашу цензуру». — «Это тоже невозможно. Слушайте, ваш Пушкин что, расист?» — «Наш Пушкин — эфиоп». Долгое молчание. «Слушайте, без этой строки ваша статья только улучшится. Поверьте мне, старому редактору». Долгий визг с моей стороны о том, что я это уже семьдесят лет слышу, и что советская власть, и тоталитарный режим, и Главлит, и Николай Первый, и кишиневская ссылка, и понятно что. И что я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, а от тебя, политическая корректность, и подавно уйду. Визг не помогает. Тогда я меняю тактику и холодно, злобно, раздельно: «Так. Мало того, что черных вы, белые, держали в рабстве в течение трехсот лет. Теперь вы затыкаете рот единственному русскому черному поэту, томившемуся в неволе среди берез тоталитарного строя. Вот он, расизм. Вот она сегрегация. Генерал Ли сдался, а вы — нет. Мы что, в Алабаме?..»
Пушкина напечатали.

благодарны политической корректности за то, что она подыскала для вас термин, чтобы адекватно выразить ваши чувства. Вы начинаете представлять себе, как он, даун, должно быть, воспринимает этот странный мир. Наверное, ему, как резвящемуся дитяти, нравится сначала взять в руки вот эти теплые, круглые помидоры или мягкие румяные персики, а уж потом прикоснуться к неинтересным, холодным жестянкам — сначала живое, а потом мертвое. И в этом есть глубокий альтернативный смысл и чистая внутренняя свобода.

Нет, политическая корректность не так глупа, как кажется. И когда видишь заботу об инвалидах (которых, правда, нельзя так называть), все эти расширенные дверные проемы, специальную подножку в автобусах для подъема инвалидного кресла, особые туалеты, пандусы, скаты, дорожки, когда узнаешь, что есть закон, по которому ты, делая ремонт в квартире, *обязан* переделать санузел так, чтобы в в него свободно въехала коляска с альтернативно одаренным индивидом, хотя бы ты был бирюк и родную сестру не пускал на порог, — зауважаешь, ей-богу, и корректность, и ее применение, и трижды подумаешь, прежде чем брякнуть:

Ну, я похромал.

или:

Горбатого могила исправит.

а то и:

Что я, рыжий, чтобы на них горбатиться?

И, конечно, развившаяся чувствительность заставит пересмотреть свой взгляд на русскую классику: тревожно обведешь глазами присутствующих, прежде чем ляпнуть вслух:

Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема,

или:

Творец! Она слепа!

а также:

Слепец! Я в ком искал награду всех трудов!

а также:

Глухая ночь, как зверь стоокий,

а уж тем более:

Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид,

а не то и правда влепит, и присяжные его оправдают.

И наконец, правильность экологическая.

Теперь мы знаем — и убедились на примерах, — что белый мужчина написал огромное количество текстов, в которых он ловко продернул свою эксплуататорскую мысль о своем прирожденном праве господства над противоположным полом и небелыми расами. В этом мы, феминисты (ки), немного разобрались, посмотрим глубже. Самозваный «царь природы», негодяй, поставил в подчиненное положение и животных. Он проявляет к ним то же снисходительное, патерналистское отношение, что и к женщинам. Он, собственно, ставит женщин и животных на одну доску (примеры из русского языка: «цыпа», «киса», «голубка», «зайка»). По-английски домашнее животное — от игуаны до сенбернара — называется *pet* (что-то вроде «любимчик»). Политическая корректность требует, чтобы к этим «любимчикам» относились как к равным и называли *animal companions* (животные товарищи). Соответственно, как только гуппи и хомячки повышены в статусе, к ним начинают применяться критерии человеческого общества. Домашние животные обязаны вести себя в соответствии с законами, писанными для людей, и это уже отражено в американском законодательстве. Так, собака не имеет права лаять и кусаться, кот — царапаться и воровать рыбу-мясо. Газетное сообщение: некий кот, уже неоднократно до того причинявший беспокойство соседям, забрался в студенческое общежитие и в отсутствие хозяев наелся чем бог послал и что ему приглянулось. Вернулись студенты и попросили кота выйти вон. (Это важный юридический момент: если бы студенты сразу схватили кота, это было бы нарушением котовых прав; нет, студенты сделали устное заявление: вербально УКАЗАЛИ коту, что желательно было бы обойтись без его присутствия.) Высказанное пожелание не имело воздействия; кот не внял. Студенты перешли ко второй фазе и стали отлавливать кота. Тварь не покидала помещения и вела себя агрессивно. Фаза третья: была вызвана полиция. Кот был отловлен, судим, найден виновным в неоднократном нарушении общественного порядка (то есть у него уже был привод) и приговорен к смертной казни. К счастью для

преступника, на выручку пришло Общество защиты животных: кот был взят Обществом на поруки (на полапы?) и помилован.

«Не знаешь — научим; не хочешь — заставим» — эта советская максима успешно применяется к животным в Америке. Существует специальный пистолет — принципа действия не знаю, что-то вроде инфразвука, — который применяется к лающим собакам. После неоднократного наказания (залаял — стреляю) собака, в соответствии с учением Павлова, лаять перестает навеки. Той же цели служит невидимый забор, окружающий участок: ваш пес, пережив неприятные ощущения, связанные с попыткой бежать из зоны, «оставляет надежду навсегда». Но кому много дано, с того много и спросится: так, собака, которая поцарапала девочку в штате Нью-Джерси (после того как девочка ударила спящую собаку палкой) была, опять-таки, арестована, судима и приговорена к смертной казни. Семья девочки истратила около 25 000 долларов на адвоката, пытаясь отбить собаку у системы правосудия; год животное содержали в тюрьме: всего штат истратил около 40 000 долларов на содержание собаки; нелепая история попала в газеты. Чем дело кончилось — не знаю, как-то упустила, но не сомневаюсь, что то же Общество защиты животных играло большую роль в этой истории. Совсем недавнее сообщение: раскрыты подпольные петушиные бои в штате Нью-Йорк, где они запрещены, как жестокое обращение с животными. Петухов специально выращивают, кормят отборной пищей, учат яриться; перед боем им вкалывают наркотики и обезболивающие средства, а к ногам привязывают острые стальные шпоры. Собираются сотни зрителей. Петухи дерутся насмерть, забивая друг друга смертельными шпорами; люди делают ставки, проигрывают или выигрывают большие деньги, болеют за петухов, падают в обморок. Вот полиция выследила петушистов и сделала налет на место боя. Зрители и владельцы бойцов были арестованы, а петухов отняло все то же Общество защиты животных, возмущенное мучительством. Однако, так как петухи ничего, кроме как драться, не умели и исправлению не подлежали, они были («к сожалению»), уничтожены работниками Общества (безболезненно) и захоронены.

Вот типичное применение идеологии Пи-си. Люди решают за петуха, приписывая ему свою, человеческую мораль, свои понятия о нравственности. Кто заглянул в темную куриную душу, кто точно знает, что петуху лучше: скончаться от старости в кругу родных кур и яиц (артрит, глаукома, старческое дрожание лап) или погибнуть в сексуально-агрессивной схватке с достойным соперником — с адреналином в крови и огнем в глазах («есть упоение в бою»)? Отмечен ли случай, когда петух, с горькой насмешкой на устах (клюве), сам отстегнул бы бритвенно-острые шпоры и покинул бы ринг, покачивая головой и сожалея о заблуждениях человечества и птичества, и ушел бы в поля, покусывая травинку в глубокой думе, или же занялся продуктивным сельским трудом, или кукарекал проповеди заблудшим, или организовал группу взаимной поддержки по 12-ступенчатой системе для ветеранов боя, или продал свои воспоминания Голливуду — то, что сделали бы люди?

Пример правильного отношения к животным:

Приди, котик, ночевать,
Нашу деточку качать.
Я за то тебе, коту,
За работу заплачу:
Дам кувшин молока
И кусок пирога.

Честный труд за честную плату, как говорится и поется в Америке. Партнерство и равенство.

Примеры неправильного отношения к животным:

Пой, ласточка, пой.

или:

Ну, тащися, Сивка!

или:

Дай, Джим, на счастье лапу мне.

так как это *harassment* — принуждение.

Принуждением являются и такие возмутительные строки, как:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.

а также:

Не спи, вставай, кудрявая.

а также:

Любите живопись, поэты,

а нижеследующее являет собой сексуальное принуждение, за которое получают тюремный срок:

Поцелуй меня,
Потом я тебя,
Потом вместе мы
Поцелуемся!

Частный случай — вмешательство в личное пространство человека, которое у американцев составляет что-то около полутора метров окружающего человека воздуха (у супругов меньше), а у некоторых средиземноморских наций — ни одного. Если человек может разговаривать с вами, только приблизив лицо вплотную, или тыкая кулаком в плечо, или вертя вашу пуговицу, то он нарушает ваше личное пространство. У русских, очевидно, это пространство тоже небольшое, что знакомо каждому, на чьей спине лежали россияне в очереди в кассу при полупустом магазине. Нарушением являются также слишком личные вопросы.

Примеры:

Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей,
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоешь?

(Да какое тебе дело?!)

О чем задумался, детина?

или:

Что ты жадно глядишь на дорогу?

Задание: определить, является ли текст:

Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

политически корректным или же нет?

Варианты ответов:

1. Да, так как описывает женщину, преодолевшую стереотип «чисто мужской» или «чисто женской» профессии.

2. Нет, так как описывает вмешательство в частную жизнь животного, а также непрошеное нарушение (*unsolicited trespassing*) приватности (*privacy*) частного жилища.

Политически корректное поведение в теории требует признания всеобщего равенства, установления справедливости, опоры на собственные силы, предпочтения богатого внутреннего мира индивида случайным чертам его внешности; требует быть внимательным к любым меньшинствам и при этом не унижать их жалостью, требует бережно охранять окружающую среду и не уничтожать из пустой прихоти мир животных и растений; требует иметь в здоровом теле здоровый дух, не пить, не курить и питаться свежими овощами и экологически чистой водой — все это не вызывает возражений, разве что вызывает в памяти подозрительно знакомые, еще не отшелестевшие в залетейские пространства конструкты: «человек будущего», «строитель коммунизма», «дружба народов», «свинарка и пастух», «внучата Октября». Но ведь для того чтобы успешно построить светлое будущее, кто-то должен бдеть. «Спи, Светлана! Папа с трубкой...», а в американском варианте — мама с трубкой и небритыми из принципа ногами не спит и несет свою бессонную службу как опричник. Из программ университетов, колледжей, школ изымаются политически некорректные тексты, написанные «мертвыми белыми мужчинами»: хватит, попили нашей кровушки! Неизъятые тексты прочитываются с точки зрения угнетенных и клеймятся. В книжных обзорах, в рецензиях авторов хвалят за тему, за правильно выбранных персонажей: пара лесбиянок, усыновляющая корейского ребенка; больной СПИДом вегетарианец, китайский иммигрант, требующий признания вклада китайцев в строительство американских железных дорог в XIX веке. Хвалят и автора, если он родился с церебральным параличом или совсем без головы. При этом больных желательно не называть больными, а считать здоровыми: они просто немножко другие. Но не хуже вас.

Дж. Ф. Гарнер, автор «Политически корректных сказок», пересказал классические, всем известные сказки на феминистско-экологический манер. Получилось, по-моему, не очень смешно, но у измученных политической корректностью американцев книга пользуется бешеной популярностью — больше года держится в списке

бестселлеров. Гарнеру, мне кажется, не хватило смелости и артистизма, чтобы создать полноценную сатиру на Пи-си. Он остановился на полпути, словно бы боясь возмущенной реакции задетых. Если так, то напрасно: идти, так идти до конца, все равно он уже заклеймлен. Либеральная жандармерия, политический РАПП, лучше знает, на три метра под землей видит.

Тем не менее это полезное чтение. Желающие посмеяться посмеются, желающие обратиться в феминистскую веру найдут для себя полезные указания, в каком направлении двигаться. Надеюсь, что и мой скромный труд тоже не пропадет даром: желающие перечесть русскую литературу с подозрением, вызванным вновь вскрывшимися обстоятельствами, теперь знают, как пользоваться политически корректной, вечнозеленой идеологической метлой. С Новым 1946-м или 1984 годом, дорогие товарищи!

ДЖЕЙМС ФИНН ГАРНЕР

ПОЛИТИЧЕСКИ КОРРЕКТНЫЕ СКАЗКИ НА СОН ГРЯДУЩИЙ

Перевод с английского Г. ЧХАРТИШВИЛИ

Красная шапочка

Жил-был на свете юный индивид, которого звали Красная Шапочка. Обитала эта персона вдвоем с матерью на опушке большого дремучего леса. Как-то раз мать попросила юного индивида отнести корзину со свежими фруктами и экологически чистой водой бабушке — вовсе не потому (и это важно), что носить корзины с провизией считается типично женособским делом, а потому, что подобный акт глубоко гуманен и укрепляет чувство общинности. Следует также подчеркнуть, что бабушка Красной Шапочки вовсе не была дряхла и немощна, а напротив, находилась в самом расцвете творческих и физических сил, то есть вполне могла заботиться о себе, как и подобает зрелому и полноценному человеческому существу.

И вот наша Красная Шапочка углубилась в густой лес. Многие полагают, что лес — это опасное, зловещее место, куда лучше не заходить, но Красная Шапочка нисколечко не стеснялась своей нормально развивающейся сексуальности и не придавала значения всякой фрейдистской галиматье.

По дороге к бабушкиной избушке Красной Шапочке встретился Серый Волк, который поинтересовался, что у нее в корзинке. «Здоровая и питательная пища для моей бабушки, которая, впрочем, и сама может о себе позаботиться, как и подобает зрелому и полноценному человеческому существу», — ответила Красная Шапочка.

Волк сказал:

— Знаешь, деточка, маленькой девочке небезопасно разгуливать по лесу одной.

— Ваше сексистское замечание глубоко оскорбительно, — ответила ему Красная Шапочка. — Но я не обращаю на это внимания, ибо мне известно, что традиционный статус парии и изгоя, а также проистекший из этого стресс сформировали у вас специфическое (но вполне имеющее право на существование) мировоззрение. А теперь прошу меня извинить, мне пора.

И Красная Шапочка зашагала дальше по тропинке. Но Серый Волк, который вследствие своего обездоленного социального положения был избавлен от рабской приверженности западнически-линейному образу мышления, знал более короткий путь к бабушкиному дому. Он ворвался в избушку и сожрал бабушку, то есть повел себя наиболее естественным для хищного млекопитающего образом. А затем, не обремененный косными, традиционалистскими представлениями о «мужественном стереотипе поведения», надел бабушкин чепчик и ночную рубашку, лег в постель и стал ждать.

Красная Шапочка вошла в избушку и сказала:

© 1994 by James Finn Garner

— Бабушка, я принесла малокалорийную, не содержащую холестерина пищу в знак уважения к тебе как к мудрому и заботливому матриарху.

Волк тоненьким голосом ответил:

— Подойди поближе, деточка, я тебя плохо вижу.

— Ах, я совсем забыла, что ты оптически неординарна, как кротиха, — сказала Красная Шапочка. — До чего же большие у тебя глазки!

— Они много видели на своем веку, милая. Много видели и многое прощали.

— А какой у тебя большой носик! То есть я хочу сказать, относительно большой и безусловно по-своему привлекательный.

— Он много нюхал, милая. Много нюхал и многое прощал.

— А какие у тебя зубищи!

— Ну вот что, — не выдержал Серый Волк, — я вполне удовлетворен собой таким, каков я есть.

С этими словами он выскочил из-под одеяла, схватил Красную Шапочку и вознамерился немедленно ее съесть. Красная Шапочка пронзительно закричала — вовсе не потому, что ее шокировал транвестистский наряд Серого Волка, а потому, что она не могла смириться со столь вопиющим вторжением в ее частную жизнь.

Крики услышал проходивший мимо индивид, зарабатывавший на жизнь заготовлением дров (он предпочитал, чтобы его называли «древотопным инженером»). Вбежав в избушку, древотопный инженер попытался изменить ход событий. Но когда он замахнулся топором, Красная Шапочка и Серый Волк взглянули на него с негодованием.

— Что это вы собираетесь тут делать? — спросила Красная Шапочка.

Древотопный инженер захлопал глазами и не нашелся, что ответить.

— Вы ведете себя как неандерталец! — воскликнула Красная Шапочка. — Головой надо думать, а не топором. Паршивый сексист! Враг живой природы! Неужто вы думаете, что женчи́ны и волки не решат своих проблем без вмешательства со стороны мужчин?

Тут бабушка, вдохновленная этой страстной речью, выскочила из пасти волка, отобрала у древотопного инженера топор и оттяпала ему голову. Покончив с этим неприятным делом, Красная Шапочка, бабушка и Серый Волк пришли к консенсусу и выработали общую цель. Они создали альтернативную семью, основанную на сотрудничестве и взаимоуважении, а потом жили себе поживали в дремучем лесу долго и счастливо.

Три поросенка

Жили-были три поросенка, да не просто жили, а мирно сосуществовали в атмосфере подлинного взаимоуважения и абсолютной гармонии с окружающей средой. Используя естественные для своей местности стройматериалы, они построили себе весьма привлекательные жилища: одно из соломы, второе из хвороста, а третье из кирпичей (лепишь из навоза, глины и виноградной лозы параллелепипеды, обжигаешь их в маленькой самодельной печи, и кирпичики готовы). Покончив со строительством, поросята, глубоко удовлетворенные результатом своего труда, продолжали жить в мире и наслаждаться самоопределением.

Но их идиллия продолжалась недолго. Однажды появился большущий, злющий волк, одержимый экспансионистскими устремлениями, посмотрел на поросят и жутко проголодался — как в физиологическом, так и в идеологическом смысле. Поросята спрятались в соломенном домике. Волк же принялся колотить в дверь и вопить:

— Поросятки-поросяточки, пустите меня внутрь!

А поросята в ответ:

— Дипломатия канонерок не страшна поросятам, защищающим свою родину и культуру!

Но волк не собирался сходить с пути, предопределенного его кармой (во всяком случае, так он считал). Он набрал полную грудь воздуха, дунул и разметал соломенный домик на клочки. Испуганные поросята поспешили запереться в доме из хвороста, а захваченную территорию другие волки превратили в банановую плантацию.

Тем временем главный волк уже ломился в дверь домика из хвороста.

— Поросятки-поросяточки, пустите меня внутрь!

А поросята в ответ:

— Пошел к черту, империалистический хищник и агрессор!

Тут волк снисходительно улыбнулся и подумал: «Они совсем как дети со свои-

ми наивными обычаями и верованиями. Мне, конечно, будет их не хватать, но прогресс, увы, не остановишь».

Он принялся дуть, пыхтеть и в конце концов разметал-таки бедный домик по жердочкам. Поросята — бежать в кирпичный дом, волк — за ними. А уж остальные волки растаскивают кучу хвороста да строят на том месте таймшерный комплекс, чтоб им было где отпуск проводить. Стены из стекловолокна, но стилизованы под жердочки, тут же магазинчики с туземными сувенирами, кегельбан и дельфинарий.

А главный волк времени не теряет — стучит в дверь последнего дома:

— Поросятки-поросяточки, пустите меня внутрь!

Поросята тоже не сидят сложа руки — поют песни протеста, пишут письма в ООН.

Волк рассердился не на шутку: как это поросята отказываются взглянуть на сложившуюся ситуацию с точки зрения хищника? Он дул-дул, раздувался-раздувался, а потом вдруг — хлоп и лежит, не встает. Обширный инфаркт на почве злоупотребления жирной пищей.

Поросята увидели, что справедливость восторжествовала, обрадовались и давай плясать над трупом врага. А потом взялись за освобождение родины: собрали других поросят, которых волки согнали с земли, создали Народно-свинистическую партию и ка-ак шандарахнут из гранатометов и ракетных установок по империалистическому курорту. Перебили всех волков-колонизаторов к чертовой матери. А прочим агрессорам наглядно продемонстрировали, что не потерпят вмешательства в свои внутренние дела. Потом, конечно, они построили образцовое социал-демократическое общество с бесплатным образованием, бесплатным медицинским обслуживанием и всеобщим правом на дешевое жилье.

Примечание. Волки в этой сказке — образ чисто метафорический. На самом деле ни один волк не пострадал.

■

Возвращаясь к напечатанному

Г. ИШИМБАЕВА
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Стефан Гейм (род. в 1913 г.), лауреат премий Г. Манна и Национальной премии ГДР, то есть писатель «верной ориентации» и обласканный властью, в 1981 г. опубликовал в одном из мюнхенских издательств свою постмодернистскую версию легенды о Вечном жиде — роман «Агасфер», где жестоко высмеял социализм восточногерманского образца. Что же предшествовало самоубийственному по тем временам поступку — публикации в ФРГ книги, компрометирующей ГДР?

Будущий писатель впервые пошел против течения в 1933 году: с приходом к власти гитлеровцев он эмигрировал сначала в Чехословакию, затем в США. Неприятие теории и практики победившей в Германии национал-социалистической партии привело его в ряды тех, кто с оружием в руках в годы второй мировой войны отстаивал гуманистические принципы человеческого общежития. С 1943 года Гейм — рядовой союзных войск антигитлеровской коалиции, после открытия второго фронта — офицер подразделения армии США, в задачу которого входило вести пропаганду среди населения и военнослужащих противника. Однако утверждение в Европе «мира по-американски» вряд ли могло удовлетворить бывшего офицера резервного корпуса Соединенных Штатов, который изнутри знал общественные проблемы Америки 30 — 40-х гг. Когда началась война в Корее, Гейм вернул правительству США орден Бронзовой звезды, который получил как участник второй мировой войны, и переехал на постоянное жительство в ГДР. К этому времени Стефан Гейм был уже всемирно известным прозаиком, пишущим на английском и немецком языках, автором романов «Заложники» (англ. — 1942 г., нем. — 1958 г.) и «Крестоносцы» (англ. — 1948 г., нем. — 1950 г.), в первом из которых рассказывалось о борьбе чешского народа против фашистских завоевателей, а во втором изображались будни открытого американцами второго фронта.

Гейм был полон воодушевления от встречи с восточной Германией и своими соотечественниками. Он был уверен в том, что с этими людьми «можно отстоять весь справедливый мир, который рождается на наших глазах». Однако приемы и методы строительства социализма в ГДР очень скоро убедили его в иллюзорности представлений о настоящем и будущем страны. Одно из его первых разочарований связалось с трагической датой — 17 июня 1953 года, когда руководство ГДР с помощью советских танков подавило выступления рабочих, выдвинувших во время стихийных манифестаций экономические и политические требования, в том числе и проведения свободных выборов[1]. Решительно не приемля террора против инакомыслящих, антифашист Гейм становится в оппозицию к существующим в восточной Германии порядкам. Но писатель Гейм продолжает создавать свои произведения в русле литературы социалистического реализма. В этом убеждают такие его романы, как «Голдсборо» (англ. — 1953 г., нем. — 1954 г.), повествующий о социальных противоречиях в США и о борьбе американского рабочего класса за свои права, «Глазами разума» (русск. —1960 г.), в центре которого — события февраля 1948 года в Чехословакии, когда к власти здесь пришла коммунистическая партия, «Архив Андреаса Ленца» (1963), который посвящен Баденскому восстанию 1849 года и среди персонажей которого особенно выделяются Маркс и Энгельс.

Однако конфликт художника и системы привел к запрету публикаций произведений Гейма в ГДР. Известно, что он претерпел и более жесткие репрессивные меры — вплоть до судебной расправы. Попытка властей «приручить» опального литератора, предпринятая в 70-х годах — в частности, тогда был издан и роман «Книга царя Давида» (1973)[2], — ни к чему не привела. Гейм не продался за чечевичную похлебку. И очень скоро официальное литературоведение ГДР сделает соответствующий вывод: утвердится мнение, что с середины 70-х годов Гейм изменяет направлению, избранному им в романе «Крестоносцы». Создателя «Книги царя Давида» упрекнут в абстрактном психологизме и примитивизме, в упрощенном понимании политической власти как враждебной человеку. Критики, состоявшие на службе у системы, имели все ос-

[1] Значительно позднее — в 1974 году — Гейм напишет роман «Пять дней в июне», где попытается дать объективную картину всего происшедшего в ГДР в 1953 году.

[2] См. «ИЛ», 1990, № 4, 5. (*Прим. ред.*)

нования для подобных упреков. Исторический роман о царе Давиде абсолютно не вписывался в общепринятые для литературы социалистического реализма нормы жанра.

Роман Гейма продолжает традицию антиутопий, идущую от Е. Замятина («Мы») через О. Хаксли («О дивный новый мир»)[1] к Дж. Оруэллу («1984»). Повествующая о библейских временах, книга Гейма насыщена современными аллюзиями: писатель-диссидент рассказывает о своем опыте общения с государством ГДР и его юстицией. На это нацелено и нарочитое смешение стилей — ветхозаветного вперебивку со стилистикой, принятой советской сталинской юстицией и подхваченной юстициями братских социалистических стран.

Блестяще замысленная и реализованная идея пародирования библейского мифа и социалистических законов получила дальнейшее развитие в романе «Агасфер» (1981)[2]. Показательно само обращение писателя к образу Вечного жида, который из героя культа превращается к XVIII веку в популярный персонаж, возбуждающий творческую фантазию прозаиков и поэтов разных стран. Сюжет легенды об Агасфере разрабатывали И.В. Гёте, К.Ф.Д. Шубарт, П.Б. Шелли, Й.К. Цедлиц, В.А. Жуковский, Э. Кине, Э. Сю, Х.Л. Борхес. В этом ряду и С. Гейм, который переосмысляет «агасферовский» сюжет о проклятии и бессмертии, дает его абсолютно нетрадиционное решение, крепко увязывая с фаустианской проблематикой, которую тоже истолковывает парадоксальным образом, и с неканонической историей Иисуса Христа.

Трехслойная композиция романа на редкость прозрачна и ясна: христианская легенда о Вечном жиде; история, случившаяся во времена Реформации; переписка двух ученых, отнесенная к концу 70-х — началу 80-х годов XX века. Ядро сюжета связано с заглавным персонажем, то есть с первым композиционным уровнем романа.

Агасфер — герой христианской легенды позднего западноевропейского средневековья. В письменной форме легенда о Вечном жиде впервые всплывает в исторической хронике начала XIII века. Согласно ей, во время крестного пути Иисуса Христа на Голгофу Агасфер отказал ему в кратком отдыхе, за что был проклят и обречен на скитания по земле из века в век в ожидании второго пришествия Сына Божьего. Гейм переосмысляет этот миф, отнеся его начало к ветхозаветным временам. Агасфер в трактовке писателя оказывается одним из тех духов, которые были сотворены Господом в первый день, одним из бунтовщиков, проклятых Творцом вместе с падшим ангелом Люцифером. И — «бесконечное падение вне времени и пространства», на которое обречены товарищи по несчастью. Однако мотивация бунта каждого из них против Бога принципиально различна. Люцифер — идейный противник Господа, он восстал против Божьего приказа поклоняться Адаму, ибо «что за тварь — человек!»; он убежден в том, что человек — это «паразит», который «размножится и расползется, как вошь», который превратит «землю в вонючее болото» и «прольет кровь брата своего». Агасфер же восхищается красотой Адама, созданного на шестой день творения, называет его «царем, священником и пророком» и примыкает к Люциферу только из чувства солидарности, подчинившись ему как «главному над ангельскими чинами низа». Люцифер категоричен в своем неприятии сотворенного Богом мира, но и изменять в нем что-либо он не намерен; Агасфер надеется, что «все можно поправить». И каждый из них пойдет своим путем.

Так уже в первой главе романа намечается основная проблема произведения Гейма, который предлагает две концепции человека — существа низменного и порочного, с одной стороны, и величественного создания — с другой.

Это своеобразное вхождение в проблематику романа удивительно перекликается с «Прологом на небесах» из «Фауста» Гёте, где намечена оптимистическая просветительская идея величия человека. В дискуссии о человеческой природе между циничным скептиком Мефистофелем и Богом, олицетворяющим просветительский разум, моральная победа на стороне последнего. И договор, который они заключают между собой относительно Фауста, подается под знаком игры, театрального действа, некоей мистерии, результат которой предрешен. Ибо сатанинские силы обречены изначально, а идеальное, божественное начало должно восторжествовать.

Таким образом, перед нами две пары антагонистов: Агасфер — Люцифер и Бог — Мефистофель; причем друзья-враги у Гейма — существа по своей сути идентичные: это духи, созданные в один день, по одному рецепту, одним автором. Для Гейма это принципиально важный момент, потому что, в отличие от гётевского, его Бог — равнодушный и злой старик, которому нет дела ни до чего: ни до сотворенного им мира, ни до человека, ни до собственного Сына. Так начальные такты «Агасфера», звучащие в унисон с первым аккордом «Фауста», развиваются в мелодию иной тональности. Мажорный, жизнеутверждающий гимн во славу человека и его действия во имя людей — таков финал великого произведения Гёте. Скорбная песнь о низости «твари-человека», о бессмысленности попы-

[1] См. «ИЛ», 1988, № 4. (*Прим. ред.*)
[2] См. «ИЛ», 1994, № 9. (*Прим. ред.*)

ток что-нибудь изменить в мире несправедливости слышна на последних страницах книги Гейма. И в этом нет ничего удивительного. Слишком по-разному понимают человека Гёте и Гейм. Один — в эпоху Просвещения, в эпоху классической ясности и гармонии. Другой — в конце XX века, в так называемые времена постсовременности.

Между тем в одной из сюжетных линий Гейм внешне следует за перипетиями взаимоотношений Фауста и Мефистофеля, иронически переосмысляет их, пародирует и окарикатуривает, что приводит к абсолютно противоположному результату. Герой, а вернее, антигерой Гейма — Паулус фон Эйцен, современник Фауста. Они — дети бурной эпохи Реформации, и даже alma mater у них одна — Виттенбергский университет. По пути в Виттенберг Эйцен знакомится с неким таинственным господином — хромоногим и горбатым Хансом Лёйхтентрагером. Разумеющий по-латыни юноша смущен: услышав эту фамилию, «он сразу припомнил нечестивого Люцифера», но тут же старается убедить себя в том, что «мы-то, слава Богу, живем в Германии, где нет никаких «светоносцев», тут фонарь — это просто фонарь, а тот, кто его носит, — обычный ночной сторож»[1]. Вспомним, насколько велик был Фауст во время своей первой встречи с сатаной, когда заключил честный договор с Мефистофелем, скрепленный каплей крови, и принял вызов на бой с открытым забралом. Мефистофель, воплощающий две противоположные идеи — отрицания и созидания, не может не уважать своего противника, большого человека и большого ученого, который стремится найти ответы на вопросы о цели жизни и о смысле бытия. Иное дело — герои Гейма. Все помыслы жалкого полузнайки студента-теолога Эйцена сосредоточены на обывательском счастье, которое включает в себя выгодную женитьбу, доходное место и церковную карьеру. И дух, искушающий его, принимает ту форму, которая единственно соответствует внутреннему наполнению такой мизерной личности, как Эйцен: Люцифер несет в себе черты двусмысленности, выступая в роли сутенера и карточного шулера.

Первое искушение на пути Фауста — Гретхен. Мефистофель надеется, что она сможет возвеличить тот прекрасный миг, которого так жаждут — по разным, впрочем, мотивам — герои Гёте. Фауст любит глубоко и искренне. Первый соблазн в жизни Эйцена — тоже женщина, которую даже зовут так же, как героиню Гёте, — Маргрит. Но чувство, переживаемое Эйценом, — только вожделение, не утоленное из страха. Во-первых, он поклялся в верности своей невесте (вернее сказать, капиталам ее отца) и опасается небесной кары за клятвопреступление и, во-вторых, этой связью боится испортить себе карьеру. Однако сугубо физическое влечение к Маргрит становится наваждением всей его жизни и высвечивает до конца низменность его натуры. Эйцен будет преследовать Агасфера не как предавшего Христа, а прежде всего из ревности, как своего счастливого соперника, как того, кто покусился на его предполагаемую собственность.

Во второй части «Фауста» Мефистофель старается прельстить героя карьерой при дворе, сам же пытается играть роль государственного деятеля. Аналогично развертывается свиток жизни Паулуса фон Эйцена. Йоханаан Лёйхтентрагер, выступающий на сей раз в качестве тайного советника герцога Шлезвигского, «устраивает» своего подопечного на высшую духовную должность в герцогстве — суперинтендантом с весьма приличным годовым содержанием. Для Эйцена это счастливейшие мгновения, во имя которых стоит жить. Но его подстегивает мысль об упрочении своего положения — с этой целью он проводит образцово-показательный церковный суд над еретиками.

Фауст, как известно, находит себя в строительстве идеального общества, где будет жить «народ свободный на земле свободной». Эйцен под водительством пьяницы герцога Адольфа и его преемников насаждает в Шлезвиге «Царство Божие», в котором и в помине нет любви, сострадания, терпимости, в котором инакомыслящих преследуют, судят, уничтожают. Фауст удостоен спасения души за свою беспокойную деятельность вопреки тому, что формальная правда на стороне Мефистофеля, которому остается только потрясать договором, «кровью подкрепленным», и негодовать против Бога, ангелов и своих подручных бесов, проворонивших душу доктора. Эйцен обречен на муки ада, потому что его «неважнецкая» душонка принадлежала черту еще с юности, потому что в самом начале их знакомства Лёйхтентрагер знал: «Все, что мне от тебя нужно, я и так получу». Однако во время последней встречи, когда Эйцену приходится платить по векселям, он пытается жульничать.

Очевидно, что вторая сюжетная линия романа, связанная с эпохой Реформации, насыщена прямыми цитатами из гётевского «Фауста», художественные детали которого виртуозно используются автором «Агасфера». Однако схема великого произведения Гёте оказывается при этом канвой, по которой Гейм вышивает собственный оригинальный рисунок, где не остается и следа от просветительского Разума и гар-

[1] Люцифер — «несущий свет» (*лат.*), немецкая фамилия Лёйхтентрагер имеет тот же смысл, а кроме того, означает «фонарщик», «ночной сторож».

монии, где Фауст опошлен, Бог дискредитирован, а сатана торжествует.

Этот основной мотив, ведущая тема «Агасфера», усиливается теми главами произведения, которые посвящены событиям недавнего прошлого. На третьем ярусе романа представлена переписка двух ученых, якобы имевшая место в конце 70-х — начале 80-х годов нынешнего столетия. Инициатором переписки выступил Йоханаан Лёйхтентрагер, профессор Еврейского университета (Иерусалим); его адресат — Зигфрид Байфус, директор Берлинского (ГДР) Института научного атеизма; область обсуждения — миф об Агасфере. Ученые, будучи поборниками разных идеологических систем, в научной дискуссии придерживаются противоположных точек зрения. Член СЕПГ Байфус, автор монографии «Иудеохристианские мифы в свете современного естествознания и исторической науки», относит Вечного жида к категории «невозможного». Ученый из Еврейского университета не согласен со своим коллегой, так как лично знаком с Агасфером еще со времен второй мировой войны, когда оба они приняли участие в восстании евреев против нацистов в Варшавском гетто[1]. Но это чисто внешняя сторона сюжета. Гораздо существеннее другое. Перед нами, с одной стороны, зарисовка будней и праздников тенденциозной науки в ее пресловутом вульгарно-социологизированном виде, с другой — еще одно решение фаустианской проблемы.

Переписку на сугубо научную тему взяло под контроль недреманное око госбезопасности ГДР. Некий Вюрцнер, чиновник из органов, курирующий Институт научного атеизма, перлюстрирует все письма и приказывает своему подопечному трактовать историю раннего христианства с точки зрения идеологических нужд современности.

Судьба современного ученого, которому отказано в праве самостоятельно мыслить, который никогда и не умел этого делать, который привык творить с оглядкой на власть, тоже прочитывается как ироническая параллель к трагедии «Фауст». На сей раз история из немецкой народной книги перенесена в условия социалистической Германии и приобретает явно издевательский характер. Во-первых, Фауста из ГДР может искушать не просто нечистая сила, а непременно представитель «загнивающего» капиталистического мира. Им-то и оказывается наш знакомец Лёйхтентрагер, который выступает в роли ученого из Иерусалимского университета. Во-вторых, будучи членом СЕПГ, Фауст озабочен отнюдь не вопросом о смысле бытия, а своим участием в борьбе двух систем (социалистической и капиталистической), двух философий (материалистической и идеалистической), двух мировоззрений (атеистического и религиозного). Казалось бы, совершенно очевидно, что победа должна быть на стороне социализма, материализма и атеизма. Но иначе судил Стефан Гейм. Его социалистический Фауст — приспособленец, плагиатор, недалекий идеологический толмач — настолько беспомощен в научной дискуссии, что вызывает даже жалость. Где уж ему, бедному умом и убогому, защитить ту идеологию, которую он насаждает вместе со своим институтом по всей стране! Он не в состоянии даже достойным образом представлять ее.

История Фауста XX века передается в «современных» главах «Агасфера» в синкопированном виде. Рваный ритм, паузы, пропуски в изложении объясняются эпистолярной формой этой части романа. Тем не менее нетрудно восстановить всю последовательность событий из немудреной жизни Байфуса: родился в 1927 г. в Саксонии, вовремя вступил в СЕПГ (1947), член Общества германо-советской дружбы, профессор, действительный член Академии наук, директор Института научного атеизма, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и т.д.

В контексте всей истории Байфуса примечательна библейская фраза из последней его записки: его Богом оказывается Люцифер, а его стеной — Берлинская стена. И метафора из Книги книг приобретает у Гейма новое звучание, связанное с буквальным смыслом слова «стена» и окарикатуривающее истинное значение всего высказывания. Пограничная полиция наблюдает, как трое неизвестных движутся по воздуху на высоте 10 — 15 метров вдоль Фридрихштрассе, огибают дозорную башню, перелетают границу ГДР и взмывают ввысь на западноберлинской стороне.

Как говорится, инцидент исчерпан. История социалистического доктора Фауста получила свое логическое завершение. Так же, как некогда Паулус фон Эйцен, Зигфрид Байфус запродал свою душу дьяволу, даже не осознавая этого, и прозрел только в свой последний час, когда наступил момент расплаты. Однако история на этом не закончилась. Путь своего бывшего шефа рвется повторить один из эпизодических персонажей романа Вильгельм Якш. Во время дачи показаний по поводу исчезновения директора Института научного атеизма он начинает с прилежного очернения того, за чьим праздничным столом встречал Новый год[1], а заканчивает реверансом в адрес влас-

[1] В этом эпизоде можно увидеть еще одну вариацию на тему о восстании Люцифера и Агасфера против существующего, навязанного им мироустройства. Иначе говоря, характер героев выдерживается в одном ключе, начиная с библейских времен и кончая XX веком.

[1] В этом эпизоде можно проследить своеобразное преломление мотивов тайной вечери.

тей. «Профессор Лёйхтентрагер, — говорит Якш, — настоял на том, чтобы погадать мне на колоде старинных карт... он предсказал мне большую карьеру, впрочем, это неудивительно, ибо в нашей стране светлое будущее открыто каждому». Так образ Якша становится еще одной вариацией на тему о социалистическом Фаусте. А совмещение в одной фразе «светлого будущего» ГДР и имени сатаны говорит о том, что для Гейма эти понятия взаимосвязаны (недаром роман писателя-диссидента был впервые опубликован в Мюнхене задолго до разрушения Берлинской стены).

Таким образом, намеченная в самом начале романа тема продажности недостойного человека, низменности его натуры становится одним из ведущих мотивов в финале произведения, мощно оркестрованных и звучащих крещендо. Высокий накал страстей Фауста из трагедии Гёте последовательно снижается на страницах романа «Агасфер», где используется стилистика буффонады, фарса, оперетты — жанров изначально несерьезных, юмористической или сатирической направленности.

Человек, в трактовке Гейма, — звучит совсем не гордо, но, по крайней мере, хоть как-то перекликается с Фаустом. Абсолютно не повезло другому персонажу романиста — Сыну Божьему, который добровольно взошел на Голгофу во имя искупления грехов человеческих. История ребе Йешуа переосмысляется Геймом так же, как это было сделано и с образом доктора Фауста из произведения Гёте. Первопричина конфликта Иисуса Христа и Агасфера — ключевого момента легенды о Вечном жиде — и его завершение получают в романе Гейма психологическую мотивацию, чего не было в каноническом тексте XIII века: Агасфер становится врагом Христа, не дающим ему передохнуть перед Голгофой, по идейным соображениям. Соратник Люцифера, воплощающий в себе дух бунтарства и неповиновения, не приемлет смирения Иисуса. Задолго до казни Христа Агасфер пытается убедить своего оппонента в том, что необходимо восстать против воли Отца, стать вождем людей и привести их к истинному Царству Божию, где «человек будет освобожден и сможет покорить небо». Агасфер пытается спасти Равви, предсказывая ему скорое предательство одного ученика и отречение другого, но Сын Божий решает идти своим путем до конца. В романе Гейма именно Агасфер является одним из немногих, кто жалеет Иисуса в глумящейся над ним толпе, наблюдающей за приготовлениями к казни, кто готов защитить его с оружием в руках. Но Христос отказался от помощи, и только тогда Агасфер «оттолкнул его от себя и крикнул: убирайся, глупец! Да ему там, наверху, наплевать, что тебе пробьют гвоздями руки и ноги, а потом ты будешь медленно умирать на кресте, разве нет? Он создал людей такими, какие они есть, а ты хочешь изменить их своей жалкой смертью?». Так в романе Гейма схема легенды об Агасфере получает новое измерение. Геймовский заглавный герой, в отличие от легендарного — обывателя и труса, — совершает свой поступок не в угоду беснующейся толпе, а потому, что таким образом он выражает свое неприятие безропотного смирения того, кто будет распят.

Однажды Гёте в разговоре со своим секретарем Эккерманом обронил такую фразу: «... Нынче никто не ставит под сомнение ни себя, ни бога, к тому же понятия «бог», «бессмертие» — суть нашей души, и ее связь с телом — это вечные проблемы, и разрешить их никакие философы нам не помогут. Один новейший французский философ, не обинуясь, начал свой труд следующими словами: «Человек, как известно, состоит из двух частей, то есть из тела и души. Поэтому начнем с тела, а засим перейдем к душе». Фихте уже пошел несколько дальше и несколько умнее вышел из положения, сказав: «Давайте рассматривать человека как тело и человека как душу». Слишком хорошо он чувствовал, что столь тесно спаянное целое не поддается расчленению»[1]. Однако, вопреки этому гётевскому утверждению, его Фауст решил для себя проблему гармоничного сосуществования души и тела, сделав сопричастными бесконечное и конечное, отдав приоритет возвышенному, духовному, которое связано с благородной целью служения человечеству.

То, что было истинно для Гёте, становится не только весьма проблематичным, но и ложным для Гейма, который, отталкиваясь от просветительской традиции своего великого предшественника, создает абсолютно противоположную концепцию человека. Его человек, независимо от того, жил ли он во времена Реформации или во второй половине XX века, — существо низменное и продажное, это ничтожная тварь, место которой в паноптикуме, но которая тем не менее заполонила землю и изгадила ее. Недаром спор Люцифера и Агасфера о человеческой природе заканчивается — при полном попустительстве и равнодушии Бога — безусловной победой сатаны. Так, процитировав иронически переосмысленного «Фауста», не оставив камня на камне от гётевского понимания сути человека, Гейм создает постмодернистскую притчу о конце века — эпохе бесперспективной и наполненной апокалипсическими ощущениями, в которую нам выпало жить и в которой истинно только одно: тщета бытия.

[1] *И.П. Эккерман.* Разговоры с Гёте. М., 1981, стр. 332 — 333.

ИСАБЕЛЬ АЛЬЕНДЕ

Паула

Isabel Allende. Paula. «Plaza & Janes»

Добившись международного успеха в беллетристике, пятидесятидвухлетняя Исабель Альенде обратилась к мемуарам. Впрочем, книгу «Паула» чилийская писательница посвятила дочери, скончавшейся несколько лет тому назад от неизлечимого недуга. Роман представляет собой длинное письмо Пауле, которое мать пишет в больничных коридорах и в номере мадридской гостиницы.

Повествование ведется в двух временных планах: в настоящем, связанном с болезнью дочери, и в прошлом, где автор — племянница Сальвадора Альенде — воскрешает как события из собственной жизни, так и историю всей семьи Альенде, тесно переплетенную с историей страны.

Военный переворот, годы изгнания, болезнь дочери — в эти и другие эпизоды реальной жизни вкраплены элементы мистического, потустороннего: на страницах романа появляются знахари, колдуны, телепаты и духи. Несмотря на трагичность ситуации, Исабель Альенде находит в ней светлые тона, ибо несчастье не разметало, а, напротив, сплотило круг родных и расширило круг друзей, который пополнился врачевателями. Это единение людей она называет победой любви.

ДЖОН АПДАЙК

Жизнь после смерти и другие рассказы

John Updike. The Afterlife and Other Stories. «Hamish Hamilton»

Этот сборник коротких рассказов напоминает исполнение на бис полюбившихся песен в авторской аранжировке. В самом деле, читатели Апдайка без труда узнают прежние сюжеты — например, визиты к дантисту, описанные на сей раз в рассказах «Зубоврачебное дело и сомнение» и «Тристан и Изольда»; прежние темы — например, муки бессонницы, которой теперь страдает герой из рассказа «Сон, пришедший по дороге на Север»; прежние места действия — тот же город Тарбокс в рассказе «Человек, ставший сопрано» о музыкантах из оркестра.

И конечно, здесь действуют прежние персонажи: в рассказе «В ожидании внука» мы вновь встречаем Джоан и Ричарда Мейплов. Основное место действия — родильное отделение клиники, где находится их дочь. Переживания, связанные с ожиданием внука, его появление сближают эту давно распавшуюся чету.

Авторская аранжировка прежнего отражает мысли, которые особенно волнуют сейчас писателя: что есть прожитое человеком и что он оставит после себя? Что есть его жизнь до и после смерти? О начале жизни — этого головокружительного блаженства, которое ощущаешь, вступая в нее словно через невидимый порог,— поведано в рассказе «Первый шаг малыша». О мрачном попутчике жизни — страхе смерти — автор размышляет в рассказе «Игра с динамитом»(см. «ИЛ», 1995, № 7).

Перед лицом смерти герои Апдайка осознают бесценность родственных и духовных уз. Но достичь гармонии в человеческих отношениях не дано, заключает автор, ибо для этого люди должны полностью принадлежать друг другу. Но полностью можно владеть лишь образом другого, воскрешенным в памяти.

АНТОНИЯ БАЙЕТТ

Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз»

A.S. Byatt. The Djinn in the Nightingale's Eye. «Chatto and Windus»

В несколько странном названии этого прозаического сборника нет, меж тем, ничего удивительного. Это — заглавие повести-сказки, представляющей его вместе с четырьмя короткими рассказами в том же жанре.

Их сказочный мир населяют, как и положено, принцессы, драконы, волшебники. И тем не менее он необычен, ибо в нем интеллектуальное преобладает над эмоциональным, а умосозерцание — над действием. Так, в центральной повести (будет опубликована в следующем номере нашего журнала) героиня ведет с джинном долгие беседы на литературоведческие темы. А описание Востока — в частности, Турции — дано с такой страноведческой достоверностью, что могло бы послужить пособием для отъезжающих в те края. Примечательно также, что писательница отказалась от западного стереотипа турок: в повести все они, вплоть до торговца коврами, люди образованные и цивилизованные.

По наблюдениям философствующих героев, истории о женских судьбах — это истории о прерванной жизненной деятельности. И если в романах судьбу определя-

ет выбор, то в сказках — рок. Героиня «Истории о старшей принцессе» бросает вызов своей участи: уподобившись рыцарю, она отправляется на поиски приключений и счастья. Но чтобы перебороть судьбу, мало дерзать: нужно еще и отказаться от любовных утех. Лишь в этом случае героинь А.Байетт ждет успех. Что касается литературного успеха самой писательницы, то им она обязана интеллектуальности этих сказок.

ХУАН ГОЙТИСОЛО

Бурный Алжир

Juan Goytisolo. Argelia en el vendaval. «El Pais/Aguilar»

В своей публицистической книге известнейший испанский писатель анализирует причины нынешнего кризиса в этой стране. По мнению автора, их две: французская колонизация, порвавшая связь народа с его корнями, то есть с землей и традиционным укладом жизни, и появление в период антиколониальной борьбы новой элиты, которая, придя в 1962 году к власти, сама отдалилась от народа.

Особый интерес представляет глава «К вопросу об исламизме». В ней Хуан Гойтисоло оспаривает устоявшуюся точку зрения о косности этой религии: ислам способен к обновлению. Более того, очищенный от экстремистских лозунгов, навязанных фанатиками, он как спасительная моральная ценность привлекательнее для тех, кто отлучен от благ бюрократической и авторитарной модернизации.

Арабские народы хотят прежде всего хлеба и справедливости, а не проповедей того или иного исламиста. Без экономической программы, на одном лишь исламе правителям долго не продержаться. К таким выводам пришел Хуан Гойтисоло, для которого Северная Африка стала вторым домом.

РОБЕРТСОН ДЭВИС

Хитрец

Robertson Davies. The Cunning Man. «McClelland & Stewart»

Главного героя этого романа-бестселлера старейшего канадского писателя зовут Джонатан Хьюлла. Дела у него, пожилого врача из Торонто, идут прекрасно. Он умело практикует традиционные методы лечения и собственные методы диагностики — например, созерцание обнаженного пациента, почесывание и надавливание на все точки его тела, вплоть до интимных. Своим богатым опытом Джонатан готов поделиться в задуманном эссе о состоянии здоровья различных литературных персонажей. Ему выпадает, однако, поведать не только об этом, но и о своей жизни и о прошлом города в интервью молодой корреспондентке.

Сначала осторожно — ведь надо скрывать правду о двух убийствах,— а затем все оживленнее Джонатан вспоминает своих родителей, однокурсников, целительницу-индеанку, пару лесбиянок, актера, художника, скульптора и еще многих других. Попутно рассказчик объясняет, что́ из английского укоренилось в Канаде и какая ее часть останется проанглийской; что представляет собой англиканская церковь; каким было искусство в Торонто на заре своего развития; в чем суть учения Фрейда; каковы деревенские сексуальные нравы; как делать скандинавский массаж и еще многое другое.

Вопреки названию, главный герой вовсе не хитрец, а обыкновенный старик со всеми атрибутами его возраста — самодовольством, раздражительностью, обидчивостью, капризностью. Но старик он крепкий, и вряд ли ему адресован эпиграф из Роберта Бертона: «По Платону, недуги тела исходят от души: не насытив прежде ум, не вылечишь тело».

БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

Розы Вердена

Bernard Clavel. Les Roses de Verdun. «Albin Michel»

Люсьен Мартинон, главный герой этого романа, прожил свой век весьма благополучно. Он — известный архитектор велодромных сооружений, изобретатель реверсивного руля. Процветающая велосипедная индустрия принесла ему целое состояние. Люсьен доволен своей жизнью, как и его шофер-механик Августин Лобье. Все было бы хорошо и дальше, не заболей Люсьен неизлечимой болезнью. И тогда он отправляется через пол-Франции, чтобы в последний раз возложить букет роз на могилу сына: лейтенант Режи погиб во время второй мировой войны.

Автопаломничество в роскошном «хотчкиссе» неожиданно и довольно символически заканчивается под Верденом, неподалеку от полей сражений первой мировой войны. Из-за поломки машины подавленный Люсьен вообще отказывается от затеи. Преданный шофер остается с хозяином. Меж ними завязывается долгая беседа о войне. Августин вспоминает трагические эпизоды из своей фронтовой жизни: он был участником первой мировой войны. Беседа сближает их еще больше:

социальные различия отступают на второй план, а на первом остаются два обыкновенных человека, которых роднит мысль, что люди воевали и гибли ни за что.

МИЛАН КУНДЕРА

Неспешность

Milan Kundera. La Lenteur. «Gallimard»

Около двадцати лет этот известнейший чешский писатель живет во Франции и в совершенстве овладел языком своей второй родины. Его новый роман также написан на французском. По тональности это ностальгия по временам, когда — в отличие от нынешнего века скоростей — можно было подолгу размышлять, бродить, предвкушать минуты радости, а затем предаваться воспоминаниям о них.

Действие происходит в старинном замке, переоборудованном под гостиницу. Этот замок позаимствован из рассказа Вивана Денона «Начало завтрашнего дня». Сюда (видимо, по старой памяти) наведываются и его персонажи, в том числе молодой дворянин, ставший теперь призраком. В замке-гостинице, помимо автора с супругой, проживают участники научной конференции, среди которых — чех-энтомолог. Он приезжает во Францию в ореоле мученика, ибо на родине с падением коммунистического режима его работа закрыта. Зал стоя приветствует героя продолжительными аплодисментами. И только он один знает цену своему «диссидентству», а попросту говоря — трусости. Там, в Чехословакии, он не осмелился и головы поднять, когда оппоненты-знаменитости ворвались к нему в кабинет и потребовали очистить помещение.

Тема лжедиссидентства — основная в этом романе. Однако вдумчивый читатель извлечет из него и много других наблюдений и мыслей. Важно лишь делать это неспешно.

МАНУЭЛЬ ВАСКЕС МОНТАЛЬБАН

Душитель

Manuel Vazquez Montalban. El estrangulador. «Mondadori»

По мнению критиков, эта новая книга пятидесятипятилетнего каталанского писателя будоражит ум более всех его произведений. В самом деле, перелистнув последнюю страницу, читатель остается с массой вопросов: как же зовут главного героя — Альберт Десальво или Альберт Серрато? Действительно ли этот бостонский маньяк задушил тридцать четыре человека? Можно ли положиться на мнение его лечащего врача-психиатра? Или лучше прислушаться к монологу психопата-убийцы? Но как расценивать эту его исповедь?

В ней Альберт предстает двуликим: сначала он — буйная, агрессивная личность; затем — мрачный усталый человек. Композиционно это отражено делением повествования на две части — «Портрет душителя в юности» и «Портрет тяжелобольного душителя». Перефразированные названия произведений Джеймса Джойса и Хайме Жиля де Бьедма — не единственные отсылки к литературе. М.В.Монтальбан цитирует Данте, Бодлера, Элиота, Кокто, Сартра, античных авторов, а также приводит строчки из собственных стихов.

Особая роль отведена аллюзии на роман «Бостонки» Генри Джеймса. Выбранное место действия весьма аллегорично, ибо Бостон во многом схож с Барселоной, но речь идет даже не о городах и странах, а о цивилизации в целом. Разобщенность, враждебность людей, стремление подавлять, душить другого — таким, душевнобольным, видит автор современное человечество, гротесковый портрет которого и рисует в своем романе.

ЭНЦО СИЧИЛЬЯНО

Моя мать любила море

Enzo Siciliano. Mia madre amava il mare. «Rizzoli»

Самое важное событие в жизни человека — потеря отца, считал Достоевский, высказывания которого не раз приводит в новой книге Энцо Сичильяно. Однако посвятил ее автор своей матери, потерю которой он воспринял как потерю самого себя.

Книгу открывают детские воспоминания писателя. Вот он, мальчик, с любопытством наблюдает за купающейся матерью, разглядывает ее тело, на котором море оставило свои влажные следы. В другом эпизоде, времен войны, автор рассказывает о том, как мать устроила отцу-подпольщику нечто вроде свидания с сыновьями, прохаживаясь с ними по улице, и он смог хоть издали взглянуть на них. Кончина матери — это и конец книги, ее последняя страница. С уходом этого дорогого человека сама земля, казалось, ушла из-под ног писателя; ощущение ужаса смешалось у него с жалостью к самому себе, к своей осиротелости.

Энцо Сичильяно описывает пережитое, избегая анализа, поскольку убежден: оценка чувств невозможна без невольной внутренней цензуры, вытесняющей искренность.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ИСМАИЛЬ КАДАРЭ (ISMAIL KADARE; род. в 1936 г.) — албанский поэт, прозаик, эссеист, лауреат нескольких литературных премий, член Французской академии. Окончил историко-филологический факультет Тиранского университета, Литературный институт в Москве. Автор поэтических сборников «Мой век» («Shekulli im», 1961), «О чем задумались эти горы» («Përse mendohen këto male», 1964), «Время» («Koha», 1977); романов «Загубленный апрель» («Prilli i thyer», 1978), «Кто привел Дорунтину» («Ckush e solli Doruntinën», 1986), «Пирамида» («Piramida», 1992). В «ИЛ» напечатаны роман И.Кадарэ «Генерал мертвой армии» (1989, № 6) и рассказ «Вестник беды» (1992, № 8-9).
Рассказ «Великая Стена» («Muri i madh» взят из первого тома собрания сочинений И.Кадарэ (Paris, Fayard, 1993).

СТЕФАН ХЕРМЛИН (STEPHAN HERMLIN; род. в 1915 г.) — немецкий поэт и прозаик, лауреат премии имени Генриха Гейне и других литературных премий. Автор поэтических книг «Двенадцать баллад о больших городах» («Zwölf Balladen von den grossen Städten», 1945), «Полет голубя» («Der Flug der Taube», 1952), «Стихотворения» («Dichtungen», 1956), «Стихи и проза» («Gedichte und Prosa», 1965), сборника «Рассказы» («Erzählungen», 1966), известен и как литературный критик, публицист и переводчик.
На русском языке вышли: сборник стихов «Полет голубя» (1963), «Избранное» (1974). В «ИЛ» печатались стихи (1960, № 5) и повесть «Вечерний свет» (1982, № 11).
Публикуемые стихи взяты из сборника «Стихи и переводы» («Gedichte und Nachdichtungen». Berlin, Aufbau-Verlag, 1990).

ЭММАНЮЭЛЬ БЕРНХАЙМ (EMMANUÈLE BERNHEIM; род. в 1955 г.) — французская писательница — прозаик и критик. Закончила институт восточных языков. Работала в «Кайе дю синема». Пишет сценарии для кино и телевидения.
Автор романов: «Нож» («Le cran d'arrêt», 1985), «Двое» («Le couple», 1988).
Роман «Его жена» вышел во Франции в 1993 году («Sa femme». Paris, Gallimard).

ИНГМАР БЕРГМАН (INGMAR BERGMAN; род. в 1918 г.) — шведский кинорежиссер, драматург, прозаик, эссеист. Автор десяти пьес, киноповестей, эссе. В театрах Швеции и других стран мира им поставлено более семидесяти спектаклей, сорок пять фильмов — в основном по собственным сценариям. На русский язык переведены его книги «И.Бергман. Статьи. Рецензии. Сценарии. Интервью» (М., 1969), «Бергман о Бергмане» (М., 1988), которая включает также сценарии фильмов «Седьмая печать» и «Фанни и Александр»; в «Иностранной литературе» напечатана автобиографическая книга «Laterna Magica» (1989, № 9 — 11), роман «Благие намерения» (1994, № 5), киноповести «Улыбки летней ночи», «Змеиное яйцо», «Осенние сонаты» — в Библиотеке «ИЛ» (1988).
Роман «Воскресный ребенок» вышел в Швеции в 1993 году (Ingmar Bergman. «Sondagsbarn». Stockholm, Nörstedts Forlag).

ЛАРС ГУСТАФССОН (LARS GUSTAFSSON; род. в 1936 г.) — шведский писатель. По образованию философ. Автор романов «Заблудшие» («Vägvila», 1957), «Последние дни и кончина поэта Брумберга» («Poeten Brumbergs sista dagar och död», 1959), «Братья» («Bröderna», 1960), «Повесть собственно о господине Аренандере» («Den egentliga berättelsen om herr Arenander», 1966), автобиографического романа «Сам господин Густафссон» («Herr Gustafsson själv», 1971), романов «Сигизмунд» («Sigismund», 1976), «Смерть пчеловода» («En biodlares död», 1978) и др. произведений.
Рассказ «Искусство пережить ноябрь» («Konsten att överleva november») взят из сборника «Рассказы о счастливых людях» («Berättelser om lyckliga människar». Stockholm, Norstedts Förlag, 1981).

ТУМАС ТРАНСТРЁМЕР (TOMAS TRANSTRÖMER; род. в 1931 г.) — шведский поэт. Дебютировал в 1954 году сборником «17 стихотворений» («17 dikter»), затем вышло еще несколько его сборников, в том числе «Тайны в пути» («Hemligheter på vägen», 1958), «Звуки и следы» («Klanger och får», 1966), «Тропы» («Stigar», 1973). В книгах, выходивших позже: «Барьер истины» («Sanningslarriären», 1978), «Дикая площадь» («Det vilda torget», 1983) и др., — он обратился к жанру стихотворений в прозе. Стихи Т.Транстрёмера переведены на английский, французский, венгерский и другие языки. Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

МАРГАРЕТА ЭКСТРЁМ (MARGARETA EKSTRÖM; род. в 1930 г.) — шведская писательница и литературный критик, вице-президент ПЕН-клуба Швеции с 1966 по 1981 г. Автор книги «Вечера в Санкт-Петербурге».(«Aftnar i St.Petersburg», 1960), нескольких сборников рассказов, романа «Женщина, которая путешествовала с Монтенем» («Kvinnan som reste med Montaigne», 1981), сборника стихов «Щиты» («Skärmar», 1990).
Публикуемые рассказы взяты из сборника «Разные судьбы» («Skilda öden». Stockholm, Bonnier, 1988).

ТОРГНИ ЛИНДГРЕН (TORGNY LINDGREN; род. в 1938 г.) — шведский писатель. Автор более десяти книг, среди них — романы «Страшит тебя минута» («Skrämmer dig minuten», 1981; рус.пер. 1991), «Вирсавия» («Bat Seba», 1984; удостоен французской премии «Фемина»), «Свет» («Ljuset», 1987), повесть «Путь змея на скале» («Ormens väg på hälleberget», 1982; рус.пер. 1991), сборник рассказов «Красавица Мераб» («Merabs skonhet», 1983; рус.пер. 1991) и др. Публикуемые легенды взяты из книги «Legender» (Stockholm, Norstedts Forlag, 1986).

НИКЛАС РОДСТРЁМ (NIKLAS RÅDSTRÖM, род. в 1953 г.) — шведский поэт и прозаик, автор романов, пьес, киносценариев, книг для детей, литературно-критических работ, путевых очерков и др. Его первый сборник «Стихи, родственные тишине» («Med tystnad närbesläktade dikter») вышел в 1975 году, затем изданы «Стихи о жизни Сандро делла Кверсиа» («Dikter kring Sandro della Quercias liv», 1979), принесшие ему известность, романы «Луна не знает» («Månen ven inte», 1989), «Пока время думает о другом» («Medan tiden tänker på annat», 1992), получивший одну из наиболее значительных в Швеции литературных премий — премию Августа, и др.
Рассказ «Эйфелева башня» («Eiffeltornet») взят из сборника новелл «Рассказанное ночью» («Berättat om natten». Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1988).

ТОЛСТАЯ ТАТЬЯНА НИКИТИЧНА — писательница, журналист. Автор сборника рассказов «На золотом крыльце сидели» (1987); ее рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Аврора». Вела рубрику «Своя колокольня» в еженедельнике «Московские новости». Статьи и рецензии на переводы русских книг, вышедших в США, печатались в американских изданиях «The New York Review of Books», «The New Republic».

БЬЁРН ГУННАРССОН (BJÖRN GUNNARSSON; род. в 1958 г.) — шведский литературный критик, радиожурналист, составитель антологии шведской поэзии 80-х годов.
Публикуемая статья получена от автора в рукописи.

■ Переводчики:

РАТГАУЗ ГРЕЙНЕМ ИЗРАИЛЕВИЧ (род. в 1934 г.) — литературовед и поэт-переводчик, кандидат филологических наук. Автор исследований по истории немецкой и австрийской поэзии XVIII — XX вв., печатавшихся в отечественных и зарубежных изданиях; составитель историко-литературной антологии «Золотое перо. Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах. 1812 — 1970» (М., 1974). Переводил стихи и прозу Гёльдерлина, Рильке, Тракля, Э. Ласкер-Шюлер, Бобровского («ИЛ», 1991, № 6), С. Хермлина, П. Хухеля и др., издал книгу избранных поэтических переводов «Германский Орфей» (1993).

ВОРСАНОВА ТАТЬЯНА АВРААМОВНА — переводчик с французского. В ее переводах издавались романы М.Л. Омон «Дорога» (М., 1985), Буало-Нарсежака «Тетя» (М., 1988), повести «Ноэми и взрослые» Марилен Клеман (М., 1987), «Смягчение приговора» Патрика Модиано («ИЛ», 1988, № 12), пьеса «Яйцо» Ф. Марсо, рассказы и сказки М. Эме, Б. Виана, А. Лану и др. Составитель сборника «Современная французская новелла» и сборника рассказов и сказок французских писателей «Как запело дерево».

АФИНОГЕНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик со скандинавских языков. В ее переводах публиковались новеллы и пьесы Августа Стриндберга «Игра снов», «Пляска смерти», «На пути в Дамаск», романы «Местечко Сегельфосс» и «Дети века» Кнута Гамсуна, пьеса «Ночь Трибад» и роман «Библиотека капитана Немо» Пера Улофа Энквиста; в «ИЛ» напечатаны книга «Laterna Magica» (1989, № 9—11) и роман «Благие намерения» Ингмара Бергмана (1994, № 5).

ДРОБОТ ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА — литературовед, кандидат филологических наук, переводчик со скандинавских и английского языков. В ее переводе изданы романы «Моление о Мирелле» Эушена Шульгина, «Глазами из стекла» Турил Брекке, «Прощание» Свена Дельбланка, рассказы норвежского писателя Хьелля Аскильсена «Последние заметки Тома Ф.» («ИЛ», 1991, № 12) и др.

СЕРЕБРО ЕЛЕНА ИОСИФОВНА — переводчик со скандинавских языков; в ее переводе публиковались рассказы норвежских писателей Тарьей Весоса и Юхана Боргена (М., «Радуга», 1983) и финского писателя Бу Карпелана (М., «Радуга», 1983).

ИЛЬЯ КУТИК — поэт, переводчик со шведского. Автор книги «Шведские поэты» (переводы и варианты), Москва, международная ассоциация «Мир культуры», МП «Фортуна», 1992.

■

Памяти Н.Я. КАЗАРЦЕВОЙ

Наташа ушла...

Никогда бы не подумал, что придется писать не тебе, а о тебе, и писать в этом бесконечно печальном жанре. Ты была значительно младше и за двадцать лет нашей дружбы так и не отучилась говорить мне «вы», смущаясь разницей в возрасте. А много ли она значит? Ведь нас сближали вещи более важные. Смею надеяться, что сближали нас родственные понятия о времени, о людях и жизни. Иной раз они практически совпадали, и я этим гордился. Потому что с самого начала знал: у Наташи Казарцевой абсолютный, безупречный нравственный слух.

С самого начала... Сейчас, когда вот уж какой день я не могу отогнать маячащий перед глазами образ надвигающейся прямо на тебя электрички, все вспоминается другой июль, душноватый зальчик журнала, с которым ты, да, как видно, и я оказались связаны пожизненно, шорох выдаваемых по допуску заграничных газет. В нашу редакцию ты пришла как практикантка журфака, просто подобрать материал для диплома. Счастье, что тебя прислали именно к нам, в «ИЛ».

Это было счастьем для нас, отдавших журналу годы и десятилетия, многое с ним переживших и, наперекор обстоятельствам, все-таки его сохранивших — уж как сумели. Может быть, это было счастьем и для тебя. Потому что тебя здесь любили.

Знаю, что на самом деле это не совсем так, да совсем так это и не бывает, но мне все равно кажется, что любили тебя все: и когда ты начинала библиотекарем, и когда под самый конец стала заведовать критикой. Тебя любили за твое вечное неравнодушие, способность переживать чужие радости и беды как свои, за органическое твое и беспримесное чувство справедливости в любых ситуациях, за яркую и щедрую человеческую одаренность, которую невозможно было не почувствовать. И за твою женственность. Ненаигранную, а оттого особенно пленительную.

Когда мы с тобой познакомились, все были увлечены чудесным грузинским фильмом о музыканте, до того артистичном, что он просто не способен думать ни о чем, кроме своего искусства. Фильм назывался «Жил певчий дрозд», и одна наша общая приятельница, посмеиваясь, говорила: вот увидите, этот «певчедроздизм» погубит Наташу. Знать бы той милой Кассандре, как она ошибется! Артистичность, которая и правда была твоим самым естественным свойством, защитила тебя в тяжелые времена. А погубило совсем другое — нелепость, выверт судьбы, словно нарочно постаравшейся загасить твой светлый, твой озорной и согревающий огонек.

Но он не погаснет. Я верю, что отблеск его останется, даже когда никого из нас не будет на свете.

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ

Британская Энциклопедия

"БРИТАННИКА" - самая знаменитая и самая авторитетная энциклопедия в мире.
"БРИТАННИКА" - это мудрость веков и американская полиграфия 1994 года.

Что общего между Генри Фордом, Зигмундом Фрейдом, Бернардом Шоу и Львом Троцким?
Все они были авторами "БРИТАННИКИ".
Что общего между Елизаветой II, Милошем Форманом, Полом Маккартни и Маргарет Тэтчер?
Все они - владельцы комплекта "БРИТАННИКИ".
Что общего между историей Франции, правильным питанием, игрой на бирже и Ф. Дзержинским?
Обо всем этом Вы прочтете в "БРИТАННИКЕ".

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" -

это 33 роскошных тома с золотым обрезом и черным переплетом из натуральной кожи. 82 300 статей, 23 000 фотографий, двухтомный **"ИНДЕКС"** с 500 000 ссылками, бесплатный **"ЕЖЕГОДНИК"** с последней статистикой о 146 странах и обзором мировых событий за прошлый год, а также специализированные медицинские и научно-технические **"ЕЖЕГОДНИКИ"**.

Каждый покупатель получает официальное свидетельство и становится членом элитарного
"Клуба Владельцев Британники".
Для членов клуба комплект "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" обновляется ежегодно.

Другая продукция компании "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA":

Полное издание словаря английского языка **WEBSTER'S** в 3 томах.
468 000 слов, 200 000 примеров словоупотребления, 3000 иллюстраций. В последенем томе - удобный англо-французско-немецко-итальянско-испанско-шведско-идиш словарь наиболее употребительных слов.
Крупноформатный Атлас мира **"BRITANNICA"**. Одно из самых знаменитых изданий в мире. 558 стр. Формат 286×381. Подробный индекс географических названий. Справочные таблицы. Специальная информация для путешественников. Красочное подарочное издание.
"GREAT BOOKS" - "Великие книги Западной цивилизации" в 60 томах. Единственное в мире издание подобного рода, включающее полные тексты 517 произведений 130 авторов, наиболее повлиявшие на развитие западной цивилизации. От Гомера до Оруэлла, от Плутарха до Кейнса, от Архимеда до Макса Планка. Уникальный двухтомный индекс 3020 тем, обсуждаемых на каждой из 37 000 стр. этого издания, делает его естественным дополнением к "ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA". Незаменимый справочник для всех, кто пишет по-русски и читает по-английски.
CD-ROM, содержащий двухтомный индекс "БРИТАННИКИ" и словарь WEBSTER'S.

"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA" для детей:

"ОТКРЫТИЕ МИРА" - **"Britannica Discovery Library"** в 12 томах.
Красочная энциклопедия для малышей, начинающих учиться читать одновременно по-русски и по-английски.
"БРИТАННИКА" для детей младшего возраста. **"Young Children Britannica"** в 16 томах.
"ДЕТСКАЯ БРИТАННИКА" в 20 томах. Простой английский язык, доступный школьнику. 6 770 страниц, 6000 иллюстраций. Дальние страны, великие люди, диковинные звери, персональные компьютеры... И еще 30 000 тем! В составе энциклопедии - аннотированный Атлас мира.

Весь этот мир знаний впервые делает доступным фирма

"Мир Знаний",

эксклюзивный дистрибьютор компании
"ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA"
Телефон в Москве: (095) 161 0775, 161 4049
Факс : (095) 161 0675
E.-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, №9, 1-224